

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
АНДРЕЙ АНПИЛОВ
ЭЛИ БАР-ЯЛОМ
ЛЕВ БЕРИНСКИЙ
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ
АСЯ ВЕКСЛЕР
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
АРНОЛЬД КАШТАНОВ
БОРИС КРУТИЕР
ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ
СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА
ЮЛИЯ МОГИЛЕВЕР
ИОСИФ РАЙХЕЛЬГАУЗ
РАХЕЛЬ
ЕЛЕНА РИМОН
АЛЕКС ТАРН
ЖАННА ТЕВЛИНА
МАРИЯ ФАЛИКМАН
ОЛЬГА ЧИКИНА
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ
И ДРУГИЕ

№33



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלמי ספרותי

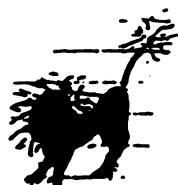
2010' 33

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

המחלקה לקליטת עלייה בחיפה
מחיל ל פרץ 20 חופת 1 04 05

9134

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

Иерусалимский журнал, № 33, 2010 9134

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ а также antho.net/jr/index.html

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смехова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютинна, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Российский Еврейский Конгресс



Фонд
«Русский мир»



Отдел литературы
при Управлении культуры
Министерство науки, культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2010. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

Рахель

ТЬМЫ МИНУВШИХ ЛЕТОВ СИЛЬНЕЙ

КНИГА МОИХ ПЕСЕН

Те крики, которыми рот мой коверкал
беды и отчаянья миг,
как бусинка к бусинке, здесь на поверке
в тетрадошке песен моих.

Распахнуты настежь все двери и дверцы,
все клейма и раны видны...
И даже коросты щемящего сердца
вы щупать руками вольны.

Нусан, 5687

В ОТЧУЖДЕНИИ

От стенки до стула... Сяду, нахохлюсь, дрожа:
холодно солнцу в плену у холодных небес...
Голос далёкой отчизны – набатом – в ушах:
Встань и иди! Убегай! Что ты делаешь здесь?

От стула до стенки... Встану – без цели, без сил,
В тысячный раз ухвачусь за бесплотный мираж...
Так и брела по дорогам сквозь дождь и хамсин,
Так и любила – сквозь радость и горечь пропаж.

Тель-Авив, 5686

* * *

Можно сто раз воскликнуть: «конец ярму!»,
можно стократ восславить свободы прыть,
но не сломать словами мою тюрьму,
звона цепей не скрыть.

Сердце моё ты держишь в своей горсти –
то приотпустишь, то в кровь сожмёшь кулаком...
А сердце трепещет, дёргается, частит –
просто частит – молчком.

НОЧНОЙ КОШМАР

Меня вели на казнь. Судья потупил взор,
не повернул лица.

Проклятье той, кто сердце на позор
вручит другим сердцам!

Пыль жгла мои ступни. Иссяк последний всплеск
последних сил.

Шипы... колючий куст... глухонемых небес
слепая синь...

Дойду до ям и груд под смерти шепоток
и лишь тогда
я обернусь: а вдруг мелькнет его платок
у стен суда?

5687

ЗАПЕРТ САД

Где же ты? Руке моей навстречу
почему не тянет руку брат?

Почему, смущённый и увечный,
убегает твой короткий взгляд?

Заперт сад. Ни тропки, ни зарницы.
Заперт сад...пусти...

До крови мне в камень колотиться
иль уйти?

Адар, 5687

* * *

Моих настроений и мыслей
недолог осенний расцвет.

Они, как последние листья:
слетели, мелькнули – и нет.

Лишь ты мне – извечное счастье,
земля, мать сухая земля,
в минуты любви и участия,
в години дубья и колья.

И в детстве, родном и далёком,
и в смерти, совсем налегке,
прижму свою бледную щёку
к твоей загорелой щеке.

5687

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ

Горе мне! Увы... Растут соблазны,
тянут руки в ювелирный ряд,
к тем словам, что светятся алмазно
и огнем рубиновым горят.

Этих слов обличие прекрасно,
величав их царственный удел...
Только блеском притупился глаз мой,
звоном злата слух отяжелел.

Как теперь увижу луч рассвета?
Различу ли зов неслышный твой?
Как теперь... Да полно, я ли это –
верная словам, простым, как вой?
5687

СТЕНА

За мною ходила в детстве
печаль, как вторая тень,
и скорбный наряд отрезал
меня от других детей.

Не дети уже давно мы,
и прошлое то – в огне,
но та же печаль со мною,
и та же печать на мне.

Как прежде, стена меж нами,
но ныне раздел вершит
уже не одежда скорби,
а скорбь сиротской души.
5687

* * *

В моем сердце-саду расцвёл ты, –
нет растения там пышней;
в мои жилы и вены вплёл ты
вязь своих ветвей и корней.
И теперь с восхода до ночи
тихий сад мой гудит, как горн...
это ты, это ты грохочешь
миллионом своих валторн.

12 Нисана, 5690

НЕУЖЕЛИ?

Неужели все это случилось со мной?
Со мной?
Неужели вставала с рассветом в поля
И глотала свой пот земной?

Неужели в горячке весенней страды
Наших тел
С высоты перевязанных туго снопов
В общей песне мой голос пел?
Неужели плыла я в твою чистоту,
В синеву?
О, Кинерет родной! О, Кинерет, Кинерет родной!
Неужели ты был наяву?

5687

ЦВЕТЫ «А ВДРУГ?»

В моем саду среди веселых вод
росли цветы по имени «а вдруг?» –
я им была и верный садовод,
и близкий друг.

И днём, и ночью долгие года
я сторожила, не жалея сил,
чтоб ветер под названием «никогда»
бутонов не скосил.

Но этот ветер был совсем не прост –
он гнул своё, хлестал, наотмашь бил...
и вот теперь мой сад зовут «погост» –
как сад могил.

5688

* * *

Вера мне – в сердце, и в душу – мечты,
не усташусь наготы листопада;
всё принимаю, иного не надо,
осень, не справишься ты –
зелены мира крутые бока;
осень проклятая, ты далека!

11 Нисана, 5690

БРАТСТВО ЭХА*Залману*

Братство эха живет меж нами,
тьмы минувших годов сильней.
Ещё теплится в сердце пламя
тех наивных и чистых дней.

Помню нас на горе, на пике –
моей радости звон и блеск,
твоих глаз глубину, твой тихий,
бледный облик галутных мест...

«Голос твой, – ты сказал, – как песни
пастухов в горах Йегуды...»
Отчего этот миг чудесный
стал нам памятной агады?

В чуждом, воющем, злом бедламе
как прошёл он среди огней?
Отчего это братство – с нами,
тьмы минувших годов сильней?

3 Швата, 5688

* * *

Лишь о себе рассказать я умела...
Узок и мал муравьиный мирок:
Всё напрягала тщедушное тело,
Силилась выполнить тяжкий урок.

В гору крутую ползла неустанно,
Кровью платила за каждую пядь,
Чтобы небрежным щелчком великана
Быть ради шулки отброшенной вспять.

Ах, великан из кошмарной мороки –
Страх муравьиный на веки веков...
Что ж ты зазвал меня, берег далёкий?
Что ж ты солгал мне, огонь маяков?

4 Адара, 5690

Перевёл с иврита Алекс Тарн

Алекс Тарн

ПЯТАЯ ЗВЕЗДА

*Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рождён в девяносто четвертом,
Я рождён в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истёртый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рождён в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадёжном году, и столетья
Окружают меня огнём.*

О. Мандельштам, «Стихи о неизвестном солдате»

Почему *столетья* *окружают*... *огнем* человека, рожденного в 1891 году и сформировавшегося как личность в тысяча девятьсот девятые годы? Разве не было бы логичнее совместить грань столетий с официальной временной отметкой? Нет, Мандельштам знал, о чем говорил: эпохи цивилизаций следуют своему собственному календарю. Девятнадцатый век завершился отнюдь не с боем курантов, отметивших полночь 31 декабря 1899 года. Всей сутью своей, полной надежд на светлую, чистую, справедливую жизнь, на обновление – обновление всех сортов: индивидуальное, народное, технологическое, духовное, общественное, научное, – всей этой своей сутью девятнадцатый век продолжался еще почти полтора десятилетия. Не зря многие датируют его окончание августом 1914 года (а начало – падением Бастилии в июле 1789-го).

Никогда еще за всю историю человечества самые лучшие его мечты не казались столь близкими к осуществлению. Великие открытия так и сыпались золотым дождем. Благодаря фантастическим достижениям науки и технологии резко сократились расстояния – всякие: географические, общественные, духовные, межчеловеческие. Земля вдруг стала маленькой – неудивительно, что писатели и ученые уже всерьез подумывали о когда-то немыслимо далеких звездах. Человеческое могущество казалось беспредельным: «Бог умер!..» – возвещал Ницше. «Человек – это звучит гордо!..» – вторил ему один из многих российских нищанцев.

Гуманизм сбросил Бога с вершины ценностной иерархии и, водрузив в центр мироздания Человека, готовился к последнему, решающему шагу. Оставалось всего ничего: реализовать накопленные идейные достижения еще и в общественной сфере, сделать общество справедливым, а граждан – счастливыми. Для этого гуманисты – социалисты, анархисты, коммунисты, нищанцы – должны были все-навсего прийти к власти. Прийти и сотворить по написанному.

Деятнадцатый век, век побеждающего, но пока еще не победившего гуманизма, начавшийся с Великой Французской Революции, сменялся двадцатым – эпохой гуманизма торжествующего, веком неминуемой реализации долгожданных надежд. Будущее, светло улыбаясь, раскрывало свои объятия затаившему дыханию человечеству.

Кто же мог знать тогда, в эйфории начала десятых годов XX века, что улыбка эта обернется ипритом Марны и Вердена, кровавыми играми нацизма и большевизма, газовыми камерами, катынскими рвами, колымскими бараками, Хиросимой, полпотовскими мотыгами с запекшейся на них кровью из размозженной человеческой головы? Головы Человека, который «звучит гордо»...

Кстати говоря, после поражения Гитлера было сделано немало, чтобы затушевать духовное и идейное родство фашистов с прочими гуманистическими идеологиями. Но факты свидетельствуют о другом: все они выросли из одного корня. Фридрих Энгельс упоминал о необходимости истребить наиболее отсталые европейские народы (басков, сербов), дабы те не задерживали развитие общественного прогресса. Ему вторили другие влиятельные социалисты – такие, например, как писатель-фантаст Герберт Уэллс.

«А что с остальными – с массами черных, коричневых и желтых людей (*swarms of black and brown and yellow people*), которые не смогут соответствовать новым условиям эффективности? – спрашивал этот видный теоретик Новой Человечности. И сам же себе отвечал: – Что ж, мир – не благотворительное заведение, и я полагаю, что они должны будут уйти».

Как уйти? Куда? Один из будущих гуру европейских левых, Бернард Шоу был более конкретен: «Если мы хотим создать определенный тип цивилизации, мы обязаны истребить (*must exterminate*) людей, которые не подходят ему».

Выдающийся гуманист даже предложил возможный инструмент истребления: ядовитый газ. Да, да – газ, который гуманно и безболезненно убивает всех, кто не подошел «определенному типу цивилизации». Социалист Шоу написал это в 1933 году, а в начале 40-х такой газ – печально знаменитый Циклон-Б – был успешно опробован национал-социалистами в Бухенвальде и Освенциме. Для меня буква-приставка к его названию символизирует не столько модель, сколько имя: Бернард. Циклон Б-ернарда Шоу.

Но поколение, родившееся на рубеже 90-х годов XIX века, даже в страшном сне не могло вообразить подобного будущего. Оно видело совсем другие сны. Уникальность этого поколения заключается в том, что время его юности, время учебы и выбора жизненного пути, время планов и надежд, формирования и расцвета пришлось именно на период финальной эйфории уходящего столетия. Младенцы начала девяностых, ставшие студентами начала десятых, они готовились жить счастливо, готовились строить Новый мир и Нового человека. Можно ли представить себе большую пропасть между подобной юношеской надеждой и последовавшей безжалостной мясорубкой?

Думаю, что именно этому несоразмерно дикому размаху между ожиданиями и реальностью мы обязаны появлением великой четвер-

ки русской поэзии в составе Анны Ахматовой (род. 1889), Бориса Пастернака (род. 1890), Осипа Мандельштама (род. 1891) и Марины Цветаевой (род. 1892). Столетия и в самом деле окружали их огнем. Они буквальным образом попали из огня да в полымя: из небесного огня прекраснотушных надежд в адское пламя преисподней. Но в созвездии Великой четверки есть еще одна, пятая звезда, крепко связанная зримыми историческими и эстетическими нитями со своими соседями. Это – замечательная поэтесса Рахель (Рая Блувштейн), появившаяся на свет в Саратове в 1890 году и волею судеб составившая счастье не русской, но ивритской поэзии.

Рахель родилась в семье богатого торговца. Отец ее, Исер-Лейб Блувштейн, происходил из Полтавы. В восьмилетнем возрасте он попал в кантонисты. Напомню: «кантонистами» именовались малолетние рекруты, набираемые по общинной разверстке, по образцу прусской армии, в которой каждый полк был приписан к определенному территориальному *кантону*. Повинность эта, накладываемая в России на всех, была тройне тяжела для еврейских общин (с тысячи душ они каждый год поставляли в армию десять мальчиков, в то время как остальные города и веси – семь, и не ежегодно, а вдвое реже).

Обычно забирали двенадцатилетних детей, которые сразу же направлялись в военные интернаты, где и находились до мобилизации в армию в восемнадцатилетнем возрасте. Однако в случае податных недоимок проштрафившимся и нищим общинам позволялось «расплачиваться» и младшими мальчиками. По-видимому, именно в такой «внеплановый» набор и попал восьмилетний Исер-Лейб. Скорее всего, по этой же причине ему не нашлось места в училище, и он был определен на воспитание в крестьянскую семью, в православную вятскую деревню.

С еврейским мальчиком, забритым в кантонисты, семья обычно прощалась навсегда, как с умершим, – вплоть до совершения погребальных обрядов: ждать возвращения сына в лоно родной религиозной и бытовой традиции не приходилось. Хотя насильственного крещения официально не практиковали, но реально выжить без этого в рамках жестко ориентированного на православие военизированного интерната было почти невозможно.

Мальчика, единственного в молодой семье Блувштейнов, забрали в момент, когда отец был в отъезде. Вернувшись и узнав о случившемся, он умер от инфаркта. Мать, винившая себя в том, что не уберегла сына и стала, таким образом, причиной двойного несчастья, наложила на себя руки. Имущество семьи отошло в казну. Обо всем этом Исер-Лейб узнал лишь спустя двадцать пять лет, когда, закончив службу, вернулся в родную Полтаву.

Эти годы вместили в себя крестьянский труд, армию, Крымскую войну. С приемной семьей, судя по всему, мальчику повезло: работающего паренька любили и даже не мешали молиться по-своему. Отец Рахели на всю жизнь сохранил добрые воспоминания о вятской деревне и позднее, разбогатев, не раз ездил туда и посылал деньги, стараясь отплатить добром за добро.

В армии физически сильный и грамотный Исер-Лейб быстро продвинулся в разведчики. За доблесть, проявленную во время обороны

Севастополя, он был произведен в унтер-офицеры – предельно высокое звание для не vykрестившегося солдата-еврея. После службы он удачно использовал свои ветеранские льготы и близкое знакомство с русским Севером: занялся меховым бизнесом и быстро разбогател.

Мать Рахели, Софья, происходила из мощного рода Мандельштамов, подарившего миру немало выдающихся людей – банкиров, врачей, поэтов, ученых, общественных деятелей и даже членов революционной организации «Народная Воля». Макс Мандельштам, брат Софьи, был знаменитым офтальмологом, главой известной на всю Россию киевской клиники, одним из лидеров российских сионистов.

Всем своим детям Блувштейны дали гимназическое, а затем и высшее образование – в европейских университетах, поскольку прием в российские вузы был тогда для евреев сильно ограничен. Рахель и ее любимая сестра Шошана решили учиться в Италии, где незадолго до того окончил университет их старший брат Яков. Впрочем, путешествовать в Рим они намеревались со вкусом. Отчего бы по дороге не посмотреть мир? Особо не торопясь, Рахель и Шошана переезжали из Полтавы в Киев, в Кременчуг, в Одессу – от сестры к сестре, от родственников к родственникам.

Возможно, и визит в Эрец-Исраэль затевался девушками всего лишь как еще одна промежуточная остановка. Но получилось иначе. 1909 год пришелся на разгар второй волны репатриации – волны идеологической, сионистской. Это были те самые восторженные уроженцы начала 90-х. Страну до краев наполнял энтузиазм двадцатилетних идеалистов-мечтателей. Они твердо намеревались не просто выстроить маленькое государство на крохотном клочке земли – где заболоченной, где пустынной, но повсюду бесплодной. Они строили Новый мир, ни больше ни меньше – мир свободного созидательного труда и всеобщего счастья. В их кудлатых головах кипели идеи Маркса, Толстого и Гордона, они были молоды, бесстрашны и удивительно красивы. Ну как тут было не влюбиться – если уж не в саму идею, то, по крайней мере, в одного из ее носителей?

Италия, университет, обучение искусствам и философии оказались забыты: сначала думалось – на время, но оказалось – навсегда. Рахель стала одной из тех, кто основывал первые социалистические сельскохозяйственные коммуны на озере Кинерет. Ее близкими друзьями были люди, составившие впоследствии цвет элиты будущего Израиля: Берл Каценельсон, Залман Шазар, Моше Бейлинсон, Ицхак Бен-Цви...

В 1913 году Рахель решает стать агрономом и уезжает учиться во Францию, в Тулузу. Война застает ее врасплох: обладательница русского паспорта, она не может вернуться в Эрец-Исраэль, на территорию враждебной Турции. Закончив обучение, в 1915 году Рахель отправляется к родственникам в Россию – как тогда казалось, совсем ненадолго – до окончания войны и открытия границ. Но времена уже наставали другие: век-людоед уверенно вступал в свои права.

Годы войны, революции, разрухи, «немыслимого быта» Рахель проводит на юге России, на Кавказе, в Баку, в Одессе. В Бердянске она работает в приюте для сирот – беженцев из прифронтовой поло-

сы. Лишь в 1919 году при первой же возможности Рахель отплывает в направлении своего любимого Кинерета на знаменитом пароходе «Руслан». Ей уже двадцать девять, прежние мечты о глобальном торжестве справедливости сильно поблекли на фоне ужасов нового времени: картин безжалостной гражданской резни, голода, эпидемий, умирающих детей, умирающей жизни. Но изначальные красивые лозунги звучат в этом кровавом месиве по-прежнему звонко, и лишь самые прозорливые усматривают непосредственную связь происходящего с розовым флером гуманистических теорий.

Рахель плывет в Эрец-Исраэль. Там, на берегах Кинерета, ее ждет осуществленная мечта. Пусть пока эта мечта не выходит за пределы ничтожного клочка земли, пусть пока она питается энтузиазмом горстки единомышленников. Но именно эта горстка станет лабораторией Нового человека, основой Нового мира! Именно из этой малой искры возгорится пламя – ровное, полезное, управляемое, дарующее тепло и счастье, не похожее на жуткий пожар, пожирающий издыхающую Европу.

Сестра Шошана встречает вернувшуюся счастливицу на берегу, осведомляется о природе кашля, который досаждал Рахели вот уже несколько месяцев. Та отмахивается: «Ерунда, продуло где-то, вот и кхекаю...» Мыслями она уже у Кинерета. Прежние друзья и в самом деле встречают ее приветливо. Работа немного тяжела, но это с непривычки... скоро все войдет в норму – и работа, и счастье.

Но в норму счастье не входит. Приглашенный кибуцниками доктор осматривает Рахель и ставит диагноз: открытая форма туберкулеза. Диагноз становится приговором. Одна из непосредственных участниц тех событий, Двора Даян, мать будущего генерала и министра Моше Даяна, оставила истории дословную формулировку, в которой этот приговор был объявлен Рахели: «Ты больна, а мы здоровы; тебе здесь не место».

Ее просто выбрасывают за ворота. За ворота кибуца, за ворота Новой жизни, за ворота лаборатории, где куются «счастья ключи» и Новые люди. Что ж, как писал Уэллс, мир не благотворительное заведение. А Новый мир – и подавно. Проявив некоторую непоследовательность, Новые люди не ликвидировали неполноценную работницу, а всего лишь оставили подыхать в одиночестве. Бернард Шоу наверняка осудил бы их за малодушие. Куда гуманнее было бы воспользоваться газом. Как и ее духовные братья и сестры – Осип, Анна, Марина и Борис, – Рахель превратилась в аутсайдера. Да и может ли не стать аутсайдером на полянах людоедского века тот, кто «не волк по крови своей»?

Как заметил один из наиболее выдающихся гуманистов, «боль заставляет кудахтать кур и поэтов» (Ф. Ницше). Оставшееся ей время – одиннадцать лет – Рахель скиталась по любимой Стране, бездомная, одинокая, брошенная и друзьями, и родственниками. Переезжала из города в город, из лечебницы в лечебницу. Бедствовала, выживала. И писала великие стихи на иврите – неродном, выученном языке. Свой первый тоненький сборничек «Сафиах» она опубликовала в 1927 году, второй – в 30-ом. Третий вышел в 32-ом, когда Рахель уже лежала

в могиле на берегу Кинерета. Ее мертвое тело Новые люди приняли с охоткой: вреда от мертвых никакого, зато они очень полезны для строительства мифов, без которых не мыслит себя ни один истинный гуманист.

Говоря словами А. А. Галича, Рахель «не мылила петли в Елабуге», как Цветаева, «и с ума не сходила в Сучане», как Мандельштам. Ее не травили, как Ахматову и Пастернака, не расстреливали мужа, не сажали сына. Но их ровесница Рахель, как и они, вышла в мир, полный надежд и обещаний. Как и их, судьба щедро одарила ее мечтами, образованием, поэтическим гением. Как и они, Рахель была раздавлена веком-волкодавом, выброшена за обочину, где только и позволено было дышать таким аутсайдерам. Дышать до поры до времени – пока волкодав не переведет на них свои налитые кровью буркала.

Рядом бок о бок суетились Новые люди. Проводили индустриализацию, германизацию и коллективизацию. Строили газовые камеры и концлагеря. Вступали в Гистадрут и КПСС. Писали фашистские пьесы, объявленные позднее *антифашистскими*. А еще – по рецепту Уэллса, Шоу и Гитлера – Новые люди убивали тех, кто мешает, причем, чем больше они убивали, тем больше возникало помех, а значит – и больше убийств.

Остаться *человеком* в аду людоедского века можно было, лишь отказавшись стать *Новым человеком* – в полную противоположность сладким юношеским мечтам. Только вдуматься в эту сатанинскую шутку судьбы! Не уверен, что Рахель, Марина, Осип, Анна и Борис сделали свой выбор на сто процентов сознательно и добровольно. За человека часто выбирают жизненные обстоятельства. Но жизненные обстоятельства – такая же часть, такое же свойство человеческого существа, как талант, ум и честность.

На твой безумный мир один ответ: отказ! – писала Марина. Рахель, умирающая от чахотки, выброшенная за ворота подобно прокаженному, держит ту же высокую ноту:

*Мы сегодня, как прежде, в осадном дыму –
тот же голод и та же мечта,
но известий спасительных я не приму
из больного, поганого рта.*

*Только чистый избавит, и честный спасёт,
сохранит, сбережет от огня...
А иначе – пусть гибель меня унесёт
на заре благовестного дня!*

Горстка аутсайдеров, своим гордым самоубийственным отказом они спасли *человеческое* в нечеловеческих условиях Нового мира. Больные и слабые, поправ смерть честностью и чистотой, они пережили гитлеров и сталиных, уэллсов и энгельсов... Они и сейчас здесь, с нами – в том числе и на этих страницах.

Олег Чухонцев

ИЗ КНИЖИ ПЕРЕМЕН

* * *

1.

Вот и дожили мы, китайцы,
до нечаемой перемены.
И вольно же теперь смеяться,
причитаячи: кто мы? где мы?

За великой стеной зубчатой
варят длинный рис мандарины,
только кто кому соглядатай,
не Верховный знает, а Длинный,

и не Длинный даже, а Средний,
но зато с осьминожьей сметкой,
и чем пуганей, тем победней
штатный попка, учённый клеткой.

Но, однако, не так и худо
в Поднебесной: ну мокнет порох,
ну непруха, но чаем чуда,
и какой жёлтый блеск в оффшорах.

Громоздятся в столицах банки,
зреют заговоры, комплоты,
а провинция парит банки
и закатывает компоты,

и чем круче на демократов
лезут полчища патриотов,
тем краснее плоды томатов
и теснее ряды компотов.

2.

состоять чиновником средней руки на хлебной должности
в одной из восточных провинций в благополучные годы,
либерально следить за отправлением строгих законов,
за сбором налогов и пополнением небедной казны,

брать небольшие подношения от благодарных обывателей натурой: дичью, вином или кунжутным маслом, цитировать Конфуция, откинув голову на атласную подушку (только побаливает затекшая шея), думать, слушая крик петуха, о поэзии, о государственном благе, о преимуществах дао над мао и, закрыв глаза в тени актинидии, наслаждаться активией (пока, разбудив, не повесят).

ОКОЛИЧНОСТИ

вы слышали, шумовкина убили?
ну ладно бы сбывал автомобили
или пустые шлёпал ордера,
напротив, кутал ваткой ордена
и прятал по коробочкам, и в списках
сверялся, составляя каталог,
жил замкнуто, разглядывая близких,
как в лупу, в недоверчивый глазок;
в геральдике копался, съел собаку
в рецептах стряпчих, публике честной
перелагая их, а зря ни шагу,
раз позвонили в дверь, а он открой,
прости его, Господь, и упокой,
жаль бедолагу.

шумовкина? убили? что за бредни!
а кто ж на олигарха шел намеренно,
как на севрюгу, с думской острогой?
как не шумовкин? ну тогда другой,
шумелкин, он! фамилии похожи,
а гости, те не смотрят на печать,
а по наводке действуют... так что же,
один грозил, другому отвечать?
и кто такой шумелкин? не из мурз?
из ящика? ещё и либерал?
у них под каждой звёздочкой купюра,
кто не соврамши, тот не генерал,
шумовкин ли, шумелкин, кто поймёт,
зане и этот в ящике, и тот.

шумелкин жив, шумовкина убили,
ослышка, лотерея, или-или –
там пару литер обшлагом смахнут –
и попугай с бумажкой тут как тут.

не разворачивай! не прочитавши,
порви и выбрось inferнальный вздор!
никто не ведаёт, что будет дальше,
смерть – это пристав, а не прокурор;
судилище судеб, кровописанье,
от твоего кривого обшлага
избавь хотя бы в записи дознанья,
и без того закон у нас – тайга,
а что вменить кому по существу –
пусть скажет Тот, родившийся в хлеву.

p. s.

мы, люди, львы, орлы и куропатки,
всё хорохоримся, а что в остатке?
а то, что есть. не истина, а миф:
кто за себя поручится, что жив?
жизнь – это случай: заглоти интригу –
и попадёшь из переплёта в плен,
начни читать поваренную книгу
и обнаружишь книгу перемен,
и ты надеешься ещё на чудо,
жмёшь на педаль, но сон взорвёт труба
и оторвётся тромб одна минута
и ты летишь и за тобой судьба
мгновенье миг и жалко почему-то
шумовкина шумелкина себя...

Марина Бородинская

НА УЛУ БАССЕЙНОЙ И ХРАМОВОЙ

БЛЮЗ О РОЗОВЫХ БЛЮДЦАХ

Это чашки бьются, а блюда потом вдовеют,
и уже никогда, и служат верой и правдой:
что-нибудь накрыть, или шпроты в банке поставить,
чтоб не прямо на скатерть, – а то и горшок цветочный...

Дзынь-ля-ля!

Я люблю эти блюда, подаренные к новоселью
четверть века назад, эти розовые, из «Ядрана»,
так и вижу: кто-то родной летит как на крыльях,
прижимая к груди добычу в нарядной коробке.

Дзынь-ля-ля!

В гардеробе моём не осталось таких оттенков:
ни болгарской маечки, ни цветастой юбки, –
если хочется жизнь увидеть в розовом свете,
можно вымыть яблоко и покатать по блюдцу.

Дзынь-ля-ля!

Покажи мне, блюдечко, дальние страны:
ладно ль там житьё или вовсе худо?
Хоть одну покажи страну, что исчезла с карты
шесть разбитых чашек тому назад.

* * *

Тосковать – но весело, чёрт подери! –
как сама когда-то провозгласила.
Тосковать надо весело, хоть умри,
а стареть – красиво.

Надо спину держать и тянуть носок,
полонезом легким вплывая в старость,
даже если долбят изнутри висок
и не мудрость выходит на свет, а ярость.

Исполнять с улыбкою пируэт,
уходить красиво и бесшабашно,
чтобы дети, в наш наступая след,
знали: это не трудно.

Не больно.

Не страшно.

* * *

...И ещё непременно спросят:
– Что ты делал в момент убийства?
– Мылся, брился, учил уроки,
перечитывал «Одиссею»,
красил стены, рожал ребенка,
плавал в море, смеялся, плакал, –
всё, что делал на этом свете,
всё я делал в момент убийства.
– Ладно, – скажут, – пока идите,
мы вас вызовем, если надо.

БЕЗ РЕЙТУЗ

И снова мир как новенький блестит.
С улыбкой терпеливые таджики
ограды красят в разные цвета
и лавочки, и горки, и качели...
Отличный день! В такие дни когда-то
впервые разрешали без рейтуз
из дома выйти. Это было важно:
сегодня без рейтуз – а там, глядишь,
и без пальто, и в гольфах, и в носках,
и в летнем платье, и на босу ногу,
и вовсе босиком, в трусах, на даче, –
о, счастье человеческого зверька!
Зачем так нужно в детстве голым телом
касаться окружающего мира
и слой за слоем убирать преграды,
как бы сдвигая влажную бумагу
и проявляя нежную картинку,
где жизнь всегда как новая блестит?

* * *

Ещё разок, мой сладкий –
осаль, задень, кольни!
Из лука, из рогатки,
из трубочки пальни!

А если ты без лука
и звать тебя Гермес,
скажи, что здесь – докука,
а там – полно чудес:

закатная дорожка,
и качка в челноке,
медовая лепёшка,
зажатая в руке,

**и медная монетка
с приятным холодком,
как мятная таблетка,
лежит под языком.**

* * *

Вечная – с птицами, рыбами, гадами,
вешняя – на все лады –
нищая радость, когда за оградами
плещут чужие сады.

Крутится, вертится, слышится, движется,
свищет из гущи ветвей, —
гипоталамуса пьяная вишенка
правит державой своей.

Велосипеды рулями сплетаются,
мнут придорожный жасмин,
к окнам кукушки ночные слетаются,
петь не давая дневным.

знать не желая, что всё перемелется,
дудку отложит игрец
и на последнюю вишню нацелится
чёрный проворный скворец.

* * *

Мы сидим под зонтиком
 уличного кафе
за какую-нибудь неделю
 до аутодафе:
до сожжения листьев,
 осеннего полыханья, —
переводим дыхание.

Мы сидим, как будто под сенью крон,
под защитой древесных стволов,
и отстрел покуда не разрешён,
и ещё не объявлен отлов.

Мы сидим, как птицы на ветке
 возле гнезда,
обалдевшие от внезапного
 окончания труда:
все рождённые выкормлены,
 поставлены на крыло, —
вроде нормы выполнены,
 и ещё тепло.

Мы сидим, как лабухи
 на задворках оркестра:
сколько тактов продлится пауза,
 нам неизвестно,
мы вообще ничего не смыслим
 в этих листьях,
где восьмушки горстями,
 как вишни на черенках.

Мы сидим рассеянные,
 вкусившие благодать
на углу Бассейной и Храмовой,
 на невидимой стрелке...

Мы уже встаём —
 прости, что заставили ждать
не робей, воробей,
 доедай из моей тарелки!

* * *

Таракан сложил на пузе лапки,
притворился косточкой хурмы.
Взмах моей неумолимой тапки
возвещает наступленье тьмы.

Мелкий бог домашних насекомых
не спешит на тараканий зов,
к смерти неминуемой влекомых
не спасёт он лапок и усов.

Сколько ж вас ухлопано, страдалец!
Говоришь, меж нами есть родство?
Говоришь, и мне протянет палец
в грозный час чужое божество —

и не бросит огненный окурок
в наши муравьиные холмы?
Чёрт с тобой, хитиновый придурок,
я поверю в косточку хурмы.

* * *

Как пришла Михалычу
в суд повестка,
снаряжали сын его
да невестка.

В голос внушка плакала,
Анжелика,
и тихонько – Власова,
бобылиха.

А в суде Михалыча
отпустили,
как мальцу, все шалости
вмиг простили.

Вышел дед к Михалычу
в кофте белой:
– Пособи, – грит, – малость, а?
ключ заело.

Подточил бородку он,
вставил ключик,
видит – за воротами
пруд блескучий,

лодка плоскодонная,
лес нечастый,
небо подметённое,
луг цветастый.

Старичок догадливый
подал руку:
– Ну бывай, заглядывай,
скрасим скуку.

И Михалыч с горочки
двинул к пляжу,
– Буду, – молвил, – вскорости,
петли смажу.

ГРОБ НА КОЛЁСИКАХ

Страшная сказка из детства доносится,
после отбоя в палате – ни зги:
– Девочка-девочка, гроб на колёсиках
едет по улице вашей, беги!

В чем провинилась несчастная девочка?
Кто пионерку решил извести?

Кто в репродукторе, добрый, надеется
предупредить и беду отвести?

Не до подробностей! гроб на колёсиках
катится к дому, въезжает в подъезд, –
под одеялами разноголосица
писка и визга: ой, мамочки, съест!

Мамочки в лагерь девчушек спровадили
крепнуть на воздухе, кушать и спать.
Дурочка в сказке не слушает радио,
да и услышит – куда отступать?

Гроб на колёсах по лестнице тащится,
дверь протаранена – грохот и гром –
и воспиталка орет, что рассказчицу
в спальню к мальчишкам поставит – «гольём»!

Девочка, девочка, что с тобой сделали –
мы не узнаем уже никогда.
В небе луна ухмыляется белая,
чёрная в речке лоснится вода.

Спят воспитатели, дрыхнут вожатые,
дети тревожным забылися сном...
Только малявка одна странноватая
слух напрягает в безмолвье ночном.

АХЕЙСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Как у моря на песочке,
под стенами Трои,
лупят до смерти друг дружку
храбрецы-герои.

То стрелой разят из лука,
то копьём с повозки, –
их подзуживают сверху
боги-переростки.

Только нынче не до драки
воину Ахиллу:
он рассержен, он обижен,
всё ему постыло.

Он размазывает слёзы,
топает ногами
и один уходит к морю
жаловаться маме.

– Мама, мама, Агамемнон
мне нанес обиду:
он забрал мою награду,
деву Брисеиду!

Заступись, ведь ты богиня,
покарай нахала! –
Вышла на берег Фетида,
горько вздыхала:

– Ах, сыночек, мой цветочек,
розовые пятки!
Для того ль тебе судьбою
век отпущен краткий,

чтоб последнюю игрушку
отбирали злыдни?
Нет, сынок, твоей обиды
горше и обидней.

Долечу я до Олимпа
облаком солёным,
ноги дряхлые омою
пряхам непреклонным:

вдруг да выйдет нам отсрочка
иль какое чудо?
Ты ж на подвиги, сыночек,
не ходи покуда.

Слушай волн утешный рокот,
слушай вопли чаек...
Я пришлю к тебе Патрокла –
может, полегчает.

* * *

А когда восходит созвездье мрака, –
нам, родившимся под созвездьем Рака,
безмятежно игравшим ещё мальцами
с раскалённым львом, с летучими близнецами,
нам, ручьистым, изменчивым, говорливым,
ускользавшим в море с первым отливом,
пировавшим с дельфинами в дымке сизой,
содвигавшим бокалы, сушившим ризы,
нам, пропевшим лето, баловням, свистунам,
растеряхам, непряхам, – короче, нам
выгрести на свет, пробиваться к свету,
и хоть раком встань, а выбора нету.

Мария Фаликман

ИЗ-ЗА ОТПАДЫ

* * *

Я научилась штурмом брать трамваи
когда прошла трамвайная эпоха
кому-то и без них сейчас неплохо
а я теряю навыки увы
бывало еду через пол-Москвы
то радуюсь то недоумеваю
примусь рецепты в памяти листать
найди кого-нибудь себе под стать
дыши неровно прижимайся грейся
Теперь повсюду разобрали рельсы
а я умею так трамвая ждать
как человек эпохи Массолита
и тот другой эпохи Москвошвея
которым с каждым годом всё страшнее
в пустой вагон садиться без билета
и выходить к реке с табличкой Лета
мечтая но не смея позабыть
беспамятство водой её запить
и губы молча отереть ладонью
А небеса к апрелю всё бездонней
и до того безоблачны порой
что кажется взглядишь – увидишь Бога
И вот один в монокль посмотрит строго
и запрокинет голову второй
а мир замороженный их игрой
готов горою встать за них обоих
Дались вам эти пятна на обоях
в чуланчике где светский разговор
густой и липкий как компот из банки
тянулся от Дальлага до Лубянки
и тянется быть может до сих пор
когда наскучит – выпустят на двор
а повезёт – и дальше за ворота
где город землю рельсами оплел
и где подростки в модный волейбол
стучат под хрип чарльстона и фокстрота
Едва они дойдут до поворота
трамвай в их день всплывет как ледокол
и постовой в свисток протяжно свистнет
и вишенкой один из них повиснет

и брызги масла на парадных брюках
другой брезгливо морщась разглядит
вокруг вечерний город загудит
и звон трамвая сгинет в этих звуках

Ну, что ты медлишь, человек эпохи?
Ночной столицы всполохи и вздохи
давно пора оставить у реки,
где тает тень последнего трамвая,
где дремлют у причала рыбаки,
забыв про всё на свете. Сны легки,
реке не видно ни конца, ни края,
зато на глади лодочка видна.
Творец недостающего звена,
он ждёт тебя. Теперь – к нему, скорее.
Смотри, какая круглая луна
пожаловала в наши Эмпиреи.

2006

* * *

В сотый раз выключала компьютер и снова включала.
За окном, как нарочно, истошно ворона кричала.
За окном межсезонье поспешно сменялось сезоном,
обнажая газоны и знак «Не ходить по газонам»,
открывая слоями прошедшую зиму, в начало
декабря возвращая. Я шла и компьютер включала.
То ли писем ждала, то ли что-то печатать хотела.
За окном, наконец-то заткнувшись, ворона летела.
Писем не было. Были звонки и кошачьи разборки.
Аромат подгоревших котлет, генеральной уборки,
запах хлорки в подъезде. И я, поднимаясь с постели,
выключала компьютер: а что он шумит, в самом деле?
В этих запахах пьяных, в шипенье и гуле квартала
было всё. Только криков вороньих теперь не хватало.

2005

* * *

Регулярный парк отделён оградой от природного парка, где
мы гуляем: мол, пустым соблазном себя не радуй, что один
от другого не отделяем. В регулярном парке – скамьи,
беседки, на аллеях статуи под античность, садовод усатый
кромсает ветки, проявляя редкую педантичность. А у нас,
изгваздавшись в водах вешних, чья-то такса будит прохожих

сонных, а синицы селятся не в скворешнях, а в дубовых дуплах, сосновых кронах. Им без разницы, впрочем. А вот ворона, на ограде метко поставив кляксу, посидит на шее у Аполлона и спешит дразнить бедолагу-таксу. Даже белка круглым глумливым глазом сквозь узор в заборе глядит лукаво: ну, давай, двуногий, яви свой разум! И, сказать по правде, имеет право.

Ибо сущая мука – гулять с коляской в эти дни, когда брачный сезон в разгаре. Щеголяет зяблик лихой окраской, голосят вороны, как на базаре, голосит младенец, разбужен свистом, беспрестанным щебетом, треском, граем, звонким лаем в любом уголке кустистом: вы куда, попрыгаем, поиграем! Ты и сам готов щебетать, чирикать, изумленным проходим дарить подарки, воплощать немедля любую прихоть, но давно живешь в регулярном парке. В нём порядок такой – возгордиться впору: гардероб изыскан, доход стабилен, и даёт петербургским проспектам фору прямизна дорожек – пардон, извилин, где застыли статуями цитаты, где непросто втиснуться взглядам свежим, и не скажешь, что велики затраты: если клякса – отмоем, вихор –отрежем. А в природном парке вихрастым рады: хоть сейчас вприпрыжку беги за всеми. И машу себе я из-за ограды: эй, привет! Заходи, если будет время.

2007

АВГУСТ

Тонкая паутинка – словно волос седой. Двор застыл, как картинка, в луже с темной водой. Скучно? Вот тебе комикс – целая россыпь луж. Сам себе незнакомец, что же, попробуй, сдюжь, стоя у крайней лужи, глядя туда в упор, вяло думая: ну же, где ты был до сих пор, впрок конопатил уши, свой безопасил тыл, место искал посуше, к лужам не подходил. Гладь тиха и пустынна, тих и докучлив страх: что там за паутина в спутанных волосах?

Хоть бы и паутина – что ж ты не сводишь глаз? Дерево, дом и сына – был тебе соцказ. Угол в съемной квартире, кактусы на окне. Ляжешь часа в четыре, их же видишь во сне. Что-то запишешь в строчку, выберешься во двор, катишь по лужам дочку, младшую из сестер. Катишь, гладь рассекая – долго ещё катать. И снизойдет такая ясная благодать, словно вымолил света в этом чужом дворе, словно всё ещё лето в главном календаре.

2009

* * *

Д. К.

Оттого в Рождество и не водится больше волхвов.
Кроме тех, что в вертепах, во Вроцлаве или в Варшаве,
перед строгим младенцем и Девою в гипсовой шали.
Оттого и не водится. Свод над младенцем лилов,
и единственной тусклой звездой ограничен улов
астрономов, что прежде без счёта открытий свершали,
и на двух языках – у кого розовой и шершавей –
соревнуются вол и осёл. А в одном из углов
позолотой дешёвой неловко сверкают дары,
и выходят, выходят один за другим из игры
Мельхиор, Бальтазар и Каспар, обветшавшие малость
за прошедшие тысячи лет. И встают в полный рост,
и глядят, как цветут над пустынею тысячи звёзд,
и попробуй припомни, с которой тут всё начиналось.

2008

* * *

...Теперь: не сотвори себе кумира,
писателя рождественских стихов.
А сотворил – ему не подражай.
У нас и так богатый урожай
даров, волов, ослов и пастухов
с подпасками. Взгляни на карту мира:
Где та пустыня? Где он, город тот?
Не знаешь, брат? Вот то-то и оно.
Запомни лучше правило такое:
Звезду не трожь. Волхвов оставь в покое.
Младенца всуе поминать грешно.
Приспичило – пиши про Новый Год.

Тебе ли сочинять про Рождество,
по случаю вступления в пионеры
торжественно не спавшему всю ночь?
А сколько б ты ни брался превозмочь
невежество своё в вопросах веры –
Оказывалось, что не до того.
А всё туда же: плотник – добрый гений,
ненастье, темень, девочка в плаще
и свет внезапный сквозь прорехи в крыше.
Небесный хор всё выше и всё тише,
покуда не умолкнет вообще
на теме из «Семнадцати мгновений».

2010

* * *

О. Г.

...и добавить немного любви (без неё – никуда).
Но не той, что в подъезде, между вторым и третьим этажом,
и не той, что в купе, пока попутчики
спят на своих верхних полках,
и уж тем более не той, что по телефону
на бегу с одной работы на другую,
что-то вы, барышня, стали слишком разборчивы,
да и со строфической никак не определитесь, а всё потому,
что немного любви – это вам не фунт изюму.
И даже не изюминка, которой, к слову,
так не хватает вашим сочинениям.
А совсем другое дело.

И добавить немного любви – это надо уметь. Это надо иметь
небольшой, но надёжный запас и не думать, что кто-то
возьмёт и добавит за нас. Может, кто-то возьмёт и добавит,
но это, заметь, слишком надвое. Впрочем, чего наш
читатель не съест. Это, знаешь, как шарики сверху на
кабриолет, лимузин, кадиллак, или в чем ещё возят невест,
нацепляют – и вот тебе, девочка, звёздный билет, и немного
любви, и немного смешной суеты, словно дело и впрямь на
вокзале. Ну ладно, лети, можешь взять с собой сменные
туфельки, маму, цветы, а шары отпусти. Непременно потом
отпусти, чтоб наутро не морщились, как перезрелый урюк,
не свисали с капота гроздьями несвежих носков, нет уж,
пусть полетают, пока ещё рвутся из рук. Ты прости, но в
сегодняшней сказке сюжет не таков, чтобы вышло без них.
Ибо в каждом – немного любви, за которую платят свободой
на небеси. Увязался за облаком? Хочешь не хочешь –
плыви. Зацепился за дерево? Хочешь не хочешь – виси. Вот
они и плывут, и с размахом античных богов повисают в окне
у тебя вместо звёзд и планет. А по лестнице – слышишь? –
знакомая россыпь шагов. А на завтра, сказали, билетов по-
прежнему нет. И работы по-прежнему нет ни одной, ни
другой, между пятой, шестой и седьмой не забудь
позвонить, написать «Обнимаю», махнуть на прощанье
рукой и добавить немного любви. Без неё – никуда.

Ну, хотя бы задумайся, чем нам её заменить.

Игорь Иртеньев

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Хоть не та уже соображалка
И либидо, в общем, никуда,
Ничего для Алки мне не жалко,
Как в былые юности года.

Я склонюсь над милою женою,
По-коровьи тяжело вздохну
И своей могучей стариною
Может быть, в последний раз тряхну.

Подсобрав последних сил остаток,
Я не поручусь за результат –
Миг любви, возможно, будет краток,
Но, как говорится, чем богат.

И доставив Алке наслаждение,
На покой заслуженный уйду.
Нет, не к сожаленью, день рожденья,
Ты бываешь только раз в году.

* * *

Люблю в ночи смотреть я порно,
Особенно в кругу семьи,
Ему все возрасты покорны
И населения слои.

Люблю затейливые позы,
Скрещенье рук, скрещенье ног,
Напрасно ждёт уж рифмы «розы»,
Читатель этих горьких строк.

Ему я порекомендую
Не ждать её на этот раз,
Ведь речь тут о шипах веду я,
Что не видны порой для глаз.

Нет, не случайно, не спроста я
Завёл о них сегодня речь.

В кино работа непростая,
Тут мало просто взять и лечь.

И романтического флёра
Работа эта лишена,
Без спецзащиты, без дублёра –
Немногим по плечу она.

А вы оргазм сыграть смогли бы
За эти медные гроши,
А то и просто за спасибо,
Да так, чтоб вышло от души?

Так что какие, на фиг, розы,
Когда одни сплошные тут
Кровь, пот и слёзы, пот и слёзы,
И эта... как её зовут.

* * *

Что ты упёрся, как баран?
Хорош держать фасон,
Кончай ломаться, Перельман,
Возьми свой миллион.

Страна смеётся над тобой,
Нелепый Перельман,
Давай уже труби отбой
И подставляй карман.

Еврей ты или не еврей?
Ответь, в конце концов,
А если да – бери скорей
И не позорь отцов.

Гудит на кухне древний кран,
Очакова времен:
– Не будь кретином, Перельман,
Возьми свой миллион.

Скрипит раздолбанный диван,
Клопов блатной притон:
– Смени меня, о Перельман,
Возьми свой миллион.

Или, гордыней обуян,
Решил ты, что цена
Твоим заслугам, Перельман,
Не больно-то равна?

– Нет, – отвечает Перельман, –
Тут дело не в цене,
Такой мне свыше гений дан,
Что счастлив я вполне.

Эвклид, Капица, Галилей –
Мне ровня и родня,
Неужто жалких шесть нулей
Награда для меня?

...Задраил наглухо отсек
И снова лёг на дно.
Да, Гриша – это человек!
А мы тут все – говно.

ОДНОМУ ХУДОЖНИКУ

Чувак на мир глядел набычась,
Тоскливо жизнь его текла,
Вот почему в его «капричос»
Так мало света и тепла.

* * *

Куда ни плюнь – кругом элита,
Элита, блин, кругом одна.
Гламурной патокой облита,
С экранов пялится она.

Чужих наследница традиций,
Из грязи в князи разом – прыг,
Со страшной скоростью плодится,
Не прерываясь ни на миг.

Она растёт, цветёт и пахнет,
К ней за версту не подойди,
Не чувствуя, что скоро жажнет,
Да так, что бог не приведи.

Элиты нынче, блин, эпоха,
И я от зависти бешусь,
Поскольку отношусь к ней плохо,
Поскольку к ней не отношусь.

Арнольд Каштанов *ХАКЕР АСТАРТЫ*

1

Он был антисемитом и предателем родины. У него было много невыносимых претензий. Но он создал теорию хаоса в психологии на полвека раньше, чем ее создали в физической химии и термодинамике. Не предвосхитил или как-нибудь еще, а именно создал, выработал понятия, которые сегодня у всех на слуху – точка бифуркации, масштаб, аттрактор, – назвав их, разумеется, по-своему на языках, на которых писал, русском и французском. Звали его Андрей Федорович Локтев. Попытка издать его книги – это последнее, чем мы с Дулей занимались. Нам было бы гораздо легче это сделать, если бы он был ученым и писал научным языком с привычной терминологией. Но он писал иначе. К примеру, в 24-м году так:

«Чувства женщины не имеют значения для продолжения рода. Женщина может родить от насильника. Согласна она или сопротивляется – результат один, она родит от любого. Или не родит ни от кого. В отличие от нее мужчина не может всегда быть готовым к оплодотворению. Такой вариант эволюция исключила. Всегда готовый не может выжить. Способность мужчины к зачатию (состояние эрекции и эякуляция) должна включаться на время полового контакта и выключаться после него. Что-то должно включать эту способность. Включает женщина. Как цветы набираются яркости цвета, чтобы быть замеченными пчелой, так женщина украшается, чтобы привлечь мужчину. В обоих случаях – визуальная провокация. Женщине дана сила во внешнем, явленном, вопрошающем, а мужчине – во внутреннем, возможном, ответном.

Женщина – провокация, но почему визуальная? У всех высших животных она обонятельная. Провокацией у четвероногих служит запах. Почему человека, как будто мы вернулись в мир растений, провоцирует видимое?»

Это из его первой книжки на русском. Это не язык науки. Европейски образованный человек, западник, собеседник Анри Валлона, директора Ecole pratique des Hautes-Études, созданного Пастером, Локтев ненавидел западную науку так же сильно, как восточную мистику.

Дуля считала, что мы тратим на него слишком много времени. Вслух не говорила, но как-то вскользь заметила, что все это могло быть написано и три, и пять тысяч лет назад.

Она делала свое дело, переводила с французского, не слишком интересуясь тем, что делает. У нее не появлялось желания вникнуть. Впервые эта способность заниматься чем-нибудь, не вникая, поразила меня в школе. Мы учились в одном классе, и в десятом я натаскивал ее перед экзаменом по геометрии. Она и не пыталась уловить логику доказательств, зазубривала, не понимая. Я из себя выходил, а она брезгливо оттопыривала губу, словно ее заставляли съесть червяка: «Мне так глубоко не надо».

Геометрия ей, в самом деле, не пригодилась. Она оказалась права. И так же вникать в Локтева ей было не надо. Но это было надо мне. В отличие от нее, у меня для понимания, кроме логики, никогда не было ничего. Пусть все мои умственные построения – всего лишь строительные леса вокруг стен здания, которые убирают, когда стены готовы, – я без этих построений не могу. Да и стены мои не готовы.

Неспособность к логике отвращала Дулю от любых споров. Они требуют хотя бы подобия логики. Зная, что не умеет спорить, Дуля никогда не спорила. Она уступала всем и всегда, пока можно было уступить, а когда становилось нельзя, замыкалась и делала по-своему. Локтева мне уступила сразу. Видела, что мне нужно, и потому сидела над переводом ночами, хоть засыпала над слабой, почти неразличимой в свете лампочки мелкой печатью французской книги 38-го года. Она очень уставала за день. Мы тогда зарабатывали на хлеб руками. Учительница французского, она не смогла найти работу по специальности в стране, где большая часть населения – из франкоязычных марокканцев. Сразу пошла ухаживать за стариками (двадцать шекелей в час). Им, в основном, требовалось мытье полов и туалетов. Работала тяжело до последнего дня, уже заболев раком лимфы. Его не сразу диагностировали, и она, уставая, недоумевала, куда делись силы. Тогда и высказалась про Локтева. Просто не было уже на него сил.

У нее обнаружили клетки Биркета. Агрессивные, они размножаются с невероятной быстротой. Я читал, что у африканских детей опухоли вокруг горла вырастали за несколько часов и душили ребенка. Требовалась сверхинтенсивная терапия. И опять возраст: специалист по лимфомам сказал, что Дуля такого лечения уже не выдержит. Ну а нашему гематологу Ульвику терять было нечего, он обязан был что-то делать. Положил Дулю в свое отделение в «Ланиадо» и назначил терапию по «массачусетскому протоколу», восемь курсов химии без перерыва, семь различных препаратов и все, сопутствующее им. Вначале шло легко, Дуля еще перевела кое-что из Локтева в больничной палате, но третий курс состоял из метатрексата и цитозара. Ульвик сказал, что клетки Биркета всегда проникают в мозг, и третий курс должен был мозг очистить. То, что при этом может пострадать сам мозг, он, кажется, не сказал. Я не помню.

Сказал или нет, выбора у нас не было.

Дуля семь недель не вставала с постели и не ела. Таблетки впихивали ей в рот насильно – уже ничего не соображала. На утренних обходах Ульвик останавливался около кровати и впивался тяжелым взглядом. Решал, выдержит она еще одну дозу или нет. У него были случаи, когда больной умирал не от болезни, а от лечения. На этот случай я подписал нужную бумагу, что претензий к нему не будет. Вглядываясь в Дулю, Ульвик должен был каким-то образом узнать смерть в лицо и вовремя остановиться на самом краю. Если остановиться раньше, клетки Биркета снова разовьются, если позже... тоже понятно. Постояв, он бросал старшей медсестре распоряжение продолжать метатрексат и цитозар и тут же выходил. Медсестра, бывшая одесситка, мимикой показывала свое возмущение. А я садился в кресло у кровати. Мне разрешали ночевать в этом кресле. Толку от меня не было, но уйти не мог.

Время от времени выходил курить на крыльцо. Это значит: коридор гематологии, вестибюль этажа, лифт, вестибюль внизу, стеклянные

двери с охранником, всюду люди, взгляды, толчея. Шли февральские дожди. Курить не хотелось, но все время думал про сигареты.

Старый трюк. В детстве, лет в девять-десять, я стоял в многочисловых очередях за хлебом, мукой, сахаром, не помню уж, за чем еще. За керосином. Очереди не помещались в магазинах и вытягивались на улицах, иногда загибаясь за далекий угол. В них я и приобрел умение справляться со временем, разделив часы ожидания на отдельные отрезки. Для этого выделял в цепочке людей какую-нибудь заметную фигуру близко от входа и ждал, когда фигура войдет в дверь. Потом намечал следующую фигуру – мужика высокого роста, блондинку, яркий цыганский платок на бабьих плечах или пестрое платье – и следил за ней, пока и она не входила в заветную дверь. Так попытка ожидания превращалась в череду побед. Последняя победа была, когда в дверь входил я сам. На крыльце больницы роль человеческих фигур играли сигареты. Они организовывали время. Накуривался так, что противно было в рот взять, однако смотрел на Дулю и не сходил с ума только потому, что впереди была маленькая достижимая цель – выйду на крыльцо и покурю. Безднадежность размывалась на цепочку надежд.

Разве не таким образом я прожил жизнь? Ставил себе достижимые цели, и они были метками во времени, как километровые столбы – метки пространства. Жизнь оказывалась чередой побед. Пространство, между прочим, можно вообразить без меток, время без них вообразить невозможно. Попробуйте – у вас ничего не получится. Его нельзя сравнивать с пространством. Они не имеют ничего общего. Поэтому я думал не о том, что для нас с Дулей не остается времени – это уж сколько есть, – а о сигаретах.

Я не о бессмысленности жизни, упаси Бог. Дело в том, что это тоже Локтев. Время задано не протяженностью, как пространство, а энергией, как сжатая пружина. Оно – разность потенциалов, сила, принуждение к движению по закону Ньютона. Сила не имеет протяженности, но имеет направление. Потому время не может течь в обратном или каком-нибудь другом направлении.

В книжке 24-го года у Локтева об этом короткая запись:

«Почему пространство измеряется пространственными мерами, а время – силовыми (сжатыми пружинками, гирьками с маятником)? Потому что время – некая таинственная масса, умноженная на ускорение».

Сегодня такие мысли никого не интересуют, время можно называть потоком частиц или соленым огурцом – никто не удивится, а я прожил с этим жизнь, доходя своим умом: если время – сила, то что ж мы измеряем секундами, минутами и годами? А работу. Секунды, минуты, годы – это единицы измерения работы, совершаемой таинственной силой, измерить которую нам не дано. Может быть, все это глупость, но, повторяю, я прожил с этим жизнь. Меня заинтересовали вопросы, которые, как Дуля бы сказала, пять тысяч лет никого не волнуют. Что такое время? И почему эдингтоновская стрела времени указывает единственное направление вперед, а собака, влекомая запахом пищи, бежит по руслу запаха, в сущности, назад, ведь знакомый запах – это ее прошлое, она бежит к знакомому. Она бежит назад во времени и только поэтому она жива. И почему она обнюхивает и находит свою любовь по запаху, а мы ищем глазами? Или и это никого уже не интересует?

2

Был, значит, февраль 2001 года, дождевые облака повисли над всем побережьем. Несколько суток я не отходил из Дули. Она не поднимала головы с подушки, сознание ее путалось. Это было действие яда. Ульвик продолжал назначать метатрексат и цитозар, «очищающие мозг». Ида охала, услышав страшные назначения, и тихо, чтобы мы не слышали, возражала:

– *Фарида меод-меод халаша* (Фарида очень-очень слабая).

(Кстати, Дуля из Фарида превратилась в Дулю сразу как родилась – Фарида-Фаридуля-Дуля).

Ульвик, печальный и суперменистый, задерживал взгляд на Дуле и повторял:

– Метатрексат.

И выходил из палаты. Он отказался принять во внимание намеки, что раковые клетки, возможно, уже уничтожены (хирург Фердман, делающий биопсию, вычистил опухоль, виноградной гроздью выросшую над грудью, а после этого Дуля уже месяц принимала химиотерапию), и если это так, он, Ульвик, убивает здорового человека.

Я не удержался и как-то сказал ему это в коридоре.

Он показал, чтобы я следовал за ним в кабинет. Он знал, что родственники больных, хоть и подписали бумаги перед началом лечения о том, что их предупредили о последствиях, часто подают в суд на врачей и иногда выигрывают судебные дела. Он не собирался рисковать, идя наперекор желанию мужа больной. Проще всего ему было выписать Дулю. Усадил за стол и, сев в кресло перед компьютером, с минуту разглядывал меня и сказал:

– Если я прекращу лечение, она умрет.

Среди ночи я вышел курить на крыльцо. Коварство химиотерапии в том, что последствия обнаруживаются не сразу. Сердце, почки, печень или мозг могут продержаться еще месяцы, прежде чем откажут. Может быть, Ульвик уже убил Дулю.

Вдыхал дым сигареты, словно табачный дым мог вытеснить из груди воздух больницы. В нем, в воздухе, содержалась вероятность смерти. Но запах вероятности и случившегося одинаков. Так, наверно, чувствуют опасность звери: растворенную в воздухе, улавливаемую носом.

Химиотерапия уничтожала раковые клетки миллионами, а они возрождались снова и снова: одна делилась на две, две – на четыре, четыре – на восемь, выпадали в хлопья, которые начинали быстро расти, и Дуля видела в тазике хирурга Фердмана эту зеленовато-белесую, вспухающую квашней смертоносную массу (я оставался дома с внуком, когда она ходила на биопсию).

Масса жила. Каждая ее клетка была – живое существо. Она могла делиться до бесконечности, и если бы ничто ей не сопротивлялось, рано или поздно заполнила бы собой весь мир. На ослабевшее тело Дули наступал безжалостный порядок, выстроенный в геометрической прогрессии, напознала тупая, примитивная, прожорливая гадина. Изумительно сложенная жизнь сосудов, нервов, желез, печени, почек, мозга, легких, желудка, нейронов, ионов, белых и красных клеток крови, альфа- и гамма-ритмов, биополя и биопотенциалы, – жизнь, непостижимая в своем совершенстве, оказывалась бессильной перед этой примитивностью – две, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать две, шестьдесят четыре, четыре миллиона, восемь

миллионов... Низший расправлялся с высшим, худший – с лучшим, слишком непростым, слишком запутанным, чтобы сохранить в себе первичную ненасытность. Природе было все равно, кто победит, ее цель была – экспансия жизни, для нее и раковая клетка была живой, как человек. Дуля сопротивлялась, но не могла противостоять.

Но существовал еще более низкий, еще более примитивный, чем раковые клетки, порядок химических реакций. Это было идеей химиотерапии. Сильные химические аггрессоры уничтожали все клетки без разбора, тут низший порядок жизни рассыпался прахом, обращался в порядок химических веществ. Раковые клетки не могли не подчиняться простым законам химии, тупо вступали в реакции и гибли, а высокоорганизованное, такое уязвимое, разузившееся бороться тело человека получало шанс. Обнаруживалось, что оно – это армия, способная осуществлять взаимодействие, органы тела сражались все вместе, как сражаются на войне авиация, артиллерия, танки и пехота, подчиняясь командам генерального штаба, жертвуя всем для победы.

Ульвик взял на себя роль убийцы. Он давал яды строго по массачусетской методике, как химик, работающей с препаратом в пробирке. На этом его роль заканчивалась. Дуля должна была выживать сама. Он не мог ей помочь. Его квалификация и опыт нужны были лишь для того, чтобы знать, когда прекратить лечение, остановиться на самом краю.

Тело Дули жертвовало одними клетками, спасая другие, как полководец, вводящий в решительный бой резерв, посылающий на смерть одних, чтобы подготовить наступление других. Отказывали клетки лимфы – им на помощь выступали клетки костного мозга, печень неслла невосполнимые потери, но задерживала смертоносные яды и спасала кровь, желудок и кровь брали на себя функции печени. Даже сознание участвовало в этой тотальной войне, заставляя сердце иногда работать на пределе, а иногда экономно расходовать энергию своих толчков. Тело Дули оказывалось невероятно мудрым. Собирая все силы на последнем рубеже, оно отключило способность питаться и уменьшилось на двадцать килограмм, давая передышку ослабшему сердцу. Этого оказалось мало – отключило мешающий, подверженный паникам разум и погрузило Дулю в забытие. В минуту крайней опасности оно спешно сжимало линию обороны, упрощало все, что можно, избавлялось от лишнего – разум был самым лишним, самым дорогостоящим родом войск. Эта стратегия жертв последовательно вела к примитивному порядку смерти. Где-то на самом краю жизни Дуля должна была уцепиться и задержаться. Без сознания, во сне и бреде, сбрасывая, как балласт, разум и волю, она старалась, как могла.

Если бы на месте Дули был я – не выжил бы. Я привык полагаться на свою волю.

В отделении были и такие, волевые. Они использовали каждый шанс. Подчинялись рекомендациям врача, физиотерапевта, медсестер, любой нянечки или какого-нибудь случайного, как правило, недалекого человека, который авторитетным голосом учил науке выживания, изнуряли себя ходьбой, бегом и гимнастикой, за едой преодолевали рвоту и тошноту, не позволяли себе проявить слабость и впасть в панику, плакать и ныть, смотрели телевизор, сохраняли сознание и достоинство до конца.

Но не выживали. Сознание и воля были бесполезными, а стоили очень уж дорого, им не по средствам.

Дуля была другой. Когда врачи говорили, что надо есть, она отказывалась есть, и даже упорная Ида не могла влихнуть в нее ни кусочка. Отказывалась пить, и Ида не могла влить в нее ни глотка. Отказывалась принимать лекарства, и ей вводили их в виде инъекций. Отказывать ходить, хоть врачи говорили, что это необходимо. Зато она все время спала. Ульвик был поражен, узнав, что она спит без снотворного. Знала ли она, что умирает? Едва ли. Она не впускала в сознание ничего неприятного. Так было всю жизнь: я из-за какой-нибудь мелкой неприятности не спал ночами, она, наоборот, засыпала чуть ли не стоя. Я (ай да молодец) мобилизовывался на борьбу, она отключалась, дезертировала.

И я не заставлял ее ни есть, ни пить, ни ходить. Ида и Эсти, медсестры, считали меня размазней, не способной уговорить жену ради ее спасения. Но я верил, что ее тело лучше меня знает, что ему нужно. Мое собственное тело всю жизнь втрапливало меня в неприятности и создавало проблемы. Оно бездарно. Ему нельзя было доверять. Я мучился язвой, много курил, понемножку выпивал, горячил всевозможные гормоны всякими глупостями и тревожился или впадал в восторг попусту. Тело Дули, совершенное, прекрасное, всегда здоровое до этой беды, не могло ошибаться.

Я всю жизнь верил в ее тело.

Какое-то чувство, эстетическое по своей сути, говорило, что на любом уровне усложнения оказывается жизнеспособным самый простой из вариантов, остальные погибают в силу своей ненужной сложности. В маленьком гематологическом отделении Ульвика избыточные воля, разум и самосознание уничтожались. Природа со своей автоматической саморегуляцией действовала так, словно бы знала, что воля и самосознание должны находиться в определенных пределах, она уничтожала и то, что ниже, и то, что выше уровня, положенного нам временем.

А может быть, не так надо сказать. Не воля и разум. Уничтожалась некая уже давно окостеневшая, как труп, система поведения. Полное преодоление хаоса в каком-нибудь масштабе – это и есть смерть в этом масштабе.

Дуля жила. Она отказывалась от таблеток, но хотела, чтобы я был рядом. Ей нужно было держать мою руку в своей или класть себе на лоб, нужно было иногда видеть внука, хоть разумные люди возражали: «Это ее утомит». Это не порядок, но и не хаос.

3

Мне звонили на мобильник в больницу. Звонила с работы дочь Марина, с которой мы живем в одном доме, мама, которая с сестрой живут отдельно, сын Сева из Штатов и подруга Дули из Иерусалима. Я различал беспокойство за Дулю и посторонние «шумы». Беспокоились все. Но шумы мне мешали. Марина явно торопилась, подруга Дули расспрашивала слишком педантично, наш ироничный Сева пытался избавиться от ироничности в голосе. А мама в свои девяносто два избегала отрицательных эмоций («Так Дуле лучше?» – «Да, мама, немного лучше». – «Ну слава Богу»).

Я словно бы не слышал искреннее беспокойство, реагировал на «шумы» и раздражался. Почему-то интонации значили больше, чем смысл. Локтев писал об особой структуре звука. Она не обязательно

временная, иначе музыку нельзя было бы записать протяженностью нот на бумаге, и, по-видимому, связана с агрессией. Что является случайным шумом, а что – сообщением, писал он, зависит от масштаба наблюдения.

4

«Холм Астарты» Локтева я прочел, когда мне было четырнадцать. Вполне может быть, что оказался единственным за полвека читателем этой старой книжки. Нет, это будет не история о случайно найденной рукописи, вроде тех, в которых древние манускрипты открывают тайны масонов или тайники кладов. Это будет история о читателе.

В ней тоже действует случай. Что такое случайность? Человек шел по улице, и ему на голову свалился пресловутый кирпич. Лежа в больнице, пострадавший задним числом восстанавливает события: мог раньше выйти из дому, задержался, потому что искал ключи, отвлекла какой-то просьбой жена, остановился с кем-то поздороваться, опоздал на автобус и в результате проходил мимо стены как раз в то мгновение, когда падающий с крыши кирпич (годами там лежал, но что-то его сдвинуло с места) оказался в той же точке, что и голова. Не случись хоть одного из этих событий, сдвинься они по времени на секунду, он не попал бы под кирпич и не оказался в больнице с проломленным черепом. Произошла неправдоподобная цепочка случайностей.

Между тем, в теории хаоса есть понятие масштаба. Все зависит от того, в каком масштабе рассматривается явление. В масштабе одного человека – хаос. Если же в масштабе Москвы, с кем-то это должно было случиться, кирпичи падают, а люди идут сплошным потоком. Порядок цветочной клумбы, который видят глаза, превращается в хаос под микроскопом, снова в порядок на молекулярном уровне и опять обращается в хаос на уровне элементарных частиц. В порядке нет случайного, в хаосе – упорядоченного, но одно отличается от другого лишь масштабом наблюдения. В одном масштабе мы преступники, в другом – жертвы системы, в третьем – чипы всемирного компьютера. Мы не знаем собственной точки бифуркации, в которой порядок превращается в хаос. То есть социологам, психологам, юристам, педагогам, биологам и физиологам кажется, что они знают, но ведь это не так.

То, что рукопись Локтева оказалась у меня, – вещь почти невероятная, и я иногда думаю, что это судьба. В каком-нибудь масштабе существует и судьба.

Мы переехали из Москвы, когда Тракторный только строился. Поселок начали с севера, вдоль железной дороги «Москва–Брест». Работали пленные немцы, их охраняли солдаты. Уже стояло полсотни двухэтажек, квартал трехэтажек, в каждой комнате – по семье. Во дворах между домами грудились сарайчики, в них держали кабанов, откармливали картофельной ботвой, закалывали обычно к Новому году, когда кончался корм.

В то лето у самого заводского забора собирали корзины маслят, лисичек и боровичков, кульки земляники, бидоны черники и большие мешки лесных орехов. Чтобы сорвать орехи, нужно было пригнать к земле гибкий ствол, для этого мальчишки карабкались по стволам, перехватывая их руками, как при залезании на шест, болтая свободными ногами, пока под тяжестью тела ствол не сгибался, и тогда его с

земли удерживали за ветки одной рукой, обрывая другой рукой орехи в мягкой зеленой кожуре. Иногда стволы не гнулись, а ломались. Из гладких веток в палец толщиной получались хорошие луки и стрелы. Надрезанная ножом кора снималась легко, как кожура вареной картошки, иногда – зубами. Под ней обнажалась блестящая белая древесина, обильно покрытая горьким, замечательно пахнущим соком. Сок тут же загустевал, превращаясь в молочную пленочку, терпкую на вкус, утоляющую жажду. Губы мальчишек всегда горчили.

Точно так же однажды, сразу после войны, взбравшись по стволам к верхушкам, пригнули к земле две осины. К ним привязали предателя родины, немецкого старосту, не успевшего убежать с немцами, и отпустили стволы. Об этом рассказывал сосед, бывший партизан. Много лет спустя это использовал режиссер Салтыков в своем фильме «Бабы». Но у Салтыкова не было того, что мне запомнилось в рассказе бывшего партизана: староста кричал, что он советский разведчик, выполнявший секретное задание.

Я запомнил, потому что часто думал: а вдруг староста не врал?

На пустырях из суглинка и сора торчало железо войны, какой-нибудь трак, искореженный коленвал, ржавая шестеренка или другая танковая деталь, а уж, ракетниц, неразорвавшихся гранат, ржавых мин и гильз всех калибров было множество. Когда ковш экскаватора или нож бульдозера на новостройке натывались на торчащий из земли снаряд или стабилизатор бомбы, вызывали саперов, и те, отогнав и заставив припрятаться по укрытиям детей и зевак, взрывали опасный предмет. Мальчишки всегда старались остаться поближе, рядом с саперами.

Такие интересные события, конечно, случались редко, а лето тянулось бесконечно. Я бродил по пустырям, надеясь найти бомбу или мину, а находил только муравейники. Подолгу сидел на корточках перед ними, длинным прутиком устраивая муравьиные катаклизмы. Тот же бывший партизан рассказал о страшной казни – партизаны поймали немецкого офицера, раздели догола и привязали к стволу сосны над муравейником, оставив на съедение муравьям. До сих пор боюсь муравьев, и когда приходится опуститься в траву, оглядываюсь, нет ли рядом муравейника.

Родители работали, старшая сестра лежала в психушке, и в длинные очереди за хлебом и керосином ходил я. Только они из тех лет и запомнились. Они извивались, будоражились ссорами и роптали, когда обнаглевшие блатные, оттолкнув всех, гурьбой проходили в магазин. Если какой-нибудь инвалид-фронтовик начинал возмущаться погромче, блатные, отоварившись водкой, могли побить, а могли и добродушно покуражиться, если фронтовик вовремя тушевался и не лез на рожон. Фронтовики, наконец, объединились против блатных, к ним присоединились парни покрепче. С тех пор вставляли дружиной перед входной дверью и держали порядок. В очередях я читал.

Читал всюду – на уроках, спрятав книгу под парту, на переменах, на коммунальной кухне с керогазами по числу соседей, ночами под одеялом, отлавливая свет уличного фонаря, и, конечно, в очередях. Если не было в руках книги, я включал воображение и вспоминал прочитанное. «Три мушкетера» с первого раза запомнил наизусть, как будто сам сочинил, и так, в очередях, мысленно перечел его, наверно, раз десять. Когда подходила очередь, прекращал воспоминание, как чтение, на какой-нибудь главе, и в следующей очереди на другой день начинал

Я обернул книгу газетой и боялся, что кто-нибудь из домашних возьмет ее грязными руками. Она стала приносить книги из дому. Однажды забыла принести, я расстроился, и она, колебавшись, решила зайти вечером к ней домой.

Ее дом был в переулке Щербакова, сразу за баней, двухэтажный, с двумя подъездами, как все дома по улице Щербакова и в переулке Щербакова. В подъезде пахло кошками, запах забил даже дух пережаренного сала. А в «полупторной» квартире еще невыносимее пахло закишей стиркой. Этот запах стоял всегда, зимой и летом.

Полупторками такие квартиры назывались потому, что в единственной комнате имелось заглубление, куда помещалась кровать. Кровати, на которых спали вдвоем, укрываясь одним одеялом, тоже назывались полупторками. Они были шире односпальных, но уже двуспальных, которых я, кстати сказать, тогда еще не видел. Обычно заглубление отделялось занавеской, у Ольги Викентьевны оно было загорожено шкафом со стеклянными дверцами, набитым книгами. Оставался лишь узкий проход к кровати. Книги стояли в два ряда, над стоящими были плотно втиснуты лежащие, и чтобы вытащить одну книгу, иногда приходилось вытаскивать несколько соседних сверху или сбоку, а если книга была во втором ряду, вытаскивание ее превращалось в сложную операцию. Ольга Викентьевна всегда подолгу отыскивала нужную книгу.

Она вообще была рассеянной. У нее все кастрюли были подогрешенными, и, наверно, закишим в выварке бельем пахло потому, что из выварки, стоящей на керогазе, постоянно выбегала пенная вода, заливая пламя. Особенно рассеянной она бывала, когда приходил пьяный и мрачный муж Толя.

Толю я знал. Он работал во втором механическом, наладчиком на участке папы. Считался папиным другом и, когда выпивал больше обычного, приходил изливать душу. Жилистый Толя сидел за круглым обеденным столом, как хозяин, а папа словно был у него в гостях. Толе дела не было до того, что в девятиметровой комнате живет семья из четырех человек, в том числе душевнобольная девушка. Мама и сестра уходили на коммунальную кухню и сидели там, ожидая, пока он уйдет. Толя появлялся как бы на кого-то пожаловаться и о чем-то посоветоваться, но неизбежно жалобы переходили в грозный рык и хвастовство. Папа проникновенным голосом старался успокоить: «Толик, все мы люди»... «Что с ними сделаешь, Толик...». На худой конец у него была гримаска потрясенности и выразительный вздох. Толя вопил: «Самолыч! Я таких считал по пятеркам!»

Я долгое время думал, что эти пятерки – отметки, как в школе, и ничего не мог понять, пока не узнал, что по пятеркам охранники в лагерях считают на маршах подконвойных. Толя хвастал не этим, а тем, что режет правду-матку на партийном собрании и даже заместителю начальника цеха Крулю что-то такое завтра скажет в глаза. Хвастовство было одновременно и угрозой – тем, кто его недооценивал. Но они-то его не слышали, а слышал папа, маленький и щуплый, который страдальчески морщился от яростных криков, прикладывал ручку к сердцу, умоляя Толю успокоиться, соглашался, заводя глаза и подняв бровь, что означало всегда «да, но...», и едва Толя замолкал, торопился перевести разговор, сменить тему, осторожно подвести к тому, что да, конечно, все так, но и Круля (Ткаченко, Сергеева, Васю, Николаича, других) можно понять...

Не вникающему в существо разговора, мне было ясно, что понимание папы – это позор и унижение, а Толино непонимание – сила и смелость. Понимание не означало ум, а непонимание не было глупостью. Толя не хотел понимать, вот и все. Папа был мастером, начальником Толи, тот – его подчиненным, но боялся и приспособливался папа, а Толя снисходил. Когда, отбушевав, он уставал, папа придумывал предлог вывести его на улицу и прогуливаться с ним там, чтобы мама с сестрой могли вернуться в комнату, поужинать и лечь спать.

Однажды я видел Ольгу Викентьевну и Толю на Промышленной. Они шли вдвоем в сторону Дома Культуры, наверно, в кино. Она держала мужа под руку, высокая, стройная и совсем не старая. Толя шел трезвый и гордый, что у него такая красивая и заметная жена. Их Таня, годом младше меня, плелась за ними сзади.

С Таней мы вместе были в пионерлагере от Тракторного. Я после пятого класса, а Таня, значит, после четвертого. Смена с самого начала сложилась неудачно, всех терроризировала шайка прибалтанных, шестнадцатилетних с кастетами. Я был влюблен в воспитательницу младших девочек, слонялся в одиночестве по сосновому лесу вокруг лагеря, а вечерами торчал в темноте под окнами леныголка, где старшие отряды танцевали под аккордеон. Таню не замечал, как и всех других девочек. Почти одинаковые, они прогуливались стайками под руку по лагерным аллеям, ненатурально хохотали и стреляли глазами. В последний вечер перед концом смены Таня, наверно, поругалась с подругами и шмыгала носом в темноте на террасе леныголка. Там были сложены стулья, сбитые в пятерки, шаткая пирамида ножек и спинок. Я слонялся под высокими окнами, по тропке среди высокой, по пояс, жгучей крапивы, впитывая музыку, как голодный запахи еды, пьянея от нее, и слышал, как кто-то всхлипывает, шмыгает носом и тяжело дышит. Разглядел фигурку в темноте, в углу террасы, закрытом кустом сирени.

Таня сначала огрызнулась:

– Чего ты тут? Пошел отсюда!

Я сказал:

– Хочу и стою. Ты что, это место купила?

А потом мы сидели на скамейке, и она, всхлипывая, сводила счеты со своими отсутствующими обидчиками – так, будто не я ее слушал, а они: дуры, поселковые дуньки, папа не мордва, а русский, самый настоящий, и вообще он не папа, не отец, она знает, отец был разведчиком в Берлине, выдавал себя за немецкого офицера, погиб в самом конце войны, даже похоронен в Берлине под немецким именем, настоящая его фамилия до сих пор – военная тайна.

Потрясенный, веря каждому ее слову, я изо всех сил изображал умника-скептика, снисходительно усмехался: если тайна, то откуда же она знает? Ей рассказала мама. А мама откуда знает? Она тоже разведчик? Таня загадочно сказала: может быть. Я просил назвать фамилию. Поклялся мамой и Сталиным, что никому не скажу. Таня колебалась. Я презирал ее:

– Врешь ты все, твой отец – Толя Кобзев.

Решившись, она предупредила:

– Только никому.

Я снова поклялся.

Фамилия разведчика была Локтев.

Вскоре после этой смены я видел Кобзевых в «Гастрономе», где Толя, разъярившись, бесстрашно отшвыривал от водочного отдела отпетых бандюг, лезших без очереди, а Ольга Викентьевна в шляпке и Таня ждали его в стороне, у прилавка хлебного отдела. Таня жалась к матери, а мать не реагировала.

А вот в доме в переулке Щербакова, приходя за книгами, Толю ни разу не застал. Глотая одну книгу за другой, приходил иногда через день, в любое время. В каникулы перед восьмым классом уже чувствовал какое-то свое право – для кого-то же собрались все эти книги в шкафу. Других читателей в поселке вроде бы не было.

В Москве или Ленинграде на эту библиотеку могли не обратить внимания, но в тракторозаводском поселке из типовых двухэтажек, где стирали в цинковых корытах «хозяйственным» вонючим мылом и вся стирка – кальсоны, рубашки, халаты, пеленки, все казарменно-сиротского цвета, – вся стирка была развешана на веревках между столбами электропередачи, и всегда что-то полоскалось на ветру, в этом поселке очень неуместно выглядел шкаф, за стеклами которого теснились старые книги. Он и был абсолютно, безнадежно чужеродным. Учительница литературы, побывав у Ольги Викентьевны, осуждающе сказала: «Это все должно принадлежать государству, чтобы все могли пользоваться». Она упрекала Ольгу Викентьевну в кулацкой психологии, но сама этих книг не читала и не собиралась.

Ольга Викентьевна подлизывалась к ней. Она была без диплома, директор взял ее на работу только потому, что кто-то из начальства замолвил слово.

В десятом классе я бегал по букинистическим магазинам в поисках подарка Ольге Викентьевне. Денег было несколько рублей. Ничего не найдя, я заглянул в отдел искусств «Центрального книжного» и увидел новенькую, только что появившуюся в продаже папку репродукций с акварелей Садовникова, виды Петербурга. Одна из акварелей помещалась на обложке папки. Это оказалось по деньгам. Когда принес подарок, и мы, присев за стол, стали вынимать листы из папки и вместе рассматривать, Ольга Викентьевна на одной из акварелей увидела окна квартиры, в которой родилась, и сказала, что отец ее был воспитателем в первом пажемском корпусе, где воспитывался наследник престола. Я знал его имя, потому что на некоторых книгах были экслибрисы «Из книг Викентия Николаевича Литвинчука».

К тому времени уже несколько лет, после перерыва военного времени, выходили собрания сочинений классиков. Чтобы подписаться на них, стояли в очередях, более длинных, чем за хлебом. Если классик был западный – Бальзак, Джек Лондон, Диккенс, Виктор Гюго, – за день до объявленной подписки становились в очередь с вечера, писали номера на руках, составляли списки. Красивые переплеты стали появляться в квартирах вместе с коврами и хрустальными вазами, собирались за стеклами входящих в моду сервантов. Нарядные, как подарочные, они постепенно занимали заметные места за стеклами шкафа Ольги Викентьевны. А книги, стоявшие прежде на виду, постепенно перебирались во второй ряд или за закрытые деревянные дверцы понижу. Я вытаскивал тонкие брошюры из сплывшейся массы без переплетов, как картежник выдергивает карту для прикупа, – но тянул осторожно, старая бумага рвалась легко. Вытащив, рассматривал нерешительно: брать, не брать... Эта была без обложки и первых страниц. Она привлекла внимание только потому, что Ольга Викентьевна удивилась:

– Дай-ка, дай-ка, – недоуменно полистала и вернула, пожав плечами. Что-то с этой книжкой у нее было связано. Таня, как и я, заметила реакцию. Она сидела на диване. В комнатке было так тесно, что все мы касались друг друга локтями или коленями. Таня сунула нос в книгу, которую я держал в руках, и гнусаво, чтобы я не разобрал слов, спросила:

– Это он?

Ольга Викентьевна даже не повернулась в ее сторону. Заинтригованный, я открыл наугад. Там были афоризмы, отделенные друг от друга звездочками, как у Ницше.

«Названия половых органов и действие зачатия сделались бранными словами, но ведь и обращение человека к Богу стало бранью вместо молитвы».

Спросил, что это за книга. Ольга Викентьевна неохотно сказала:

– «Холм Астарты». Астарта – это такая древняя богиня. Тебе будет неинтересно.

– А можно взять?

Ольга Викентьевна снова пожала плечами:

– Попробуй...

На всякий случай обернул хрупкие страницы в газету, вечером перед ужином открыл. Некоторые листы оказались неразрезанными – я был их первым читателем.

«Почему пространство измеряется пространственными мерами, а время – силовыми (сжатыми пружинками, гирьками с маятником)? Потому что время – некая таинственная масса, умноженная на ускорение».

5

Мне удалось отличиться, объявив об этом учителю физики. Он сначала растерялся, потом нашелся: «А солнечные часы?».

И я заткнулся. Позднее сообразил, что и тут время измеряется силой, вращающей Землю вокруг Солнца, но он уже не хотел об этом слушать. Ему это было не интересно. Он знал, что такое время. Его было не сбить.

Меня это поразило. Ну а вдруг кто-то открыл что-то совершенно новое? Как же не допустить такую возможность? Может быть, Локтев не прав, но вдруг он прав? Физик, вместо того, чтобы попытаться понять меня, старается только объяснить мне так, чтобы я понял его. Он нацелен объяснять известное, значит, не настраивается понимать неизвестное. Я начал догадываться, что знания не помогают новому обнаружить себя, а наоборот, мешают, защищаются от него всеми силами.

Я был умненьким мальчиком. Меня не брали в игры, неохотно принимали или вообще не принимали в компании, мне просто не оставалось ничего другого, как читать и быть умным, и ум я воспринимал как горб, который вырастает при искривленном позвоночнике. Я бросил бы любую книжку, если бы через открытое окно меня позвали играть в футбол, но не звали.

Мир был поделен на территории, и я, приехав в третьем классе, был чужаком в том изначальном смысле, который придавал этому слову биолог Конрад Лоренц, описавший территориальный императив в животном мире.

В тот год была очень холодная зима. Полопались трубы теплоцентрали.. Мы спали в пальто, не выключали примус, от которого щипало глаза, и расходовали слишком много керосина. Очереди за керосином сделались больше, чем за хлебом. Во дворах толстые тетки в ватниках долбили в замерзшей земле траншеи над тепло-трассой, бросали в них промасленные тряпки и разжигали костры, размораживая трубы под землей. Теткам было весело от работы. Мимо пробежал продрогший мастер, одна ему закричала:

— Вася, х.. отморозишь!

Я, московский мальчик, хохотал со всеми, чтобы никто не догадался, что я чужак. На самом деле я не узнавал в шутке знакомых признаков юмористического высказывания. Каким-то образом для этих простых течок матерщина заменяла комичность. Было непонятно, почему все хохочут. Я хохотал со всеми и мотал на ус, усваивая территориальное представление о комичном. Теперь оно у меня развилось, Локтев дал этому имя: у комичного и нецензурного была одна и та же функция – преодоление агрессии, демобилизация, расслабление душевной мускулатуры. И физической тоже. Обе мускульные системы расслабляются вместе.

Морозы ослабили, всю ночь шел снег. Утром я вышел и зажмурил глаза. Снег ослеплял, приходилось идти зажмурившись и смотреть под ноги. Путь к керосиновой лавке был наискосок через двор. С каким-то запретным наслаждением я оставлял свои следы на девственном снегу. Метил территорию. Метка заключалась в признаках порядка среди хаоса (или космоса, все равно). Цепочка дотянулась до середины двора строгим двойным пунктиром. Сосредоточился на том, чтобы эту цепочку сохранить до конца идеально прямой, старался не отклоняться и делать шаги одинаковыми. Это было важно.

В конце двора стоял парень в ушанке. Я еще никого не знал и старался обходить мальчишек стороной, но тут пришлось бы нарушить порядок следов. Я продолжал свой путь по прямой линии и приближался к парню. Тот ждал. В двух шагах от него я не выдержал и отклонился вправо. Парень сделал шаг в ту же сторону, не давая пройти. Я остановился. Мы смотрели друг на друга. Я увидел на руке парня прижатые друг к другу пальцы. Указательный и средний. Жест означал, что между пальцами зажато лезвие бритвы, тончайшая пластинка упругой стали чуть больше пальца шириной. Это лезвие было кошмаром поселковых. Бандиты слабым взмахом руки, незаметным со стороны, уродовали лицо или перерезали горло. Женщины советовали друг другу не поднимать шум, если кто-то режет в автобусе пальто, чтобы добраться до внутреннего кармана: поднимешь шум, он полоснет по глазам. Пусть уж берет, что найдет.

Я замер, глядя немного мимо. Чем-то я веселил парня. Постояв, тот быстрым движением сбил мою шапку в снег. Никакого лезвия между пальцами не оказалось. Это был всего лишь «понт». Я выждал еще секунду, и со скоростью пистолетной пружины подхватил шапку, отпрыгнул от парня и убежал. Возвращаясь домой с полным керосиновым бидоном, пошел в обход по расчищенным от снега асфальтированным улицам, чтобы не встретить шутника.

Потом несколько раз встречал его на улицах. Парень радовался встрече, как неожиданной забаве, и спешил ко мне. Я останавливался и цепенел. Мы не обменивались ни словом. Однажды парень

легонько провел лезвием по щеке, я не шелохнулся. Порез был очень слабым, выдавилось несколько капель крови. С веселым любопытством парень полюбовался на результаты своей работы и, приплясывая, ушел. В следующий раз снял мою ушанку, поиграл ею, как маялкой, и снова нахлобучил.

Мысль о сопротивлении не приходила в голову. Парень вел себя так уверенно, что я признавал его право на это. Эта разница между хозяином и чужаком открылась мне очень рано, лет на сорок раньше, чем прочел о ней у Конрада Лоренца. Хозяин знал территорию, знал правила игры, владел порядком, чужак пребывал в незнании.

Парень был болезненный, сморщенный, много слабее меня. Это не так важно, в те годы близость к блатным корешам значила больше физической силы, а у парня старший брат был грозой поселка. С младшим, который полоснул мне по щеке, оставив след, похожий на прививку оспы (это и было прививкой жестокости места, в некотором смысле инициацией, посвящением в свои), со Стасом, мы потом подружились. Наша дружба заключалась в том, что он рассказывал, а я слушал. Он ценил восторг познания в моих глазах. Я смотрел ему в рот. Мальчишки не умеют слушать, он ценил мою любознательность и сам искал меня, чтобы поразить очередным рассказом.

Так Стас рассказал, как пьяные брат с дружкой отшворили Людку, дочь капитана милиции Егорова. Веселая компания для смеха затащила на девушку малолетку Стаса. Содрали с него штаны. Ему приказывали, что он должен делать, и гоготали, убедившись, что он для этого слишком мал. Стас расписал во всех подробностях, в каком смешном положении оказался, когда им елозили по пьяной Людке, которая стала очень задаваться своей дыркой.

Очень задавалась дыркой? Я еще не совсем представлял, есть у девочек то, что было у меня, или нет. Но, в общем, давно уже все понимал. И в то же время ничего не понимал, потому что воображение мое, живое и даже, может быть, не совсем нормальное, не включалось и свою часть работы не совершало. И значит, знание в меня не входило. Что-то не пропускало его внутрь. Вообразить то, о чем рассказывал Стас, а до него другие, многие, разные, вообразить это с близкими, знакомыми, с теми женщинами, которых любил и уважал, было невозможно, как невозможно, например, вообразить пытки или смерть. Я еще мог вообразить, как пытаются меня (идет война, я знаю, где партизаны, немцы поймали меня и пытаются, а я молчу), но вообразить, как пытаются маму, было нельзя. Воображение само отключалось, внимание само отвлекалось. То же происходило с рассказами о дырке. Я жадно слушал, напрягался, в ушах появлялся гул. Я оказывался внутри звукового кокона, окруженный шумом, как ватой, и опасное знание не проникало сквозь этот барьер. Чем сильнее было желание узнать, тем сильнее волновался, сильнее шумело в ушах и непроницаемое делался кокон.

В то же время другая часть сознания, не связанная с воображением, признавала, что все, что говорят Стас и другие, — это не поклеп и не хулиганство, а правда. Между этой абстрактной частью сознания и областью, запретной для воображения, существовала граница. Она оказывалась подвижной. Я нарушал ее — ну, например, признавал, что все дети появляются на свет от любви мужчин и женщин, — граница рушилась, но тут же вступали в действие резервы сопротивления, и они укреплялись на новых рубежах, защищая остатки незнания.

Поэтому, признав общий закон происхождения детей, я мог не применять его к каждой женщине в отдельности, как если бы закона не было. Незнание было умудреннее знания, даже, пожалуй, осведомленнее знания, и обреченное, оно сопротивлялось.

Со мной происходило то же, что с учителем физики, когда я пытался объяснить тому идеи Локтева о времени. Локтев называл это генеральным стремлением всего живого от неопределенности к определенности. Это стремление, с одной стороны, сделало нас способными к знанию и, значит, к жизни вообще, а с другой не впускало в сознание то новое знание, которое превращало определенность в неопределенность.

Отношение к женщине тоже было территориальной меткой. Не было темы важнее. Да что там важнее – других тем вообще не было, кроме, пожалуй, выпивки, которая для малышей еще не стала актуальной. Тогда, на четвертый год после войны, еще не было слова «трахаться». В пионерлагере вожатый «отшворил» пионервожатую. Он горделиво помалкивал, но пацаны постарше ржали. Они были все приبلатненные, их даже вожатые боялись. Ходили с ножичками, могли пырнуть. Русифицированный глагол, как и исконный, заключал в себе столько гадливости, был оскорблением такой силы, что вежливый мальчик ни при каких обстоятельствах не мог бы отнести его ни к учительницам, ни к маме и сестре, ни к кому из знакомых женщин и девочек. Ни при каких обстоятельствах. Никогда.

Мальчишек это мало интересовало. С конца апреля, едва подсыхало, они, выбегая из школы, уже со школьного крыльца ногой посылали в воздух мяч, орущей гурьбой бежали за ним, пинали его на всех площадках, и на школьном, где были юношеские, поменьше взрослых, ворота с сеткой, и в малопригодном для игры овраге, где приходилось обегать лужу посреди скользкого глинистого дна. Во всех дворах бегала с мячами дошкольная детвора и играли в круговой волейбол девочки, заядлые и крикливые или ленивые и кокетливые. Удары по мячу стихали лишь в темноте, когда мяч уже не различался на низком облачном небе. Меня не брали в команды, я сидел у кучки сваленных портфелей или одежды и болел за «своих», чувствуя себя частью команды, переживая с игроками азарт, вопя при забитом мяче и стеная при промахе. После игры, не растратив силы, шагал рядом с уставшими школьными форвардами и голкиперами, счастливый, если кто-нибудь из них давал какое-нибудь пустяшное поручение. Девочки еще продолжали перебрасываться мячом в кругу. Идти домой никому не хотелось.

Была среди них и Дуля. Я тогда ее не знал. Меня смущали ленивые, пухлые и кокетливые блондинки. Дуля говорит, что она была ловкая и прыгучая, как кошка. Одну такую ловкую и красивую девочку я всегда искал глазами в девичьих компаниях и терял к ним интерес, если ее не было. Наверно, это и была Дуля.

Дуля лежала в изоляторе, потому что костный мозг ее уже не вырабатывал лейкоциты и она была беззащитна перед любой инфекцией. В гематологии не хватало мест, три кровати стояли в коридоре. Около двери в изолятор лежал русскоязычный Густав (забыл, откуда у российского человека такое имя). Густав умирал от лейкемии. Его

узкий, в старческих пятнах череп косо лежал на подушке, худая нога высунулась из-под одеяла, мешая пройти. Месяц назад Густав Широкий, бывший начальник отдела в московском НИИ, был гоношистым самовлюбленным вруном и очень тогда этим раздражал. Теперь ныл и попрошайничал. Увидев меня, подозвал. Оказывается, заметил, что я держу в холодильнике малиновое мороженое. Это мороженое диетолог прописала Дуле, которая отказывалась от пищи, но Дуля и его отказалась есть, и вот Густав ждал моего прихода, чтобы шепотом попросить. Я сбежал за пластиковым стаканчиком, наполнил ледяной массой, прихватил ложечку. Рядом на стуле сидела, опустив карие глаза, его жена. Она притащила мужу пакет со всяческими супермаркетовскими деликатесами, мороженое тоже, но Густаву захотелось то, что прописали Дуле. Я сунул Густаву и поспешил отойти, чтобы не видеть, как он будет жадно и некрасиво чмокать. Между бесстыдством попрошайничанья и недавней самовлюбленной навязчивостью была связь, заметная, как кривая графика на листе бумаги. У уставшей жены Густава не было уже сил реагировать, она клевала носом на стуле. Мне бесстыдство внушало ужас. Да, те, кто держались с достоинством до конца, этот конец приближали, но я почему-то не ощущал их жертвами, а Густава ощущал. Наверно, это было чувство самосохранения. Наверно, он в чем-то был мне ближе, и мне легче было поставить себя на его место. Не знаю. На другой кровати лежала лицом к стене старуха. Натянув одеяло на голову, она открыла зад в толстом лиловом памперсе. Над ней на белесой стене висела репродукция «Подсолнухов» Ван-Гога. Была какая-то связь между подсолнухами, жесткими, как жесть, и желтым цветом старухи, словно бы засохшим под здешним солнцем. Санитарка Ленка, проходя мимо с ведром и шваброй, не поправила одеяла, и старуха продолжала выставлять на обозрение лиловый памперс, окруженный несвежими морщинами. Быстро прошла медсестра Ида со шприцем в руке и на ходу задернула простыней зад старухи: гематологическое отделение – не морг.

Смерть была бесстыдством. Бесстыдство, как раковые клетки, последовательно, поэтапно, уничтожало клетки стыда. Раскрутилась какая-то пружина, кончился завод стыда, и это было страшно.

Может быть, это моя заморочка. В детстве у меня эта пружина была перекручена до отказа, слишком туго, еще чуть-чуть – она бы лопнула и я вместе с ней. В пионерских лагерях панически боялся, что кто-нибудь увидит меня голым. Раз в неделю нас возили в общественную баню, давали обмылок и цинковую шайку, я торопился напустить обильную пену внизу живота и загораживал свой стыд шайкой. Если это не удавалось, старался поворачиваться ко всем спиной.

Единственным местом мытья в тракторозаводском поселке была двухэтажная общественная баня. Первый этаж занимали душевые отделения с кабинками, второй – общие отделения. В душевые кабинки надо было брать билеты заранее, в билетах указывалось время. Надо было успеть за двадцать минут раздеться, помыться, вытереться и снова одеться. Зимой это иногда бывало трудновато, обилие одежды мешало. Мыться под душем считалось делом не очень уважительным, в чем-то подозрительным, не совсем русским. И все равно я ходил в душ. Однако душевое отделение часто закрывалось на ремонт и приходилось идти в общее, с раздевалкой, мыльной и парилкой. В середине мытья иногда заканчивалась вода, и, ожидая, пока она снова пойдет, люди сидели намыленные, некоторые – с намыленными головами,

и у них щипало глаза. Мужское и женское отделения разделялись стеной с запертой дверью. Однажды по дружному визгу женщин за стеной я понял, что вода закончилась там. Визг еще не утих, как дверь распахнулась. Голая женщина, держа перед собой шайку, решительным шагом зашла в мужское отделение и подставила шайку под кран. Вода набиралась долго. В мужском и женском отделениях стояли хохот и визг. Нарушительница держала голову гордо и вызывающе, ни на кого не смотрела и тем же решительным шагом, уже менее величественным, потому что в руках была тяжелая шайка с кипятком, который она боялась расплескать, вернулась назад и закрыла за собой дверь. Мужчины еще долго продолжали мыться с веселыми, совсем не похабными улыбками. Как-то потом я видел эту немолодую толстуху в «Гастрономе» – заставляла продавщицу перевесить покупку, ей якобы недовесили, обычная тетка, такая же, как все. Я смотрел на нее, как другие смотрят на знаменитых футболистов, актеров или космонавтов, поклонялся ей на расстоянии: она смогла. А я продолжал напускать пену на стыдное место при мужчинах. В другой раз горячая вода исчезла у нас, и молодые рабочие парни, подождав несколько минут, подхватили шайки и двинулись к разделяющей двери гурьбой. Она оказалась не запертой. Парни, распахнув, пошли к крану. Кто-то из них громко, успокаивающе и в то же время шутливо крикнул:

– Здравствуйте, бабоньки!

И опять все происходило совершенно не похабно. Я стоял почти в открытой двери. В нескольких шагах за ней визжали, смеялись и прикрывались руками девочки из старшего класса.

Этот девичий визг, эти улыбки пожилых мужиков не имели ничего общего с чувством комического. Девчата, как и я, немного сошли с ума. Своим громким визгом они привлекали к себе внимание. Им было стыдно, но они хотели испытать этот сладкий стыд, они визжали, чтобы на них смотрели.

Что-то подобное испытывал и я, при этом зажмурился, чтобы не видеть девочек подробно. Даже лиц не разглядел, и с тех пор каждая старшеклассница при встрече вводила в смущение: не она ли визжала и, значит, видела меня голым?

Такие темы обсасываются сексологами. Никогда не понимал, зачем во всем этом копаться. Ну, допустим, специалисты правы, это называется эксгибиционизмом.

Ну и что? Научные термины лишь вначале дают иллюзию знания. А потом оказывается, что это не знание, а новый ярлык в супермаркете. Берешь в руки упаковку, читаешь на ней: «Эксгибиционизм», и кажется, что что-то купил, а знания как не было, так и нет. Ну и что мне дало такое умное слово? А обнажение чувств? А желание поделиться, раскрыться, оголиться душевно, как герои Достоевского, по поводу которых Локтев написал:

«Подсолнух раскрывает свои лепестки с первыми лучами солнца, обнажает свои органы оплодотворения на ярком свете, поворачивает голову вслед за солнцем, а на ночь снова закрывается лепестками, как одеждой. Так же вели себя люди. Первая их богиня олицетворяла солнце. Имеет смысл вспомнить смысл слов: богиня олицетворяла – творила лицо того, что лица не имело. Люди с ужасом провожали ее вечерний уход под землю, каждый раз им казалось, что наступал конец мира, они звали ее, потом отчаивались, потом забывались в тоске, избывали ночь в звериной дремоте, закрывались шкурами, как

подсолнухи, закрывшие лепестки, и как величайшую милость приветствовали утром восход, подставляли лица под его лучи и кожей, губами, носами, смеженными веками впитывали тепло, раскрываясь навстречу ему, как подсолнухи на высоких стеблях».

Возможно, это не совсем так. Женщины не яблони, мужчины не подсолнухи. Да ведь дело не в том, так это или не так. Кого ни возьми – Маркс, Юнг, Фрейд, – все заблуждались, все оказалось не так, но они для нашего понимания жизни сделали больше, чем те, кто не ошибался ни в чем. Не ошибаются изготовители ярлыков, классификаторы. Локтев не изобретал ярлыки, а пытался их стереть, потому и избегал научной терминологии, потому и не создал новую междисциплинарную науку, а пытается слить уже существующие вместе. Пусть ученые занимаются наукой, но, мне кажется, им не помешало бы лучше отдавать себе отчет в том, чем они занимаются. Наука – это все-таки не религия, не надо путать одно с другим. Меня оставляет равнодушным указание калорий на упаковках в супермаркете. Это вполне научно, но калории разных продуктов усваиваются по-разному, и мне это сообщение ничего не дает.

Дуля помнит тот случай в бане. Это было, говорит она, в среду, потому что она с подругами ходили всегда по средам, а в четверг баня закрывалась на выходной и выстуживалась. Она не помнит, видела меня или нет. Я помню, что не видел и не знал, что она там была.

К тому времени я успел повидать фотографии голых девушек, маленькие, как игральные карты, и такие же замусоленные. Девушки на фотографиях стояли перед фотокамерой совершенно голыми, а потому беззащитными. Это было и страшно и так прекрасно, что захватывало дух. Я относился к ним, как к той тетке в бане: они смогли. Нет, лучше, чем к той тетке: они доверились хотя бы фотографу, но в какой-то степени и мне тоже.

Это был мой личный ключ к отношению полов. Боюсь, что другим ключом я так и не обзавелся. Чтобы родились дети, мужчины и женщины должны совершить своими половыми органами некоторую последовательность действий. Для этого надо сначала преодолеть стыдливость и раздеться. И вот это доверие, даже жертва, потому что раздеться очень страшно, но ты делаешь это, – это и есть, «догадался» я однажды, когда начал читать романы о любви, кажется, Стендаля, кажется, уже пятнадцатилетним, – это и есть любовь, о которой поется в песнях. Если любишь, ты даже хочешь быть беззащитным, ты разденешься с радостью. Ты поручаешь себя единственному человеку, которому доверяешь видеть тебя голым. А уж после этого ничто не было страшно, никакие прикосновения, проникновения и действия половыми органами, от которых рождаются дети.

Все женщины, у которых были дети, пережили хоть однажды с каким-нибудь мужчиной счастье доверия. И мужчины, конечно, тоже, но про мужчин было неинтересно, а женщины изумляли. Какой бы грубой и безрадостной ни была их жизнь, где-то в глубинах их памяти, заваленный обидами, мелочностью, унижением, страхом и усталостью, сохранялся, как клад под землей, след того доверия. Эти женщины окружали меня дома и в школе, шли рядом со мной по улицам, ехали в трамваях и автобусах и хранили в себе давний след. Хоть раз в жизни они испытали счастье или у них не вышло, но они пытались.

С возрастом стыдливость убывает, пока не сходит совсем на нет, и это не связано с продолжением рода. Опять же, Локтев заметил,

что у животных нет стыда, и это не мешает им продолжать род. Феномен стыда натолкнул его на мысль, что духовные процессы подчиняются законам информации.

7

Умненький мальчик, сознающий, что ум – это удел отверженных и неполноценных, я очень низко ценил его в себе, но очень высоко ставил Разум вообще. Все плохое в жизни – злоба, пьянство, драки, общая нелюбовь к евреям, – могло быть побеждено только им.

Исчезла поселковая шпана и картофельные делянки на железнодорожных откосах, забылись драки «шанхайских» и «слепяньских». Исчезли инвалиды войны в очередях и сами очереди за керосином, мукой, сахаром и хлебом, исчез шлагбаум перед железной дорогой, через нее построили мост, по нему проходили два трамвайных маршрута, поселок слился с городом, в нем было много трехэтажных домов и три «Продмага». Он превращался в чистое и удобное место для жизни. Мы из девятиметровой комнатки переселились в двадцатиметровую. Маме стало легко добираться на работу и в больницу, когда туда попадала сестра Лена. В магазине можно было выбирать белый, черный и другие хлеба.

Я знал, что так было во всей истории человечества, которая развивалась от одного открытия и изобретения к другому. Слова «прогресс» и «разум» означали для меня одно и то же. Я зачитывался романами про бывших фронтовиков, ставших председателями колхозов и строителями сибирских магистралей, – они строили царство разума. Любимой книгой какое-то время был, пожалуй, «Таинственный остров» Жюль Верна – четыре инженера, оказавшись на необитаемом острове, силой инженерных знаний и труда превратили его в изобильное хозяйство.

Локтев не должен был мне понравиться.

Страницы его рассуждений я просто пропускал, выхватывая глазом короткие афоризмы:

«Человек стал человеком только тогда, когда вообразил себя чем-то иным».

«Природа человека в том, чтобы не жить по своей природе».

Я обожал парадоксы. В остальном книга показалась скучной. Понес ее к Ольге Викентьевне недочитанной. Мне никто не открыл. Через несколько дней мама, проводывая в больнице больную подругу, увидела там Ольгу Викентьевну. Вернулась домой растроганная:

– Ольга Викентьевна тебе привет передавала. Сходил бы к ней, а то как-то нехорошо получается, ходишь, только когда книги нужны.

Мама всегда боялась быть кому-нибудь обязанной. Снабдила банкой вишен и куриным бульоном в пол-литровой банке, упакованной в кокон из старых газет. Я упирался, но заставила. Обе банки поместились в сетчатую авоську. Туда я вложил и обернутый в газету «Холм Астарты», чтобы читать в автобусе.

Я попал в час, когда ехала с завода первая смена, ждал автобус на остановке против заводской проходной, нервничая оттого, что остывает бульон. Наконец, автобус показался. Перегруженный пассажирами, он кренился к тротуару. Вокруг собралась большая толпа. Когда автобус подкатил, все кинулись к передней дверце. Водитель знал, что, стоит ее открыть, ринутся снаружи, закупорив тех, кто

внутри. Поэтому он проехал метров двадцать, отрываясь от толпы. Я побежал вместе со всеми, стараясь не расплескать бульон. Автобус остановился, и из него посыпались люди. Они выталкивались спинами вперед, чтобы, выпустив выходящих, вновь ворваться внутрь. Некоторые цеплялись за поручни, не давая выйти другим. Кого-то вышвырнули пинком, он упал на тротуар, вскочил, и началась драка. Мне удалось просунуть руку и ухватиться за поручень. Автобус тронулся, а ноги еще находились снаружи, и я бежал рядом с открытой, зажатой ногами и спинами дверцей, пытаюсь уже не забраться внутрь, а выдернуть руку. Завопила тетка на первом сидении:

– Рука! Рука!

Водитель резко затормозил, все повалились вперед. Кто-то выпихнул дядьку, из-за которого не закрывалась дверь. Дядька повалился на меня, рука выдернулась и я боком упал на тротуар, не выпуская авоськи. Банка с бульоном лопнула, горячий бульон вылился на штаны. Следующий автобус подкатил сразу вслед за уехавшим. Он тоже был переполнен, и я стеснялся, что от меня пахнет бульоном. Пятно на штанах, к счастью, было ниже колена. Когда добрался до Первой советской клиники, оно задубело, а запах выветрился. И тут обнаружил, что книга, обернутая бумагой, залита бульоном и страницы ее слиплись.

Дома освободил стол и стал их разлеплять. Многие были испорчены бесповоротно. Вглядываясь, поневоле зачитывался. Вечером, когда пришла мама, я все еще занимался этим. Изорвал листов двадцать, уже начал рвать и то, что можно было спасти. Мама попыталась помочь. Заггла лампочку, приблизила страницу к близоруким глазам, прочла:

– «Человек обязан жить для себя, иначе надо просто закрывать лавочку – чтобы жить для других, не нужно ни способностей, ни талантов, ни воли. Все выродится, поле битвы достанется посредственностям». Что это?

– Это философия, – сказал я.

Мама заглянула еще в одну страницу и сказала:

– По-моему, это какой-то фашист.

Для нее все было просто. Старшая моя сестра была душевнобольной. Она, например, считала, что соседи хотят ее отравить, и не ела несколько дней, доведя себя до обморока. И при этом однажды попыталась отравиться сама, съела горсть каких-то лекарств. Ее едва спасли врачи. «Скорой». Казалось бы, если хочешь отравиться, чего бояться, что это сделают другие? Но ей годился любой способ мучить близких. Папа слег с инфарктом, мама кричала «Ты нас всех угробишь!» и рыдала. Два хороших, здоровых человека жертвовали собой, чтобы спасти дочь вопреки ее собственному желанию, погибли ради одного паразита, который вообще не хотел жить.

Самые разные люди советовали отдать Лену в психушку, говорили, что там ей будет лучше, – мама не соглашалась. Мама в молодости была красивой, в нее влюблялись московские поэты, около нее крутились интересные люди, отец обожал ее, они так хорошо жили, пока не родилась Лена! И сразу все разрушилось. Я появился через семь лет после сестры, перед самой войной, мама уже составила в заботах о душевнобольной.

Это был абсурд арифметический: если считать и меня, трое уничтожались ради одного. И никто не мог убедить маму, что это абсурд. Она не понимала.

Она вообще не понимала, что человек может жить для себя,. Когда на рынке появлялись первые вишни, она покупала кулек, свернутый из четвертинки газетного листа, чтобы дети получали витамины и радовались. Радость детей переживала, как собственную, мы наслаждались – она сглатывала слюну. Сама не брала в рот ни ягодки. Ее уговаривали втроем, и когда сдавалась и позволяла втолкнуть ягоду себе в рот, – ей неприятно было. К концу сезона рынок был уже завален черешнями и вишнями, в поселке варили варенье, но мама с папой и тогда не ели ягод.

Папа тоже не умел жить для себя. Из-за этого долгие годы не мог получить квартиру. Мама говорила про него: «Лева этого не умеет». Он и мастером был, наверно, не очень хорошим, потому что всегда «входил в положение» рабочих, а должен был наказывать. Мама, опаздывая на работу, не могла сесть в автобус. Ее и вообразить нельзя было в такой свалке. Она вставала пораньше и четыре километра до центра города шла пешком,.

Она книг не читала – и некогда было, и зачем, если знала, как жить. Найдя то место, которое прочла, я отлистнул: «Не обязаны ли мы освободиться от того, что нам навязали насильно в младенчестве, пользуясь нашей беспомощностью? Не обнаружим ли тогда, что худшие таким образом подчиняют себе лучших?»

Я уже достаточно был начитанным, чтобы понимать, что из этого совсем не следует, что автор – фашист. Фашисты как раз не жили для себя, интересы Великой Германии считали выше собственных и умирали за Гитлера. Мне нравилось то, что прочел. Но все сложилось так, что нам, маме, папе и мне, почему-то нельзя было быть свободными и разумными. Если бы мы попытались, получилось бы что-то вроде маминой подруги Полины. Та умела только ныть, жаловаться на болячки и на людей, а мама терпеливо выслушивала, кормила и утешала. И вот если перед Полиной оказывалась тарелка с вишнями, поставленная для всех, эта баба, продолжая жаловаться, протягивала руку за одной ягодой, за другой и съедала все, сама того не замечая. Она была так глупа, что просто не умела думать о ком-нибудь, кроме себя. Мама говорила о Полине: «Она такая несчастная», а я ненавидел неопрятную толстуху и ни за что не согласился бы сделаться похожим на нее, даже если это и было, как писал Локтев, моей обязанностью. Чтобы жить для себя и не стать таким, как она, от меня требовалось что-то, превышающее мои силы. Видимо, люди все-таки рождались неравными. Кто-то умел жить для себя, и это было красиво, но у всех Кишкельманов, включая меня и сестру, такого таланта не было.

Что ж делать с детскими надеждами на прогресс разума, если мне самому заказана возможность жить разумно? Если не на разум, то на что еще было надеяться? Как относился к этому Локтев? Я поискал, но вместо ответа нашел такой абзац:

«Маркс, Фрейд и Эйнштейн одержимы еврейской идеей единого Бога. Эта троица, как все их предки, видит в мире одну-единственную причину, каждый свою, и все выводит из нее одной. У Маркса экономика, у Фрейда сексуальность, у Эйнштейна – единая теория поля, в котором гравитация не отличается от электромагнитной индукции, а время – от пространства, и вся эта чушь преследует единственную цель – привести людей к единому Богу. Ради этой цели их предки разрушили великую языческую культуру Ханаана, тысячелетие спустя –

античность, теперь – Европу. Каждый еврей хочет быть пророком при своем Боге, но они не могут договориться друг с другом».

Я перечитал несколько раз. Не Гитлер, оказывается, разрушил Европу, а евреи? Пусть это написано в 24-м году, когда о Гитлере еще никто не знал, и Европа еще не была разрушена (автор, наверно, о европейской культуре говорил, а может быть, о Первой мировой войне), пусть концлагерей еще не было и слова не имели теперешней жуткой цены, пусть для автора не было разницы между Богом христиан, мусульман и евреев, но он черным по белому написал, что евреи – мировое зло, и что этого обстоятельства не изменят никакие их занятия, убеждения и чувства. Будь они марксистами, антимарксистами, физиками или врачами, они остаются злом. Он не оставлял мне, еврею, никакого шанса.

Какое-то право у него было: я испортил единственный экземпляр его книги. Когда Ольга Викентьевна взглянула, она невольно вскрикнула. Я торопливо рассказывал, что случилось, и с ужасом увидел, как на ее невозмутимом лице промелькнула, как судорога, гадливость. Не злость, не досада, а именно гадливость. Такая судорога бывает, когда человек входит в ледяную воду или неожиданно видит омерзительного гада. Ольга Викентьевна тут же справилась с собой и беспечно сказала:

– Не переживай.

Но я уже упал духом. То, что увидел, я воспринял так, словно бы под маской проглянуло истинное лицо. Она сделалась дружелюбно внимательной, я уже ей не верил. Надо было спросить ее о здоровье – и не мог. Она тоже тотчас упала духом, отвернулась, запикивая книгу в шкаф, и долго вытаскивала и переставляла соседние, освобождая место. Преодолев ступор, я пробормотал, что очень интересная книга, скромно добавил, что, конечно, не все понял...

– Да все ты понял, – сказала она почти с досадой, закрыла шкаф, устало присела на диван, подняла глаза и вздохнула. – Ты очень чуткий. С тобой трудно.

8

Со мной всем всегда было трудно. Ненужная, лишняя сложность висела на мне, как грязь, как мокрые штаны, как желтая звезда. При этом жил среди простых людей и изо всех сил старался стать таким, как они. Пытался материться, пил, называл женщин «бабами», и ничего из этого не получалось: то был наглым, то неискренним, то похабным. Наверно, впечатление складывалось омерзительное. Я и сам это чувствовал. Простота, присущая от рождения, например, Дуле, мне не давалась, как ей геометрия. Естественно, что недостижимое для себя я переоценивал в других.

С раннего детства простые сверстники учили меня жизни. Они часто ненавидели и не понимали друг друга, выбирая меня наперсником, с которым можно всем делиться, и все же оставались ближе друг другу, чем мне. Они могли лукавить, хитрить, ерничать, изображать из себя невесть что, и при этом продолжали оставаться простыми.

Простыми они были не потому, что жили среди природы и зависели от земли, как звери и первобытные племена. В этом смысле они как раз не всегда были простыми. Сосед по 312-ой комнате в общежитии, Петró (я поступил в Московский автомеханический институт на Большой Семеновской, общежитие было в Измайлово на Седьмой

Парковой), так вот, Петро был сыном завмага из Коврова, там хлебопашеством не пахло. Он единственный из всех знакомых читал про калории на продуктовых упаковках. Трудно сказать, в чем заключалась его простота, но она была очевидна.

Петро был помешан на пользе. Не пил и не курил ничего, кроме дармового, не играл в карты, не читал книг, признавал только физиологические потребности и из них ниже всего ставил половую. В отличие от голода, она не требовала денег. Рядом на Первомайской был клуб какого-то завода. Петро шел туда на танцы, приводил девушку, и, «удовлетворив потребность», говорил:

– Ну, я тебя провожу, чтобы дежурный не застукал.

Выводив на крыльцо, подталкивал в спину:

– Ну, будь здорова.

Если девушка намекала, чтобы проводил до дома, потому что страшно идти ночью, он отвечал:

– Ничего страшного, все уже спят.

Если просила оставить ее до утра, не соглашался:

– Что ты, а если тебя застукают? Я из общаги полечу!

Фабричные девчата предпочитали приходить к студентам с подружкой. Вдвоем им было спокойнее, подружка подстраховывала в случае чего: парни им попадались разные. Беззлобный флегматичный Петро нравился многим. Ему было удобно сделать соседа по комнате своим напарником. Каждый раз, отправляясь на танцы, он предлагал:

– Может, прихватить и тебе? Какую-нибудь посисястее?

Признавая разумность предложения, я все не мог решиться:

– Как-то я... как-то у меня... Давай в другой раз.

Петро с девушкой запирались на ключ и оставляли его в замке, чтобы нельзя было открыть снаружи. Петро боялся проверок студсовета: приводить в общежитие девушек строго запрещалось. А я, если возвращался раньше времени и натыкался на запертую дверь, уходил и околачивался где-нибудь еще час или два. Рядом был Измайловский лесопарк. Можно было бродить по аллеям.

Однажды это надоело. Постучал. Петро впустил и вернулся к девчонке. Чувствуя себя глупо, стараясь не смотреть в сторону тяжело дышащей пары, я, однако, не ушел, а лег в чем был на свою кровать. Петро что-то шептал девчонке на ухо. Ей это не нравилось. Он продолжал шептать, она возражала. Он потерял терпение:

– Ну и пошла...

Девушка села. Платье висело на стуле возле руки. Петро еще что-то сказал, матерное и злое. Девушка всхлипнула, и, стирая кулачком слезы, сказала:

– Я так и знала, что устроишь мне хор мальчиков.

Все, кого Петро приводил с танцев, боялись «хора мальчиков». Это казалось им дном пропасти. Они страшали друг друга этим больше, чем триппером. Триппера боялись не они, а мальчишки. У одной из девочек, подозрительно прыщавой, в сумочке была справка от венеролога, что здорова, – для тех, кто интересовался. Эта девчонка и сидела на кровати, плакала и не шевелилась, потому что не знала, что делать. Петро просил ее за своего единственного соседа. Это лишь с большой натяжкой можно было считать «хором мальчиков», но создавало прецедент. Стоило из-за этого ссориться с Петром или не стоило, девушка не знала. Ее смущало, что я лежу молча и не шевелюсь.

Осмелившись взглянуть, я встретил настороженный взгляд и тоже сел. Скорее всего, мне хотелось, чтобы девушки в комнате не было. Каким-то чутьем она догадалась обо всем, что во мне творилось, расслабилась, вдруг фыркнула сквозь слезы, упала лицом в подушку, натягивая простыню на голый зад, и кокетливо сказала:

– Петро-о, ну что-о ты разле-егся.

Петро перелез через нее и, вприпрыжку в штаны, поторопил:

– Ты чего? Давай.

Я струсил:

– Мм-мм... э...

– Я хочу курить, – решила девушка и снова села. Схватила платье, натянула на себя, и к ней сразу вернулась уверенность.

– У тебя есть сигареты?

У меня не было.

– Ты не куришь?

В это время ноги ее влезали в белые туфельки-лодочки на шпильках. В ожидании ответа, она наклонилась и пальчиком направила пятку. Я сказал:

– Нет.

– Правильно, – сказала она. – Курить вредно для здоровья. Дай мне сумочку.

Сумочка оказалась на столе возле окна, маленькая и черная, такие назывались «ридикюль». Пока я соображал, девушка пересела с кровати к столу, дотянулась до сумочки, вытащила пустую пачку «Дуката» и заглянула – вдруг там завалялась сигарета. Уселась поудобнее, нога на ногу. Хмуро наблюдая за ней, Петро нетерпеливо спросил:

– Ты дашь ему или не дашь?

– А ты что волнуешься? – сказала она. – Он сам не маленький.

Я волновался и молчал. Петро таращился. На улице стемнело, грязное окно покрылось каплями, и в темноте девушка стала казаться стройной, а лицо, на котором перестали различаться прыщи, – красивым. Так было со мной всегда: все плохо различимое делалось прекрасным. Я понимал, что с той минуты, как девушка переключила внимание на меня, она стала чувствовать себя такой, какой ее видел я. Еще пять минут назад она видела себя глазами Петра и делала то, что хотел Петро. Тогда она могла «дать» и мне, и ему. Теперь не даст никому. Я еще не догадывался, что так будет со мной всегда: женщины рядом будут видеть себя такими, какими их вижу я, то есть совсем не такими, какие они на самом деле.

– Валь, дай трояк, – попросил Петро. – Схiliaю-ка я в магазин.

– У меня нет.

– Я ж видел. Там, где сигареты.

Девушка подумала, вздохнула и вытянула из сумки трехрублевку. Повеселевший Петро убежал. Надо было не опозориться, но чем дольше я собирался с духом, тем труднее было решиться.

– Ты на каком факультете? – спросила девушка. – На конструкторском?

– Почему на конструкторском?

– На механико-технологическом? Математика у тебя как?

– Нормально.

– У меня плохо. Я на следующий год в Плехановку буду поступать. Но вот математика.

Плехановка... Ее не волновало, верю я ей или не верю. Вошла в роль. Ей пока было нескучно.

Петро вернулся счастливый: в магазине наскочил на портвейн по рубль двадцать семь, так что денег хватило на две. Включив свет, он тоже сразу понял, что девушка сегодня не даст. Стакан был один, пили по кругу. После второго девушка сделалась агрессивной:

– Нехорошо просить у девушки деньги, Петро. Может быть, у вас в Коврове это и принято, а в Москве это некрасиво.

– Да пошла ты, – удивился Петро, – я тебе завтра отдам.

– Сам пошел, хер моржовый.

Начав, она уже не могла остановиться, наорала на Петра и, на ходу прихватив сумочку, хлопнула дверью.

– Что ты ей такого сказал? – заинтересовался Петро.

– Вроде ничего...

– Ну и пошла.

Петро словно бы родился рассудительным, нелюбознательным и себе на уме. Рассуждать ему было легко: мир делился на полезное и бесполезное, разум был дан, что отличить одно от другого. Не чуждый и азарту, он был способен увлечься. Походы в клуб превращались в охоту, где девушки были дичью. Видно, и такая древняя потребность требовала удовлетворения.

Я к этому времени уже прочел «Лекции по введению в психоанализ» Фрейда, которые нашлись в шкафу Ольги Викентьевны. Я даже Спинозу читал: «Чем более кто-либо стремится и может искать для себя полезного, тем более он добродетелен, и наоборот, насколько кто-либо пренебрегает собственной пользой, настолько он бессилен». Слово «наоборот» тут не совсем согласуется с логикой. Кто сомневается в переводе с латыни, может проверить: «Этика», часть четвертая, теорема 20. Петро, не приложив интеллектуального труда, оказывался на вершинах философии. Половую потребность следовало удовлетворять. Неудовлетворенная, она могла развиться в одержимость, ведь и голодные одержимы желанием жрать, а страдающие от жажды даже сходят с ума и видят галлюцинации. Такую же опасность таили половые гормоны. Они туманили мозг.

Я и жил с затуманенным мозгом, беспомощный и перед девушками, и перед философией. Я считал себя конченным человеком.

9

Между тем, это была, может быть, лучшая осень в жизни. Я был влюблен. Любовь растворялась в горьковатом октябрьском воздухе Москвы, в аудиториях института, в толпах на тротуарах, в обрывках музыки из окон. Я был влюблен в промелькнувшие в уличной сутолоке чьи-то локоны, улыбки, локти, в голоса из радиоприемника и тени на киноэкране. Не в девушек, а в эти отдельные черты, принадлежавшие как будто и не этим незнакомкам, – так, наверно, мелькнув какой-нибудь частью совершенного тела, исчезали из толпы ахейцев описанные Гомером богини.

Рассеянный на лекциях, полуголодный, бродил бесцельно по Москве, неспособный думать о будущем, непригодный для усидчивого труда, смутно о чем-то мечтающий, ленивый... Эскалатор метро выносил из подземной прохлады, сквозняки из дверей трепали женские прически, толпа на площади перед станцией всасывала в себя, как частицу

собственного броуновского движения. Я дурел от запахов городской осени и повисшего над площадью автомобильного чада, настоящего на ванильном мороженом, глож от шума, жмурился от косого, низкого, бьющего в глаза и отраженного стеклами ларьков солнца. Толпа продолжала тащить к остановкам троллейбусов, автобусов и трамваев...

Вялость была спасением. Как можно было спешить? Ты уже влюблен в какие-то локоны, на мгновение затрепетавшие в воздушном дверном потоке, прежде чем скрыться от тебя навсегда. Ты так переполнен счастьем, что можешь только терять. Повернешь сейчас направо – значит, навсегда потеряешь все, что слева, пойдешь за одной девушкой – значит, не увидишь других. Потому и трудно хоть в чем-то определиться, сделать шаг в какую-нибудь сторону. Все возможности еще заключены в тебе, убить хоть одну из них – в семнадцать лет это значит убить часть себя самого.

Потолкавшись по центру Москвы, одурев от впечатлений и голода, решал ехать в общежитие на Седьмую Парковую и завалиться спать до утра. Доезжал до станции Измайловская и, вместо того, чтобы сесть в трамвай к Парковым линиям, сворачивал к лесопарку и брел по его безлюдным тропинкам, отдыхая иногда на скамейках, ни о чем не думая, доводя себя ходьбой до изнеможения. Оно тоже было счастьем. Из булочной рядом с общежитием пахло хлебом. В животе начинало урчать. Миновав вахтера, поднимался по лестнице, а тот смотрел вслед: не пьян ли?

Со мной происходило то же, что было когда-то давно в июльский полдень посреди цветущего пустыря, – то ли в пионерском лагере под Минском, то ли в гостях у бабушкиной подруги под Москвой, – я брел по тропке среди цветов и трав, оглушенный жужжанием шмелей, пчел и ос, стрекотанием кузнечиков, звоном стрекоз, медоносным запахом гречихи и клевера, кислым запахом земли и травы, ароматом шиповника, крапивы и бузины, ослепленный фиолетовым, красным, синим, зеленым, желтым, утопленный на дне воздушного океана, придавленный его толщей, как прозрачной плитой, в которой звуки, краски и запахи растворились до полной их неразличимости.

Каждый звук и запах, каждый перелив краски на каждом цветке был сигналом. Мириады этих сигналов переполняли готовящийся к оплодотворению луг и предназначались живым тварям. Птицы, стрекозы, пчелы, каждая тварь на лугу, кроме меня, среди немыслимого количества сигналов находила тот единственный, который предназначался ей, оставаясь невосприимчивой к другим, и выполняла приказ оплодотворения. Один лишь я был чувствителен к миллиардам сигналов сразу, и ответом моим было не действие, а состояние.

Человек забывается на цветущем лугу, в нем погашаются случайные шумы и высвобождается способность воспринимать. Счастье влюбленности, переполнявшее меня среди людей и в одиночестве, было счастьем восприимчивости. Безадресность любви была сродни безадресности сигналов над лугом, словно бы у природы была цель расширить мою восприимчивость до беспредельности, приготовить к оплодотворению по любому случайному сигналу, когда придет его время.

Эта безадресность была исполнением некоего замысла. Туманность образа девушки, растворившегося во всех встречных молодых женщинах на улице, в чьих-то движениях, улыбках и взглядах, прическах и колыхающихся юбках, была условием обязательным. Тут

существовала закономерность, подобная принципу неопределенности Гейзенберга в ядерной физике: чем точнее определяется местонахождение частицы, тем приблизительнее знание о ней самой. Влюбленность не должна была фокусироваться на одном лице, и если это происходило, взгляд туманился и лицо теряло всякие черты, становилось неопределенным и вновь, будто фокусирования не было, вмещало в себя всю женственность мира.

Если первым условием была туманность образа, то вторым – его недоступность. Душевная работа тратилась на возведение преград перед собственной тягой к женскому. Я внушал себе, что некрасив, смешон, неинтересен, что ни одна девушка никогда меня не полюбит. Я ничего не делал для того, чтобы обрести уверенность. Что-то удерживало меня от предприимчивости.

Через год прочел у Локтева:

«Мальчик становится юношей, и в какое-то мгновение закон информационного поля словно бы меняет направление. Юноша бежит от любой определенности, ему нужна именно неопределенность цели, размытость желаний, поэтичное томление, весь идиотизм лиричности. В чем дело? Что происходит с Астартой? Уж не забыла ли она свои обязанности?

Нет, не забыла. Ханаанская богиня знает, что делает. Она не Венера, не Афродита, не Купидон, не Психея и не Диана. Греческим богам и богиням легко, их много, каждый в семье Зевса занят своим делом, они, как всегда в больших семьях, ссорятся, воюют друг с другом, и никто ни за что не отвечает. Судьба человека – быть игрушкой в этих схватках. Греческие юноши превращаются в мужчин на стадионах и в гимназиях естественным образом, приобретая мужественность, как рост и вес, это линейный процесс без всяких катаклизмов, и надо, поистине, иметь извращенную фантазию Зигмунда Фрейда, чтобы увидеть в судьбе Эдипа что-нибудь, кроме зависти богов.

Это там, в Адриатике.

А тут все иначе: Астарта одна. Иштар, Ашерет, Эстер – это все она, на семитских языках, в которых опускаются гласные, а звуки «с» и «ш» часто изображаются одним письменным значком, как в еврейской «шин», богиней плодородия была всюду она, Астарта. Она на тысячелетия старше гречанок, родилась в Шумерах, ее мать – Инанна, мать и дочь едины, как отец и сын у христиан, ей поклонялись солнцепоклонники. Она, первая и единственная, отвечает за все, начиная с восхода и захода солнца. Отвечает за день и ночь, дожди, засуху и саранчу, за бесплодие и тяжелые роды, менструации и истерики. Ни братьев, ни сестер – одна, хозяйство растет, появляются скотоводы, потом оседлые земледельцы, а она все одна справляется со всем тем, что потом разделит между собой сонм греческих богов и богинь.

Прежде всего, она мать. В ее храмах трудятся блудницы, собирающие урожай спермы, – без него иссякнет жизнь. Любая ханаанская матрона считает за честь отслужить блудницей в праздник плодородия, взимая плату с чужеземцев в пользу храма богини. Но заботы Астарты гораздо существеннее. Семя должно стать плодом, а плод – самостоятельным существом. Для этого отцу мало извергнуть сперму. Он должен опекать несамостоятельного детеныша. Именно поэтому в дополнение к инстинкту самца Астарта наделила птиц и другим инстинктом – они носят в клювах пищу для своих птенцов.

С птицами ей легче, она жестко диктует поведение, вложив инстинкт. Пружина раскручивается, и в нужное время самцы начинают тащить в гнездо червячков, жучков или соломинки и веточки.

С человеком Астарта проделать этого не может. Слишком долго длится детство его детенышей. В отличие от птенцов, они остаются несамостоятельными еще много лет. Семь, десять, а теперь и более двадцати. Отец должен все это время опекать их, давать им кров, кормить и защищать. Вложить инстинкт на такой большой срок невозможно: разнообразие вероятностей и случайностей, с которыми столкнется за двадцать или хотя бы за пять лет детеныш, настолько велико, что требует другой организации жизни, менее жесткой, более гибкой, – ответственности и любви. Снабдив человека большими степенями свободы, чем у птиц, Астарта действует не через инстинкт, а через то, что мы называем чувствами за неимением другого слова.

Ей пришлось решать задачу, о существовании которой древние греки и не подозревали: неминуем период, когда юноша уже способен извергать семя, но еще не способен эффективно выполнять функции отца, многие годы опекающего своих детенышей. В этот период между детством и зрелостью юноша еще сам во многом детеныш, склонный к опасной любознательности и экспериментам. Половая активность в этот период безответственна и чревата тупиковыми ситуациями. Поэтичность и лиричность – это способы ее самоторможения...»

Прав он был или неправ, он пытался увидеть порядок там, где мне представлялся безнадежный хаос, – в моих отношениях с людьми.

Отношения с близкими капризны и неуправляемы до сих пор. Никогда не знаю, чего от себя ждать. Дуля умирала в больнице, а я сделался жестоким и грубым с мамой. Мама с сестрой жили в Нетании отдельно от нас, мама звонила на мобильник узнать новости о Дуле, а я взрывался, обрывал разговор, после чего мучился чувством вины. Приезжала дочь Марина, хотела заменить меня возле Дули, отправляла домой, – и тоже бесила. Если с самыми близкими людьми потерял себя, то что говорить обо всем остальном?

Я был... можно так сказать: изумлен? Загадочное оно, это слово «из-ум-лен», но не могу подобрать другого. Когда пришлось зачем-то оставить Дулю на два-три часа и съездить домой, поднялся в квартиру (мы построили дом вместе с Мариной, она с детьми жила на первом, я с Дулей – на втором, вход отдельный) и ощутил излучение враждебности. Как будто кто-то побывал в наше отсутствие и установил какую-то аппаратуру. На меня шел и пронизывал насквозь поток враждебных частиц или лучей. Его излучали предметы и стены, я почувствовал его кожей, как, например, тепло от печки или холод от замерзшего окна. Наверно, такой ужас я бы почувствовал, если бы в дом забралась и где-то спряталась змея, черная, длинная и узкая. Змея готовилась броситься и ужалить, а я понятия не имел, где она.

В комнате, потерявшей свойства жилья, я присел боком за стол и недоуменно оглядел стены – не могло быть, чтобы Дуля никогда этого уже не увидела. Я не мог существовать среди вещей, которых она никогда не увидит. Мне надо было делать какие-то дела, это требовало энергии, и я был способен на нее, только поставив некое условие враждебному миру: если Дуля его не увидит, я не увижу тоже.

Я говорил себе это по несколько раз на день. Условие снимало с меня чувство вины перед Дулей, которое, как я понимал, только казалось

чувством, будучи на самом деле чем-то еще более иррациональным. При таком условии я мог есть и пить, видеть, думать и дышать.

Возвращаясь в больницу, ехал в автобусе, видел толпы людей на улицах и продолжал ощущать то же. Улицы существовали, как павильоны киностудии, в некоем закрытом помещении с искусственным освещением. В нем поменяли сильные лампочки на слабые и излучающие мертвящий свет.

Ощущение было физиологическим, как температура или озноб., При Дуле оно исчезло. Дуля и смерть оставались несовместимы, и потому я был рядом с ней днем и ночью – не для нее, а для себя.

До этого времени я, признаться, считал, что уже выпутался из инфантильной зависимости от других, преодолел детское иждивенчество, как-то выкрутился и стал человеком неуязвимым, ну, например, стоиком. Гордился этим.

Дело не в смерти. Что о ней говорить. Дело во мне. Жуткое подозрение, испортившее детство, подтвердилось окончательно: я по-прежнему никто. Паразит при чужой жизни. Некий присосок, который сам по себе ничего не значит. То, что раньше исходило из меня и пыталось охватить весь мир, собралось в одну точку. А ведь это самое «то, что исходило» – это агрессия. Агрессия, направленная на нечто, оборачивается зависимостью от «нечто». Хищник и жертва меняются местами.

Это надо сказать, так почему бы не здесь.

10

Пошел ливень.. Дуля дышала тихо и в полумраке, в парике на лысой голове, похудевшая на двадцать килограмм, казалась такой, какой была в школе. Я сразу успокоился. С ней ничего не могло случиться. Я видел, не знаю уж как, что она здорова, и чувствовал в себе решимость сказать Ульвику, что хватит рисковать, я ее забираю. Мне не сиделось, отправился курить на крыльцо. Потоки воды срывались с бетонного козырька в полуметре от глаз, закрывая все, что за ними. Моя решимость росла. Рядом возник невролог. Тоже выскочил покурить, молодой, длинноногий и сутулый. Руку с сигаретой он подносил к губам слишком часто, как человек, которому никогда не дают докурить спокойно. Не успевал толком вдохнуть дым, тянул губы навстречу сигарете, вниз, и оттого стал похож на вопросительный знак. Ульвик уже дважды за последнюю неделю приглашал его в отделение проверить реакции Дули. Невролог заставлял ее встать с кровати и в полубморочном состоянии вытянуть перед собой руки: проверял, не поврежден ли вестибулярный аппарат. Я ни о чем его не спросил. Уже понял: они все ничего не знают. В эти дни я как-то из палаты услышал разговор Иды по телефону на посту медсестры. Она что-то выясняла, Ульвик остановился рядом и нервно подсказывал: «Остаточная доза! Какая должна быть остаточная доза?!» Речь шла о метатрексате. Обменивались с кем-то опытом или консультировались.

Невролог убежал, я вернулся в отделение. Прежде, чем идти к Ульвику, решил еще раз взглянуть на Дулю и в двери изолятора столкнулся в выходящим оттуда Ульвиком. Он показал мне, чтобы шел за ним.

Кабинет его был маленьким, в нем помещался только письменный стол с компьютером и два кресла, врача и посетителя. Ульвик

протиснулся и сел в свое, а мое загородило дверь. Я вдруг испугался. Решение забрать Дулю домой показалось глупостью.

Помолчав, Ульвик сказал:

— Я выписываю Фариду.

Я попытался осмыслить. Он объяснил:

— Если буду продолжать, я ее убью.

У него было лицо человека, который проигрался.

— Какой у нас шанс? — спросил я.

— Она прошла пять с половиной курсов из восьми положенных... Сорок процентов, — Ульвик выдержал взгляд и добавил: — Четыре дозы мабтеры — еще тридцать (мабтера — это было новое лекарство, не предусмотренное массачусетским протоколом). Сорок плюс тридцать — семьдесят процентов.

11

В старой картонной папке, серо-бежевой, разлохматившейся, без тесемок, с вдавленной шариковой ручкой надписью «Ольге Вик. Литвинчук» я случайно нашел письмо Дули 56-го года.

«Здравствуй, Наум!

Спасибо за письмо. Отвечаю на него. Тебе, наверно, написали, что я поступила в Иняз. Проходной бал был восемнадцать, я набрала девятнадцать — одна четверка по сочинению. Тема была «Образ Ленина в советской литературе», я написала без ошибок, но не полностью раскрыла тему: не упомянула «Кремлевские куранты» Николая Погодина. Просто не успела. Ты же знаешь, какая я медлительная. Но ничего. Главное — поступила. Я очень рада, что поступил ты. Теперь у тебя будет интересная жизнь. Катя Данилевич после экзаменов приезжала домой, но у нее экзамены кончились раньше, чем у тебя, и у нее было больше времени. Зябкина поступила в Нархоз. В общем, многие поступили. Не буду перечислять. Но Воловик не поступил, срезался на математике. Про некоторых не знаю, поступили они или нет. Встречаю учителей, все спрашивают про тебя, а я не знала, пока не пришло твое письмо десятого сентября. Все передают тебе привет. Письмо получилось длинное, но ничего. Пиши мне длинные письма. Я буду их ждать и отвечать на них. Пока было не очень скучно, потому что было много дел. Я шью себе новое платье, зимнее, красного цвета. Ну, начинаю писать всякие глупости, так что пора кончать.

Фарида».

К письму была приписка: Дуля встретила на улице Ольгу Викентьевну, поговорили обо мне, и Ольга Викентьевна попросила, чтобы я съездил на Новослободскую улицу в дом такой-то квартира такая-то, забрал какую-то посылочку у Кожевниковой Веры Антоновны и привез, когда приеду на зимние каникулы.

Тридцатого декабря сдал последний перед экзаменами курсовой проект и, настроенный на новогоднюю оттяжку в общежитии, поехал по указанному адресу к незнакомой Вере Антоновне.

На Новослободской было слякотно и ветрено, а в подъезде старинного купеческого дома сухо, чисто и тихо. Мраморные ступени матово вбирали желтый свет голых по-советски лампочек, дубовые тяжелые перила лежали на черных чугунных опорах. Это был дом, в котором всегда жили и продолжали жить загадочные, таинственные люди неизвестной мне породы — состоятельные хозяева жизни. Вера Антоновна

Кожевникова, высокая, сухоощавая, в цыганском платке поверх теплого черного платья, впустив в прихожую, молча повела в комнату. Я снял мокрые ботинки и сидел в носках на черном кожаном диване. На круглом столе под абажуром стояла вазочка с сухариками, от них в протопленной комнате уютно пахло ванилью. Вера Антоновна постучала в одну из двух деревянных дверей (вошли мы в комнату через двустворчатую стеклянную) и скрылась за ней. Потом вышла и села на стул у стола, держась слишком прямо. Из двери вышел седой мужчина в белой рубашке и брюках с подтяжками, снял очки, в которых, наверно, работал, кивнул более-менее приветливо и сел на второй стул.

— Так вы, значит, будете...

Основательный, ответственный хозяин не мог отдать посылочку для Ольги Викентьевны кому попало. Я объяснил, может быть, слишком подробно и восторженно расписывая перед хозяевами библиотеку Ольги Викентьевны. Был уверен, что на вопрос, кто я такой и кем прихожусь Ольге Литвинчук, нужно отвечать именно так, о библиотеке, причем восторженно и с наивным изумлением в смысле «кто бы мог подумать». Подлинный шик был в том, что перечислял не авторов, а издательства — Гржебин, Мусaget, Смирдин, Сытин... Вера Антоновна пыталась поощрительно улыбаться. Улыбка вместо поощрения выражала нетерпение.

— Замечательно, — сказал мужчина, — значит, если вас не затруднит, мы вас попросим передать Ольге Викентьевне папочку. Там какие-то бумаги, я даже не знаю, что. Верочка, это все?

Вера Антоновна неуверенно согласилась, что все. Пока мужчина ходил в кабинет за бумагами, она подошла к пианино, отыскивая что-то среди безделушек на полке. Нашла статуэтку в половину ладони, искала за стеклом черного полированного серванта и вытащила подходящего размера эмалированную зеленую шкатулку, стала вынимать из нее нитки спутавшихся ожерелий, гранатовых и жемчужных. Вернувшись с папкой, мужчина застал ее за этим занятием. Она вложила статуэтку в шкатулку. Это была фигурка цвета сырой глины, вроде несуразной детской из пластилина, женщина на непропорционально коротких ногах и с большим животом.

— Это знаете что? — приветливо пояснил мужчина. — Это древняя богиня Астарта. Ей три тысячи лет.

Три тысячи лет на меня не произвели впечатления, но счел нужным изобразить изумление:

— Она настоящая? Прямо вот?

Мужчина самодовольно кивнул и снисходительно посоветовал:

— Так что будьте осторожны там, в общежитии. Это ценность.

— Может быть, оставить пока у нас, — засомневалась Вера Антоновна. — Наум перед отъездом...

— Нет уж, покончим с этим делом и все, — неожиданно нервно оборвал мужчину, обнаружив, как дорого ему стоила доброжелательность, и сказал мне: — С папочкой тоже, знаете. Не надо, чтобы в общежитии читали. Ничего там нет страшного, но лучше не надо.

Прощальная улыбка у него, тоже задуманная как поощрительная, получилась нетерпеливой.

На сером мягком картоне было написано: «Ольге Вик. Литвинчук». Надпись выцвела, и ее недавно обвели, вдавливая ручку. В метро я развязал тесемочки и заглянул. Увидел много бумаг, книгу на французском и тонкую на русском: «А. Ф. Локтев, «Холм Астарты», Берлин,

Светоч, 1924 год». Заглянул в нее и прочел: «Природа человека в том, чтобы не жить по своей природе». Я держал в руке второй экземпляр той книги, которую когда-то взял у Ольги Викентьевны и подпортил куриным бульоном. В том, подпорченном, экземпляре не было обложки и первых двух страниц. Фамилия показалась знакомой. Вспомнилась Таня в пионерском лагере, назвавшая фамилию якобы отца, но уверенности не было. Все это осталось в детстве, окончательно изжитое.

С тех пор, как поступил в институт, я перестал читать книги. Студенческая жизнь была интереснее, а институтские учебники приучили к более концентрированной информации. Листнул, наткнулся: «Чувства женщины не имеют значения для продолжения рода». Господи боже мой, ну и что из этого?.. Какое знание можно приобрести, читая это? Приговор был коротким: несерьезно.

Кроме «Холма Астарты» и французской книги в папке лежали старые письма, заметки, фотографии и десятки листов с машинописным текстом, соединенные в тетради ржавыми скрепками. Случайно прочел что-то про Астарту, закрыл и больше в папку не заглядывал, — знал, что нельзя совать нос в чужие бумаги.

Когда в начале февраля привез ее Ольге Викентьевне, она, открыв дверь, попросила подождать в комнате. Из кухни слышался стук ложек и голоса обедающих Толи и Тани. Я вытянул из книжной полки первое, что подвернулось, — стенограмму первого съезда советских писателей. Когда Ольга Викентьевна освободилась и пришла, читал доклад Бухарина. Она открыла шкатулку, неискренне сказала:

— Какая прелесть.

Толя, всовывая руки в черный бушлат и на ходу дожевывая, вытанцевал в комнату с поднятыми, как крылья ворона, руками, поприветствовал: а-а, студент, как там Москва, строится?..

— Наум посылку привез от Кожевниковых, — небрежно сказала Ольга Викентьевна, листая папку. — Старые бумаги.

— Что за бумаги?

— Так... черновики...

— И все?

Ольга Викентьевна не ответила.

— А что я говорил? — Толя поднял воротник бушлата. — Какая-нибудь антисоветчина. Не хотят у себя держать.

Ольга Викентьевна молчала.

— Я бы на твоём месте, — сказал Толя, — отправил назад.

— Как?

— Так. Наум отвезет назад и все. Скажет, достаточно из-за этого нахлебались. Пусть скажет, что я и так уже из партии полетел, боюсь дома держать.

Ольга Викентьевна тихо, не поднимая головы, спросила:

— Ты боишься?

— Мне бояться нечего, — сказал он.

Она подождала, пока он не ушел. Обитая ватином и дерматином, дверь не закрылась плотно, ее надо было прижать и задержать шпингалет. Ольга Викентьевна проделала это молча и вернулась к папке на столике. Пальцами, сморщенными от стирок, бессмысленно трогала бумаги, заглядывала в них и попросила рассказать про Кожевниковых. Заметила о Вере Антоновне:

— Она тебе понравилась.

Полюбопытствовала, что за книгу держу в руке, увидела стенограмму и обронила:

– Нас тогда в России не было.

Не подумала уточнить, кого это «нас». Я удивился:

– Вы жили за границей?

– В Париже. Возле Ecole pratique des Hautes-Etudes. Муж собирался там работать. Henri Wallon, директор Ecole, обещал его взять.

Ольга Викентьевна улыбнулась чему-то давнему. Это относилось не к мужу, а к директору Генри или, скорее, Анри – она произносила французские имена в нос.

– Очень любезный был человек... Ты садись.

Я медлил, она показала: рядом с ней, на диване.

– Между прочим, коммунист, потом был в Сопротивлении, кажется, погиб в гестапо. Андре ему нравился.

Я не знал, что она жила в Париже. Никогда она не рассказывала о прошлом. Один лишь раз чуть-чуть, когда увидела на акварели Садовникова свой дом, да и то никого конкретно не вспоминая. А теперь ей захотелось вспомнить какого-то малознакомого Генри или Анри. Наверно, ожидала в посылке чего-то другого, и, расстроенная, скорее всего оскорбленная или даже униженная Кожевниковыми, пыталась утвердиться с помощью воспоминаний об этом Анри и вообще прошлой своей жизни, где ею не пренебрегали.

Нет, они не были эмигрантами, Андре работал в посольстве. Или не работал. Она в это не вникала, что-то делал. У нее была подруга, Эстер, очень красивая, а муж ее, Гилевич, был уродливый, лысый и толстый, как нарком Литвинов. Эстер немного увлекалась Андре, и она ему нравилась, она погибла. Это были такие годы, Гилевич тоже погиб. Казался такой коммунист. Володю Кожевникова не любил, а Андре очень ценил, но Андре всегда со всеми ссорился, а Кожевников потом, все-таки надо отдать должное, немного помогал ему, давал что-то переводить, то есть, это после, когда начались все эти дела. А тогда он, то есть Андре, увлекся этими находками в Сирии, глиняными табличками, как раз работа для дешифровщика, и с глаз подальше, время было такое. Кожевников ценил его именно как дешифровщика, не отпускал, но как-то что-то... она не помнит... ее это не интересовало. Так что с Ecole pratique des Hautes-Etudes ничем не кончилось, у него всегда ничем не кончалось. Она в это время вернулась в Ленинград, ее вызвали, когда-нибудь она расскажет... Андре написал книжку о той сирийской экспедиции, по-французски, под псевдонимом, отец Поль, прочитав, не подал ему руки, брат отца Поля держал обувной магазин в самом центре на ... возле ... шикарный магазин... Эстер принимали за парижанку...

– А через месяц у них там началась война, – сказала Ольга Викентьевна.

Все это время она что-то решала и взбадривала себя.

– Знаешь что? Я не хочу, чтобы это оставалось у нас. Ну... Толку и так из партии исключили... Ну, в общем, не хочу. Если я тебя попрошу, тебе нетрудно будет отвезти назад? Скажи, что муж не разрешает держать в доме. Ну, в общем, что-нибудь скажешь. Или лучше ничего не говори, отдай, скажи, я им напишу.

Я стал заворачивать папку в газету. Ольга Викентьевна снова взяла ее из моих рук и снова полистала. Вынула, скомкала и сунула в карман халата ломкие листки. Я знал, что это письма. Еще полистала

и что-то, вытащив, разорвала на кусочки. Тесемки не завязывались, газета порвалась. Ольга Викентьевна принесла из кухни другую газету. Присела на диван и наблюдала за работой. Когда я закончил упаковывать, осталась довольна.

Задавать вопросы было некстати, а молчать нехорошо. Осторожно спросил: муж был ученым?

— Ученые, — слегка задумалась она, — это, наверно, те, кто корпят над своими табличками... Ему было любопытно. Все-таки дешифровщик, это вроде кроссвордов. И потом бедуины, некоторая опасность... Они все там были авантюристами. Почти все. Большинство. Это было такое время. Таких, как Кольдевей, профессиональных археологов, было немного. Как и психологов. Кто тогда был археологом или психологом? Колледжи и университеты этому не учили. Henri окончил Эколь Нормаль по философии. Да, шкатулку с этой куклой тоже заberi. Это знаешь кто? Ближневосточная богиня. Андре сделал форму, штамповал этих куколок и дарил всем, выдавая за подлинные.

С Henri, Анри Валлоном, получилось так:

Десять дней спустя, возвращаясь после каникул на занятия, я не успел купить билеты заранее и на вокзале ловил проходящие поезда. Они все шли вечером или ночью. С восьми вечера стоял в очереди к билетной кассе. Касса открывалась за два часа до отхода поезда, продавала несколько билетов и закрывалась до следующего. Прошел пражский — не открыли, мест не было. Очередь к окошку продолжала стоять, ожидая берлинский. Рядом маялся очкарик, тоже возвращался с каникул в Москву. Сговорились сменять друг друга. Очкарик ушел и вернулся через полчаса. Тогда и я отправился бродить по забитому пассажирами залу ожидания, выискивая, где можно посидеть. В одном из углов увидел будку книжного киоска.

Киоск, видимо, работал круглосуточно, за его окошком дремал старик. Стекланные стенки были заставлены изнутри книгами. Я обошел их. Продавались, в основном, материалы партийных съездов, труды членов Политбюро и деятелей братских компартий. Внимание привлекло название: «От действия к мысли». Среди партийных речей и резолюций это выглядело, как что-то живое. Захотелось посмотреть, о чем. Старик долго слезал со своего высокого сидения, с трудом добрался до витрины, по пути оттаскивая в сторону мешающие связки брошюр. Несколько книг сорвались с витрины и упали между стопок, он долго их вытаскивал.

После этого неудобно было не купить. Книга стоила семь рублей пятьдесят копеек — три бутылки кефира и шесть пирожков с повидлом — три моих обеда. Старик ждал, не взбираясь на свой насест. Если бы отвернулся, я оставил бы книгу и ушел. Оттягивая время, открыл наугад:

«Противоположность между зрительным или сенсорным реализмом и интеллектуальным нельзя, следовательно, считать противоположностью опыта в себе и запаздыванием его понимания во всем разнообразии его аспектов и связей».

Ничего не понял. Прочел следующую фразу — она была еще заковыристей. Почти решив, что не куплю, посмотрел на титульный лист: «Анри Валлон. От действия к мысли. Очерк сравнительной психологии» и увидел слева по-французски: Henri Wallon.

Книга с трудом, но вошла в старенький картонный чемоданчик.

В кассе зашевелились – открыли бронь на берлинский. Я взял билет и тут же объявили о прибытии поезда и о том, что в связи с опозданием стоянка сокращена. Заняв свою верхнюю полку, я вытащил покупку и подsunул под слабый свет ночника над окном. Буквы едва различались. Из первого же абзаца предисловия стало ясно, что это тот самый Непгі, о котором говорила Ольга Викентьевна. В оккупированном гитлеровцами Париже его книга стояла в витрине книжного магазина рядом с «Майн Кампф», а сам он в это время скрывался, как коммунист и крупный деятель французского Сопротивления. Только он не погиб в гестапо, а был жив-здоров, продолжал быть директором, стал министром Франции и написал предисловие к русскому переводу. Пролистав и нигде не встретив имени Локтева, попробовал читать и не смог. Прочел ее лет через шесть-семь, а недавно нашел в Интернете, что он один из крупнейших психологов XX века. Но об этом расскажу потом.

Вернувшись в Москву, отвез папку назад на Новослободскую. Вера Антоновна, открыв дверь, не скрыла удивления, не сделала и намека на приглашающее движение. У меня откуда-то взялся мерзкий голос порученца. Она позвала на помощь Кожевникова, тот выглядел еще более недоуменным, чем жена:

– Но при чем здесь я? Я не имею к этим бумагам никакого отношения, я согласился передать их Ольге Викентьевне, и это все. Если ей не нужно, может выбросить. Будьте здоровы, молодой человек.

Ольга Викентьевна хотела их обидеть – у нее не получилось. Они не обиделись. Слишком низко она для них стояла. В этот второй свой приход я увидел в их комнате пузатый черный телефонный аппарат. Ни у кого из моих знакомых своего телефона не было. В поселке тракторного из тридцати тысяч жителей домашний телефон имели несколько главных специалистов, главный врач больницы и еще, наверно, десятка два-три начальников.

Книжку Кожевникова «Ядовитые корни» я прочел четыре года спустя. Изданная тиражом в триста тысяч, она вызвала переполох среди евреев и мгновенно была ими раскуплена. Ее передавали друг другу, пугались и возмущались. Старые члены партии писали в ЦК и влиятельному Илье Эренбургу, что книга Владимира Петровича Кожевникова наносит ущерб марксистско-ленинской идеологии и чувству интернационализма советских людей. Старые большевики указывали товарищам из ЦК, что отдельные неподготовленные читатели прочтут книгу товарища Кожевникова неправильно, и, к сожалению, он дает основания для такого прочтения, слишком доверившись специалисту по древним текстам, буржуазному националисту А. Ф. Локтеву. Агрессивная политика сионистского Израиля, писали старые большевики, выражает интересы американских империалистов, сионисты являются лишь орудием империалистической экспансии, а не наоборот. Суть ближневосточного кризиса классовая, а не национальная, как следует из «трудов» (ставили кавычки старые большевики) анти-семита А. Ф. Локтева, возродившего черносотенный тезис о претензии евреев на мировое господство. Они лукаво напоминали товарищам из ЦК между делом (кашу маслом не испортишь), что иудейские тексты Ветхого Завета почитаются и христианами, а среди сионистов, наоборот, много атеистов, так что только классовый подход может стать основой подлинно марксистско-ленинского анализа.

Опытный Кожевников, однако, предвидел обвинения в недостатке интернационального чувства. Едва ли его беспокоили истерика (и лукавство) старых большевиков, но он лучше многих своих коллег знал, что во главе коммунистических партий Западной Европы стоят товарищи еврейской национальности, и их запросы в ЦК по поводу его книжки были ему совсем не нужны. Ни одной рискованной фразы, ни одного неосторожного слова он не написал. Там, где агрессивность вероломного Израиля объяснялась древней претензией евреев на богоизбранность, Кожевников цитировал «известного лингвиста-семитолога» А.Ф. Локтева.

Одну из цитат я узнал сразу:

«Ради этой цели их предки разрушили великую языческую культуру Ханаана, тысячелетие спустя – античность, теперь – Европу. Каждый еврей хочет быть пророком при своем Боге, но они не могут договориться друг с другом».

Эти строчки я запомнил со школьных лет. Локтев писал о Марксе, Фрейде и Эйнштейне. Кожевников намеренно сократил фразу так, чтобы вышло впечатление, будто речь идет о претензиях всех евреев на мировое господство. Его мишенью были не сионисты, а евреи, но он не хотел терять репутацию марксиста, и Локтев оказался удобен. Конечно, Кожевников был мерзавцем. Он прятался за Локтева и передергивал.

Собственные тексты Кожевникова были бессодержательными, как речи членов Политбюро, грязную работу делал авторитетный специалист, «известный лингвист-семитолог». Локтева использовали. Кожевников оклеветал его. И все-таки, зачем Локтев взял глумливый тон? Теперь я понимаю, он был одержим своей войной с единобожием, но зачем фиглярствовал в отношении Альберта Эйнштейна, Маркса и Фрейда? В других местах было еще хуже. Конечно, ничто не мешало Кожевникову вставить в них от себя несколько грязных, пачкающих слов. Проверить авторство, видимо, было уже нельзя. Однако я чувствовал: они написаны Локтевым. Кожевников писал мертвым и невнятным языком партийных документов, а фразы были живыми, глумливыми по-локтевски.

Локтева использовали, но разве он не дал для этого повода? Над чем он, в сущности, глумился? Над единобожием? Монотеизмом? Примитивностью теорий? Или над самым усилием интеллекта понять мир, свести к одной причине бесчисленные начала?

Ему был дорог глумливый тон сам по себе.

12

Папка и сейчас лежит передо мной. Все от нее отказались, и я ее единственный владелец. Так решила Ольга Викентьевна, наследница Локтева. Думала она тогда, что я вырасту, сохраню и издам книгу? Уверен, что нет. Тогда о публикации Локтева не думал никто, даже всесильный Кожевников.

Кроме тощих «Холмов Астарты» и какой-то книги на французском в папке основное место занимала машинописная копия рукописи. Листки соединялись толстой ржавой скрепкой. Первым делом я заглянул в них. Это была проза.

Мне было не до художественной литературы. Начинался второй семестр. На меня свалились курсовые, проекты, зачеты и экзамены. Я жил на стипендию. У литейщиков она была повышенной, кажется,

360 рублей. Одно-единственное «удовлетворительно» в сессию лишило бы меня этой стипендии, и родителям пришлось бы меня содержать. Даже подумать об этом было страшно. Я медленно черчу и плохо запоминаю формулы и цифры. Я занимался ночи напролет, и в дни экзаменов с утра начинался понос. Кроме учебы была и обычная молодая жизнь. Дуля вздумала посмотреть Москву, которую никогда не видела, и приехала в мою весеннюю сессию. Чтобы быть с нею эти пять дней, я совершил самый решительный поступок в своей жизни: сдал два экзамена в один день.

Папка полгода пролежала в общежитской тумбочке. Собирался прочесть ее в летние каникулы, но папа слег с инфарктом. Весной он вступил в «Товарищество садоводов» своего тракторного и взял шесть соток на пустыре. Он надеялся хоть как-то обеспечить свою душевнобольную дочь, да и любил работать на земле. Он был типичным еврейским мечтателем. На пустырь завезли чернозем, торф, навоз, саженцы, бочки для воды, столбы и проволоку для забора, и все каникулы я не выезжал с участка. Дуля решила, что я ее разлюбил. Потом были третий семестр и третья сессия. Так что папку я взял с собой на зимние каникулы.

Из распространенного студенческого суеверия (где есть экзаменационные билеты, всегда есть суеверия) никогда не брал железнодорожный билет заранее (а вдруг провалюсь и назначат переекзаменовку?), и потому, сдав последний экзамен, мчался на вокзал ловить бронь. С билетом в кармане побродил по холодному залу ожидания, купил и съел несколько пятидесятикопеечных пирожков с повидлом. До поезда оставалось почти два часа, устроился на скамейке неподалеку от касс, вытащил папку, из нее – скрепленные листки и обнаружил, что начала опять нет. Тем не менее, стал читать.

На душе было по-дорожному беспокойно от вокзальной суеты, криков, сквозняков, от только что сданного экзамена и от ошибок, которые экзаменатор простил, но которые все-таки были и питали досаду. Может быть, поэтому никак не удавалось вчитаться. Спрятав папку в чемодан, еще долго слонялся по вокзалу, пока не началась посадка. Билет был на самый неудобный поезд, вильнюсский, в общий вагон, на верхнюю боковую полку. Матрас все время сползал в проход, а проходящих в проходе бросало из стороны в сторону и они хватались за матрас руками. Пахло из туалета, плакали два младенца, один в дальнем конце вагона, другой совсем рядом, кто-то бубнил прямо под полкой, там два дядьки пили мутный самогон, стесняясь и извиняясь перед проходящими, которым мешали выставленными в проход худыми коленями.

Я решил, что перерос Локтева. Проза его по моим представлениям никуда не годилась. Откуда-то я знал, что писатель должен не объяснять, а изображать, как это делал Флобер в «Госпоже Бовари». Локтев ничего не изображал, зато объяснял и объяснял, что говорило о полной его беспомощности. Кроме того, у него было полно каких-то случайностей и эффектов, в которые нельзя было поверить, даже имя героини было с претензией: Киза. Такие имена давали своим героям авторы научно-фантастических романов о марсианах. Правда, мне понравилось, что читаю антисоветчину. Был 58-й год. На «Истории КПСС» мы уже изучали XX съезд и сдавали по нему зачет. Ни в моей семье, ни у людей, которых я знал, никто не сидел в лагерях, по крайней мере, никто не говорил об этом, о масштабах репрессий мы не догадывались, и все это меня не очень касалось, но было приятно,

что власть, которую никто не любил, и я в том числе, – эта самодовольная и почему-то невыносимо лживая власть в чем-то опозорилась. Мы злорадствовали, понимая при этом, что любой позор для власти – как слону дробина. Однако, лагерная тема явно не интересовала и самого автора, хоть он почему-то выбрал ее.

Десять лет спустя я сам стал писателем и прочел отрывок второй раз. С этого началось мое второе увлечение Локтевым. Было уже не важно, изображает он или объясняет. Мне открылось загадочное свойство художественной прозы: в ней невозможно лгать. Можно солгать в поэзии, философии, статистике, кино, музыке, науке, но не в прозе. Автор может стараться быть честнее, умнее, интереснее, чем он есть, а проза его выдаст. Он может обмануть в письмах, в дневниках, в поступках (и очень даже часто – в поступках, и героических, да), в предсмертной записке, но в прозе он весь, как на ладони. Он искренне верит в то, что пишет, а проза его разоблачает. Честный писатель сочиняет то, чего не было и быть не могло, ставит героев в фантастические обстоятельства, выдает черное за белое и белое за черное, сознательно нарушает законы вероятности и искажает приметы реальности – но это лишь помогает увидеть правду. Да, помогает не только читателю. Но не всякий читающий человек – читатель.

Это было мое ощущение начала семидесятых. Сейчас оно, пожалуй, усилилось. И сейчас мне хочется добавить – с сомнением, но осмелюсь, – что проза может больше, чем наука. Она и глубже и, как ни странно, точнее, объективнее. Наука в ней и рождается. Так было с Достоевским и, мне кажется, так произошло с Локтевым. Поскольку наука по необходимости всегда упрощает (категоризация и есть упрощение, отбрасывание «случайных признаков»), с какого-то этапа формулирования она начинает лгать. Конечно, может лгать и проза. Но это заметнее. Проза имеет не меньше способов проверки на истинность, чем наука. Она прозрачна, а современная наука давно перестала быть прозрачной.

Я знаю, не все со мной согласятся. Тех, кто не согласен, прошу прочитать небольшой отрывок и набраться терпения: теория хаоса в психологии того стоит. Привожу полностью все, что было на листках со скрепкой:

13

«...ному коридору без окон и дверей, со связанными за спиной руками, видя перед собой тень конвоира с опущенным к сапогу наганом – тусклая лампочка была за их спинами, там, где после поворота начинался коридор, – Казимир Станиславович, может быть, думал свою светлую думу о том, что забудется его нелепая смерть, забудется позор и Киза вырастет счастливой, потому что при коммунизме все будут счастливыми. Он шел печальный и гордый, тень конвоира исчезла, потому что они прошли больше половины коридора, в конце которого была вторая лампочка, и она отбрасывала тень назад. Там был поворот, за ним вместо лампочки загорелся дневной свет, там расстреливали. Идея единого незримого Бога, сломавшая хребет официальному язычеству, диалектически осуществив себя в отрицании отрицания, подменив невидимого Бога иудеев такими же невидимыми, но и так же, как он, всюду и везде действующими законами природы, то есть осуществив себя в атеизме, естественным путем пришла от веры в царствие небесное к

вере в грядущую победу коммунизма, и с тех пор для очень многих быстро пошла на убыль, а другие до сих пор пытаются вернуться немного назад по тому пути, по которому к этой идее пришли, то есть осторожно ставя ногу в почти уже исчезнувшие собственные следы.

Тот, Кто создал нас не разумными, как животные, а мыслящими, наделенными умозрением тварями, позволил нам создать воображаемый мир и на первый взгляд не уравнил эту эксцентриковую силу в своей космической гармонии. Так же, как в музыке, гармония заключается в том, что обещанная нота находится лишь в конце фразы. Мелодия же на пути к этой ноте почему-то усложняется в своем развитии, и все делает для того, чтобы, сохранив нашу надежду на конец фразы, отсрочить этот конец. Мелодия длит собственную жизнь, это ее право живого существа, но так можно и не дожидаться гармонии. Если бы мы были бессмертными, мы бы все дождались ноты. А может быть, наоборот, нота означает смерть.

Дочери Казимира Станиславовича все время казалось, что она занимает чужое место, и если ее с какого-нибудь места сгоняли, она принимала это, как должное. Покорность тихой виолончелистки была очень похожа на искусство блудницы. Ток жизни возникает при разности потенциалов, и потому покорность, увеличивая эту разность между жертвой и хищником, провоцирует агрессора к насилию или опеке. По законам электродинамики какое-то сопротивление тоже требуется, но для простых мужиков сопротивлением были интеллигентность и воспитанность, которые они в виолончелистке чувствовали.

Лучшим ее опекуном стал немолодой майор, человек малограмотный, проницательный и добродушный. Он звал ее Кизой и любил поговорить по душам, для чего определил в хозяйственный барак. Она топила баньку, заготавливала воду и парила майора березовым веником. Его однажды нашли в снегу полуголого, с прогрызенным горлом. Хоть волчица оставила цепочку глубоких следов на свежем рыхлом снегу, завели дело на Кизу. Шустрый особист обещал ей свое покровительство за добровольное признание. Лагерный ее срок истекал, и от особиста зависело, будет ли он продлен. За день до второго допроса по радио объявили, что немцы разгромлены под Москвой. Радиосвязь в офицерском городке прервалась в самом начале сообщения. Вызвали монтера. Он прошупал проводку в Доме офицеров и со стальными «кошками» на ногах лазил на столб. Утром связь возобновилась, при этом неожиданно заголосила черная тарелка динамика на столбе над футбольным полем, немая со времен финской войны. Тарелка стала изрыгать обрывистые картавые выкрики. Отключить ее не смогли, надо было лезть на столб. Монтер исчез, нашли только его «кошки». Особист без шинели прыгал под столбом и орал на солдатику, который отказывался лезть. Нацепив «кошки», особист полез сам, дотянулся окоченевшей рукой до тарелки, потерял равновесие и полетел спиной вниз. Его перенесли в здравпункт, и он умер раньше, чем прибежал врач.

Откомандированный по ранению в тыл Николай Сметана, расположившись в доме своего предшественника-майора, удивился, когда в баньку вошла женщина. Он видел ее с утра в треухе и бушлате, когда она разжигала каменку и таскала ведрами воду. Когда она вернулась в том же бушлате, но без треуха, молодой мужчина застыдился наготы и шрама на спине. Киза скинула валенки и выставила их за дверь. Рассмотрев лицо, Николай увидел смущенную улыбку и подумал, что она, наверно, из образованных. Киза сначала спрашивала,

какой пар он любит, – горячее и угарнее или холоднее, но без угара, а потом поняла, что он ничего в этом не понимает, и стала делать по своему разумению. После мытья и парки разложила на камнях валенки и бушлат, постирала исподнее Николая и повесила на веревку набираться озона на морозе. Поскольку близость с мужчиной по какому-то инстинкту или этикету требовала, чтобы в ней присутствовала и речевая связь, Киза, развешивая подштанники, объяснила про озон Николаю, слегка его этим озадачив. Он даже пробормотал про себя: «Ух ты, грамотная, шалава»...

Выпивка и щи после баньки – это уже было не ее дело, а ефрейтора Литвинчука. У Николая было время, отдыхая за столом перед миской с вкусным паром, вприкидку оценить свое новое положение. Он пришел к выводу, что, во-первых, надо сразу себя поставить с нахальным Литвинчуком и остальными, чтобы не сели на голову, во-вторых, Кизе за тридцать, в-третьих, он, наконец, трахнул культурную, дело, в общем, хорошее, но не настолько, как об этом базлают мужики в казармах. Когда вместо Кизы в хозяйстве появилась другая бабенка, Николай поинтересовался, куда делась Киза, и услышал, что у нее закончился срок и ее отправили на поселение. Николай обиделся, что Киза ничего ему не сказала. Он считал, что она к нему привязана.

В следующий раз он увидел ее на празднике седьмого ноября в офицерском городке. Сначала была торжественная часть с докладом и награждениями. Участники предстоящего концерта самодеятельности в это время сидели сбоку на стульях. На Кизе было концертное платье жемчужного отлива с поднятым лифом, оно поблескивало, обрисовывая линии ног, закинутых одна на другую, и это привлекало внимание офицеров и их разодетых жен в зале. Так что молодой капитан Сметана сначала вдоволь насмотрелся на эту картину и лишь час спустя заподозрил, что он виолончелистку где-то уже видел. Предположение, что это та самая Киза, сначала показалось ему неправдоподобным, потом напрягло.

Киза заметила взгляд, узнала молодого капитана и с опозданием отвернула лицо. Она ощутила то же, что чувствует спрятавшийся от хищника мелкий зверек в момент обнаружения. Зверек цепенеет. Киза затаилась, как мышь в норе, но и как кошка перед прыжком. Оба эти состояния не просто похожи друг на друга, они одинаковы. Оцепенение – последний резерв защиты перед принятием решения. Выход из него может быть бегством, а может быть нападением, это вопрос динамики, столкновения двух шаров с разной массой.

Кизе нужно было мобилизоваться, чтобы выступить в концерте виолончели с фортепьяно. Она умела это делать, как любой музыкант с опытом концертных выступлений. К лицу прихлынула краска. Справившись с оцепенением, Киза почувствовала уверенность и даже некоторый интерес. Так рыбак, задремавший над заброшенной в омут удочкой, вдруг чувствует, что леска натянулась и удилице тянет его в воду. Быстро взглянув на капитана, Киза поймала его неотрывный взгляд и не сразу отвела глаза. Она не забрасывала удочку, и вот когда клюнуло, она все равно должна была тянуть, будто забрасывала. Никакой страх не мог помешать этому.

Кошка решительна лишь тогда, когда решительна в своем бегстве мышь. Ее воля к преследованию зависит от мышиной воли к убежанию. Если мышь нерешительна, то и кошка не сразу совершает смертельный прыжок. Провоцируя мышь к движению, она бросается следом, но зами-

рает, если замирает мышь, и снова начинает провоцировать мышь к движению. Это вовсе не игра, ведь на месте мыши могла бы оказаться собака. Желание напасть и желание удрать сосуществуют и в охотнике, и в жертве. Ситуация разрешается по сценарию, в котором оба связаны.

Обратная связь между охотником и добычей устанавливается сначала неотчетливыми, почти неуловимыми сигналами. Если они не дают внятную информацию, охотник, хищник или рыбак станут усиливать сигнал, действия их будут все смелее и целенаправленнее. Кошка до конца мышку не придушит, рыбак леску слишком сильно не натянет: ощутив сопротивление добычи, тут же отпустит, позволит затянуть себя в воду. Так хищник попадает в зависимость от того, кого преследует.

Киза, превозмогая желание забиться в нору, продолжала осторожно провоцировать хищника взглядами. Нужна большая мужская самоуверенность, чтобы увидеть в этом употребление женских чар. Во всем этом нет ни женской, ни мужской воли. Чары – следствие, а не причина.

Киза не была стервой, которая и сама погибнет, и других утопит, бросается в пучину, а там как получится. Конечно, в храмах Астарты стервы занимали не последнее место. Без инициативных блудниц не стоял ни один храм. Но опытные жрецы знали и цену робких девочек, у которых только начинали проклевываться грудки и покрываться пушком промежность. Вялые мужчины предпочитали стерв, но лучшие воины искали в женщинах тишину и покой.

Придется запутаться в поясняющих примерах еще больше. Побег растения с яркими цветами и невидимые в земле корни произрастают из одного семени. Когда приходит срок, семя брызжет во все стороны ростками, по которым с одинаковой щедростью бегут аккумулированные соки жизни, и те побеги, что выбиваются вверх, приобретают цвета и запахи, необходимые для приманки, а те, которым досталась роль питать яркие верха, остаются бесцветными, водянистыми и аморфными. Если же семя прорастает в морской стихии, «корни» его, бесцветные и вялые, полощутся, как веревки, не сопротивляются течению, не цепляются намертво за грунт. Они теряют способность привлекать и тянутся в укрытия, зная, что не выстоят против стихии. Эта дифференциация функций возможна лишь при условии, что в каждом побеге, и в тех, что стали цветоносными, и в тех, что стали корнями, заключены все возможности, некая изначальная одинаковость всего, и эти возможности дают себя знать вовремя и не вовремя. Мыши, кошки и водоросли в этом тексте не метафоры, не аналогии, а приметы некоего родства, несколько конкретных значений X в линейном уравнении.

Тем временем пианист прошел к фортепьяно, а конференсье, известный всей стране до своего ареста Бояринов, поставил на середину сцены стул для Кизы, настраивая зал на служение музам. Киза села лицом к залу, утвердив корпус виолончели между расставленных ног, и кое-кто в зале потянул шею, чтобы увидеть, как жемчужное платье обтягивает ноги по внутренним линиям до самого живота, как тренировочные штаны (чего он не сделал бы, если бы Киза была в этих самых штанах). Пианист исполнил на фортепьяно как бы маленькую официальную часть, что-то вроде доклада, и вкрадчиво, очень тихо начала популярную мелодию виолончель. Тихие ее звуки заставили капитана напрячь слух до предела. Он не заметил, как оказался вовлеченным в интригу. Звук передавал последовательность сигналов. Все другие сигналы, более мощные и непреложные, – запах, свет, цвет, линии, вкус, прикосновение – были самодостаточными и не

передавали ничего сверх того, что заключали в себе. Они так или иначе передавали признаки реальности, доступной в ощущениях. В отличие от них звук, как азбука Морзе, что-то транслировал, и это что-то не было признаком или свойством.

Волнуясь так, что глаза увлажнились, капитан пустился в авантюру музыки. События развивались стремительно: возникал красивый звук виолончели, и Николай мгновенно, как бы забегаая вперед, угадывал следующий звук. Почему-то было чрезвычайно важно его услышать, иначе лад рушился и наступал хаос. Это чувство длилось долю мгновения, но в него успевала вститься вся надежда, на которую Николай был способен. Тут же приходил следующий звук, тот самый, которого Николай ждал, и одновременно возникало предвидение звука, следующего уже за ним, надежда на него, страх, что его не будет и возникнет хаос, но и этот звук возникал, то же переживание продолжалось и со следующим, и дальше и дальше, пока длилась музыка. Николай бежал от звука к звуку, как волк вдоль флажков или как кошка на запах мяса, надежда сбывалась и сбывалась, он то опускался со звуком, то взлетал и как бы увеличивался в размерах, а когда надежда не сбывалась, сжимался, напрягался и не терял надежды, что звук потерялся не навсегда, он просто побегал окольным путем, и если довериться цепочке, то он придет и лад не обманет. Череда звуков, сохраняя лад, но дразня обещанием, все запутывала в сложных пассажах, уводила куда-то в сторону, он недоверчиво следовал за ней, готовый и к надежде и к разочарованию, наконец начал понимать, что никакой ошибки не было, недоразумения не случилось, мелодия не предала его, это всего лишь, как он и надеялся, обходной маневр Кизы на пути к торжеству гармонии, и когда, наконец, ожидаемый звук возник в конце там, где он и должен быть, Николай счастливо расслабился, как человек, переживший опасность. Если запах открывал ему, что время неподвижно и движется не оно, а жизнь, то звук отрицал время вообще – времени не было, было только чередование наличия и отсутствия, и не имело значения, зрительное оно, слуховое или мыслимое, можно было изобразить это чередование графически на листе бумаги, то есть исключить из него время вообще, превратив его в пространство, ничего при этом не менялось, это была первозданная структура, реализованная в звуках.

Мелодия звучала в ушах Николая, когда он провожал Кизу в комнату, которую она снимала в сорока минутах ходьбы от офицерского городка, по кривой тропе параллельно разбитому, без бордюра, асфальтовому двухрядному шоссе. Угол с кроватью Кизы отделялся буро-розовой занавеской от остального пространства горницы с русской печью и посудными полками у входной двери. Там же, «колодцем», как фигура «городков», лежали, подсыхая у раскаленной железной заслонки, дрова. Кровать Кизы стояла вплотную у стены, под окном с видом на толевые крыши сараев. На ней в беспорядке лежала одежда, которую Киза торопливо примеряла, прежде чем выйти из дому. Хозяйка злобредно громыхла горшками в печи. Капитан сел на кровать, притянув к себе Кизу. Она деловито отодвинула лежащее на цветном покрывале черное платье, чтобы не помять. Хотела повесить на спинку кровати, но передумала. Отказать капитану ей было труднее, чем уступить, – не из субординации, а по недостатку опыта решительных действий. Она не сознавала в себе права на них. Между тем у Николая право на Кизу было, он просто применил его в

очередной раз. Предложив проводить, он предложил и все следствия этой прогулки, так что отказывать надо было сразу, на ступеньках гарнизонного «Дома офицеров». К мужскому вожделению Киза привыкла, не приписывая его своей особой привлекательности, по наивности считая, что любая молодая женщина годится любому мужчине, а ненасытная мужская похоть требует утоления, то есть от воздержания мужчина умрет, как умирают от голода и жажды. Лагерный опыт укрепил ее представление о неизбирательной похотливости мужчин.

Когда год спустя Николай перебрался к ней с чемоданом, Киза решила, что ему удобнее так, чем каждый раз с разными женщинами создавать бытовые обстоятельства для минут облегчения. Вместе с тем она чувствовала себя в положении воробья, в солнечные дни мая прилетающего к ним на карниз. Николай через форточку высыпал на подоконник крошки и из комнаты с улыбкой наблюдал, как воробей их склевывает. Иногда, подходя к окну, он искал воробья глазами, и радовался, если находил. Тихонько и ласково разговаривал с птицей через стекло. Заигрывал с ней. Что-то такое было и в его отношении к Кизе.

Когда родилась дочь, Киза в минуты счастья заигрывала с ней, как Николай с воробышком, — разговаривала, цокала языком, посмеивалась над ее жадностью и во время кормления иногда дразнила: приближала сосок к роту, а когда девочка вытягивала губы, чтобы захватить сосок, отстранялась, наблюдая недоумение и разочарование голодного младенца. Снова приближала и снова отдаляла, и продолжала игру до тех пор, пока мордочка не начинала складываться в гримасу рыдания. Тогда она впихивала сосок в рот со словами: «Ешь, жадина». Это было то чувство, с каким Кизу насиловали и которое нет-нет, да и проявлялось в Николае. В панике дочери была для нее осуществленная месть внешнему миру. Она, как мужчина, совала свое тело в орган наслаждения ребенка. На какой-то глубине мужское и женское теряют половые признаки и делаются чем-то одним. Сообщая, может быть, слишком навязчиво, эти нескромные вещи, я не претендую на научную ценность высказывания. Мне кажется, что когда фрейдисты распространяют сексуальность на все, включая наслаждение ребенка сосанием материнской груди, это то же самое, что отрицать сексуальность вообще. Если она во всем, то ее нет ни в чем. Я подозреваю, что любовь, может статься, не такое уж сексуальное чувство, как кажется. Возможно, правит бал тут не Астарта, а суровый и безжалостный ханаанский бог мужского пола, Молох или Ваал.

Тут есть некоторая тонкость, важная для понимания культа Астарты. Эту тонкость не всегда учитывают, сводя любовь к возможностям богини плодородия. Повторю снова, Астарта, увлажняя влагища и поднимая фаллосы, создает завязь, но не способна создать чувство, обеспечивающее выживание плода и ребенка. Она и не знает, что это такое. Это чужая работа. Кто-то другой, будь он дьявол или Владыка Небес, определяет судьбу супружеских пар. Но именно Астарта присваивает чужие плоды, запутывая следы и смешивая наши карты.

Год спустя Николай повел Кизу в ЗАГС. Он считал, что поступает, как коммунист, поскольку сам товарищ Сталин сказал, что сын, а значит, и дочь за отца не отвечает. И если старший по званию и должности начальник политотдела подполковник Кирпичников пытался отговорить Николая, тот делал вывод, что товарищ подполковник просто-напросто плохой коммунист, — что, кстати, соответствовало действительности. Подполковник, советуя дельно, сам мог бы и не следовать

собственному совету, он мог жениться и на дьяволице или колдунье и остаться при этом «верным сыном партии», так он был устроен природой, ставящей своей вынужденной целью приспособление живых существ в процессе естественного отбора. Поскольку процесс вероятностен, то при малых числах возможны статистические отклонения, и приспособление, вместо того, чтобы культивировать нужнейшие для вида качества жертвенности, начинает культивировать приспособляемость ради приспособляемости, уничтожая лучших. Иначе не объяснишь, почему естественный отбор работал на этого подполковника и против Николая Сметаны. На свою беду Николай был устроен иначе. Он продолжал пить с подполковником разбавленный медицинский спирт, но теперь его стало тянуть на спор. Он и сам не заметил, как исподволь начал искать истину. Подполковник, как на грех, добродушно соглашался и подливал масла в огонь, — ему зигзаги диалектики ничем плохим не грозили, он сам состоял из сплошных зигзагов. А прямолинейный Николай шел прямой дорогой под военный трибунал от одного силлогизма к другому, все шире и шире раскрывая честные глаза.

Киза так и не поняла, что brave офицер, наверно, в самом деле был неординарным человеком, и достоин изумления тот факт, что в конце войны он, вопреки советам, женился на ней и удочерил ее ребенка. С тех пор баловень судьбы, выживший в боях под Москвой, до конца жизни платил за что-то, чего так и не понял. Но что поделаешь, человек стал человеком только тогда, когда вообразил себя чем-то иным ...»

14

То, что автор текста Локтев, было очевидно по автоцитатам. Я понял, что читаю прозу, написанную об Ольге Викентьевне бывшим ее мужем. Факты не совпадали. Ольга Викентьевна говорила, что войну провела в блокадном Ленинграде, откуда ее вывезли поправляться в Мордовию, значит, в лагерях не сидела. Допустим, она скрывала прошлое, но почему нужно было верить Локтеву? Текст явно не был свидетельством очевидца.

Локтев расставил некие приметы. Он словно бы пробалтывался. В тексте был Литвинчук, но это девичья фамилия Ольги Викентьевны, не такая уж распространенная, чтобы совпадение можно было считать случайным. Толя в самом деле служил в мордовском лагере. Он удочерил Таню.

В то же время Локтев лукаво подчеркивал, что текст его — вымысел. Потому и выбрал нечеловеческое имя Киза. С тарелкой громкоговорителя и смертью особиста он словно бы резвился, расставляя метки вымысла на канве реальности. Они выглядели, как заведомо ложные показания свидетеля на суде. О баньке я уж не говорю.

И все же озадачивал Локтев не этим. Его ирония была настораживающе направлена на тех, кого расстреливали, загрызали и втапывали в грязь. Из-за этого возникал дискомфорт, подобный желанию поправить фокус бинокля. Чуткая Дуля тогда, в семидесятых, заметила: «Он похож на Прибытенко». Я не сразу понял, о ком она. А она вспомнила Стаса Прибытенко из нашего класса, того самого, который когда-то резанул меня по щеке бритвой.

Но при чем здесь Прибытенко? Стас потерял авторитет среди пацанов, когда загремел в тюрьму его брат. Это случилось не сразу.

Какое-то время он по привычке еще задира́л всех, надеясь на безнаказанность. Слабый и болезненный, он получил по шее раз, другой, и миф о его неприкосновенности рухнул, над Стасом стали издеваться. Просто для удовольствия таскали по земле, как мешок. Сдирали штаны при девочках. Мазали чем ни попадя. И Стас стал как-то по-русски юродствовать. Его пихали, шпыняли и тискали без всякой злобы, просто от избытка веселья, а он притворялся, что успокоился, а потом, когда компания теряла к нему интерес, молниеносным движением наносил удар обидчику – удар несильный, но заметный. И тогда его снова пихали, мяли, волокли по земле или просто били, иногда потехи ради, иногда входя в раж. Это ничему не могло научить неукротимого Стаса. Едва его отпускали, он снова что-нибудь отчебучивал. Если не мог ударить, начинал потехи ради плясать.

Дуля почувствовала что-то такое в тексте Локтева. Наверно, она была права. Как только у Локтева человек становился жертвой, автор включал иронию. Зачем ему понадобилось это? Позиция показалась Дуле подозрительной. Локтев намеренно сбивал фокус своей оптики.

Теперь я выразился бы иначе. Локтев не сбивал фокус, он менял масштаб изображения. Есть люди, которые верят в справедливость. Именно порядок справедливости они выбрали моделью, чтобы было, с чем сравнивать. Другие руководствуются совестью. Третьи, вроде меня, верят в разум. Не то чтобы мы все были наивными и считали мир таковым, но таковы эталоны, с которыми мы сравниваем реальность. Локтев эти порядки отвергал. Но чем-то же мир держится, и он искал порядок, еще не скомпрометированный нашим опытом. В его прозе нет психологии, и не скажешь, что они за люди, эти Киза и Николай. Есть обстоятельства жизни, где есть жертва и палач, преступление и возмездие, а он взял увеличение, в котором ничего этого нет, одни только клеточные ядра, плавающие в протоплазме.

Замечал какие-нибудь связи и фиксировал их – музыкальные впечатления, поведение животных или жизнь растений. Одни связи оказывались мнимыми, другие куда-то уводили, и он шел за ними.. Ему пришлось углубиться туда, где существуют феномены, недоступные науке, потому что для их описания нет терминологии. Для науки обязательно, чтобы феномены были воспроизводимы, у нее есть критерии достоверности, и все, что не соответствует ее условиям, она отбрасывает, как случайное. Однако за какой-то чертой случайным становится все. Туда взгляд науки не проникает. Приметы достоверности там другие. Или я не понимаю Локтева.

Он оставался рационалистом... Наверно, сегодня можно пойти дальше, уловить невыразимое в терминах физической химии, найти у Флобера точки бифуркации, аттракторы и диссипативные системы. Есть любители искусства, которые впадают в обморок или истерику от одного лишь слова «химия». Локтев химии не боялся. Николай Заболоцкий в те времена писал Циолковскому, что когда-нибудь искусство и наука сольются. Это помогает понять усилие Локтева.

– Завтра я возьмусь за него, – говорила Дуля.

Я возражал, что ей рано напрягаться, нужно сначала восстановить силы, а она считала, что я из-за нее теряю время и потому нервничаю. Ее мучила совесть, однако любое умственное усилие вызывало дрожь,

она прерывала работу, шла в кровать и сразу засыпала. Приехали как-то проводить старики, за которыми она ухаживала до самой болезни. Они ждали, когда она вернется, но, посидев полчаса, поняли, что Дуля работать уже не будет. Я тоже решил прекратить все свои подработки. За несколько последних лет удалось стать каким-никаким специалистом по ремонту квартир, однако отказался от нескольких предложений и потерял клиентуру, которой и без того было небогато.

Раз в неделю мы ездили на такси в поликлинику, и Дуля сдавала кровь на анализ. В день, когда биохимия бывала готова, я прибегал в лабораторию, едва она открывалась. Меня интересовал только один показатель – LDH. Он неоднозначен, но его снижение свидетельствует по крайней мере, что раковые клетки не растут значимо. Полусонная секретарша запускала компьютер и принтер, вытаскивала лист, протягивала – LDH снижался. Я переводил дыхание и мчался в супермаркет в этом же здании, покупал деликатесы, чтобы отметить успех.

Дуля уже свободно ходила, начала смотреть телевизор, мы ездили на автобусе в гости к маме, это десять минут езды в центр города, где мама с сестрой снимали квартиру. В автобусе Дулю тошнило, по пробуждении по утрам мучила непонятная дрожь, телевизор утомлял через полчаса-час, и любой раздражитель – просто толпа людей, изобилие товаров в магазине, где Дуля хотела найти нужную вещь среди множества других, – создавал предобморочное состояние. Пробыв в магазине несколько минут, Дуля, опираясь на мою руку, выбиралась наружу, и мы отдыхали на ближайшей скамейке. Ездили по самым разным врачам – невропатологам, сосудистым хирургам, были даже у гомеопата. Все первым делом посылали на СТ головы и направляли опять к Ульвику. Он хмуро замечал: «Это не рак». Становилось все яснее, что химиотерапия что-то натворила.

В Дуле появился инстинкт, заставляющий избегать всего сложного и требующего концентрации внимания. Она избегала людных мест, по телевизору смотрела только спокойные передачи в медленном темпе, вроде старых советских фильмов, категорически отказывалась принимать родственников, знакомых и приятелей. Я послушно отказывал по телефону близких, которые пытались ее провести. Наиболее беззастенчивые и абсолютно неблизкие все равно являлись:

– Да мы с Машкой только на секунду...

И мы с Дулей ставили чайник, бутылки, конфеты, делали бутербродики и уговаривали «посидеть еще немного». Один из таких гостей брякнул:

– Ремиссия.

Наверно, с медицинской точки зрения так и надо говорить, не выздоровление, а ремиссия. Но мы боялись самого этого слова.

Гость ничего плохого не имел в виду. Ему у нас было хорошо. Рассказывал о своей поездке к сыну в Штаты, хвастал успехами. Жена смотрела ему в рот. Мы с Дулей проводили их до машины, гость похвастал и машиной. Дуля из последних сил висела на моей руке, пока он рассказывал, как дешево удалось купить, придравшись к каким-то царпинам. Мы вежливо похохатывали, когда он разражался смехом.

Едва гости отъехали, Дуля помертвела:

– Сейчас... постоим немного... что-то голова... Ну идем, только медленно.

Я довел ее до двери, взобрались по лестнице, отдыхая на каждой ступеньке. Легла в кровать почти без памяти.

Отлежавшись после гостей, повеселела. Ей приятно было, что приезжали, как в прежние времена, гости, не охали и не смотрели с сочувствием, а вели себя в свое удовольствие, и она хозяйничала, как прежде, и уехали довольные. За ужином заметила:

— Что ты так расстраиваешься? Ремиссия может длиться и двадцать лет.

— Просто он меня бесит.

— Он хороший муж, дети устроены... Он простой.

Этот наш гость, маленький, толстый и картавый, был из тех, над кем в школе издеваются с особым наслаждением, и дальнейшая его жизнь не давала особых поводов для гордости, но он умудрился вырасти и состариться на удивление самодовольным. Я давно заметил, что самодовольство и хвастовство Дулю не раздражают. Она только не любила, если начинал хвастать я, сразу отводила глаза.

Когда темнело и отпускала жара, мы выходили прогуляться. Район наш, в основном, марокканский, нравы простые, на верандах большие столы, за ними потные, крикливые люди в трусах и майках, кое-где тут же, под навесом, включены телевизоры, шмыгают дети, спнут старухи, все на виду.. У Дули так и осталась неутоленной любовь к большим семьям, которые в праздники собираются за большими столами вместе, — расторопные жены, шумные мужья, старухи и дети разных возрастов. Ничего этого в ее жизни не было.

На счету в банке лежали кое-какие деньги, их хватило бы, чтобы съездить в Италию или в Париж. Дуля и слышать об этом не хотела, да и в самом деле не могла осилить даже поездку в Иерусалим. Я уговорил хотя бы ездить городским автобусом к морю, оно под рукой, в десяти минутах. Несколько вечеров мы проходили мимо столиков кафе, прогуливались по тропке вдоль обрыва, сидели на скамейках, пытались любоваться закатом, пока Дуля не сказала задумчиво:

— Как я ненавижу море...

Ей нужен был белорусский лес, трава, в которой все время что-то копошится, роется, шуршит, жужжит, посвистывает, пищит, трещит, звенит, устраивает свою жизнь.

— Давай съездим в Минск, — сказал я.

Помолчав, она сказала:

— Я не могу радоваться специально.

— Почему специально?!

— Все нормально, — успокоила она. — Не надо что-то специально делать. Надо жить, как получается, и все.

Она не понимала, что такое развлечения. И я в этом был никудышным учителем. Мы никогда без особых причин не ходили в рестораны и кафе «просто посидеть», не записывались в танцевальные кружки или курсы теннисистов, не богемствовали, не бродили по горам и рекам с вещмешками. В сущности, наш образ жизни не отличался от родительского, мы выросли в поселке тракторного и проводили время так, как все вокруг. Все в поселке ходили в кино в тракторозаводский Дом культуры, где фильмы менялись раз в неделю, — и мы ходили. Никто не проводил вечера в ресторанах и выходные на теннисных кортах — и мы не научились.

Да было ли в нашей жизни вообще понятие «развлечение»? Были работа, отдых и обычай. Детей надо было вывозить на природу, в праздники надо было сидеть за столом у мамы, а в дни рождения друзей — у них. Так, наверно, жили первобытные люди, знающие не

развлечение, а отдых для тела и ритуал для души. Вместо пляски вокруг тотема у нас было кино, и если фильм оказывался хорошим, мы выходили из зала тихие, как верующие после причастия.

Потихоньку Дуля стала заглядывать во французскую книжку (однажды я догадался, что в фамилии автора Тевлок надо просто пере-ставить слога). Жаловалась, что совершенно вылетел из головы французский. Пыталась сосредоточиться.

Когда-то так спасался от приступов безумия Владимир Кандинский, именем которого назван синдром Кандинского-Клерамбо. Чувствуя приближение приступа, Кандинский усаживал себя за переводы с немецкого и французского. Эта работа каким-то образом наводила порядок в психике, приступ отступал. Но у Дули была совсем другая болезнь. У нее от сидения над текстом начиналась дрожь, и если она не бросала работу, дрожь усиливалась, как будто она держала в руках провода под высоким напряжением.

16

Я не должен был нравиться Дуле. Она была простой и ее тянуло к простым. Моя же судьба словно бы нарочно подстраивала так, чтобы я не стал простым. Едва начал читать – судьба подсунула шкаф Ольги Викентьевны, где почему-то больше всего было декадентов. Кто сейчас в России знает, например, Роденбаха из Брюгге? А я прочел все его романы. От корки до корки прочел комплекты «Золотого руна», издаваемого господином Рябушинским, на толстой мягкой бумаге, с цветными репродукциями, переложенными папиросной бумагой. Прочел за несколько лет «Апполон» и «Весы». Став студентом, что-то покупал сам у московских букинистов и тащил к Ольге Викентьевне. Помню полугодовой комплект «Апполона» за 1911 год, переплетенный в голубенький коленкор, совсем по дешевке, за девять с половиной рублей (в начале шестидесятых еще не было ажиотажной моды на старые книги). То есть, я считал, что именно это и есть вершина литературы. Мережковского прочел раньше, чем Достоевского, Максимилиана Волошина раньше, чем Боратынского и Тютчева. Роденбах и Мережковский были мне смертельно скучны, но я преодолевал скуку, чтобы приобщиться к культуре, не подозревая, что двигаюсь по кривой. Ольга Викентьевна как-то сказала: «Настоящий библиоман любит книгу не за содержание». – «А за что же?!» – «Просто за то, что она – книга».

Так могла сказать только женщина. Так женщины понимают слово «любит»: не за «что», а просто так. Иногда возникало подозрение, что сама Ольга Викентьевна книг не читала. Очень изобретательно уклонялась от любых моих разговоров о них. Напускала на лицо загадочность. Зато с удовольствием рассказывала про то, как один писатель дал пощечину другому, или как умер девственником, или как украл у ее подруги подвешенную к форточке курицу. Не сразу я понял, что Ольга Викентьевна сплетничала, как простые тетки с Тракторного, просто ее средой были не родня и соседки, а книги.

Мой путь в мире книг, значит, зависел от того, что было в шкафу Ольги Викентьевны. Однажды, приехав на каникулы, я застал ее в косынке, старой рубашке и Таниных штанах. Она освобождала шкаф. Я стал помогать. Она передавала книги мне, я складывал их стопками в углу. И конечно, все время отвлекались, показывая друг другу то

одну, то другую находку. Такой оживленной я ее никогда не видел и заподозрил неладное. Пришел Толя с дружкой, и Ольга Викентьевна сделалась отсутствующей, как всегда. Я хотел уйти, но она показала глазами, чтобы остался. Толя провел дружка в закуток за шкафом, и там они вдвоем стали разбирать никелированную кровать. Заело, они стучали по железу. Ольга Викентьевна спросила:

– А где я буду спать?

Ей не ответили, она повторила громче:

– А где я буду спать?

Толя буркнул:

– Я тебе квартиру оставляю.

Кровать, наконец, разобрали, вытащили и с грохотом потянули вниз по лестнице. Кошачья вонь из подъезда проникла в квартиру. Ольга Викентьевна стала сметать веником открывшийся сор и спросила:

– А шкаф сюда не встанет?

Я померил ногами – шкаф помещался. Слышно было, как Толя с дружкой затопали по лестнице вверх.

Ольга Викентьевна успела тихо сказать мне:

– Не уходи.

Во второй заход Толя бросил на пол простыню и стал швырять в нее свои вещи из платяного шкафа – рубашки, кальсоны, прихватил полотенце со спинки стула и тоже швырнул. Ольга Викентьевна сидела на стуле и смотрела. Про полотенце она сказала:

– Оно грязное.

Набросав кучу, Толя связал углы простыни и ушел с узлом, хлопнув дверью. Из-за дерматиновой обивки звук получился мягким, но Ольга Викентьевна тихо отметила:

– А зачем дверью хлопать.

Я воспринимал все чрезвычайно драматично. К тому времени я прочел про виолончелистку и сам не заметил, как стал видеть в Ольге Викентьевне Кизу, а в Толе – Николая Сметану.

Если, кстати сказать, это так, если наложилось литературное впечатление, значит, было чему накладываться? Локтев избегал психологии, ловил поведенческие ядра, плавающие в протоплазме клеток, и вопреки его усилиям сквозь клетки проникли некие образы Кизы и Николая? Впрочем, может быть, я дорисовывал недостающее сам.

Уход Толи казался мне актом античной трагедии, а вопрос: «А где я буду спать?» был соразмерен «Быть или не быть». Ночью вспомнил, что видел списанные кровати во дворе поселковой больницы. Утром в темноте, когда никто не мог увидеть, помчался туда. Какая-то санитарка проходила, услышала лязганье железа и остановилась, вглядываясь, но я изобразил хозяйскую уверенность, загремел погромче, чертыхаясь, и она ушла. Приволок кровать к Ольге Викентьевне – крашенную белой эмалью, тяжелую, узкую, с почти целой, немного ржавой панцирной сеткой.

– Будет спать Таня, – решила Ольга Викентьевна. – Диван ей уже мал. И воздуха там больше.

Шкаф решили не переставлять. Пока я подвязывал дыру в сетке принесенными проволочками и укреплял остальное, она несколько раз приходила из кухни полюбоваться и удовлетворенно отмечала:

– Насколько места стало больше!

Полгода спустя, в летние каникулы, книги по-прежнему стояли стопками в углу, а со шкафом возился хорошо знакомый мужик, Иван

Иванович Ляшкевич, папин сосед по товариществу садоводов. Он что-то прилаживал и мычал под нос.

Иван Иванович сдружился с отцом в последний год, когда оба взяли садовые участки. Он все умел – плотничать, бетонировать, слесарить, печку сложить, выбрать и правильно подрезать саженцы. Высокий, жилистый, с азиатскими скулами и вислыми шляхетскими усами, приезжая в сад по выходным с утра, он оказывался на своем участке лишь к полудню – знакомые садоводы перехватывали по дороге и затаскивали к себе, как бы между прочим вытягивая советы: «Я вот думаю... а ты как считаешь?..»

Летние каникулы начались в пятницу, а в воскресенье мы с Иваном Ивановичем оказались в одном автобусе. Он в тот день соорудил печку цеховой бухгалтерше Рае. Рядом носились ее дети. Подошел кто-то из цеховых, взялся выправить завалившийся брус (Рая строила летник из деревянного каркаса, обшитого вагонкой), позвал в помощь нас с папой. К нам подтянулись еще несколько человек, и так под настроение, с обязательными, как требовал российский этикет, намеками на выпивку, к вечеру построили дом.

Тем временем дети, возбужденные до визга и ссор, собрали обрезки досок и хворост, кто-то зажег огонь в очажке, Рая с двумя подружками лепили пельмени и кипятили в выварке воду. Вернулся из города юркий мужичок, посланный с утра за водкой и брагой, груженный тяжелыми сумками и рюкзаком.

Неожиданно приехали Ольга Викентьевна с Таней. Белая в черный горошек блузка и крегдешинная юбка Ольги Викентьевны выглядели не очень уместно среди тренировочных штанов и затрапезных мужниных рубашек других женщин, подсевших к столу прямо от грядки. Женщины являлись со своими тарелками и ложками, а Рая тут же половником вываливала пельмени на тарелки. Таня за что-то дулась на мать и отсела от нее подальше. Ольга Викентьевна, такая же неуместная, как ее блузочка, привлекала внимание, люди при ней начинали фальшивить, следили за своими словами, и ей это нравилось. Подвыпивший папа устроился рядом с ней и расхваливал Ивана Ивановича, а она в ответ похвалила меня.

И все-таки было чудесно. Белели узкие щиколотки под короткими тренировочными штанами, мелькали сильные тонкие руки, убирая со стола и отгоняя комаров и мух, напрягались ягодицы, падали на шею завитки женских волос. Близкая осень добавляла горчинку в разреженный воздух, придавая предметам явленность, зажигая глаза женщин любопытством: а ты кто такой, что-то я тебя не пойму, чертенок, ну давай, давай, балуй, а мы посмотрим. Я ощущал себя своим за этим столом, заработав молотком и пилой право на редкое для меня чувство.

Потом сидел на взгорке пьяный уже не от работы, а от браги, мгновенно ударившей в голову. Крики застолья уплывали по равнине, четкие и чистые, не мешаясь друг с другом. Бывшее колхозное поле просматривалось насквозь, подернутое, как туманом, нежной зеленью годовалых саженцев. Кое-где в белесом небе торчали голые стропила, а штабеля строганных досок теряли дневной золотистый цвет и делались серыми. Я нравился себе и был рад, что Ольга Викентьевна уехала пораньше, избавив всех от стеснения.

В ней исчезла Киза. Иван Иванович Ляшкевич заслонил собой тень Локтева. Дуля не любила Ольгу Викентьевну, но как-то раз мы, выходя из кинозала, увидели в стороне выходящих вместе Ивана

Ивановича и Ольгу Викентьевну, я принялся философствовать по этому поводу (Париж, Анри Валлон, Локтев и – Иван Иванович, как это?!), и Дуля не промолчала:

– По-моему, они друг другу подходят.

У нее была манера говорить некоторые вещи невнятно, нехотя проборматывать, и это всегда означало, что я зарепортовался.

17

В августе наш курс отправили на целину, а в конце осени пришло письмо от мамы. Мама писала, что умер Толя Кобзев.

Приехав на зимних каникулах ранним берлинским поездом, я успел застать всех еще дома. Папа и мама собирались на работу. Оба выглядели смущенными.

– Я тебе писала, – сказала мама, – ты в курсе?

– Что случилось?

– Ольга Викентьевна арестована.

– За что?

– За убийство, – сказал папа.

– Лева, иди, наконец, – раздраженно прикрикнула мама, – ты опоздаешь. Нема, я не могла тебе писать, и ты понимаешь, скорее всего, тут ошибка и все будет хорошо, но, в общем, вот так. Папу вызывали, как свидетеля, он вечером тебе все расскажет. Он тоже ничего не понимает.

Лена лежала на диване, ожидая, пока соседи уйдут, чтобы она могла пройти в туалет. Мама на прощание ободряюще помахала рукой:

– Ну пока. Еще никто ничего не знает. Я никогда не верила слухам.

Я сидел на стуле и смотрел в стену, пока Лена переодевалась.

– Ты можешь мне рассказать, что случилось?

– Отравила.

– Ольга Викентьевна отравила? Кого? Толю? Как?

– Не оборачивайся. Серной кислотой.

– Чушь какая, – возмутился я. Бред преследования Лены всегда так или иначе бывал связан с отравлениями. – Ты хоть знаешь, что такое серная кислота? Как ею можно отравить? Она губы сожжет.

– Ну что ты ко мне пристал? – сказала Лена. – Я ничего не знаю.

– А Таня где?

– Таню тетя к себе забрала.

– У нее нет тети.

– Ну кто-то забрал.

– Зачем?

– Ольга Викентьевна в тюрьме, ты не понял? Ей двадцать лет дадут. Таня одна будет жить?

Сестра была сосредоточена на том, чтобы ничего не забыть. Голова спросонья не работала, она ходила, уставясь взглядом то на один предмет, то на другой, вспоминая, что ей нужно, – носовой платок, тетрадка с бредовым дневником, который она показывает психиатру (та призналась маме, что никогда этот дневник не раскрывает), книга, чтобы ждать в очереди, очки... Рассматривала и комкала какие-то свои записки на клочках бумаги...

Квартира в переулке Щербакова была запертой. Я постучал к соседям. Приходя в этот подъезд пять или шесть лет, так и не узнал, кто живет рядом. Тетка, открывшая дверь, сказала:

– Я ничего не знаю.

– А где Таня?

– Не знаю. Тут сестра Толикина была. Ну Клавдия, не помнишь? Ну да, ты мальцом был. Горе-то какое, что это с людьми делается, а?

– Да что случилось? Я только сегодня приехал.

– Так никто ж не знает, боже ж ты мой. А Толика не вернешь. Может, Светка про Таню знает. Из четвертой квартиры. Вот горе...

О чем она говорила? Что она называла горем? Я не был уверен, что видел эту тетку прежде, но она меня помнила, а о Толе скорбела, и мелькнула мысль, что я Толю совсем не знал.

Светка из четвертой квартиры сказала, что Таня обещала написать и сообщить свой адрес. Это уже было в середине дня, а от тетки я сразу побежал к Дуле. Дуля сказала, что не писала, потому что не знала, как об этом написать. Для нее это было достаточное объяснение.

Все это время я удивлялся своей холодности. Это было похоже на заморозку при удалении зуба – странная нечувствительность. Странная, наверно, тем, что ее, все-таки, чувствуешь. И ждешь, что сейчас дантист дернет, и готовишься к настоящей боли.

Некого было спросить. Иван Иванович был на работе. Дуля сказала, что у нее дядя – эксперт судебной медицины, он может что-нибудь узнать. Решили пока дожидаться папу.

Вечером Дуля сидела у нас. Папа рассказывал, мама иногда перебивала, стараясь, чтобы все звучало мягче и меня не травмировало. Однако все было слишком невообразимо, чтобы травмировать. Ольгу Викентьевну папа всю осень видел на участке Ивана Ивановича. Тот плотничал – задумал сладить домик. Ольга Викентьевна иногда приезжала и готовила горячий обед. В воскресенье к ним забрел Толя, как всегда, выпивший. Забрел не в первый раз, может быть – во второй или третий. Они, кажется, ссорились с Ольгой Викентьевной, то есть Толя без крика вообще не умел, а Ольга Викентьевна всегда говорит тихо. Она накрыла на верстаке, была там водка, и, как выяснилось, был там стакан с серной кислотой. Он оказался на верстаке случайно. Иван Иванович взял кислоту в транспортном цехе и в бутылке вынес через проходную для кого-то из приятелей. Ольга Викентьевна, значит, зачем-то налила немного в стакан. И Толя, уже пьяный, хватанул. Как это получилось, никто не понимает. Спасти его не смогли. Следовательно считает, у Ольги Викентьевны есть мотив: Толя стал требовать, чтобы она освободила квартиру, которую он получил на заводе. Она говорит, что взяла кислоту вывести пятна. Иван Иванович держал бутылку в кармане старого пальто, говорит, там на два пальца оставалось.

– Ты знал, что она сидела? – спросил папа.

– Папа ничего плохого не хочет сказать, – быстро сказала мама, – он и следователю не говорил ничего плохого.

– Я и не видел ничего, – сказал папа. – Свинчивал трубы, услышал крик.

– А кто сказал, что она была в лагере?

– Толя Ивану Ивановичу сказал.

У меня начала отходить заморозка. Казалось, что все произошло очень давно. И была связь между тем, что Ольга Викентьевна убила Толю, и тем, что она никогда не проговорилась о лагере.

Я догадался спустя годы: она всегда жила с чувством вины. Поэтому догадался, что и сам, сколько себя помню, живу с тайным

чувством какой-то вины. Не хочется в этом копаться. Оно не зависит от разума. Униженные всегда знают, что в чем-то виноваты. Наверно, палачи и преступники, которые скрываются от возмездия, делают пластические операции и живут под чужими именами в Южной Америке, этого чувства вины не испытывают. Им не так стыдно перед людьми, как жертвам. Им легче носить в себе прошлое.

Дуля кое-что разузнала через своего дядю-эксперта. Оказалось, что Ольга Викентьевна созналась в умышленном убийстве. Молодая женщина, к которой ушел Толя, беременна на седьмом месяце. Им нужна жилплощадь. Вторую квартиру Толе никогда бы не дали, ему ничего другого не оставалось, как требовать свою у Ольги Викентьевны назад. Таня ему не дочь. Ольга Викентьевна уверена, что у Тани есть право за давностью проживания, но юридически квартира висит в воздухе, это еще суд должен решать, не уголовный, а другой, по гражданским делам.

Дулин дядя сказал, что ищет у Ольги Викентьевны состояние аффекта в момент преступления, это может смягчить приговор.

Дуля пересказывала разговор с дядей, а у меня, наконец, включилось воображение. Все это время со дня приезда оно не работало. Отказывалось включаться, как будто сгорел предохранитель. А тут стали навязчиво возникать картины, как кадры в кинофильме. Ведут на допрос. Ведут с допроса. Камера, уголовницы, койка, Ольга Викентьевна не спит, смотрит в потолок. Я знал, что она не могла убить Толю из-за квартиры. Ни вменяемая, ни невменяемая, ни в состоянии аффекта, ни в помрачении ума, – не могла. Что-то в следственном изоляторе или на допросах с ней сотворили.

Нужно было увидеть ее. Ни о чем другом я уже не мог думать. Увидеть, сказать, что ничему не верю и благодарен ей за все. Если с ней что-нибудь сотворили, она мне расскажет...

Дядя Дули сказал по телефону, что это совершенно невозможно. Дулю он обожал, она, оказывается, выросла в его семье, была его любимицей. Но тут он ничего сделать не мог. Поразмыслив, сначала посоветовал обратиться к главному врачу (эксперты подчинялись главному врачу республиканской психиатрической клиники), потом решил, что и это ничего не даст, но можно попытаться через адвоката, Галину Николаевну Белозерскую, которая настроена в пользу Ольги Викентьевны не только потому, что назначена вести дело, но и по-человечески, очень старается, и, может быть, она через главного врача и устроит встречу. Дядя дал домашний телефон Галины Николаевны – они приятельствовали.

По телефону та никак не могла понять, чего от нее хотят и кем я прихожусь подозреваемой. Обещал объяснить при встрече. Адвокатская контора находилась в поселке велозавода в двух троллейбусных остановках от тракторного – помещение обычной жилой квартиры на первом этаже жилого дома.

Пышная и одышливая Галина Николаевна сидела в комнате с еще одним адвокатом, словно бы для контраста худым и высоким, и для разговора отвела нас с Дулей в маленькую комнатку напротив входной двери. Там на столе не было ни одной бумажки – комната предназначалась для разговоров с клиентами наедине, больше ни для чего. Быстро выяснив, что мы люди посторонние, ничего не знающие и не понимающие, Галина Николаевна вначале недовольно щурила глазки под тонкими нарисованными бровками, но увлеклась

(наверно, перед любым слушателем увлекалась) и произнесла речь, словно уже выступала на суде:

— Она оговорила себя! Какая квартира?! Не смешите меня! Никто бы ее не выселил! Нет таких законов! Она прописана! Алкоголик спьяну брякнул — и она поверила? Она с ним двадцать лет прожила! Из органов выгнали, из партии выгнали, дошел до чернорабочего в литейном цехе — и она всерьез воспринимала, что он там спьяну нес? Вы меня извините! А если бы и всерьез? Допустим, поверила, решила, как она говорит, обеспечить дочь жилплощадью — так что, обеспечила? Она себя на десять лет обеспечила! Если решила убить из-за жилплощади, неужели не смогла бы сделать так, чтобы и комар носа не подточил? Так, как она, действуют в состоянии аффекта! Застукала мужика с бабой — аффект! Но год прошел, как он ее бросил! Если что и было, уже давно перегорело! Нашла личное счастье, завидный мужик, дачу строили, ей ничто не угрожало — откуда аффект?!

— Но она убила? — осторожно спросила Дуля.

— Да, она убила. В этой части Хадкевич поработал, да там и делать нечего было. Этот Иваныч показал: стакан стоял на верстаке, а Кобзев хлебнул из него, стоя возле бочки с водой, это десять метров, то есть он взял стакан и еще там расхаживал с ним несколько минут. Тут она никуда не денется. Сама налила, а потом ждала, когда он хлебнет. Как они хлебают, мы знаем. Знала она, что это смертельно? Это не так важно, как пытается представить Хадкевич. Я лично думаю, она об этом не думала. Говорит, наливала, чтобы пятно вывести. Она же не знала, что он явится на дачу, верно? Собиралась развести в стакане, потереть что-то там, не помню, пудреницу, что ли, а тут он. Но допустим — думала, знала, хотела убить и убила. Так ведь не за жилплощадь — тут все понятно, он поступил, если хотите, благородно, ушел с чемоданом, оставив ей квартиру, а если и попрекнул этим или даже стал бахвалиться, мол, передумал, — это чепуха, это гроша ломанного не стоит. Но ведь не без причины убила, так? Значит, он другое ей сказал.

Галина Николаевна сделала паузу и посмотрела. Она умела увлечь слушателей ходом своей мысли. Мы с Дулей замерли, ожидая.

— Он ей сказал, что у него будет ребенок. Двадцать лет они жили вместе, и у них не было совместных детей. Теперь у него появилась молодая жена, и он похвалился — на седьмом месяце. Этого она перенести не смогла.

— Почему?

— Она его любила, — буднично сказала Галина Николаевна.

У нее получилось эффектно, и прежде, чем успел осознать и усомниться, я поддался эффекту. Охваченный ужасом, я плохо соображал.

На Дулю это не произвело впечатления:

— Зачем же она про квартиру?

— Вот! — одобрила вопрос Галина Николаевна. — Она не может признаться самой себе, что любит! Он ее бросил, а теперь он будет счастливым отцом! И тут еще, учтите и это, участвует другой мужчина, которому она наверняка говорила, что Кобзева презирает! И сама в это верила! Нет, как хотите, женщине иногда легче признаться в умышленном убийстве, чем в любви. Это могут учесть при определении меры. Она отомстила за свою любовь.

Подавленный, я все же попытался сопротивляться:

— Откуда вы знаете?

— Из материалов дела. Она из гордости сама себя оговаривает, придумывает какой-то нелепый материальный интерес. Думаю, ближе к судебному заседанию одумается. Пять лет и десять лет — это, знаете, разница. Остынет и начнет думать, как дальше жить, — Галина Николаевна посмотрела на часы на запястье и как бы спохватилась: — Так вы, прошу прощения... ах, да, Сергей Палыч просил, чтобы я помогла вам повидаться. Мне положено свидание с ней, но вам...

— Может быть, она послушает Наума, — сказала Дуля. — Он единственный ее друг.

Галина Николаевна посмотрела с сомнением, но отказать эксперту по каким-то причинам не могла.

Когда пригородный автобус, выбравшись из минских улиц, миновал несколько поселков и с какого-то холма мы увидели Новинки — обнесенный высоким забором больничный городок с асфальтовыми улицами и трехэтажными корпусами, — я струсил. Зачем я ехал? Что я ей скажу? Да не до меня ей, что бы я там ни сказал! Опять это еврейское влезание в душу! Как я ненавидел это в других! Но ведь не мог же я не попытаться увидеть ее!.. Рядом Галина Николаевна читала уголовное дело, толстой своей дубленкой притиснув меня к замерзшему стеклу. По телефону она предупредила, что меня, скорее всего, не пропустят, и я уже мечтал об этом.

Автобус остановился напротив проходной. Это была республиканская психиатрическая клиника. Галина Николаевна звонила по внутреннему телефону Сергею Павловичу, потом сидели в креслах, как в аэропорту, и ждали не меньше часа, пока не пришло нужное телефонное распоряжение и нам выписали пропуска на территорию клиники. Сразу за проходной попали на площадь с киоском «Союзпечать» и голым сквериком с бурыми, надвинутыми бульдозерами снежными холмами. Миновав несколько кварталов трехэтажек, оказались на окраине. Больничные корпуса сменились мастерскими, бетонными боксами гаражей и котельной с высокой фабричной трубой. Отделение судебной экспертизы, как крепость внутри крепости, было обнесено собственным высоким забором с колючей проволокой поверху и сторожевой вышкой, на которой стоял часовой в бушлате. Галина Николаевна нажала кнопку звонка у бронированной калитки. Вышел дежурный милиционер, и нас провели через калитку и через дверь больничного корпуса в узкий холл, кончающийся решеткой от пола до потолка и от стены до стены. За решеткой был виден короткий коридор с несколькими мощными тюремными дверьми.

По эту сторону решетки находились помещения администрации и экспертов, и через открытую дверь ординаторской мы увидели крупную седую голову Сергея Павловича. Тот был занят с уголовником. Дитина с бритым дегенеративным черепом и впалыми щеками, развалясь на стуле, видимо, острил и явно получал удовольствие от разговора. Сергей Павлович тоже улыбался. Слов слышно не было. Со стороны казалось, что беседуют друзья. Галина Николаевна, ожидая, присела на единственный в коридорчике стул. Она мгновенно взопрела и расстегнула дубленку. Сергей Павлович, занятый собеседником, показал жестом, чтобы взяли из ординаторской второй стул.

Появился милиционер, увел подэкспертного (поехала вверх решетка, впустила, опустилась, милиционер запер замок), и Сергей Павлович пригласил в кабинет. Он был крепкий, с красивой седой

волной над красным лицом гипертоника. Полный впечатлений, делился ими с Галиной Николаевной – тот, кого увели, «дурил голову».

– Как наша? – спросила она.

– Ничего, хвост трубой, – сказал эксперт. – Володю до белого каления довела: то не так, это не так, в коридоре шумят, женщин в туалет строем водят...

– Почему строем?

– Людей нет по одной водить. Одна просится – ведут всю палату.

Решетка снова поехала вверх, опустилась, и тот же милиционер, заперев замок, привел Ольгу Викентьевну. Впрочем, было не похоже, что ее ведут. Она и не замечала милиционера. У нее появилась пружинистая походка. Вот только улыбалась слишком весело. В свитере с горлом – я узнал свитер Тани – и шерстяной юбке, лиловой, самой своей нарядной, направилась прямо к стулу, на котором прежде сидел дебильный уголовник. Улыбнулась Сергею Павловичу и приятно удивилась:

– Наум?

Она плохо понимала, что происходит. Уже потом, в середине разговора, когда инициативу прочно взяла Галина Николаевна, а Сергей Павлович как бы устранился и косил глазом в бумаги на столе, взгляд Ольги Викентьевны стал время от времени недоуменно останавливаться на мне. Она пыталась понять, почему я здесь.

– Слушай, Кобзева, – говорила Галина Николаевна, – ты что, бумагу казенную сэкономила? Хоть бы написала, что раскаиваешься в содеянном.

– Разве там нет? – удивилась Ольга Викентьевна. – Конечно, надо написать.

– Ты раскаиваешься.

– Я впишу.

– Все твоё объяснение надо переписать, все. Ты все про жилплощадь. Это несерьезно.

– Как же несерьезно?

– Ну не мотив это. Никто вас не выгнал бы на улицу.

– Этого я не знаю.

– Не выгоняют женщину с ребенком на улицу, не бывает так.

– Все бывает.

– Никто не поверит, что ты из-за этого...

Галина Николаевна не договорила. Ольга Викентьевна молчала. Поняла, что ее ответа ждут, и сказала:

– Мне нечего сказать.

– Почему же нечего, ты столько пережила, он тебя предал, единственный человек, на которого ты могла положиться... Кстати, зачем он приходил на эту дачу? Рубль сшибить? Или хотел тебе что-то сказать?

Сергей Павлович перевел внимательный взгляд с бумаг на лицо Ольги Викентьевны.

– Не знаю, – сказала она.

– Вы поссорились.

– Я все написала.

– Ты написала так, что тебе влепят на всю катушку.

– Что ж я могу сделать?

– Ты не собиралась убивать. Ты действовала в состоянии аффекта, потому что любила его и надеялась, что он к тебе вернется. Почему ты отрицаешь это? Я тебе подсказываю – ты не хочешь

понимать. Да ты просто ненормальная. Не можешь сломить свою гордость. Перед кем, милая? Перед твоим Иванычем, который тебя уже с потрохами продал?

(Тот в самом деле сказал соседям: «Да она и меня могла отравить».)

Ольга Викентьевна молчала.

– Ненормальная, – сокрушенно сказала Галина Николаевна. – Я это без методик Сергея Палыча вижу.

Ольга Викентьевна словно бы перестала слушать. Из глаза выкатилась слезинка.

– Я вменяема, – сказала она.

– Этого вы не можете знать, – мягко вмешался Сергей Павлович, – этого никто не знает, и я не знаю, сейчас вы, конечно, вменяемы, но сейчас вы и не убили бы. А тогда?

– Я ничего не помню.

– У вас нет амнезии. Даже нет бессознательного отказа помнить компрометирующие обстоятельства. Между прочим, Галина Николаевна права, преступление по корыстным мотивам наказывается сильнее, чем преступление под действием чувства. Это нелепо, но это так.

– Что ж тут нелепого? – недовольно спросила Галина Николаевна. – Над чувствами человек не властен.

– Разум наказуем, а чувства нет?

– Ну да. Иначе бы собак в тюрьму сажали.

– А сейчас их усыпляют.

– Я вменяема, – повторила Ольга Викентьевна. – Я не хочу, чтобы Таня выросла с мыслью, что мать была невменяема.

Никто ей не ответил. Галина Николаевна что-то тихо сказала Сергею Павловичу. Ольга Викентьевна посмотрела на меня:

– Что с Таней?

Я растерялся, заторопился:

– Она обещала прислать свой адрес, она уехала с Клавдией...

– Клавдией?

– Соседка сказала... Ольга Викентьевна, простите меня, я просил, чтобы мне дали увидеть вас, может быть, я хоть что-нибудь могу сделать...

– А-а, – будто бы поняла Ольга Викентьевна, но лицо стало еще более недоуменным. – Спасибо, Наум.

– Вас не осудят пожизненно, – сказал Сергей Павлович. – Вы сами все объясните Тане. У вас будет много времени для этого. Галина Николаевна считает, что она сможет добиться для вас три года. Что такое три года? Чепуха. Через три года Тане будет только девятнадцать, вы еще будете очень нужны ей.

Галина Николаевна закивала.

– Ничего, она самостоятельная, – твердо сказала Ольга Викентьевна. – Обойдется.

Несколько дней спустя замкнулось. Я шел к дому от автобусной остановки. На Партизанском проспекте бульдозеры счищали снег, добрались до чистого асфальта и противно скрежетали по нему стальными зубьями. Дул сильный ветер, блестел наст с полыньями пустоты вокруг тоненьких голых деревьев. Тропка от остановки к нашей пятиэтажке была извилистой и скользкой. Наверно, была какая-то ничтожная причина, не зафиксированная сознанием, чтобы

замкнулось: я словно бы исчез из своей жизни и стал Ольгой Викентьевной. Она сидела за верстаком. Настроила себя на невозмутимость, оперлась спиной о спинку скамьи и приготовилась не реагировать ни на что. Так и сказала себе: пусть говорит, что хочет, я не буду реагировать. Толя чувствовал себя молодцом. Его боялись. И Иван Иванович, который не хотел слышать о прошлом, и Ольга Викентьевна, которая изображала неуязвимость для прошлого. Ему было хорошо и весело. Он был хозяином положения. Она видела, как он взял стакан с кислотой и расхаживал с ним, будто произносил тост. Видела и не пошевелилась.

Должна же она была ощутить естественное желание сделать движение и спасти, такое же рефлекторное, как отдергивание руки от огня! Она решила ни на что не реагировать, и это движение подавила в себе вместе с прочими. Он со стаканом в руке продолжал куражиться, хохотать или бахвалиться, может быть, это тянулось долго, и она успела понять, что будет отвечать за убийство. Она не собиралась его убивать, ей захотелось предоставить все судьбе. Она всю жизнь так делала, и судьба всегда была против нее. Когда Толя согнулся и захрипел, она увидела, что ничего в повадках судьбы не изменилось.

Я упорно думал об этом, с этим уснул на раскладушке у окна и проснулся от трезвона будильника, еще не вспомнив вчерашних мыслей. Со странной отрешенностью видел, как поднялась и закуталась в халат мама, выскользнула за дверь, поднялся папа, что-то искал у кровати на полу, не нашел и зажег свет, и сразу заворочалась на диване Лена. Утренняя жизнь набирала обороты – одевание на работу, папино бритье, завтрак, сборы, и поразило механическое сцепление простых обязанностей, превращающее хаос в порядок. Человек представился мне живой заводной игрушкой с пружиной внутри. Мы все, как часовой механизм, преобразовывали сжатую пружину времени в однообразное движение шестеренок, и это движение показалось мне жутким. Единственным смыслом жизни было избытие времени, не нужного нам, но заставляющего нас двигаться. Папа работал ради мамы и детей, то есть нас с Леной, мама тоже ради нас, а Леной вообще двигало нечто несуществующее, бред преследования, страх, что соседи хотят ее отравить. И я тоже сейчас поднимусь и что-то буду делать, подчиняясь порядку, навязанному обстоятельствами, не задумываясь, зачем. Нас всех впяли в некую энергетическую систему, завели пружину, и мы должны были двигаться, пока не кончится завод. Наши шестеренки вращались, зубцы их изнашивались, порядок ослабевал, и однажды он достигал какой-то точки, за которой ничтожнейшие и случайные события приводили к катастрофическим последствиям. Человек сам не замечал, как становился убийцей, предателем, героем или мучеником. Случай поставил в одну точку времени Ивана Ивановича, пахнущего смолистой стружкой, горький воздух ясного осеннего дня, Толю с запахом винного перегара, бутылку водки и стакан с серной кислотой на два пальца от дна. Может быть, все зависело от сантиметров на верстаке и долей секунд между словами, и то, что за секунду до этого было невысказанным, стало фактом.

Я не один раз буду пытаться сказать это в повестях, и ни разу у меня не получится. Это очень легко будет изложить в статьях, но невозможно в художественной прозе. Мир, в котором ничтожные события, микроскопический износ шестеренок приводят к колоссальным

последствиям, называется хаосом. Я же не могу писать о хаосе: чтобы описать его, нужна протяженность, равная ему. Потому-то, догадаюсь я однажды, Локтев сместил оптику. В ней люди представляли не очерченными фигурами, а туманностями, как скопления звезд. Расположение их черт было случайным, он искал не их, а силовое поле, в которое они были помещены. Для него не существовало Ольги Викентьевны. Тот участок поля, который занимала туманность жены, он обозначил именем «Киза», как делают астрономы с туманностями и черными дырами.

Много лет спустя... впрочем, можно точно сказать, через сорок лет мы с Дулей перевели текст, написанный Локтевым в конце тридцатых годов, – Локтева взбесило замечание Альберта Эйнштейна, что Бог не играет в кости. Эйнштейн спорил, кажется, с Нильсом Бором. Физики говорили о физике. Локтева она не интересовала. Для него хаос был не научным понятием, а личной судьбой. «Бог не играет в кости? – возмутился он. – Да Он ничем другим и не занимается! Но у кости, которую Он бросает, имеется лишь две грани: «да» и «нет», наличие и отсутствие, плюс и минус, единица и ноль. Сколько раз Он бросит кость, столько цифр будет в Его числе, записанном в двоичной системе счета. С каждым броском число удлинится, увеличивается количество разрядов, из которых оно состоит, независимо от того, выпадает ноль или единица. У Бога есть время, и кость бесконечно выдает все цифровые эквиваленты бытия. Бог при этом не знает, какие из чисел обладают свойством бытия, а какие не обладают. Для Него это не имеет особого значения. Он знает свое – бросает кость, удлиняет цепочку разрядов в числе. Единицы и нули продолжают высказывать, как в счетчике. Числа, состоящие из них, тянутся бесконечным приращением разрядов, ветвятся и переплетаются. Одни из чисел обладают свойством осуществимости, другие не обладают. Но и те, другие, не являются пустыми фишками в этой игре: они обеспечивают вариантность существования тех, которые обладают свойством осуществимости. Если осуществимость превращается в осуществленность, возникает нечто, записанное в двоичном исчислении, материя, обреченная стать очередной бесконечной вселенной, поскольку нули и единицы продолжают прибавляться, а Бог не думает остановиться. Так появляемся мы, такое же случайное число, как любое другое, потому что все в этой бесконечности случайно, и порядок – такая же случайность, как любая другая. Неслучайно только одно: разница между единицей и нулем. Что она такое? Энергия? Единица информации? Время? Она доступна нам то в одной, то в другой, то в третьей своей ипостаси, но никогда – сразу в трех, а количество ее ипостасей, неведомых нам, равно бесконечности, и кости бросают самые разные боги, не играет же Бог, этот иудейский дурачок, с самим собой».

Локтев посмеялся бы над самой попыткой рассказать о живом человеке, Ольге Викентьевне Литвинчук. Где-то он даже написал: «Нас нет. Боги есть, а нас нет». Сергей Павлович, психолог судебно-медицинской экспертизы, не мог описывать абстракции и туманности. Он должен был дать заключение о конкретном человеке, и он не мог сказать: «Нас нет».

Говорить с посторонними людьми о своих выводах в экспертизе он не хотел. Может быть, его удерживал какой-нибудь неписанный закон врачебной или судебной этики, а может быть, существовал и

писанный закон не разглашать служебные дела. Эксперт отмалчивался или бросал что-нибудь неодобрительное.

У Сергея Павловича уже возникло стойкое предубеждение против Ольги Викентьевны. Мне казалось важным преодолеть его. Это было единственное, что я мог сделать. Папка Локтева так и осталась у меня, я вытащил отрывок о виолончелистке Кизе, прибавил «Холм Астарты» и через Дулю передал Сергею Павловичу с запиской, что это сочинения первого мужа Ольги Викентьевны о ней, и это может пригодиться для экспертизы.

Дуля тогда бывала у Сергея Павловича чуть ли не каждый вечер: у него болела мать, Дуля навещала старушку, единственную интеллигентную женщину в очень простой семье Бутовых и Мустафаевых. Сергей Павлович угощал Дулю восточными сладостями и зеленым чаем, а про сочинения Локтева не упоминал.

Как-то я, зайдя за ней, спросил о них.

– Да, да, – сказал эксперт, изображая простака, – спасибо, Наум, я только не понял, зачем ты мне их дал.

– Я думал вам... для психологической экспертизы... понять человека...

– Что понять?

– Разве вам не надо ее понять?

Сергей Павлович рассматривал меня, сощурившись.

– Как ты думаешь, она убила или не убила?

– Я не знаю, но...

– Тебе, как я понял, все равно.

Я смутился:

– Ну, есть же для этого прокурор...

Он выдержал паузу и не дождался ответа.

– Ты мне книжки прислал, косвенно действуешь на следствие, чтобы приговор был помягче. Как можешь, потакаешь убийце. Потому что она в твоих глазах хороший человек, а Толя – плохой. Само по себе убийство тебя не ужасает.

– А вас ужасает?

– И меня ужаснуть трудно. Умышленное убийство – дело случая. С каждым может случиться. И прочитанные книжки не помогут, и Париж, и муж-философ. Этой новости в обед сто лет. Твой Локтев, мне кажется, все-таки не Достоевский. Кстати, кто он вообще такой?

Я не мог ответить. Что-то мямлил. Дуля сидела рядом, облокотившись о стол, положив подбородок в ладони. Слушала. Лицо ее ничего не выражало – это она умела.

– Твой Локтев считает, что между хищником и жертвой нет разницы – это его дело. А для судебно-медицинской экспертизы разница есть. Поэтому мы держим подследственных месяц в отделении. У Кобзевой началось то, что психиатры называют «ложное слабоумие». Она сидит на кровати и просовывает ноги в рукава кофточки.

Мне стало нехорошо. Дуля испуганно взглянула на меня, увидела, что я в порядке, и спросила:

– Почему ложное?

– Настоящее слабоумие приходит навсегда, а ложное на время. Человек перестает впускать в сознание реальность, чтобы сохранить самооценку. Это защитный механизм. Она отбросила разум, чтобы сохранить гордость. Гордость важнее разума. Твой Локтев где-то об этом пишет. Потом разум вернется.

Я не поехал на суд вместе с отцом, которого вызвали как свидетеля. Выйдя из дому раньше, доехал автобусом до места и бродил вокруг. Скучно и бедно тянулись двухэтажные многоквартирные домики из белого кирпича и гнилые сарайчики. Остатки огородов доползали до овражистого пустыря, над которым, как средневековый замок над пропастью, высилось здание районного суда с колоннадой перед парадными дверьми, похожее на провинциальный театр. Только за колоннами по обе стороны дверей были не афиши, а вывески с золотыми буквами.

Людей на крыльце было много, тетки в драповых пальто на вате, в платках или фетровых шляпках, мужики в ушанках, — перед делом Ольги Викентьевны слушалось какое-то другое, обычная молодежная драка, которая на этот раз кончилась убийством.

Как всегда, я сторонился толпы, и, избывая время, замерзая, шатался по плохо убранному пустым улочкам. Домики стояли редко, некоторые были по окна в снегу, стекла казались черными, а в окнах второго этажа отражался закат. Я ждал чуда. Может быть, даже внезапной смерти Ольги Викентьевны до начала суда. Это было бы облегчением.

Замерз и вбежал в здание согреться. Оказался в хмурой и нервной толпе, где вот-вот грозила вспыхнуть драка. Слонялся, ища укромный уголок. Увидел, что какие-то люди входят в зал, тихонько заглянул в дверь. Там были ряды, как в кинотеатре, задние возле двери — пустые. Юркнул внутрь и сел. Опрашивали участников драки, мальчишек, — кто бил, кто не бил, кто где стоял. Мальчишки явно врал, кто испуганно, а кто нагло.

Там, в том зале, не было хаоса. Был порядок, который никогда, может быть, не прерывался на протяжении тысячелетий и никогда не прервется, не замутится, не перестанет быть прозрачным — порядок ритуальной иерархии, где сильный бьет слабого, и из этого порядка не выпадала женщина, скинувшая дешевое пальто на сидение, с которого встала, оставив на шее коричневый пуховой платок поверх черного платья, худая, с впалыми щеками, с волосами, затянутыми узлом на затылке, школьная учительница или простая тетка с шарикоподшипникового, похожая на школьную учительницу, которую подвела к кафедре крашенная губастая толстуха, и которая безразлично сказала:

— Моя жизнь кончилась.

Слушанье дела Ольги Викентьевны происходило в другом зале, полупустом. Дотошно выясняли обстоятельства, установили, что кислотой Ольга Викентьевна собиралась снять ржавчину с железного замка на своей сумочке, потом молодой прокурор в форме стал задавать ей вопросы, Галина Николаевна все время протестовала, возмущалась и как бы мешала судье работать, а Ольга Викентьевна отвечала спокойно и немногословно, замолкала, когда прокурор обрывал ее, терпеливо слушала, пропускала мимо ушей оскорбления, не теряла нити своей мысли и сказала, что убила намеренно, потому что иначе Кобзев оставил бы ее дочь без жилья. Прокурор был деловит и скрывал торжество. Галина Николаевна, хоть и справилась с оторопью, выглядела расстроенной.

Папа в судебных коридорах слишком суетился, а на суде путался, говорил тихо и выглядел глупо. Он подлаживался к Ивану Ивановичу, как раньше подлаживался к Толе. Иван Иванович говорил об Ольге Викентьевне безжалостно и брезгливо, папа невольно впадал в этот тон. А мама дважды радостно сказала разным людям:

— Вы не поверите, но я всегда в ней что-то такое чувствовала.

Лена тоже извлекла пользу для себя:

– Если б я сказала, что отравит, мне бы сразу приписали бред.

Я злился на родных, был недоволен собой, не знал, что думать, и не знал, чем себя занять, чтобы не думать. Нетерпеливо ждал, когда кончатся каникулы, уеду в Москву и забуду обо всем. Лишь с Дулей мне было легко. Чувствовал, что она живет как-то не так, как мы все. Она умела иметь свое мнение (может быть, не мнение, а отношение, как у зверей) и при этом не судить. Мне же надо было вершить в сознании некий суд. Дуля понимала это и осторожно посоветовала:

– Ты не думай про это.

18

Помогая отцу на садовом участке, я часто видел Ивана Ивановича и без особых усилий здоровался с ним, перебрасывался по-соседски нейтральными фразами и сдержанно улыбался, когда Иван Иванович шутил.

Тот продолжал, не торопясь, строить свой домик, стилизованный под древнерусский теремок. В отличие от папы, всегда подгоняющего время и опаздывающего к срокам, которые сам себе назначил, Иван Иванович с работой не торопился. Немного постучав топором или помахав лопатой, неожиданно исчезал – только что был и вот его нет – и появлялся нескоро с кульком земляники, ведерком грибов или газетным треугольным пакетом, полным щавеля, лекарственной ромашки, подмаренника или пустырника. В солнечные дни лениво лежал на траве, вытянув ноги и покусывая стебелек вездесущей кислицы. Тем временем у соседей, которым он накануне сложил очажок, вскипала в выварке вода, его звали на пельмени или борщ. Появлялась бутылка водки или бутылъ мутного самогона, и Иван Иванович, привычно принимая благодарность, так же привычно показывал безымянным пальцем, куда ему налить, – очень низко показывал, на полтора-два пальца, а после второго или третьего стакана отказывался совсем – как раз тогда, когда за столом уже начиналось настоящее веселье, а благодарность к нему взмывала до высот закадычности. Он не боялся обидеть отказом, и не обижались, но по большому счету вместо закадычной дружбы возникали неловкость и уважительная враждебность. Друзей у него не было.

Кроме, может быть, папы. Но уж очень они были разные. С детства мечтая быть таким немногословным и естественно мастеровитым (мужику мастеровитость естественна), как Иван Иванович, я стыдился отцовской суетливости. Мне казалось, Иван Иванович втайне над ним посмеивается.

В самом деле, Иван Иванович всегда посмеивался в усы – над пьющими из лужи воробьями, вороватой кошкой, собаками, соседями и соседками, по любому поводу, просто такой был взгляд. Как-то, сидя на камне, он посмеивался над мокрой рубашкой на веревке. Трепыхаясь на ветру, рубашка рукавом иногда дотягивалась до столба, а иногда не дотягивалась, и тогда Иван Иванович усмехался.

Он был наблюдателен по-детски, не по делу – замечал гриб под мусором, ягоду под гнилым бревном, белую голубку среди сизарей в небе, пуговицу на блузке соседки, не соответствующую другим в ряду, – вещи, не имеющие значения. И так же по-детски при этой наблюдательности оставался невнимательным, тут же терял интерес к находке и отвлекался другим.

19

Разговор с Сергеем Павловичем неожиданно продолжился, когда мы с Дулей пригласили его на нашу скромную свадьбу. Сергей Павлович с женой явились с набором серебряных чайных ложечек и заодно эксперт вернул рукописи Локтева, которые все эти три или четыре года продержал у себя. Мимоходом поинтересовался, не был ли Локтев репрессирован и не еврей ли он. Чего на свете не бывает, но я ответил, что не похоже. Я и теперь так считаю. Людей собралось много, поговорить не пришлось, и лишь когда мы покурили на прощание, он заговорил о том, как погибла Ольга Викентьевна. Удивился, что я не знаю о смерти, которая случилась в первый же месяц ее десятилетнего срока. Оказалось, Дуля знала, но не решилась рассказать мне. Сергей Павлович слышал от следователя, будто сокамерницы забили ее лопатами, когда рыли котлован. За что? Эту тайну я едва ли когда-нибудь узнаю.

20

Вошел в Google и набрал «А. Ф. Локтев»: ведь его рукописи и книги могли оказаться не только у меня. Вдруг я что-то о нем узнаю?

Программа выдала две с лишним тысячи ссылок. Первые страницы сообщали об одном умершем актере, еще о каких-то людях, но явно не об авторе книг. Просмотрев несколько десятков страниц, перестал листать: А. Ф. Локтевых оказалось слишком много. Набрал «Андрей Федорович Локтев», «А. Локтев», «Андрей Локтев» – было то же самое: или много не тех или вообще ничего. Андре Тевлок – ничего. Списал с книги имя по-французски и искал в англоязычном Google – ничего.

Набрал «В. П. Кожевников». Две тысячи сто восемнадцать ссылок! Из первых же узнал, что Владимир Петрович Кожевников, известный советский разведчик, родился в 1900 году, участник гражданской и Отечественной войн, участник Первого съезда народных депутатов Советского Союза... Кожевников оказался известным демократом времен Горбачева, видным деятелем перестройки. В самом начале перестройки в журнале «Огонек» появилась его сенсационная статья о внешней разведке Советского Союза, и большая часть страниц Интернета о Кожевникове касалась этой статьи. Она наделала много шума и в стране, и за границей. Став демократом, Кожевников смело разоблачал преступления органов безопасности, снимал покровы со служебных тайн, нарушал табу, где-то даже намекнул на «позорный послевоенный антисемитизм», и вот в одном абзаце промелькнуло «Локтев». Речь шла о лучших советских разведчиках за границей, репрессированных Сталиным. Но сказано было как-то невнятно: «несмотря на репрессии против родных и близких, несмотря на почти неминуемый арест, продолжали работать... В этом списке «продолжающих» был Алексей Локтев, но это, скорее всего, была опечатка, следовало читать Андрей. Кожевников снова использовал его имя в своих интересах. Дальше он писал обобщенно: некоторые в самом деле были арестованы и расстреляны, некоторых «по сути» сдали гитлеровцам, некоторые исчезли, и судьба их неизвестна.

Это было все, что смог найти.

Набрал «В. П. Кожевников Ядовитые корни». Старая книга не получила, видимо, электронной копии и не попала в Интернет.

Когда шли прямые трансляции с Первого съезда народных депутатов, мы с Дулей замирали перед телеэкраном. Не то чтобы на что-то надеялись, но упивались каждым обличительным словом. А там, среди новых наших любовей, был, оказывается, Кожевников. Наверно, хорошо информированный Владимир Петрович смотрел на своих коллег-депутатов серьезно и брезгливо, как когда-то смотрел на молодого еврейчика, явившегося в дом с поручением от Ольги Викентьевны и снявшего ботинки с грязных носков.

Он снова обокрал Локтева. Ходил в «прорабах перестройки» только потому, что не было Локтева. Появись тот – кто знает, может быть, пришлось бы прорабу не посмертной судьбой других распоряжаться, а отвечать за собственные дела.

Не было никакой нужды рыскать по Интернету. Был Локтев делегатом Первого съезда, или был убит выстрелом в затылок на безлюдной улице, или умер от сердечного приступа в лагерях – что бы это мне сказало? Осталась проза. Тут Кожевников бессилён. Локтев может постоять за себя. Или же, наоборот, проза выдаст его с головой, и мы увидим мошенника или безумца. Проза обнаружит преступника вернее, чем любой государственный орган с научными специалистами, базами данных, электронной аппаратурой и изощреннейшими методами идентификации.

21

Не мне судить. Я переводчик, соучастник. Я даже не могу доказать юридически, что писавший по-французски Тевлок и Локтев – одно лицо. Перестановка слогов в фамилии для юристов – еще не доказательство. Ну и Бог с ними. «Боги Ханаана», изданные в 38-м, начинаются так:

«Я сижу около древних развалин. В раскопе работает группа немецких археологов. Сейчас они спят. Над морем еще стынет тьма. На узкой полоске ближневосточного пляжа догуливает ночной бриз. Накатилась первая, еще осторожная волна и не успела схватить какой-то сор и унести с собой, как море начало накатывать всерьез, швыряя пену. У упаковочных ящиков проснулись, расхаживают среди бумажного сора и поклевывают что-то голуби, жертвенные птицы Иеговы.

Горизонт на западе темен, а здесь небо отделилось от вод. Высветилась линия берега. Она тянется далеко с юга на север. В этот утренний час Астарты требует спермы. Так она научена. Таков был закон ее матери Инанны: фаллосы мужей поднимаются к утру, когда Инанна восходит на небо, вслед за ней, как головы подсолнухов. Утро, а не вечер, приспособлено для возрождения. Как океанские воды тянутся к луне, начинают свое движение к солнцу жизненные соки, проходит усталость, и по утрам, разлепляя веки, мужи готовы стать отцами. Жены же – существа лунные и тянутся к мужьям по вечерам, едва уходит солнце и им становится беспокойно. Они успокаиваются, ощутив мужчину, проникшего в пещеру, засыпают, а утром торопятся стереть с лиц лунный след. Они боятся, что их застанут врасплох, румянятся, красятся, рисуют себе губы и глаза девственных блудниц.

Ханааняне отрекутся от богини плодородия, разрушат Дома Астарты и Ваала, уйдут к ассирийским, вавилонским, потом греческим, потом к римским богам, некоторые попадут к еврею Иегове и построят Дома ему. Труд этот тяжел, обтесывание камня занимает годы, и строители экономят используют старый тес развалин, так

что, обнаружив развалины мечети двенадцатого века на прибрежных холмах, мы ищем в слое под ней развалины византийской церкви, еще ниже – иудейской синагоги, а ниже ее – храмы Астарты, финикийца Молоха, ханаанских Дагона или Ваала.

Я сижу около этих камней, положил на один из них тетрадь, пока он еще не нагрелся на солнце и можно не бояться прикоснуться к нему рукой. Курт Бухдрукер нашел вчера фигурку женщины, простертой перед мужчиной. По всем признакам ей три тысячи лет, это Астарта, распростертая у ног своего повелителя. Курт говорит, что это Ваал. Не исключая этого. Все имена главных семитских богов – Ваал, Мардук, еврейский Адонай – в переводе означают одно и то же – «Господин».

Когда первенцев приносили в жертву на алтарях храмов, девочки для жертвоприношения не годились. «Господин», «Ваал», «Адонай» и «Мардук» уже означали Владыку и право наследования. Но кем Он был раньше, когда еще не было этих имен, не было ни ханаанеян, ни евреев, ни ассирийцев, ни шумеров? Курт Бухдрукер, педантичный, упрямый, железный, сохранивший военную выправку и помешанный на оружии и национальной обиде, – он докопается. Обнаружит Его скелет, потому что в то время, когда не было в мире имен, у Него были скелет и клыки, самые сильные и страшные в стае. Он не сразу стал бестелесным. Сначала он был Вожаком.

Зимой земля покрывалась пышной зеленью, в листве сияли нарядные апельсины, под ногами валялись орехи и желуди. Стая, дрожа от холода, спала в пещере. Летом побережье превращалось в безжизненную каменистую пустыню, обжигающую ступни. Зато какой желанной была жизнь в марте! С далекой горы начинала сходить снежная шапка, сбегала потоками и струйками вниз, превращалась в ручей, он устремлялся к морю, омывая по пути округлые камни долины. Стая оживлялась. Молодые самцы задирали друг друга и гонялись за самочками. Те удирали, изображая ужас, но и сами старались задирать и привлечь к себе внимание. Зная повадку Вожака, матерые самцы старались держаться от Него в стороне, но всегда находились наглые, помоложе, с апломбом, и Ему все время приходилось доказывать, кто здесь самый сильный, кого-то отпихивать, огрызаться и устрашающе ворчать. Начиная с самого безобидного малыша, каждый на что-то претендовал, готов был добиваться своего, пока не получал трепку. Вся отрицательная энергия стаи шла снизу вверх от самого слабого к самому сильному и аккумулировалась в Нем. Если бы Он вдруг ослабел, кто-нибудь немедленно занял бы Его место, оттеснив на второе, но и на втором было бы то же самое, пока его не оттеснили бы в самый низ, к бесполезным старикам и беспомощному молодняку.

Весеннее солнце зажигало вокруг ярость жизни. Вся семья опьянялась резвостью, соперничеством, похотью, и этот избыток жизни налетал на него шквалами, как морской прибой на береговую скалу, и то, что перехлестывало через скалу, оставалось в нем и накапливалось, приближаясь к критической массе гормонов и нейронов. Самый сильный, Он был и самым издерганным. Сосуд переполнился. Еще капля ярости – и Он рухнет под ее тяжестью, а стая набросится на Него и разорвет в клочья. Любое притязание на Его внимание могло оказаться последней каплей и раздражало. Любовь не отличалась от ненависти. Сохраняя всех в поле зрения, Он усаживался чуть в стороне в тени старой оливы, но и тут к Нему устремлялись самые похотливые самки. Он был слишком напряжен, чтобы увлекаться

брачными играми. Глухо рычал, отпугивая неугомонных, бил и уходил в пещеру. Отшвыривал с дороги навязчивых, наглости которых хватало лишь на то, чтобы улечься на его пути. Забирался в прохладный сумрак к самым тихим и робким. От них исходило успокоительное тепло. Напряжение, составлявшее Его жизнь, заземлялось в них молниями, как грозовые разряды. Ярость истекала из Него, впитываясь самкой, как взрыхленной землей. Опустошенный, он засыпал.

...Проснулся, ощутив опасность. Выглянул из пещеры. Все замерло под полной луной. Мир, в котором нет движения, обладает одним единственным свойством – неопределенностью. Тогда движение возникает в глазном зрачке, и глаз обводит взглядом пространство.

В лунном свете лев не отличался цветом от серебристой оливы. Мягкие широкие лапы опускались на траву бесшумно, не спугивая спящих. Зверь пришел с наветренной стороны. В двух метрах от Вожака он встретился с ним глазами и замер. Вожак оцепенел в той позе, в которой его застали глаза хищника, на полусогнутых ногах, с отведенной в сторону левой рукой, удерживающей живой занавес гибких веток. Бежать, отпрыгнуть было уже поздно. Любое движение вело к немедленной гибели. Оцепенение было несъедобностью. Может быть, оно и было той мимикрией, которой природа снабдила человека? Вожак не изображал камень – он в него превратился, связанный неопределенностью мира, в котором не может быть движения, потому что нет направления. Это длилось вечность. Стоило Вожаку втянуть носом воздух, и это движение разрушило неопределенность для обоих. На долю мгновения хищник присобрался для прыжка. Вожак со всей силой ужаса завопил. В этом не было воли. Поза хищника была вопросом, крик Вожака – ответом. Энергия жизни искала выхода, а другие ответы – напасть, упасть, отпрыгнуть, бежать – стали неосуществимы. Вожак не мог знать, лев ревет или он сам – звуки не отличались.

В мире звуков Вожак со львами становился львом, с гиенами – гиеной, с волками – волком. Каждый зверь производил свой собственный крик угрозы и собственный крик страха, каждая птица кричала по-своему, у Вожака же было иначе. Он воспринимал любые звуки, как воспринимают их горы, гулко прокатывая внутри себя и возвращая назад. Эхо звука рождалось в гортани. Видимо, оно было сутью звуковой природы Вожака, как эхо зримого – движение зрачка – сутью природы зрительной. Зрачок Вожака повторял движения хищника, пока зрачки его и льва не оказались друг против друга на одной прямой. Именно тогда, когда это случилось, Вожак и завопил. Угрожающая поза льва стала меняться. Мышцы сделались дряблыми. Хищник повел мордой и отвернулся. Величаво ступая по своим следам, как бы задумавшись и терзаясь сомнениями, лев уходил все дальше и дальше, опущенный хвост нервно стегал светлеющий воздух. Но это был последний крик живого Вожака. Сердце, измученное любовью перед сном, не выдержало прилива крови и сделалось сердцем Бога.

В мире мало-помалу появлялись розоватые краски. Инанна, богиня солнца, спешила на небо, и кровь Вожака, еще не остыв, тянулась к ней, как тянутся океанские воды к луне. Движение крови было эхом солнечного притяжения. Подсолнух раскрывался, но не раскрылся. Окостеневающее тело, оставаясь на полусогнутых ногах и зацепившись не разжатой рукой за ветку, загораживало выход из пещеры. В глубине ее просыпались самцы и самки, не решаясь

потревожить Вожака и выйти на свет. Кто-то приблизился, кто-то, наконец, попытался пролезть. Кто-то завопил первым, и вопль, как огонь в сухостое, перекинулся во все глотки. Они знали, что такое смерть. То есть, они знали так же, как знаем мы: что она – неопределенность.

Страх перед Вожакон оставался в их нервах и тогда, когда Его положили на землю. Они были готовы к тому, что Он поднимется и обрушит на них свой гнев. Они привыкли, что их ярость ограничивается Его волей. Его воля еще жила в них. Но она уже начала убывать. Страх еще сводил животы и теснил дыхания, а руки сжимались в кулаки и пятки ощущали выталкивающую силу земли. Сначала задвигались руки, потом ноги. Кто-то из самых нетерпеливых начал первый, и эхо его движений поселилось в каждом. Круг ритмично извивался, эхо движений множилось, одно усиливало другое, наступил резонанс, когда уже ничто, кроме полного изнеможения, не могло остановить единое колебание тел. Включились гортани, погашенный в зародыше крик прорывался слабыми порциями, то есть стал заунывным ритмичным воем, похожим на молитву, и поскольку ярость адресовалась Вожаку, молитва была обращена к нему.

Эхо всего, что видит глаз, всего, что слышат уши, любого движения сородичей – что же я такое, если не эхо мира? И мысль моя – эхо этого эха. И чувства. Наскальная живопись появилась раньше топора и резца, искусство – раньше идеи потребительства. Я эхо, и только в этом качестве я могу найти себя и быть счастливым».

22

Мы даже не сделали электронных копий. Все было не до этого. Когда Дуля умирала в «Ланиадо», у меня как-то мелькнула мысль, что если нас не станет, все папки Локтева вместе с прочими моими бумагами пойдут в мусорный бак. Не то чтобы меня это потрясло, но каждый должен делать свое дело, и я не хотел оказаться крайним предателем в судьбе Локтева. Так уж получилось, что папки попали ко мне, и мое дело – их сохранить. По утрам, пока Дуля спала, потихоньку вводил тексты в компьютер. Ей нравилось, просыпаясь, видеть мою спину трудоголика за работой.

Прошло четыре года после химиотерапии. Я сидел за компьютером и услышал за спиной задумчивое:

– Что это, интересно, такое...

Она лежала на спине и щупала свою шею. Стараясь не обнаружить паники, я посмотрел и увидел, что шея справа опухла. Совсем так, как нам рассказывали про лимфому Биркета у африканских детей: клетки могут носиться в лимфе месяцами, а в какой-то момент начинают оседать опухолью и за несколько часов опухоль вокруг горла душит ребенка. Но уже третий год LDH находился в норме! Было шесть утра. Надо было дожидаться восьми, когда начнет работать поликлиника и придут на работу врачи «Ланиадо».

А Дуля... снова заснула.

Я должен был справиться с двумя часами ожидания, уничтожить секунду за секундой, чем-то занять голову, руки и ноги; курил, побежал подметать сад, какие-то ветки подрезал, а тревога все росла, у меня ум за разум заходил. А она спала.

Мне повезло с ней. Всю жизнь она одним своим видом снимала мою тревогу. Потом всегда обнаруживалось, что тревожился я попусту,

а она оказывалась права. Это легко понять, но ведь мы не властны над своей тревогой. Как Дуле удавалось не тревожиться? Меня эта ее способность поразила еще когда мы были школьниками и гуляли по улицам поселка, боясь прикоснуться друг к другу. Тротуары освещались светом из окон, асфальт блестел, в выбоинах темнели лужи. Я что-нибудь рассказывал (прочитанные книги, что еще мог). Издалека видел лужу. Чтобы обойти ее, надо было потянуть Дулю в сторону. То есть дотронуться до локотка. На это движение не решался. Мы приближались к луже, и Дуля не делала никаких попыток обойти. Лишь когда оставался шаг, уже занося ногу, замечала:

– Ой, лужа!

И вот эта способность не видеть на два шага вперед была непостижимой. Сколько луж встречалось на пути, столько раз все повторялось. При втором круге гуляния (улиц-то всего было шесть-семь, по три-четыре квартала каждая) было то же самое. Я не понимал, как можно жить, не заглядывая вперед. Привык все предусматривать заранее, чтобы не растеряться в нужный момент. Себе не доверял никогда. Дуля же в предусмотрительности не нуждалась. Она жила настоящим мгновением. Я знал, что только так и нужно жить, но мне не хватало смелости. А для нее это было так естественно, что она восхищалась моей способностью все обдумывать наперед. Для нее было непостижимо как раз это.

Отдавая мне должное, сама не пыталась этому научиться. Упорно отказывалась выходить с зонтом, если не было дождя. «Но он с минуты на минуту начнется!» – «Мне кажется, дождя не будет». Заставить ее делать то, чего она не хочет, я никогда не мог. Выходили без зонта, начинался дождь, она смеялась: «Ну и что? Он сейчас пройдет». Так же не соглашалась надеть теплую кофту, если на улице было солнце. «Но вечером будет холодно!» – «Мне не будет холодно». Конечно же, вечером, когда надо было возвращаться домой из гостей, оказывалось холодно, и хозяевам приходилось искать для нее какую-нибудь кофту. В следующий раз все было так же, я говорил: «Ты помнишь, как в прошлый раз?..», но научить ее предусмотрительности было нельзя. Иногда это раздражало, но и тогда моя тревожность гасилась в ее спокойствии, как горящая головешка в воде.

Проснулась, когда я уже с четверть часа трезвонил по телефонам. Оказалось, что очередь к Ульвику забита на три месяца вперед. Дозвонился в «Ланиадо», попросил к телефону Иду. Она тоже встревожилась:

– Немедленно приезжайте сюда! Какая больничная касса?! Ульвик посмотрит немедленно!

Пока ожидали у калитки такси, Дуля мне сообщила:

– У нас на крыше выросло дерево.

– Как?!

– Посмотри.

С тротуара мы видели палисадник со старым абрикосом, за ним – наш двухэтажный дом. Над черепичной крышей видна была крона старого пекана. Дерево росло за домом, на участке соседа.

По сравнению с опухолью на шее это показалось пустяком. Дуля не узнала дерево, которое видела десять лет ежедневно. Для нее часть кроны, видимая над крышей, росла из крыши. Она перестала понимать законы перспективы. У нее и галлюцинации стали появляться, и звуки иногда переставала различать настолько, что лай собаки и автомобильный сигнал принимала за голос внука, и неврологи

посылали на СТ, а потом пожимали плечами: может быть, лекарства так действуют, может, все та же химиотерапия, может, паркинсонизм, но вообще странно. И принимали скорбный вид.

– Дуля, это орех, который растет за домом.

Она недоверчиво промолчала.

Сестры в гематологии обрадовались ей, как своей любимице, благодарные за то, что выжила. Работа у них была трудная, а выживших оставалось очень мало. Они недаром старались ни к кому не привязываться. Кого мы ни вспоминали, Ида только отводила глаза: умер Густав, умерла тридцатисемилетняя Наташка, у которой три раза пересаживали костный мозг, тихая и скромная Соня, маленькая и мужественная Вера, бывший директор большой фабрики в Краснодаре, прозванная «комиссаром» за то, что поддерживала упавших духом. Нас позвали в кабинет Ульвика, и я успел увидеть, как Ида глазами показала Эсти на дулину опухоль.

Ульвик, как всегда, был сдержан и печален. Велел Дуле раздеться, ощупал шею, под мышками и все лимфоузлы. Кивнул, чтобы одевалась, сел к компьютеру.

– Это не болезнь.

(*Зе ло махала*, – сказал он буквально. Не знаю, откуда приехали его родители, фамилия звучала, как я понимаю, вроде бы по-английски, похоже на Пиквик, я тут ее немного изменил, как и другие. Суперменистый, красивый, спортивный, он произносил свои оправдательные приговоры с английской невозмутимостью. Не знаю, как ему это удавалось. Может быть, просто был очень уставшим – он работал одновременно в нескольких больничных кассах и вел отделение в «Ланиадо».)

– А что это?

– Не знаю. Может быть, гормоны, которые принимала.

Дуля слушала, будто речь шла не о ней. Но это уже перестало меня восхищать. Мы вышли, я оставил ее болтать с сестрами, а сам вернулся к Ульвику, рассказал ему про дерево. Он хмуро слушал и кивал. Спросил, как с памятью. Спросил, что назначает невролог, и записал себе в компьютер. Помолчав, сказал:

– Это я ей сделал.

Такие вещи врачи не говорят. Может быть, он полюбил Дулю. И уж во всяком случае понял, что мы не из тех, кто судится с врачами за нанесенный ущерб. Не знаю, что в это время выражало мое лицо, но он добавил:

– Но иначе она бы умерла.

В такси по дороге домой Дуля держала наготове салфетки на случай, если ее начнет рвать, однако обошлось, и она радовалась этому, выйдя из машины. Вход к нам на второй этаж сзади. Когда мы обогнули дом, она увидела весь разлапистый орех, нависающий над садом, и отметила:

– Да, ты прав, я ошиблась.

Так же, как не встревожилась утром, обнаружив у себя опухоль, не обрадовалась диагнозу Ульвика. Еще более поражало, что она не заражалась моей нервностью. Меня недаром потряс в свое время Локтев, сказавший «Я эхо» в чисто физиологическом смысле. В этом смысле я в самом деле эхо, мгновенно заражаюсь настроениями близких – раздраженностью, подавленностью, отчаянием, яростью или ненавистью (радостью и веселием – необязательно). Дуля же оставалась всегда независимой. На нее определение Локтева не

распространялось. Даже рядом с моей душевнобольной сестрой она продолжала быть в хорошем настроении, когда все вокруг бывали наэлектризованы яростью или отчаянием.

23

И все же тревога, наконец, ее догнала. Это случилось через несколько месяцев. Она перенесла грипп с высокой температурой, ослабла, лежала в кровати. Попросила помочь подняться. Что-то в голове насторожило. Подошел, помог. Она сделала несколько шагов и захотела сесть в кресло. Посадил, а через полминуты позвала снова. Сказала, что, пожалуйста, ляжет. Я положил. Не смогла лежать. Снова поднял. На лице ее появилась виноватая, диковатая улыбка. Я спрашивал, что случилось, она сама не понимала. Не могла ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Садилась и тут же просила положить, ложилась и тут же пыталась подняться. В нее словно вселился бес – такой же, как она, тихий и вежливый. Незнакомое состояние испугало ее саму. Глаза расширились. Я допытывался, что она чувствует, отвечала:

– Не знаю.

Она то задерживала дыхание, то с шумом хватала воздух.

Я бросился звонить на работу дочери. Марина связалась с неврологом, перезвонила мне: собирайтесь, повезет в больницу «Гилель Яффе». Приступ прошел, Дуля была спокойна, как всегда, только в глазах остался испуг. В приемном покое худо-бедно отвечала на вопросы психиатра – где живет, какие год, месяц и число. Причин для госпитализации не нашли, но, связавшись еще раз с неврологом, решили оставить до утра.

И тут я сделал ошибку: не остался с ней на ночь. Заикнулся было об этом, но самому стало стыдно перед Мариной: опять эта моя тревожность, всем порчу жизнь... «Гилель Яффе» находится в Хадере, почти в двадцати километрах от нашей Нетании. По дороге домой мы с Мариной радовались, как ловко она все провернула, – и номер мобильного врача сумела узнать, и связалась, и вовремя в больницу отвезли, и на врачей в приемном покое надавила, и Дуля успокоилась, а завтра посмотрят профессора, к которым не так просто попасть.

Утром она уже была неразумным существом. Никого не узнавала, не могла пошевелиться, бессмысленно и тихо бормотала: «дай, дай, дай, дай...». Что с ней произошло, никто не понимал. «Дай» сменилось таким же бессмысленным «скорей», потом чем-то неразборчивым, потом опять «дай, дай, дай...» Наш невролог Малка Таненбаум промелькнула и исчезла. Я оцепенел: опухоль в мозгу, Ульвик не вылечил, ремиссия закончилась, вторую химиотерапию Дуля не выдержит.

В палате было три кровати, отделенные занавесками. Я сидел в ногах Дули и время от времени пытался напоить ее из ложечки и позвать. Она не реагировала. За открытой дверью проходили мимо медсестры, санитары, два знаменитых профессора, ординаторы, были еще практиканты. Начинался обход. Из палаты в палату двигалась большая масса халатов, человек двадцать. Меня выгнали.

Час спустя, сидя на кровати Дули, услышал, как кто-то в коридоре произнес имя Ульвика. Выскочил туда. Молодой врач звонил с пульта медсестры:

– К нам поступила больная Фарида Кишкельман...

Поговорив с Ульвиком, озадаченно сказал другому:

– Ульвик считает, что возвращение лимфомы крайне маловероятно.

Остаться на ночь не разрешили (не надо было спрашивать, а я сдуру спросил). Дома прибрал все, что в спешке разбросали, сел к компьютеру, чтобы и там прибрать файлы, и, наверно, впервые в жизни понял, что, барабанив по клавишам пишущей машинки и компьютера, все эти годы просто избивал тревогу. Когда она подступала, разнообразная, исходящая от людей, от недовольства собой, от новостей и от мыслей, я усаживался перед клавиатурой и переводил ее в слова. То есть избавлялся от нее, переадресовывая другим, тем, кому слова предназначались. Это называется творчеством. Дуля никогда не позволяла себе переадресовывать тревогу другим – ни словом, ни голосом, ни жестом, ни взглядом. Может быть, если бы выработала в себе такую привычку, наорала бы, впала в истерику, выплеснула бы избыток, который, вполне возможно, был побочным действием лекарств, элементарной химической реакцией с образованием какого-нибудь вещества вроде адреналина, и успокоилась бы. Я верил в свое право тревожить других, а она в свое не верила и потому попала в больницу.

Два дня прошли в оцепенении. Ночами Дуля не спала и продолжала бессмысленно бормотать, мешая другим больным. По их требованию ее перевели в отдельную палату. Я не отходил. Когда возили на обследования, шел рядом и втискивался вместе с кроватью в лифты. На третий день Дуля зашевелила пальцами, а к вечеру – кистями рук и локтями.

Еще через день стала открывать рот, когда кормил. Жизнь наполнилась хорошими новостями: начала поворачивать голову на звук, заговорила, спросила, как дома. Попросила воды. Захотела, чтобы отвел в туалет. Я перестал задавать вопросы врачам. Видел: они не знали.

На вторую неделю пришла вертлявая женщина в розовом платье и на высоких каблуках, привела студентов, они забили всю палату и торчали в дверях. Дуля сидела в кресле. Я только-только стащил ее с кровати и посадил, не успел поправить позу, она сидела, завалившись на бок, и не чувствовала этого.

Места для стула в палате не оставалось. Усевшись на кровати и касаясь Дулю коленками, женщина весело сказала:

– Здравствуйте, я профессор Вернер, а вы?

Я приготовился переводить, однако, перевод не потребовался, иврит Дуля не забыла.

– Я Фарида Кишкельман, – сказала она.

Движения, на которые способны младенцы, забыла, а чужой язык – нет. Я не знал, чему надо, а чему не надо удивляться. Вопросы были простенькими: год рождения, день недели, месяц и число, адрес. Дуля понесла полную чушь, назвала адрес в Минске, сказала, что у нее четверо детей (у нас двое: Марина и сын Сева в Шта-тах. Дуля посчитала и внуков).

– А это кто? – показала Вернер на меня.

– Мой отец.

– Вы уверены, что он ваш отец?

Дуля засмеялась виновато, как бы признавая ошибку, а сказала противоположное:

– Уверена.

Видно было, что сказала просто так, не вникая. Вернер ее уже немножко утомила.

Когда все вышли, упрекнула:

- Почему ты не подсказывал?
- Почему ты сказала, что я твой отец?
- Не знаю...
- Но ты знаешь ведь, кто я?
- Конечно, знаю.
- Я твой муж.
- В самом деле, – согласилась она.

Меня вызвали в холл. Там расположилась Вернер со своими студентами. У них был практикум. Парни и девушки, скучая, вымучивали из себя вопросы, я отвечал, как привык отвечать врачам, и только потом сообразил: да ведь это не консилиум, Дулю используют как учебный экспонат.

Отпустив студентов, Вернер с сочувствием объяснила:

– Как вы понимаете, это началось не сегодня. Это так и идет, ступеньками. Что-то вспомнит, что-то нет. Что вспомнит, то останется. Психоз пройдет, но слабоумие, к сожалению, не лечится.

- Какое слабоумие? Фарида все понимает!
- Так уж все?

Смотрела с улыбкой. Я смутился. Она сочувственно сказала:

- Это быстро развивается.
- Как... быстро?

– Очень быстро. Год, два. Ступеньками, – показала рукой.

Я вернулся в палату. Дуля ждала, скособочившись в прежней неудобной позе. Изменить ее она не умела. Поинтересовалась:

- Где эта... бабочка?

Вернер ей явно не понравилась. Поняла, что профессор проверяла умственные способности. По ее мнению, это было глупо и делалось бестактно.

После обеда прибежала молодая женщина в спортивном трико, физиотерапевт, быстрая, бодрая, подняла Дулю, поставила на пол, схватила за руки и стала учить ходить. Лицо Дули сразу сделалось лицом слабоумной, она боялась отрывать ноги от пола, дрожала, идиотски поскуливала, физиотерапевт покрикивала. Так, рывками на дрожащих ногах, вцепившись в руки женщины, Дуля добралась до двери. Смотреть на это было тяжело.

Я не мог сориентироваться. Что я знал? Люди, которые долго лежат, разучиваются ходить, но быстро восстанавливают умение. Так же и Дуля должна была все вспомнить. Она не могла назвать свой адрес. Но ведь если привезти к автобусной остановке, найдет дорогу домой так же, как делала это всегда. Она не забыла улицу, заборы, палисадники и фасады, соседей, деревья, даже, наверно, выбоины на асфальте. Что такое название улицы и номер дома? Если ввести все знание о дороге в память компьютера, адрес занял бы такую малость в общем объеме, что им надо было бы пренебречь. И разве важно, что Дуля назвала меня отцом? Она знает, кто я, вот что важно! Дуля спросила про Вернер: «Где эта бабочка». Вернер в самом деле порхала. По неуловимым признакам определить характер человека и найти для этого точный образ – разве это не требовало больше ума, чем помнить адрес и год рождения? Что же такое слабоумие?

Сбежал к медсестре, попросил лист бумаги и написал большими буквами: «Я тебя люблю». Физиотерапевтка уже уложила Дулю в кровать. С трудом открыв глаза, сомлевшая Дуля прочла. Я успокоился: она не разучилась читать, что в сравнении с этим какой-то адрес.

– Я посплю, – предложила она.

Я отправился курить. Надо было спуститься в лифте в вестибюль, выйти через стеклянные двери в другой вестибюль, огромный, как вокзальный зал, и через него выйти на крыльцо. Посреди этого пути в стеклянных дверях торчал толстый малый, разговаривая по мобильнику. Его обтекали два людских потока – к лифтам и от них. Он всем мешал, потоки замедлялись и сбивались вокруг него в толпу. Его толкали, он, увлеченный (да вроде бы не так уж и увлеченный) разговором, не реагировал. Прижимая мобильник к уху, а ухо к плечу, малый бросал ленивые реплики, фыркал и похохатывал.

Я налетел на него, извинился и тут же разозлился на себя: это он должен извиниться – торчит у всех на дороге. Выкурил на крыльце сигарету и, возвращаясь в отделение, снова столкнулся в тех же дверях с тем же типом. Он продолжал мекать и бекать в мобильник. Мешал всем, кто проходил в двери. Как же можно было сравнить его с Дулей? Даже в психозе она помнила об окружающих, старалась поменьше обременять собой, стеснялась, благодарила медсестер и санитарок за любую услугу, причем «спасибо», сказанное мне или Марине, отличалось от «спасибо», сказанного персоналу, и интонацией, и чувством и смыслом. Тип с мобильником, не думая о других, сэкономил колоссальные умственные затраты. Интеллектуальная деятельность Дули была неизмеримо сложнее и серьезнее, чем у него. Ее мозг работал, но она была слабоумной, а малый не думал, но был разумным.

Дома попытался восстановить события с самого начала. Мы повезли ее в больницу, потому что испугало странное состояние: тревога, близкая к панике, не позволяла ей ни сидеть, ни стоять, ни лежать. На иврите это называется *ишекет*, беспокойство, и я вспомнил русское название: психомоторное возбуждение. В приемный покой Дуля вошла сама нормальным шагом и, отвечая психиатру, была совершенно разумной. Значит, что-то произошло с ней потом, ночью. Она получила инъекцию успокоительного, наверно, заснула в приемном покое раньше, чем увезли в неврологию. Проснувшись среди ночи в незнакомой палате, скорее всего, была в спутанном сознании. Не понимала, где находится. Может быть, решила, что опять привезли к Ульвику. Подумала, что, значит, у Ульвика ничего не получилось, ремиссия кончилась, и она умирает. Могла вообще забыть, что химиотерапию проходила четыре года назад, могло показаться, что все продолжается. Так или иначе, не это главное. Попробовала выбраться из кровати и не смогла, не справилась с ограждением. Находясь в спутанном сознании, не поняла, что дело в ограждении, которое специально придумано, чтобы больные не могли вылезть сами. Помешилось что-то совсем непостижимое и страшное. Попробовала позвать, но почему-то никого не было. Может быть, уже не слушались губы и язык. Все еще сжигаемая тревогой психомоторного возбуждения, хоть ослабленного уколом, но по-прежнему непереносимого, запертая в кровати, как в клетке, ничего не понимая, она от страха вырубилась разум. Так рвут вниз аварийный рубильник. Обычно люди просто теряют сознание, падают в обморок, а у нее полетело все, двигательные центры в том числе.

Все это вообразив, я впервые усомнился: да была ли она в самом деле спокойным человеком? Не ошибались ли все, кто ее знал? Может быть, она как раз была самой среди всех тревожной, с самыми легкоплавающими предохранителями.

Чем больше я думал – думал или тупо пережевывал беду? – тем больше убеждался, что это так. Как я раньше не догадался, обманываясь видимостью? Спокойные люди эмоционально туповаты, а у нее всегда слезы текли – когда кто-то рядом страдал, или делился горем, или перед телевизором, или в кино, или от обиды. Глаза увлажнялись и от радости, когда возилась с маленькой Мариной или получала неожиданный подарок от близкого человека. Она умела плакать от счастья и наслаждения так же, как от беды. Она была чувственной. Это я как на духу. Если вправду была бы спокойной, то не замыкалась бы в себе, например, при малейшем проявлении хамства. Хамства не переносила совершенно («со мной можно только по-хорошему»), но не взрывалась в ответ, а делалась заторможенной, вялой, как бы засыпала, как бы репетировала то, что случилось теперь.

Я вполне мог вообразить, что когда-то, очень-очень давно, в раннем детстве (Дуле было три года, когда мать с нею на руках бежала из горящего Бобруйска, брела в толпах беженцев, падала на землю, когда их расстреливали на бреющем полете мессершмитты) или еще раньше, она пережила какой-то сильнейший стресс и набрела на детский способ защиты, способ черепахи или улитки: спрятаться в панцирь и не впускать в сознание ничего неприятного. Отменяла неприятное, как будто его не существует, не признавала его до последней возможности. Дождь? Не будет дождя – и весь разговор. Со стороны это казалось беспечностью.

Почему ж я раньше не замечал ее запуганности? Да потому, что мыслил в другом масштабе, поведенческом. Она вела себя независимо и невозмутимо, это и обманывало. Однажды в десятом классе вдвоем поехали в кино в центр города. Там перед входом в кинотеатр сидел на скамейке пьяный и матерился на всю площадь. Люди обходили его стороной и делали вид, что не слышат. Дуля, высвободившись из моей руки, направилась прямо к алкашу и обычным своим спокойным голосом сказала:

– Как вам не стыдно.

Пьяный очень удивился и ничего не понял. Бессмысленно посмотрел – Дуля была миловидной и ладной девочкой, – поднялся со скамейки и удалился, ворча под нос. В таких вот случаях она была бесстрашна и при этом не приходила в боевое настроение, не возбуждалась, ее «как вам не стыдно» звучало чуть ли не сочувственно.

Ее робость непросто было разглядеть. Она не боялась конфликтов, чужого неодобрения, хулиганов, высоты, темноты, неожиданно, риска, физической боли, могла прыгать с угрозой сломать ноги или позвоночник, могла разнимать дерущихся, спокойно шла на собеседование или экзамен, но очень боялась сглаза, всегда прибеждалась, не носила провокативной одежды, не любила ярких расцветок, не любила, когда ее хвалили, не любила строить планы и не выносила разговоров о будущем и всяческих мечтаний вслух, обрывала их – зачем говорить, видно будет. Умела не хотеть невозможного или труднодоступного, предпочитала довольствоваться малым. Когда мою прозу стали переводить на иностранные языки, я стал получать чеки Внешпосылторга, и она могла покупать одежду и драгоценности в специальных магазинах «Березка» и «Ивушка», доступных лишь обладателям этих чеков. Дуля мало этим пользовалась. Лишь спустя много лет я узнал, что она равнодушна к драгоценностям, которые тогда могла свободно купить. Ничто ей не мешало.

Был уверен, что она безразлична к ним, как сам. Она не могла решиться на этот шаг не из жадности, а из какого-то суеверия, как будто эти вещи не для нее.

Даже слишком большого везения она всегда боялась. Полагала, что это какая-то ловушка, в которую нельзя попадать.

Я подвел ее, не оставшись на ночь, когда привезли в «Гилель Яффе». Если бы Дуля проснулась ночью и увидела меня рядом, она не вырубилась бы разом. Положилась бы на меня. Я бы все объяснил и успокоил.

24

Первый автобус на Хадеру с заходом в больницу «Гилель Яффе» отправлялся с Центральной автобусной станции в семь утра. Когда добрался до неврологии, там мыли полы и не пустили. Пришлось ждать. Дуля проснулась, когда меня не было. Глаза были прикрыты, она счастливо улыбалась и что-то шептала. Увидела меня:

– Где ты был?

Как – где я был?!

Не повторила вопрос, закрыла глаза и вернулась в сон. Лицо сделалась лукавым, на щеках появились ямочки. Через несколько минут очнулась:

– Ты здесь? А собака?

– Какая собака?

– Смотри, осторожнее.

После завтрака и обхода появилась физиотерапевт с алюминиевым ходунком для обучения ходьбе. Дуля впряглась, прикусив губу от избытка старательности. Физиотерапевт бодро покрикивала «Раз-два! Раз-два!», почему-то решив, что кричать надо по-русски. Наверно, просто разнообразила работу.

Приходила еще одна психиатр, Гинзбург, мужеподобная, не улыбаясь, вопросы задавала те же: год рождения, адрес, семейное положение, какие число, месяц и год... Дуля отвечала ей лучше, чем накануне Вернер. Это было на нее похоже: с теми, кто ей нравился, Дуля всегда была умнее, чем с теми, кто по какой-нибудь причине не нравился. Мне казалось, она мало старается и отвечает, не думая. Когда Гинзбург ушла, припугнул:

– Да относись ты к вопросам серьезно. А то упекут в дурдом. Выучи хотя бы число и год.

– Да, ты прав.

– Двадцать шестое февраля две тысячи шестого года.

– Двадцать шестое февраля две тысячи шестого года.

– А завтра будет?

– Двадцать шестое февраля две тысячи седьмого года.

– А если подумать?

– Двадцать седьмое февраля две тысячи шестого года.

– Какой месяц?

Дуля вздохнула: что я к ней привязался? Не возмутилась, но попыталась урезонить:

– Такой же, какой вчера.

– Май?

– Почему май? Февраль.

– Что ж ты Гинзбург несла?

– Ну ошиблась, бывает, – устав от меня, отвлеклась на собаку. Смотрела при этом в угол у двери. Там стояла белая пластиковая корзинка для мусора. Я убрал корзинку:

– Видишь собаку?

– Нет, сейчас не вижу.

– Где она?

– Ушла.

Значит, Дуля корзинку принимала за собаку. Проверая, взял корзинку в руку:

– Что это?

– Мусорное ведро.

– Корзинка.

– Я и говорю.

Это нельзя было назвать галлюцинацией. Галлюцинация – это когда человек видит то, чего нет. А она принимала корзинку за собаку. Я по-прежнему не знал, что имеет, а что не имеет значения. Врачи все первым делом спрашивали про галлюцинации. Наверно, в зависимости от них назначали или отменяли лекарства.

Утром опоздал на первый автобус. Дулю успели снять с кровати и посадить в кресло. Она была разумна, как дома. Спрашивала, как и почему попала в больницу, – не помнила. Все, что происходило в больнице, не помнила тоже. Как будто это время была без сознания. Я рассказывал, она слушала с удивлением. В глазах появились слезы.

– Что я опять не так сделала?

В палату заглянул молодой ординатор. Он заменял нашу исчезнувшую Малку. Увидел, что Дуля плачет, встревожился:

– Ухудшение?

– Почему?

– Она плачет.

– Она начала осознавать свое положение.

– Это очень важно, то, что ты сейчас сказал.

Этот молодой репатриант из Аргентины, кажется, понятия не имел, что делать. Вскоре он говорил по телефону Малке:

– Муж Фариды сказал, что она начала осознавать свое положение...

Малка, как оказалось, болела и взяла отпуск. К профессорам было не подступиться. После обхода попытался поймать одного из ординаторов, русскоязычного. Тот всегда сопровождал профессора при обходах и был в курсе. Немолодой, с саркастичным умным лицом, он заметил мой маневр, пытался улизнуть, но его перехватил еще один русскоговорящий родственник:

– Сашок, извини, только на пару секунд.

Пара секунд затянулась надолго. Тип, который назвал врача Сашком, был всего второй день в отделении, и ему не составляло труда остановить любого врача или медсестру. Иврита он не знал, но, остановив ивритоговорящего врача, держал его за рукав одной рукой, а второй подзывал переводчика – кого-нибудь из медсестер, которые в большинстве были русские, или даже меня. Медсестер он подзывал по имени: Людочка, Инночка. Его все называли Арье. Наверно, он так представлялся, переиначив заурядное российское Лева. Благообразный, седой, расторопный. Теперь, в беде, Дуле нужен был бы вот такой ушлый муж, а не интеллигентик с плакатиком «Я тебя люблю». А может, и всегда был нужен такой.

«Сашок» даже не пытался вырваться, терпеливо отвечал на вопросы Арье, что-то нерешительно предлагал, что-то обещал. Наконец, Арье отошел. Истратившись на Арье, ординатор решил не дать использовать его вежливость второй раз и пересаливал в хамстве:

– Вас лечит Малка, она опытный врач, говорите с ней.

– Но ее нет, и она не говорит по-русски, я просто не все понял во время обхода, я недостаточно знаю иврит...

– Мм-э.

– Я понимаю, что поступаю бестактно, обращаясь к вам, но тут нет нарушения профессиональной этики...

– Не могу вам помочь.

– Но хотя бы, как будет на иврите слово «галлюцинация»? Профессор спросил про галлюцинации, я не ошибся?

– Да зачем вам?

– Но ведь он меня спросил...

Врач замешкался, и таким образом удалось втянуть его в разговор. Историю болезни Дули он слышал во время обходов, у него должно было сложиться собственное мнение, и ему стало совестно.

– Почему она не получает допикар? – поинтересовался он.

– Мы пробовали год назад от дрожания, он ничего не дал, и его отменили. Перешли на декенет.

Он отнесся к этому с сомнением.

– Не знаю, я бы давал допикар. А декенет... он может иногда способствовать развитию слабоумия, хоть, конечно, тут....

Прервал себя, невнятно извинился и убежал. Наверно, решил, что сказал слишком много. Мы говорили по-русски, однако вокруг бродили молодые стажерки, которые явно понимали русский, хоть и скрывали это от русскоговорящих больных. Он не хотел, чтобы они его слышали. Почему? Только лишь следуя врачебной этике, не позволяющей врачу обсуждать назначения коллеги? Или в отделении шла какая-то война?

С новой информацией о декенете и допикаре я разыскал аргентинца и, не назвав источник, выложил мнение одного врача, чтобы услышать мнение второго. Тот неопределенно промямлил:

– Может быть... Завтра, наверно, выйдет на работу Малка.

Она появилась после обеда. Я видел, как она куда-то спешит по коридору. На ходу пояснила:

– Я сегодня не работаю.

Полчаса спустя все-таки зашла в палату. Дуля заулыбалась, Малка тепло спросила:

– Как ты себя чувствуешь?

– Да вот что-то я неправильно сделала, доктор.

Хотела, видимо, сказать: «Что-то я подвела вас», но не сумела на иврите. Возможно, Малка не поняла. Она быстро взглянула. Взгляд был не вопрошающий, а испытывающий. Что-то почувствовав, я сказал, что мы с Дулей ждем ее не дождемся, поблагодарил, что она руководит лечением по телефону... Она опять быстро взглянула и отвела глаза. Что-то происходило у врачей нехорошее. Я изо всех сил демонстрировал лояльность.

– Все будет хорошо, – сказала Малка.

В конце смены появилась опять, остановилась в коридоре перед открытой дверью палаты, улыбнулась Дуле оттуда. Нервничала. Я вышел к ней, она сообщила:

– Психиатры Вернер и Гинзбург назначили лечение лепонексом. Это единственный нейролептик, который назначают при паркинсонизме. Он не увеличивает дрожь. Все будет хорошо.

– Спасибо большое, доктор...

– Собственно, больше мы ей не нужны, – осторожно сказала Малка, – ты уже можешь забрать ее домой.

От изумления я забыл иврит и потому получилось грубее, чем хотел:

– Как забрать? Она же не ходит! Вместе с кроватью?

Она печально посмотрела и ушла, не ответив.

Арье-Лева стоял в двух шагах и без стеснения слушал разговор на непонятном ему языке. Что-то он понял.

– Сколько вы здесь?

– С семнадцатого февраля.

– Вас должны выписать.

– Как? В таком состоянии?

– Больничная касса не станет оплачивать.

– И куда нас денут?

– Это не их дело.

– Но Дуля пришла в больницу своими ногами, она была в полном рассудке...

– Это что, подтверждено документально? – оживился Арье.

– Есть же запись в приемном покое...

– Это другое дело, – Арье прямо-таки обрадовался, – вы можете на них в суд подать. Ее неправильно лечили. Только берите хорошего адвоката. Получите огромную компенсацию. Есть люди, которые всю жизнь живут на эту компенсацию. Миллионы получите! Она работала?

– Я хочу, чтобы ее вылечили!

– Но они вас выпихивают. Тем лучше, – рвался в бой Арье. – Забирайте домой.

– Что я дома буду делать, я не врач.

– Привозите к ней дорогих врачей и сразу нанимайте адвоката. Они вам все оплатят.

– Я ее не заберу.

– А вас не спрашивают. Выпишут и все. Что вы будете делать?

– Ничего. Не заберу. Усядусь на кровати и буду сидеть. Не выкинут же силой.

– Они посчитают каждый день и по суду снимут сумму с вашего счета. Я еле от него отделался.

Решил позвонить Марине. Пока, стоя на крыльце, набирал номер, из корпуса вышел аргентинец. Увидел и задержался:

– Ну что, Наум, главное мы с вами сделали. Состояние у Фариды стабильное. Она ест, начала ходить, разговаривает, всех узнает.

– Большое спасибо, Микаэль...

– Мы, естественно, держать ее здесь не можем, – небрежно заметил он, – но я поговорил с Мири, она может устроить в реабилитационный центр. Там специалисты, хорошие условия. Она уже договорилась с Минздравом. Есть места в Пардес-Хане, но я сказал, что машины у вас нет, а автобусом трудно будет добираться. А «Мальбен» – это Нетания, пешком будете ходить. Мест там нет, но Мири потянет день-два, пока освободятся.

– Извините, я не понял, – насторожился я. – Какой «Мальбен»?

– Реабилитационный центр. Минздрав оплачивает две недели после больницы. Мы сделали запрос, учитывая ваше положение.

– Там лечат?

– Там специальное отделение для несамостоятельных, – закивал Микаэль, и тут же парню стало неловко: – Конечно, там не будет таких обследований, но тоже есть врач.

– Свалка какая-то, – понял я. – Я не заберу Дулю. Ее надо долечить до конца.

– Все теперь зависит только от нее.

– Это не так. Я не заберу.

– Мы уже ничего не можем. Зачем ей тут лежать?

– Вот назначили же какое-то лекарство. А если оно не пойдет? Вы меня посылаете туда, где врачи не лечат, а дежурят.

Микаэль пожал плечами и ушел.

Позвонил Марине и пересказал разговор. Она зловеще помолчала, потом спросила:

– И что ты собираешься делать?

– Просто не заберу.

– Ты знаешь, сколько стоит день в больнице? Полторы тысячи шекелей. Ты их платить не можешь. А в «Мальбене» будет платить министерство здравоохранения. В «Гилель Яффе» тебе уже не помогут.

– Пусть вызывают какое-нибудь светило.

– Они сами все светило на свете. Не лечится это.

– Тогда зачем «Мальбен»? Тогда домой.

– Там физиотерапевты ходить научат.

– Я сам научу.

– Это несерьезно. «Мальбен» – лучшее решение. Только надо потребовать, чтоб оплатили не две, а три недели. Это они могут. Поговори с Мири. Нет, погоди, я приеду, – решила Марина и положила трубку.

Ее раздражала наша с Дулей оторванность от жизни. Она уже смирилась с сознанием, что мы не воспитали ее деловой, не привили необходимых навыков, и потому ей пришлось самой себя воспитывать. Она стала деловой первая в семье. Мы с Дулей не умели решать за других. Дуля дважды отказывалась от повышений, потому что не хотела командовать собственными подругами. В результате ее начальницей стала женщина на пять лет моложе, и она называла Дулю «Дулечкой», а та ее – Валентиной Михайловной. А Марина сменила, наверно, десяток работ и каждый раз поднималась на ступеньку выше. Теперь у нее была уже сотня подчиненных. При двух маленьких детях разошлась с мужем и опять не пропала, уже ждал ее решения второй.

Переложив ответственность на нее, я успокоился, вернулся к спящей Дуле и бездумно смотрел в окно. Шторм хлестал стекло мокрыми струями, как ветками. Наконец, Марина позвонила. Голос ее едва различался среди сплошного треска:

– Я уже почти приехала. Ветер такой, что машину сносит.

Через полчаса она появилась с мобильником у уха. Не взглянув на Дулю, убежала. Вернувшись с пластиковым стаканчиком горячего кофе, сказала из двери:

– Поехали. Что ты здесь торчишь, ты ей не нужен.

– Так что решили?

– Я позвонила Мирьям.

– Мирьям?

– Мири. Старшей медсестре. Она больше врачей понимает. Обещала все сделать.

– Что сделать?

– Поехали, в дороге расскажу.

Я помешкал... Рядом с Мариной все мои решения мне самому казались глупыми. По пути к машине она на ходу отхлебывала кофе.

– Завтра ее перевезут в «Мальбен» за счет Минздрава.

Сильный ветер плеснул кофе на руку, она отшвырнула стаканчик на асфальт. Я осторожно попробовал возразить:

– Здесь помнят, что мама пришла к ним своими ногами, значит, они должны ее выписать в таком же состоянии. А в «Мальбене» ею не станут серьезно заниматься, скажут: мы ее такой получили.

– В этом есть резон, – согласилась Марина. – Проверю, чтобы все было зафиксировано в бумагах. Мири прочтет мне по телефону, что они там напишут.

Я подумал: хорошо, что она есть. У нее мозги всегда заняты тем, чем нужно, а у меня все не по делу. Море было в километре-двух от нас, шторм сбивал с ног, и, чтобы дойти до ее «Форда», надо было ложиться грудью на ветер и твердо, как альпинист в горах, утверждать ноги. Я смотрел, как она идет, мокрая и усталая, и чувствовал себя виноватым перед ней. Как это так случилось, что я перед всеми стал виноват? Как сказала Дуля, что я не так сделал?

Опять думал не о том. Недаром у друзей Марины девиз: «Не заикливайся на ошибках». В машине попытался разобраться по-деловому:

– Если Минздрав оплачивает реабилитационный центр, то почему он не может оплатить те же две недели в больнице?

– Тебе не надо это понимать. Кроме того, больница старается маму выпихнуть. У них там война, друг друга подсиживают, а тут мама. Это, собственно, была моя идея – реабилитационный центр. Они бы просто отправили домой.

Залился мелодией второй ее мобильник. Марина кого-то распекала, с кем-то предупредительно и угодливо беседовала по-английски, переключилась на сына и включила звук, чтобы я участвовал в разговоре. Потом позвонила подруге-врачу и подробно рассказала ей о Дуле. В ее рассказе все выглядело мрачнее, чем мне казалось: психоз деменции, деменция развивалась давно, она уже стирать не могла, красное загружала с белым, тесты психиатров все проваливает, но как-то держалась, а после гриппа резкое снижение...

– Я тебе сочувствую, – сказала подруга. – Звони, если что.

Может быть, Дуля просыпалась до моего прихода и снова заснула. Я тихонько прошел к креслу, стал садиться, оно скрипнуло. Дуля открыла глаза и радостно засмеялась:

– Как ты вовремя! Откуда ты знал?

– О чем?

– Я сказала, что ты сейчас придешь.

– Кому?!

– Им!

Я похолодел. Может быть, с движениями и шло улучшение, но слабоумие развивалось так быстро, что я не успевал соответствовать. Или, может быть, не развивалось, а проявлялось? В ее снах появился убийца. Дуля закричала ему, что сейчас придет муж, и тут сразу вошел в палату я. Она решила, что убийцы при виде меня сбежали. В течение дня несколько раз повторяла: как ты умудрился появиться в самый последний момент! Каждый раз я возражал, что это был сон, она не спорила, но тут же забывала мои возражения, а сон

запечатлелся. Но она не стала параноиком, который борется с врагами. У меня сестра параноик, я знаю, что это такое, это борьба без передышки. Дуля ни с кем не боролась. На ее поведении бред никак не отражался. Она не фиксировалась, отвлекалась мыслями.

После завтрака ходили по коридору. Держась за руку, Дуля вышлагивала уверенно. Физиотерапевт, пробежав мимо, остановилась, понаблюдала и крикнула:

– Дуля, ты беседер!

Я попробовал убрать руку, но Дуля не решилась сделать шаг. Как сказала себе, что сама не может ходить, так и поверила. Идея, что можно что-то улучшить, всегда была ей чужда.

Мы прошли длинный коридор отделения из конца в конец, до самой входной двери. Там был холл-столовая и от нее шел другой коридор, в который выходили двери профессорских кабинетов. За одной, распахнутой, сидела Малка. Позвала. Сидели, разговаривали – были знакомы уже два года, приезжали к ней на консультации из Нетании, всегда считали дни до этих встреч, – и вдруг она решилась, посмотрела в глаза:

– Вы недовольны моим лечением?

Я ужаснулся:

– Малка, мы... это счастье... мы думаем, это счастье... я плохо знаю иврит... Почему ты так решила?

Она поверила и заметила сама себе:

– Я знаю, откуда идут эти разговоры.

Сняв с меня подозрение, потеплела и заговорила о Дуле:

– Это ведь началось не сегодня. Я надеюсь, все будет хорошо, но прежнего уже не будет никогда. После гриппа произошел скачок. Ты понимаешь?

– Да.

– Теперь ее должны лечить психиатры. Ты понимаешь?

– Да, конечно, Малка, – закивал я, продолжая радоваться, что она мне поверила.

– Они начинают давать лепонекс. Я уже не нужна. Твоя дочь договорилась с Мири, Мири договорилась с больничной кассой, вам оплатят две недели в реабилитационном центре. Это очень хорошо для Фариды. Мири сегодня весь день пытается связаться с «Мальбеном». У тебя ведь нет машины?

– Нет.

– Значит, Пардес-Хана тебе не годится. Туда не доберешься. Она обещала «Мальбен».

– Но зачем нам «Мальбен»? Если там не лечат!

– Пока она принимает лепонекс, она должна быть под медицинским контролем. Лепонекс может плохо подействовать на кровь, за этим надо следить. И там чудесно, ты сам увидишь. Ей будет хорошо. Я скажу Мири, чтобы никакое другое место, кроме «Мальбена». Обещаю.

– Большое спасибо, Малка.

Дуля тоже стала благодарить, радуясь, что я не поругался с Малкой. Она чувствовала все перемены моего настроения. В сущности, она оставалась в курсе дел, не вникая в их суть. Или надо сказать наоборот: не вникая в курс дела, понимала его суть.

Да, это было так. Ведь я собирался сопротивляться, сесть на кровать и не двигаться в места, а вместо этого от души сказал: «Большое спасибо». И Дуля считала, что я правильно сделал.

Позвонила мама:

– Почему ты не звонишь?

С тех пор, как у нас с Дулей лет сорок назад появился телефон, мы разговаривали с мамой по несколько раз в день. Она тревожилась из-за беременностей Дули, из-за детских болезней Марины и Севы, из-за их школьных отметок, потом пошло по новому кругу с правнуками. Причин для маминой тревоги всегда хватало, но она не всегда чувствовала себя вправе беспокоить нас. Болезнь Дули это право ей давала.

– Я собирался позвонить из дому.

– Ты от меня что-то скрываешь.

– Мама, ну что мне скрывать?

– Мариночка сказала, что состояние Фаридочки плохое.

– Ты же знаешь Марину. Она все видит в черном свете.

Обязанность успокаивать маму в ее вымышленных или преувеличенных тревогах всегда лежала на Дуле. Дуля как-то не тяготилась этим. Нам же с Мариной это оказалось не по силам. Заменить Дулю мы даже вдвоем не могли. Мама раздражала тем, что сама себя накручивала. Да ведь и я раздражал Марину тем же. По ее мнению, я должен был не сидеть возле Дули, а по-прежнему встречать внука из школы, кормить и делать с ним уроки. В ее глазах я тоже себя накручивал.

Придя домой, заглянул в старый справочник Машковского «Лекарственные средства». Лепонекс в нем назывался клозапином, и было написано, что если не довести курс до конца, психоз вернется. Воображение разыгралось: вернутся и останутся непереносимая тревога и кошмары, которые Дуля принимает за реальность. Разум сгорит за несколько недель, она станет идиоткой, постепенно теряя человеческие качества.

В том, что лепонекс нужен, не было сомнений. Но все вчерашние доводы против «Мальбена» снова показались убедительными. Лечиться надо было в больнице, где работают профессора. Я должен был проявить характер. Поднять шум. Пригрозить судом, как Арье-Лева. Вызвать корреспондентов газет: «Русскую репатриантку сделали инвалидом и выкидывают из больницы, не вылечив!»

Но я знал себя. Сомнения делают меня негодным для борьбы. А есть ли у врачей другое средство, кроме этого лепонекса? Если нет, то зачем воевать? Этот Арье-Лева не смахивает на человека, у которого все в жизни получилось. Такие, как он, воюют, побеждают, а потом не могут понять, почему все так плохо. Я буду грозить судом, но ведь и врачи не дураки, они нагрузят Дулю декенетом и допикаром, добьются хорошей ходьбы, попутно уничтожив разум, за который не несут судебной ответственности.

В этих сомнениях я появился в отделении и увидел двух крепышей в красных жилетах «Маген Давид адом». Один из них вытаскивал из тумбочки пакеты с одеждой и клал их на кровать в ногах Дули. Она не понимала, что происходит, испуганно озиралась, выискивая меня взглядом. Увидела, заулыбалась с облегчением.

Прибежала Мири с какими-то бумагами, сунула одному из дядек из амбуланса, а меня похлопала по плечу. Не чувствуя решимости действовать, я сказал себе, что забрать Дулю домой смогу и из «Мальбена». Кровать с ней уже везли к лифтам. Успокаивая, я взял ее за руку и пошел рядом, по пути прощаясь с Мири, соседками и санитарками.

У лифта Дулю перекинули в специальную каталку. В дороге я сидел рядом с ней. Проехали по приморскому шоссе до Нетании, миновали город и оказались на деревенского вида пустыре. Среди редких, седых от пыли сосен тянулся забор. Остановились у проходной, стальные ворота разъехались и впустили в себя амбуланс. Пока охранники проверяли документы, я объяснял Дуле, куда нас привезли. Она не понимала и очень старалась запомнить, словно бы готовилась к новому допросу психиатров, от которого зависела ее судьба. С умным видом повторяла вслед за мной, как студент перед экзаменом.

«Мальбен» оказался целым городком. На зеленых холмах извивались асфальтовые дорожки, посреди газонов торчали пальмы, воткнутые, как ноги в обувь, в кусты роз. Среди рощиц, газонов, цветников и пальм стояли белые особнячки под красной черепицей.

Нас привезли к корпусу номер девять. Каталку с Дулей прокатили мимо хозяйственных контейнеров в автоматическую дверь. В маленьком холле с картинами на стенах подошла молодая блондинка, измерила давление, и Дулю отвезли в палату. Она задремала, а я отвечал на вопросы блондинки, помогая ей заполнить историю болезни. Она оказалась заведующей отделением Эллой Берман.

Когда Дуля проснулась, я сидел рядом. Во сне она одичала. Никак не могла понять, где находится. Захотела подняться. Я поднял, она, опираясь на мою руку, потянула вперед, вышла из палаты, пошла по коридору, стараясь не смотреть в открытые двери палат – там в кроватях лежали старики, подключенные к приборам и капельницам, из ртов и носов торчали проводки и трубки. Дуля шла, не зная куда, я уговаривал остановиться и повернуть назад. Наконец, мы вернулись в палату. На соседней койке тоже лежала старуха в проводах и трубках. Было страшно. Дуля сильно дрожала и повторяла:

– Ничего не понимаю. Где мы?

Я снова и снова принимался объяснять, она никакие объяснения в себя не впускала, только раздражалась. Требовала, чтобы положил ее в кровать, и тут же пыталась слезть. Повторялось то, из-за чего она и попала в больницу, – психомоторное возбуждение. Только дрожь стала еще сильнее, уже не только руки дрожали, но и губы прыгали. Посидев в кресле, Дуля обрушилась на меня с упреками. Я впервые в жизни увидел ее агрессивной. Если бы не ее страдания, было бы, наверно, забавно наблюдать, как пытается оскорбить человек, который по природе своей не способен это делать. Не глядя в глаза, с глубоким разочарованием и горечью она словно бы рассуждала сама с собой:

– Дора Сташкова!.. Великая женщина!.. Умнейшая женщина!.. И ты ей не позвонил! Как ты мог?..

Не о своих обидах заговорила, а о чужих. Она никогда даже мысленно ни к кому не предъявляла претензий, не умела. Наверно, если поискать, можно было найти, в чем меня упрекнуть и без Доры Сташковой. (Это была московская диссидентка, известная в конце семидесятых, и я не очень хорошо понимал, какое мое преступление Дуля имела в виду.)

Психоз вернулся с прежней силой. Слишком много свалилось на нее: прощальная суета в «Гилель Яффе», крики заполошной Мири по поводу какой-то сопутствующей отъезду ерунды, красные жилеты спасателей, напоминающие телевизионные сообщения с места терактов, сирена амбуланса, долгая поездка в его напичканном

приборами салоне, долгое мое отсутствие (задержали в конторке у проходной, оформляя документы) и ее одиночество с привязанными к каталке руками и ногами, потом – совершенно новая реальность, новые лица, кошмарные старики с трубками изо ртов и носов, какое-то непонятное изменение в жизни, жуткая соседка, на которую страшно было взглянуть, хрипы, крики полоумной старухи из соседней палаты, на которые никто не отзывался...

– Дора Сташкова... как ты мог... такая женщина... а ты... не позвонить хотя бы один раз...

И я всерьез попытался в чем-то оправдаться, чтобы успокоить, а Дурля не слушала и отказывалась лечь:

– Я не хочу спать. Я хочу сидеть.

Некоторое время посидели молча, потом я осторожно сказал:

– Извини, я был неправ.

– Иногда ты бываешь невозможным.

– Конечно, я нервничаю. Извини... Может, полежишь?

– Ладно, – согласилась она.

Дождался, пока она заснула, и пошел курить. На крыльце стояла скамейка. На ней сидели две санитарки, курили и болтали по-русски. Через открытое окно доносились непрекращающиеся крики старухи. Мимо все время проходили люди. Появилась Элла, и санитарки, побросав окурки, исчезли в корпусе. Элла мимоходом спросила:

– Все в порядке?

Понимая, что ответа она не ждет, все-таки не удержался:

– Психоз вернулся.

– Он и не проходил, – сказала Элла, не останавливаясь.

– Но она принимает лепонекс! – крикнул я в спину.

– Курс лечения восемнадцать недель, – сердито бросила она на ходу.

– Что?! – я кинулся следом, решив, что ослышался. – Извините, вы сказали, восемнадцать недель?

Она уже не отвечала.

– Извините! – крикнул я еще раз и вернулся на скамейку.

Больше четырех месяцев мы пробудем здесь? Не зная, что делать, я набрал номер Марины.

– Ты откуда? – спросила она.

– Мы в «Мальбене». Ты знаешь, что курс лечения восемнадцать недель?

– Да, иначе психоз возвращается.

– Почему же ты мне не сказала?

– А что бы изменилось? Вот сказала, и что?

– Но ты сказала, две-три недели!

– Это оплачивает Минздрав.

– А потом?

– А потом оформляют постоянное пребывание.

– То есть как?

– С маминым диагнозом там половина.

– Ты понимаешь, что ты говоришь?

Марина нехорошо промолчала.

– Я заберу домой, – сказал я.

– Лепонекс нельзя принимать дома.

– Но в Машковском...

– Оставь в покое Машковского. В России можно, а здесь нельзя. Есть инструкция Минздрава. Тебе никто не выпишет лепонекс, и

никакая аптека не продаст. Он может плохо действовать на кровь, на сердце... только под контролем врачей, в больнице. Извини, я сейчас не могу. Я тебе перезвоню.

Я вспомнил, что и Малка сказала: «Под медицинским контролем». Возможно, она знала, что восемнадцать недель и что дома нельзя. Я начал понимать, как круто меняется наша с Дулей жизнь. Сидел на скамейке, слышал крик старухи за окном, монотонный и бессмысленный, и страшно было вообразить, что чувствует сейчас Дуля, если она вдруг проснулась. Она была права, отказавшись вникать в мои объяснения. Ей не пришлось в голову спросить, надолго ли мы сюда, и когда, наконец, поедем домой, если вообще поедем. Это была ее защита. Марина метко заметила: ну вот узнал я, и что? В самом деле, и что? Лучше не знать, как Дуля.

Какая-то часть сознания уже пыталась лихорадочно приспособиться: восемнадцать недель, четыре месяца, но ведь я буду рядом, тут можно гулять по аллеям... А другая часть говорила, что в «Гилель Яффе» мы были всего две недели, а за это время Дуля смирилась, привыкла считать себя беспомощной, в ней появилось что-то детское, робкое... Что с нами сделают здесь за четыре месяца?

Нельзя было допустить, чтобы с ней случилось то же, что в первую ночь в «Гилель Яффе». Я должен всегда быть рядом. Открывая утром глаза, она должна видеть меня, и вечером должна засыпать, зная, что я тут. У нее не должен возникать вопрос, что происходит и где – я рядом, значит, все в порядке, мир не изменился. Санитарки и сестры могут накормить ее лучше, физиотерапевт лучше меня научит ходить, но роль порядка в мире должен играть только я. И тогда ей, чтобы жить разумно, хватит того разума, который еще остался.

Проходя по коридору, я через открытую дверь палаты разглядел кричащую старуху. Желтая, истощенная, страшная, с трубками, она лежала неподвижно, задрав заострившийся подбородок, и в ритме дыхания выталкивала из легких бесконечный, неожиданно громкий – откуда только силы брались – парализующий меня крик. Бессмысленный крик принимал случайную, из каких-то звуковых обломков, форму – «кrrрдъдов... кrrрдъдов...».

Во сне Дуля успокоилась. Теперь она не должна была проснуться до утра. И все-таки не мог заставить себя уйти. Сидел на неудобном стуле, пока не затекала спина, выходил курить, возвращался и снова сидел. Дуля оставалась непостижимой. Почему она вспомнила Дору Сташкову, которую никогда не видела? Я тогда, приезжая по делам в Москву, как в те времена говорили, «немного варил диссиду», то есть бывал у Доры. И вот однажды кто-то из знакомых, не доверяя телефонам, которые якобы прослушивались, прислал к нам домой какую-то девочку, передавшую просьбу Доры Сташковой приехать на вокзал к варшавскому поезду из Москвы и передать одному из пассажиров вагона СВ (брюнету в клетчатом пальто, очках и без шапки) копию «Суда над Савченко». Эту копию девочка тут же и вручила, тонкую пачку папиросной бумаги, сложенную до размеров кармана. Я в это время лежал с гриппом и едва добирался на дрожащих ногах до туалета. Поехала Дуля. Я сказал ей: «В случае чего сразу колись. Играть с ними в несознанку бессмысленно». Такой у нас тогда был блатной жаргон и так у всех было условленно: не доводить дело до крайностей, попался – все выкладывай. Дуля успела уложить и усыпить Марину. Поезд уходил в одиннадцать вечера. В час ночи ее еще не было. Я начал

беспокоиться. Куда звонить? Что делать? В половине второго раздался звонок. Дулю в самом деле задержали на вокзале, и она сказала, что не станет отвечать на вопросы, пока ей не разрешат позвонить домой и успокоить мужа. В половине второго ей разрешили. Вернулась к утру. Смущенно улыбалась – все в порядке, там очень милые люди, с ней очень вежливо разговаривали, они даже, ей показалось, сами диссиденты, но этот поляк что-то натворил... Ее спрашивали, откуда у нее рукопись, и она сочинила целую историю о том, что подрабатывает печатаньем на машинке, расклеила объявления, один человек принес, договорились с ним по пятьдесят копеек лист, он заплатил, а потом попросил отвезти к поезду, а оригинал забрал. «Но ведь в эту историю невозможно поверить!» – «Не знаю, – сказала она. – Они поверили». – «Дуля, нет!» «Мне кажется, – решила она высказаться, – им все это самым неинтересно». – «Страшно было?» – «В начале очень, а потом увидела, что они такие же люди, как мы». – «Они совсем не такие». – «Я понимаю, – неохотно согласилась она, – но мне показалось, что такие».

Парни из КГБ ей по-настоящему понравились, и в вину дипломата поверила, как дурочка, – она не годилась для такой жизни. Утром, когда поднимала Марину и собиралась на работу, про нее уже вещали «Свобода», «Би-би-си» и «Голос Америки»: в Минске арестована участница диссидентского движения Фрида Павловна Бутлерова. Именно так – не Бутова, а Бутлерова, не Фарида, а Фрида. На следующий день Дулю вызвала к себе начальница Лидия Никифоровна. Дуля была ее любимицей. Лидия Никифоровна сказала: «Ну рассказывай». Дуля рассказала. «Смотри, – сказала Лидия Никифоровна, – больше не попадайся. Вроде бы твой Наум умный парень, я от него такой глупости не ожидала». Последствий для Дули эта история не имела. Когда ей говорили, что она стала знаменитой, пожимала плечами. Она знала, что не знаменита, и никакие факты не могли бы убедить ее в обратном. Почему же, когда психомоторное возбуждение – ужасное, трудно переносимое состояние – переросло в агрессивность, она для упрека вспомнила именно это, давнее, давно забытое, и не в том упрекнула, что приносил ее в жертву, а в том, что не позвонил этой Доре?

Я сидел, пока в корпусе не погасили свет. Старуха продолжала кричать в темноте. Выйдя из корпуса, я слышал ее крик, хоть окно уже закрыли. Он пробивался на ночную дорожку между корпусами и сводил с ума. Звала она кого-нибудь? Что-то требовала? Возмущалась? Она не могла уже ни звать, ни возмущаться, ни требовать – слабое давно съело сознание. Кричало существо, которое уже не было человеком. Крик был изначален, он существовал вне разума, как тот, с которым она появилась на свет. Разум, возникнув, пытался справиться с этим криком, обуздать, затормаживал его всю жизнь, теперь узда ослабла, и крик высвободился. В голосе были и зов, и возмущение и угроза. Как сказал бы Локтев, на какой-то глубине сигнал о помощи и угроза – это одно и то же. Но все устроено так хитро, что к кричащему младенцу, будь он человек,мышь или птица, спешит мать. Ее не звали, но она принимает сигнал.

Локтев знал про этот крик самое главное. Его Вожак, повстречавшись с хищником, кричал, повторяя рев хищника. «Вожак не мог знать, лев ревет или он сам – звуки не отличались», – написал Локтев. Вожак

еще не был человеком. Мысль еще не возникла. Впечатление было неделимым: пасть, рев, лев и смерть – это было одно цельное переживание, овладевшее мозгом жертвы и отдающее приказ телу.

Я должен это рассказать, так почему же не здесь?

Локтев написал, что человек – эхо мира. Кстати, была такая эстрадная песня, по-моему, красивая: мы – нежность, мы – память, мы – эхо друг друга, что-то в таком роде. Поэтическая метафора. Локтев же выражался без метафор. Недаром его хотел взять в свой колледж знаменитый Анри Валлон. Их мысли совпадали. Наверно, они делились мыслями, может быть, обсуждали за чашкой кофе...

Прошло полвека с той ночи, когда, ожидая поезда на Москву, я слонялся по минскому вокзалу и в витрине киоска увидел фамилию парижского знакомого Ольги Викентьевны. Тогда, пристроившись на вагонной полке в свете ночника, я пролистывал «От действия к мысли», поразившись, что существуют книги, в которых студент технического вуза, привычный к наукам, не может иногда понять ни одного слова в абзаце. Любой учебник читался легче.

Тогда я не осилил Валлона. Научность отталкивала сама по себе, я воспринимал ее, как школьник в детстве воспринимает урок. Я опьянялся стихами, образами и метафорами, тянулся ко всему яркому и необычному, мне было девятнадцать. Тогда на меня действовало: «Я эхо» (Локтев впервые написал это в «Холме Астарты»). Не требовались доказательства – я чувствовал, что я и есть эхо, – мир прокатывался через меня, как звук в горах, рождая обвалы восторгов. Таинственный муж Ольги Викентьевны тревожил воображение, от этого каждая его фраза приобретала дополнительную энергию.

Я закончил институт, прочел много книг и стихов, сам пробовал писать, и пришло время перенасыщенности, я утонул в мире сносшибательных идей, лишних слов и красивых фраз. В голове была каша. Меня стали раздражать эффектные фразы, претензии, дилетантизм, безответственность и ненадежность, многословие и пафос. В это время охладел и к Локтеву, разбрасывающему свои афоризмы и парадоксы. Мне нужны были какие-то точки опоры, земля под ногами. Только наука могла дать такое ощущение. Неподкупная, несуетливая и неторопливая, оберегающая методологию, как монастырь, оберегающий устав. Я полюбил науку. Потратив много времени и сил, одолел когда-то купленную книгу Анри Валлона – это был мой подвиг: перевод оказался чудовищным, родительные падежи и деепричастные обороты с неправильными падежами громоздились один на другой и состояли из иностранных слов, которых не было ни в одном словаре. Но это была наука.

Неожиданно обнаружилось, что размашистые, опьяняющие парадоксы Локтева подтвердились сухими и беспристрастными, несомненно научными рассуждениями Анри Валлона.

Валлон открыл для меня подражание. Я стал понимать, почему мне невыносимо чужое страдание и почему приятно делать людям добро. Сострадание и милосердие оказались физиологическим подражательным рефлексом, нормой, а жестокость и черствость, – патологией, душевной болезнью. В детстве мне внушили, что эгоизм и беспощадность даны нам природой, а доброта и отзывчивость привиты культурой. Но культура выглядела как-то подозрительно, в человеколюбии слишком был замешан расчет. Расчет – неуважаемый и ненадежный мотив, иногда выгодно быть хорошим, а иногда – плохим.

Доброжелательность из-за выгоды унижала, я словно бы обманывал окружающих, притворяясь доброжелательным. Верующие люди тоже не вызвали желания подражать их боязни согрешить, ведь за безгрешность они получали пропуск в рай, расчетливость была замешана еще круче. И я испытал воодушевление, узнав, что мною движут не расчетливость и не старание понравиться людям, которых не уважал, а то самое звериное чувство, которое заставляет взмывать в воздух птичью стаю, если пугается одна из птиц, и обращает в бегство все стадо, если срывается с места одна овца. Страдания одного зверя оказались сигналом опасности для другого, это, а не расчет, было основой врожденного милосердия. Природа вложила в зверей рефлекс подражания, то, что Локтев называл эхом. Наше сострадание было нашей природой. Мы были повязаны не рациональностью и необходимостью вместе добывать пищу, а кровной связью родства. Через рефлекс подражания чужое страдание становилось нашим собственным. Мы все зависели друг от друга фи-зи-о-ло-гически. Локтев пошел дальше Валлона – нам передавались эмоции зверей. Нормальному человеку не по себе, если пищит мышь в пасти у кошки, или взвизгивает попавшая под колеса кошка, или скулит раненная собака. Слыша эти звуки, человек сам готов запищать, взвизгнуть или заскулить. Поэтому локтевский Вожак со львом был львом, а с гиеной – гиеной. Это не антропоморфизм, это нечто ему противоположное.

Я всегда заражался чужими чувствами и считал это невротизмом. Даже когда на меня лает собака – где-нибудь за забором, на цепи, – заражаюсь ее яростью. Но в толпе я как-то поневоле обособляюсь. Даже восторг футбольных болельщиков и их рев на трибуне стадиона заставляет меня замкнуться в себе. Наверно, я чувствую агрессию, которую подходящий случай может направить против меня. Мне хочется спрятаться. У болельщиков всегда есть свой и чужой, и, питаюсь коллективным чувством, они направляют его не только за своего, но и против чужого. Без чужого нет и своего. У Валлона ничего об этом нет, но Локтев заметил это.

Толпа болельщиков – это не по мне. Но есть, например, песня, застолье, они очень похожи на первобытные ритуалы, пляски и ритмичные крики вокруг тотемов. Пьяный или трезвый, я заражаюсь общим чувством, пою вместе со всеми, на глазах у нас слезы, в душе восторг, который рвется наружу, мы готовы жизни свои отдать друг за друга, наши глотки режут все громче и громче. Когда начиналась ритуальная пляска первобытной семьи, люди не могли остановиться, дрыгались и извивались, пока не валились в изнеможении на землю, а мы напиваемся и тоже валимся.

Валлон высказал поразительнейшую, парадоксальнейшую мысль. Куда до него Локтеву! Этот парижанин, профессор психологии, член коммунистической партии Франции показал (уж не мне судить, доказал он это или нет), что человеческая мысль родилась в этих плясках. Еще Сеченов, как учили нас в школе, утверждал, что мысль – это несовершенное действие. По Валлону, по психофизиологическим его рассуждениям, это действие не могло быть целесообразным. Целесообразные действия приводят только к результату, положительному или отрицательному, уточняются по методу проб и ошибок, но мысленное представление в них возникнуть не может. Для ее рождения нужны действия подражательные, такими и были ритуальные движения предков людей (как брачные танцы змей или там пауков).

Это перевернуло мои представления о жизни: мысль – не инструмент выживания и приспособления? Она возникла не в процессе труда? Она не нужна для выживания, возникла вообще не по делу? Если она возникла случайно, без необходимости, то так же случайно она может исчезнуть из мира? Разве мы не видим, что успех приходит не к самым разумным, и лучше всех приспособливаются не самые рациональные? Да взять хотя бы нас с Дулей – рациональный я, лучше приспособливается она, и в общем, по большому счету, мудростью надделена она, а не я. Я в плену у стремления к целесообразности, все проверяю пользой, взвешиваю, что выгодно, а что невыгодно, – не в деньгах, но какая разница. У Дули лучше развито эстетическое чувство. Наскальные рисунки появились раньше идей приобретательства и потребления – что-то в таком духе есть у Локтева или Валлона.

Не так давно зашел в Интернет и набрал в русской поисковой программе «Анри Валлон». «Яндекс» выдал 1636 страниц. Валлон назывался одним из крупнейших психологов современности, основателем научной школы. Кажется, все его последователи занимались детской психологией. Промелькнуло, что в 52-м году вышел русский перевод книги «От действия к мысли». Больше ссылки на нее не встречались. Была даже фотография импозантного мужчины с седой шевелюрой, а книга исчезла, будто ее и не было. В науку она не вписалась.

Жизнь книги не зависит от того, ошибся автор или нет. Маркс и Фрейд ошибались почти во всем, но их заблуждения толкали мысль вперед, в то время как бесспорные трюизмы лишь захламляют кладовую мысли. Почему исчезла книга Валлона, я не знаю. Меня поразило другое: строгая научная мысль оказалась дальше от истины, чем размашистый язык дилетанта.

Поражаться, положим, было нечего. Это судьба почти любой научной истины, а может быть, и вообще любой. Они устаревают со временем все, даже законы классической механики Ньютона. Валлон ошибся, человеческая мысль возникла не в танце. А Локтев, написавший «Я эхо», не ошибся.

Он мог написать: «Я – крик».

Тридцать с лишним лет спустя, в 71-м, посмертно вышла книга русского историка, академика Бориса Поршнева, который, сравнивая скелеты гомо сапиенс и неандертальцев, заметил опускание гортани предков человека. Опустить гортань могло лишь использование голосовых связок. Речь? Но разум еще не развился до речи. Поршневу предположил, что прежде чем человек научился пользоваться палкой и огнем, он защищался от хищников криком. Хищники были сильнее, быстрее и ловчее. Предок человека был неповоротлив, медлителен и, кроме того, у его самок был очень долгий срок беременности, а у детенышей – очень большой период беспомощности. Такое существо выжить не могло. Но природа снабдила его гортанью, способной извлекать из себя модулированные звуки.

Может быть, я не очень внятно написал. Локтев это сделал лучше. Это была гениальная догадка. Представляется невероятным, чтобы в 38-м году Локтев слышал об идее Поршнева или Поршневу в 60-х знал о книге Локтева. Они действовали порознь. Один исследовал скелеты, другой писал роман. Историк ставил вопрос, как мог выжить предок человека, писатель пытался понять, почему он чувствует чужую боль. Ученый должен был сопоставлять факты, писатель – заглянуть в самого себя. Описывая Вожака, он должен был пропустить через

себя ужас Вожака, увидевшего смерть. Смерть была львом, и потому предсмертный крик был криком льва. Может быть, Локтев не подозревал, что в этом содержится важное научное открытие.

26

Я был, мама говорит, тяжелым ребенком. Вопил ночи напролет, мама не высыпалась, тетки злились, кто-то в сердцах сказал полушутя (то есть шутя, шутя): выбрось его в окошко. И год спустя, став на ножки, я мчался к маме, когда что-нибудь пугало и поражало воображение. Не за защитой бежал. Я сам не знал, зачем. Поплакаться, пожаловаться. Поплакавшись, избавлялся от чего-то и мчался назад.

В детстве все рассказывал маме, сестре, отцу, любому, кто оказывался рядом, – пускал пузыри, захлебываясь словами, сообщал кому ни попадя что попало. Стыдно вспомнить, но что уж стыдиться, если солидные взрослые люди горланят за праздничным столом дурацкие песни и не стыдятся, а ведь это то же самое. Душа требует, вот и горланят. А душа-то первоначально и есть дух, который витал над водами, а в первоисточнике, на семитских языках – руах, ветер, движение воздуха, – дыхание, выдох, вдох, а в них – крик.

Бог с ней, с историей. Бог с ними, с приматами. Это моим оружием был крик! Все детство я мечтал говорить тихим голосом, быть немногословным, спокойным, выдержанным, и всю жизнь вопил то от восторга, то от гнева, повышал голос, люди озирались и просили: тише. Я сам не любил кричащих, старался, но не выдерживал, срывался. Особенно в спорах. В детстве крик заменял аргументы. Спорящие начинали вопить друг на друга. И это в самом деле действовало сильнее аргументов. Да разве у взрослых не так же? Когда на меня кричали, переставал соображать. В таком состоянии или орал в ответ или терял желание спорить. Наскакивал, как петух, или сдавался, потому что от чужого крика становилось не по себе.

Несколько лет я бредил Поршневым. У мамы была привычка, проходя мимо ребенка на улице, обязательно воскликнуть: «Нет, вы только посмотрите, какое чудо!». Если проходила мимо цветов, требовала посмотреть на цветы и восхищаться ими. Она любила в себе эту возвышенность духа, а я все время раздражался, тут же корил себя за мелочное раздражение, и Поршневу успокоил: мамины восторги были агрессией, она внушала звуком голоса, доминировала, я не мог не сопротивляться. Или невиннейшая Дора Сташкова, жертва сталинских репрессий, отсидевшая десять лет в лагерях, знаменитый автор либеральных статей в «Самиздате», собирая в своей квартирке в Беляево молодежь и бичуя социализм своим хорошо поставленным голосом школьной учительницы, она казалась мне агрессивнее членов Политбюро, читающих свои тексты по бумажке вялыми, потухшими голосами, – единственно потому агрессивнее, что опьянялась звуком собственного голоса. Она была жертвой, они – хищниками, но, может быть, хищниками их делала не повышенная агрессивность, а подлость.

Позднее я прочел Конрада Лоренца и бредил его идеями о внутривидовой агрессии. Агрессия начинается с живой клетки, уже заложена в ней, жизнь – это агрессия, в аквариуме Лоренца рыбы одного вида пожирали друг друга до тех пор, пока не оставалась одна или пара. Потом эта тотальная внутривидовая агрессивность стала ограничиваться территориальным императивом, а там, где животные

теряли свои территории, в ритуальных иерархиях, она приняла форму стремления к доминированию. Все стремятся доминировать и используют для этого то действие, которое дано им для агрессии. Петухи клюют, собаки кусают. А что делает человек? Мы в стремлении доминировать не клюем друг друга и не кусаем. Мы говорим, кричим, шепчем, оскорбляем, жалуемся, орем, сетуем, бормочем, проклиная, молимся. Болтливая старушка на скамейке проявляет больше агрессивности, чем начальник генерального штаба, планирующий кровопролитную операцию. Что делают пьяные, растормозив алкоголь сдерживающие центры? Они горланят! Крик – самая первая агрессия в жизни. И последняя тоже – предсмертный крик жертвы. Что ж мне стыдиться, что разменивал этот крик на слова, фразы и мысли, как часы разменивают суточный завод пружины на секунды, минуты и часы. Да ведь и книги мои были – оповещение о себе. Если крик – действие, то, став мыслью и словом, он не перестал быть действием. Что такое творчество, как не крик.

То самое нецелесообразное действие по Валлону, родившее мысль, было не движением рук и ног, а движением гортани. Мысль родилась не в процессе труда, но и не в ритуале, а в агрессии. Что ж странного, что, родившись как агрессия, она так ею и осталась, и мышление уже развилось настолько, что способно уничтожить мир.

Молчание съедает меня так же, как бездействие. Мне нужен был слушатель, и мне повезло с Дулей. Со школьных лет, оказавшись рядом с ней, говорил, говорил, говорил... Умничал, хвастал, интересничал, а то и просто выговаривался, а Дуля молча шагала рядом, опустив голову.

Я привык все рассказывать ей. Это стало, как наркотическая зависимость. Я не мог жить, не делясь с ней впечатлениями. Сначала были книги, потом цеховые переживания, потом появились замыслы, тексты, редакции, редакторы, киностудия.

27

Утром задержали охранники в воротах – не было какого-то специального пропуска. Появился в корпусе около восьми. Ночью Дулю перевели в другое отделение в том же корпусе. Она лежала поперек кровати. Видимо, пыталась как-то выбраться из нее и не смогла. Лицо было перекошенным, как бывает при инсульте. Но это было выражение ужаса. Некоторое время она смотрела, не узнавая. Узнала, но не сразу успокоилась.

Когда все-таки успокоилась, в коридорах отделения стучали и шуршали шинами каталки, покрикивали санитарки и медсестры, – первая смена свозила больных на завтрак. Дулю умыли, одели, и она отправилась в столовую, опираясь на мою руку.

Во всей большой столовой на ногах была только она. На соседей лучше было не смотреть: бессмысленные водянистые глаза, свесившиеся на грудь седые лохматые головы, нездоровая кожа, неконтролируемые звуки – в столовой находилось человек тридцать. Кто-то пытался стащить скатерть на себя. Какая-то тетка на другом конце зала мерно и бессмысленно каркала по-вороньи. Пробежала санитарка, одела на каждого разовую пластиковую салфетку с отверстием для шеи. Я надел такую же на Дулю и уселся рядом. Она как бы не видела ничего вокруг, но я знал, что это впечатление бывает

обманчиво, потом оказывается, что заметила все. Появилась Элла со стетоскопом на груди, обошла весь зал, у каждого измерила давление. Дулю похвалила, а со мной поделилась, компенсируя вчерашнюю невнимательность:

– Днем сделаем кардиограмму. При лепонексе положено раз в неделю проверять кровь и делать кардиограмму.

Она работала быстро и уверенно, ее слушались. Старшая медсестра Таня привезла столик с лекарствами, раздала их, сверяясь с журналом. Стоя рядом, они с Эллой, молодые, красивые и стройные блондинки, выглядели, как эстрадный дуэт, какие-нибудь «Блестящие» или «Виа-Гра», и казалось, их настоящая жизнь проходит где-то далеко отсюда, после рабочей смены.

Привезли стойку с едой. Младшая медсестра везла стойку от столика к столику, здоровалась с каждым по имени. Дулю, как новенькую, спутала с какой-то Бэллочкой. Я поправил, медсестра запылочно извинилась, словно оскорбила.

Дуля получила ложку салата из помидоров с огурцами, блюдо творога с синтетическим вареньем, миску манной каши и чашку жидкого кофе. Она попыталась есть сама, но все с вилки падало на стол. Покорно позволила мне взять вилку и послушно открывала рот. Впорхнули санитарки, разбежались по залу кормить несамостоятельных. Они знали больных по именам. Лохматый старик за столом Дули безропотно позволял запихнуть еду ему в рот, а потом коварно отрывал все на тарелку. Около второго старика сидела платная нянечка, нежно ворковала, заговаривала зубы и, улучив мгновение, ловко засовывала ложку в зазевавшийся рот. Дед иногда успевал увернуться, и ложка тыкалась в плохо выбритую щеку. Нянечка смахивала еду салфеткой, и все равно дед вскоре оказывался перемазанным кашей, капающей с подбородка на грудь.

Вид соседей не мешал Дуле есть с аппетитом. В разных концах зала начались яростные крики: санитарки запихивали еду упрямым старухам, которые крутили головами и возмущенно вопили. Начиная с сюсюканья, санитарки к концу завтрака вопили сами.

После завтрака Дуля снова захотела спать, а я курил на скамейке. Моросило, слабо шумела листва, с приморского шоссе доносился рокот машин. Подсел немолодой человек в картузике и курточке. Не курил, просто сидел, ушел в себя, опираясь маленькими ручками на острые коленки. Как и накануне, мимо стремительно прошла Элла в халате. Так быстро ходят врачи в больничных коридорах – чтобы никто не успел привязаться с вопросами и просьбами. Сосед на скамейке встрепенулся, как солдат, мимо которого прошел офицер, но опоздал подняться и уныло следил за стройной фигурой. Элла шла скованно, зная, что мы провожаем ее взглядами.

– Эх она, – неопределенно сказал мужчина по-русски. – Я видел, как вы вчера. Откуда вы?

– Мы... из... Минска.

– Я из Москвы. Валя. Я спросил в смысле, откуда привезли.

– Из «Гилель Яффе». Это в Хадере.

– Из больницы. Инсульт?

– Нет, – обсуждать с ним Дулю не хотелось.

– А что?

– Так... есть проблема.

– Код есть?

– Что есть?

– А мою из дому взяли, – сказал Валя. – Тоже была там, где вы сейчас. Теперь наверху. Тут есть второй этаж, для лежачих. Она там. Была, где вы, теперь там.

У него был какой-то неуловимый дефект речи и заметный московский выговор. Говорил непонятно, но желания переспрашивать не возникало.

– Наверху лежачие, – пояснил Валя и неожиданно наклонился к уху. – Их там бьют.

Отстранился и уставился в упор, следя за впечатлением. Впечатление было сокрушительным, и Валью это стимулировало для продолжения:

– Приходят два амбала. Кормить. У них вес – показатель. Худеет – плохо. Один черный, зубы блестят, другой – марокканец или наш, Миша. Один держит, другой впихивает в рот. Если кочевряжится – бьют.

Голос Вали дрогнул, и он замолчал, справляясь с эмоциями. Непонятно было, о ком он, и главное, непонятно, в сознании женщина, которую бьют, или нет.

Сглотнув, Валя зловеще прошептал:

– Я к ней наклонился, и вдруг она шепчет: «Забери меня отсюда».

Опять отстранился и, глядя в упор, ждал реакции.

– «Забери меня отсюда», – повторил он. – Все время в ушах стоит. Я думал, уже ничего не понимает.

Теперь его было уже не остановить, выкладывал все подряд. Он здорово влип. Со дня приезда жил вдвоем с матерью. Снимали квартиру, смотрели вечерами телевизор, он ходил в магазины и на рынок, она готовила. Идише маме, семейный диктатор, обычный расклад. Началась болезнь Альцгеймера. Мать сделалась буйной, кричала и била стекла. Соседи вызывали полицию, полиция – амбуланс. Из больницы привезли на реабилитацию, как Дулю. Несколько дней мама и тут протестовала, а потом затихла, перестала вставать с кровати и отвечать на вопросы. Валя решил, что она ничего не понимает.

– Они их тут колют, – сказал он. – Зачем им с каждым возиться? Им так проще работать. Человек протестует, его колют, и нет проблем. Лежат такие годами, за каждого государство платит по одиннадцать тысяч шекелей в месяц. Она ж разговаривала! Она ж своими ногами пришла и разговаривала нормально, вот как мы с вами!..

– Мне кажется, – решился я приободрить, преодолевая собственный ужас, потому что представлял в это время Дулю, – мне кажется, она не мучается...

– Как она это сказала, «забери меня отсюда»...

– Может, эти слова ничего не значат, сказала и тут же забыла...

– Я ж думал, она ничего не понимает, не чувствует, не узнаёт... Никто ж не знает, что у них там в голове. И узнаёт, и все понимает! И думает: хоть бы сынок забрал. Видит меня и думает: сейчас заберет. А куда? Я бы давно забрал, но они ж из нее бревно сделали, как я ее ворочать дома буду? Я не смогу, сил не хватит. А купать? Сразу пролежни начнутся, сгниет живо. Это сразу надо было, пока ходила, а теперь что? Ее сломали, понимаете? Культурная женщина, фармаколог, вы Москву хорошо знаете? Аптека на Горького, в начале... Такие люди там бывали! Известные артисты... А эти по морде, по морде! Ну и поехала крыша совсем, много ли человеку надо! Ну заберу, а если что? Она теряет код. Код Минздрава на дом престарелых. Я не могу

платить одиннадцать тысяч, у меня пособие – тысяча семьсот. А без кода – одиннадцать тысяч отдай. В месяц. Придется все оформлять с нуля, три месяца бегать по этим е.аным за.ранцам от одного п.здюка к другому, собирать справки. А кто эти три месяца с ней будет? И еще загонят в Пардес-Хану, автобус два раза в день. И вот езжу. К завтраку, обеду и ужину. Как представлю, что будут кормить без меня, – ... твою мать. А живу на Соколов. Пешком через весь город. Тысяча семьсот пособие. Тысячу восемьсот отдаю за квартиру.

– Это как же?

– Ну еще квартирные идут, семь сотен. Но ведь электричество, вода, газ. От телефона отказался, но все равно – лекарства кое-какие. Для меня, в смысле.

– Как же можно прожить?

– А что делать. На автобус, конечно, не остается. Вот и думаю. Может, забрать? Вернут ей социальное пособие, на двоих три чetyреста плюс тысяча чetyреста квартирные, жить можно. А если я заболею? Элементарно спину прихватит, долго, что ли?

Кто его тянул за язык? В самом деле, если спину прихватит? Поясница уже давно побаливала. Да мало ли что могло случиться? Я мог подвернуть ногу, заболеть гриппом с высокой температурой. Если я однажды не приду, Дуля, не в силах понять, почему меня нет, сорвется в полную невменяемость. Элла назначит успокаивающий укол, эфиоп с русским Мишей придут ее кормить, она будет отворачиваться. Вначале попробует подлизываться, взывать к совести, но на это уже не хватит ума, начнет протестовать, и ее сделают лежачей, за три дня – навсегда, переведут на второй этаж к матери этого Вали...

Надо было немедленно забирать ее домой, пока, как говорит Валья, сама ходит. Но ведь всякие напасти могли со мной случиться и дома. В «Мальбене» хоть кровати с ограждением, присмотр, Элла, санитарки, а дома она упадет с кровати или с лестницы... Я не знал, на что решиться.

Если не было дождя, прямо из столовой мы отправлялись гулять. Выходили через заднюю, автоматическую дверь, добредали до ближайшей скамейки, отдыхали и шли дальше. С каждым днем я удлинял маршрут. Был март, дул холодный ветер, и скамейки вдоль асфальтовых аллеек стояли пустыми. Дуля шла во фланелевой пижаме. Фасон пижамы был точно скопирован с лыжных костюмов пятидесятих годов, в которых мы школьниками сдавали нормы ГТО. Я поднимал капюшон или воротник своей куртки. Всегда с какого-нибудь газона доносило запах свежескошенной травы. Посидев на одной скамейке, мы шли к другой. Напротив первой торчали три высокие пальмы, растущие как бы из одной точки. Напротив следующей свешивала сквозные ветви декоративная плакучая ива. Сквозь ветки проглядывало холодное, но яркое солнце. Перед третьей рос куст садовой ромашки в рост человека. Была еще одна скамейка, дальняя, любимая, вокруг нее, как детский аттракцион или трубы взорванной канализации, извивались вылезшие из земли корни гигантского дерева неведомой нам породы. А однажды мы открыли для себя культурные посадки красных деревьев, вероятно, зонтичных акаций. Листья осенью облетели, и в начале марта вместо них пламенели соцветия размером с кулак каждое. Шарообразная, безлиственная, из одних соцветий, крона была плотной, сплошной, а цветки были такого

чистого пунцового тона, такие яркие, что казалось, будто вся крона излучает свет.

Тревожность Дули не возвращалась. Впрочем, я открыл новую для себя вещь: в бездействии Дуля не погружалась в задумчивость, как это случается с любым здоровым человеком. Здоровый может уйти в воспоминания о чем-нибудь, может стучать ногой или пальцами руки, наконец – просто напевать и сидеть спокойно. Такая работа была Дуле не по силам. Голова оставалась ничем не заполненной. В эту пустоту, если я не принимал мер, проникала, как воздух в вакуум, чистая, без причин и содержания, тревога. Нужно было не допускать пустоты, но и не перенапрягать. Любое перенапряжение тоже делало ее тревожной. Я выбирал что-нибудь среднее, эмоционально нейтральное, начинал вслух восхищаться пальмами, ромашкой или цветом акаций, и иногда Дуля впускала это в себя, а иногда оставалась закрытой и пустой. Это видно было по глазам. Тогда, усевшись на очередную скамейку, она не расслаблялась ни на мгновение и, как дома накануне «Гилель Яффе», через несколько секунд порывалась встать. Мысль, так и не родившись, регрессивно перерождалась в движение. Движение заменяло сознание. Мы вставали и шли к следующей скамейке, на которой она тоже могла усидеть лишь несколько секунд, после чего нервно говорила:

– Ну что, пойдём?

Утратила способность к ожиданию. Я не мог попросить ее подождать на скамейке, пока сбегая за забытым на прикроватной тумбочке мобильником. Мы шли за ним вместе и потом возвращались к скамейке.

Я впервые понял многих людей, которых вроде бы хорошо знал прежде: они не выносили неподвижности и совершали любые глупости, стремились к абсурдным целям, добивались совершенно им ненужного, обижались попусту, мстили попусту, радовались пустому, лишь бы заполнить пустоту внутри себя. Занять себя они могли движениями, еще лучше – разговорами, но не задумчивостью.

Мы садились на скамейку, и Дуля стремилась взлететь, как воздушный шарик, а я торопился подsunуть в качестве балласта какое-нибудь воспоминание. Боялся говорить о доме: она сама не вспоминала, значит, что-то в ней сопротивлялось. Ни о доме, ни о внуках, ни о Марине, ни о работе старался не упоминать. Мне казалось, что мир, который ей предстояло вспомнить, сначала должен быть самым простым, состоять только их нас двоих. К нашим услугам была прожитая жизнь.

– Какой наш отпуск ты считаешь самым лучшим? – задавал я вопрос.

Дуля пыталась ускользнуть от ответа, я не отставал, и к моему удивлению она сказала:

– Ну... как это... ну... там еще офицерская столовая была...

– Лепель?!

– Нет, не Лепель... дождь был все время... впрочем, может и Лепель...

Лепель – городок в Белоруссии. Мы с маленькой Мариной снимали угол за занавеской в домике официантки при воинской части. Две недели шли дожди. Куртки, свитера и постели промокли и пропахли плесенью. Белье Дуля стирала в цинковом корыте хозяйки, просушить было негде. Я решил бежать и заставил Дулю уехать. После этого много раз были то Пицунда, то Коктебель, море, солнце, комфорт, сервис, общество приятных людей... И вот, оказывается, лучшим воспоминанием для Дули остался Лепель. Мне это и в голову не

могло прийти. Если б случайно не спросил, никогда бы не узнал. Я был ошарашен. Может быть, и на всю прошлую жизнь она смотрит по-своему? Я жил ее чувствами, избавлялся около нее от своих тревог, радовался, когда она радовалась, но если я ошибался, если она чувствовала не то, что я, то чьими же чувствами я жил?

Впрочем, возможно, Лепель Дуля назвала случайно. Ей трудно было вызывать воспоминания усилием воли. Вспоминала только то, что выплывало в памяти само. А мне жизнь без воспоминаний казалась мертвой. Да и сейчас кажется.

Если не о прошлом, о чем еще я мог с ней говорить? Она даже о Гае перестала спрашивать. Я боялся напомнить, что за «Мальбенгом» существует другая жизнь, что у нее есть дом, дети и внуки – следил за собой, чтобы не проговориться. Продолжал отыскивать темы в прошлом – до чего же скудной на события оказалась жизнь! – и однажды, когда заговорил о школе, она отказалась вспоминать:

– Мне тяжело это, не надо.

Я понял: не морально тяжело, как бывает в книгах, а физически, как тяжело студенту на экзамене вспомнить формулу. Переключился с прошлого на то, что видели глаза: прошла нянечка, прошествовала полная дама в курточке, прошагал, внимательно поглядев на нас, спортивный мужчина. Про них мы и говорили, пока на дорожке от проходной не показывался Валя – значит, наступало время обеда или ужина, у нас появлялось хоть какое-то занятие.

Валя Дулю не интересовал. Она не любила ноющих мужчин. Зато сдружилась с новой соседкой по палате Раей. Восхищалась тем, что, когда Раю забирали с инсультом из дома в больницу, та, лежа на носилках, заставила санитаров амбуланса вытащить из рта и спрятать в шкатулку челюсть – иначе в больнице потеряли бы. Теперь Рая шепелявила, потому что челюсть лежала дома и некому было ее привезти – старуха жила одна на съемной квартире. Она и меня восхищала: торопилась встать на ноги и ни минуты не тратила зря – разрабатывала руки и ноги, складывала в уме цифры и вспоминала номера телефонов – тренировала память и ум.

Она вызвала сына Геру из Канады. Он явился прямо из аэропорта. Видно было, что человек устал. На работе его отпустили на две недели, предупредив, что уволят, если опоздает хоть на сутки. Он продумал план действий и сразу начал звонить друзьям. Мы с Дулей невольно слушали и много узнали. По плану Геры Рая должна была переехать к нему в Монреаль. Его зарплата вся уходила на жилье, а квартирка была такой крохотной, что нигде было поставить лишнюю кровать. Видимо, собеседники Геры после его рассказа озадачивались и спрашивали, что же он собирается делать. Он всем отвечал одинаково:

– Все вопросы сразу решить нельзя. Будем решать по одному.

Собеседники этим не удовлетворялись, и он небрежно набрасывал эскизные варианты выхода:

– Снимем квартиру побольше. Надя курсы закончит, начнет работать. Гражданства маме не дадут, купим ей страховку. Понятия не имею, сколько это денег, зачем мне знать, сколько скажут, столько будем платить. Всех моих денег не хватит? Это точно? Но ты ведь не знаешь. Когда узнаем, тогда будем думать. Все вопросы сразу решить нельзя.

В палате появился алюминиевый ходунок. По все тому же плану мать должна была научиться самостоятельно ходить ко дню отлета. Первым делом Гера начал учить ее садиться в кровати, свесив ноги. Рая слушалась беспрекословно и сделалась похожа на старательную девочку. Дуля продолжала восхищаться, но попробовать самой ей не приходило в голову.

По утрам Гера куда-то ездил, осуществлял планы, и никак у него не сходились концы с концами. Он продолжал повторять, что все вопросы сразу решить нельзя, но с каждым днем становился все более нервным. Все его расчеты основывались на том, что Рая встанет на ноги. Она старалась, но излечение шло медленно.

Гера успокаивал мать:

— Не надо торопиться. У нас двенадцать дней. Главное — не навредить.

Теперь Рая по утрам просила выкатывать ее в инвалидном кресле на свежий воздух. Мы устраивались на скамейке у входа в корпус. Подсаживался Валя. Рая напоминала ему мать в былые времена, когда та еще соображала. Он не преминул рассказать, что старушек тут бьют. Рая и Гера, слушая его, отводили глаза, а Дуля сказала:

— Валя, пожалуйста, Рая очень переживает.

Забывшая элементарные движения и потерявшая память, она каким-то образом поняла то, чего не способен был понять разумный Валя, московский инженер, человек, вроде бы умеющий думать о других. Более того, Дуля сумела сделать замечание так, что Валя не обиделся. С душевными движениями было то же, что с физическими: какие вспомнились, те вспомнились хорошо. В то же время незнакомую женщину, возившую в инвалидной коляске парализованного мужа, убежденно принимала за известную московскую актрису:

— Это же... как ее... ну, ты знаешь.

— Нет, не помню что-то.

— Ну ты знаешь. Известная актриса. А тот, в коляске, — писатель.

Посмотрел на седую голову инвалида, я предположил по сходству:

— Астафьев?

— В самом деле, похож на Астафьева, — согласилась Дуля. — Но это не он. Как же его... Потом вспомню.

В мозгу что-то замкнуло и корректировке не подлежало. Я уже знал, что теперь это останется: светленькая женщина — актрисой, а паралитик — писателем. Однако Дуля ничего не забывала и не путала во всем, что касалось Раи и Геры. Понимала лучше Геры, что забрать мать в Канаду он не сможет. Запомнила то, чего не в состоянии был запомнить я, — у Геры в Канаде мальчик десяти лет и дочка восьми, жену зовут Надя.

Меня озарило: она понимала то, что было ей интересно. Светленькая жена паралитика ей чем-то не приглянулась — не тратила на нее умственные усилия. Разум — это интерес, понял я, концентрация внимания, интенция. Дуля сочувствовала Рае и Гере, и потому с ними становилась проникательна. Понимала, что они в глубине души допускали, что у них ничего не получится и Рая из дома престарелых уже не выберется никогда. Понимала, что сами они не попросят Валью замолчать, взяла это на себя. Эти не такие уж простые вещи нужно было и вообразить и осознать, и Дуля эту работу совершала, а Валя вот, к примеру, — нет, его воображение в этом направлении не работало, внимание не концентрировалось.

– Чего ей волноваться? – ответил он. – У мамы Альцгеймер, а у Раи инсульт. Это разные болезни. Инсульт – это ерунда. Тут всех на ноги ставят. Все будет хорошо.

Считал себя чутким утешителем. Дуля так не считала. Но промолчала, и пришлось сказать за нее:

– Тебе легче, что ты всем рассказываешь? (Валя первым стал мне тыкать).

– Могу не говорить.

– Правда можешь? Или только обещаешь?

Помолчав, Валя сказал:

– Она меня сегодня ударила.

– Как?!

– Не хотела есть и как даст рукой по ложке. Все на передник. Немножко простыню залила. И смеется. Смотрит мне в глаза и хохочет. А говорят, не соображают.

Геря посмотрел озадаченно. В хохоте безумной старухи он сообразительности не увидел. А мы с Дулей видели: старуха шкодничала и злобствовала, но чувства ее были нормальны и поведение адекватно.

Я уже не боялся немного опоздать утром – Дуля была под прищмотром Раи. Та могла успокоить ее, не поднимаясь с кровати. Когда я вошел в палату перед самым завтраком, Дуля была искупана, лежала на спине и... читала газету.

– Ты читаешь?!

Она и не заметила моего изумления:

– Рая дала.

Я выскочил на крыльцо. Руки дрожали. Покурил и помчался назад. Дуля держала газету на весу, в дрожащих руках, буквы должны были прыгать перед ее глазами – я сам, наверно, прочесть бы не смог. Это колоссальная умственная работа: ловить глазами прыгающие буквы, терять строчку и снова находить, и так прочесть всю страницу. Дуля же не устала, и вообще она выглядела свежей и здоровой.

Она получала лепонекс, его давали по схеме, написанной Гинзбург в «Гилель Яффе»: добавляли по полтаблетки каждые три дня. Мы еще не вышли на дозу, а результат был поразительный.

Пока разговаривал с Раей, Дуля отложила газету и ждала. Научилась ждать! Ей было хорошо – светлая палата, симпатичная Рая, я рядом. Спросила:

– Где ты был?

Ее впервые заинтересовал этот вопрос. Она стерла в памяти самую мысль о доме, давно не спрашивала о внуках и, естественно, не понимала, куда я исчезаю ночью. Признать существование дома значило для нее понимание всего, что с ней случилось. Забвение было защитой. До сих пор я боялся ломать защиту, но теперь, увидев улучшение, решил:

– Я спал. Меня же ночью нет, правда? Ты же не волнуешься, когда ночью меня не видишь? Я каждую ночь уезжаю спать.

– А зачем? – настойчиво допытывалась она. – Тут есть кровать.

Круглое ее лицо было серьезно, как у пятилетней девочки. Я сказал:

– Домой уезжаю. Я сплю дома.

– Дома? – недоуменно переспросила Дуля. Хотела что-то уточнить, но раздумала. У нее была своя хитрость, подсказывающая ей, что не все надо знать, а незнание надо скрывать, чтобы не выглядеть слабоумной.

– У нас с тобой есть дом, – сказал я, – а здесь не дом, а больница, а потом мы поедem домой, но сейчас об этом не надо думать.

– Я не думаю, – простодушно заверила она.

Я просмотрел газету. Там был рассказ о любви. Героиня беззаветно любила некоего Андрея, сделала его преуспевающим, но его увела другая женщина, он ушел к той, а потом случилась дорожная авария, он стал инвалидом, другая женщина от него ушла, а героиня ухаживала за ним, хоть настоящей духовной близости уже не было... Что-то в таком духе.

– Ты и рассказ прочла?

– Так, не все.

– Неинтересный? – небрежно спросил я, как если бы вел с ней обычный наш разговор о литературе.

Дуля стала пересказывать. Она в самом деле прочла. И она всегда пересказывала плохо. Даже на удивление плохо. Как, впрочем, говорят, и я сам. Нам с Дулей это было неважно, мы друг друга понимали. Важно было отношение. И я его уловил – насмешливое к автору. Дуля опять ставила меня в тупик. Я считал до сих пор, что тонко оценить прозу – более сложная интеллектуальная работа, чем связанный пересказ сюжета. Неприятно поразило, что она пересказывает, как школьница на экзамене, – не впечатление и не отношение, а вы зубренный урок. С одной стороны, у нее хватало ума понять, что я устраиваю экзамен, с другой – уже не считала это для себя оскорбительным. Я вообразил, как с ней будут разговаривать психиатры или родная дочь, и настроение испортилось. Они ее сделают слабоумной в несколько дней. Она подыграет им из вежливости.

Надо было бежать. Я не мог забрать Дулю, не зная, как ее лечить дома. Попросил Эллу направить нас к психиатру, который заменит лепонекс на что-нибудь, что можно принимать в домашних условиях. Элла пожалала плечами. Нас записали в очередь, через несколько дней свозили в какое-то психиатрическое заведение, и психиатр, поговорив с Дулей, сказал:

– У меня есть для вас хорошее лекарство.

Он прописал респердал. Надо было потратить еще несколько дней, чтобы постепенно снять лепонекс и выйти на дозу респердала. Две недели, оплачиваемые Минздравом, мы прожили, но никто нас не выгонял. Однажды подошла социальная работница Ривка, я заверил ее, что оплачу все, что требуется. Но психиатр ошибся – респердал вызвал дрожь. Дулю начинало прямо-таки подбрасывать в кровати, ей трудно было говорить прыгающими губами. Я сидел рядом, ничем не мог помочь, только держал руку, которая билась, как рыба. Проходило минут двадцать, щеки и нос делались свекольного цвета, и отпускало. Мы уже знали время, когда приступ приближался, и Дуля успокаивала:

– Это сейчас пройдет.

Я бросился к Элле, взмолился:

– Элла, спасайте!

Она подавила злорадство – мол, предупреждала, что психиатр не поможет, – и пообещала подумать.

Мы стали старожилками, своими людьми в «Мальбене». Беготня начиналась с семи утра, когда приходила первая смена. В коридорчиках громыхали тележки и перекликались санитарки и медсестры. Сновали по палатам, меняли памперсы, поднимали, переодевали,

сажали в каталки, перестилали кровати, везли в душевые, купали, вытирали, раскрывали окна, мыли полы, катали капельницы и кардиографы, мерили температуру и давление, спешили, как реанимационные бригады в аварии. В восемь в столовой появлялись Элла и Таня, везли столик с лекарствами, окликали подчиненных, за окнами грохотали по брусчатке мусорщики с баками, минитрактор подвозил термосы с завтраком, автотележки – груды мешков из прачечной; кого-то привозили и увозили амбулансы... И несмотря на весь этот шум, двухэтажный корпус подавлял своей тишиной. Тишина исходила из немощных людей, переставших сопротивляться. Придя как-то раньше обычного – подвозила Марина, а в тот день ей нужно было пораньше на работу, – я увидел в тупичке перед душевой несколько каталок с голыми стариками и старухами, ожидающими очереди на мытье. Решил не переживать по пустякам, но, наверно, это не был пустяк, потому что Таня, пробегая, матернулась, метнулась к шкафчику, выхватила простыни, побросала на голых и сунулась в душевую вопить на санитарок – там что-то случилось, забилась канализация, все, оставив больных, столпились там, потому и собралась очередь голых. Я оценил эмоции старшей медсестры. Сам я перестал понимать, из-за чего надо переживать, а из-за чего не надо.

Дулю любили, как любят дурочек. Шоколадки и леденцы, которые я приносил ей, раздавала санитаркам и сестрам. Были у нее любимицы, она держала подарки для них в тумбочке, и, когда любимицы появлялись – везли купать или перестилали постель, – засовывала эти копеечные детские сладости им в карманы. В одесситку Нелли влюбилась, как всегда влюблялась в громогласных добрых женщин, и считала ее старшей медсестрой. А настоящую старшую медсестру Таню втайне недолюбливала.

Валя теперь задерживался, чтобы провести время в нашей компании. Гера рассказывал про Канаду. Он считал, что все русские в Израиле ему завидуют, и держал марку. Присоединялись «актриса» с парализованным «писателем». Тот всегда смотрел куда-то вдаль поверх голов. Прямые волосы падали на лоб в творческом беспорядке, затылок был подстрижен по-арестантски коротко, а красная шея заросла рыже-седыми волосами.

– Сами стригли? – сразу определил Валя.

– Шею нечем побрить, – оправдалась «актриса». – Я ножницами стригу.

– Тут есть парикмахер, – встрял я.

«Актриса» кивнула, и я с опозданием сообразил, что она экономит на парикмахере. Звали ее Зиной. Она себе внушила, что ее муж все слышит и понимает. Две недели назад он мчался в своем «Рено» по шоссе номер четыре, и прямо перед ним на дорогу выскочила наркоманка. Увидев ее перед радиатором, он нажал на тормоза, а скорость была сто десять километров. Получил черепную травму. Три часа длилась операция в хирургии «Ланиадо», и кто-то сказал Зине, что мозг мужа после операции перезагружается. Она поверила.

– То есть как?

– Не знаю.

– Как компьютер?

Зина кивнула. Разговаривая с нами, она бросала взгляды на мужа, видимо, ожидая конца «перезагрузки». Не похоже было, что он реагировал.

Валя спросил:

– Квартиру снимаете или купили?

– Снимаем.

– Не работаете.

– В общем... Нет, не работаю. Владлен работал.

– Вряд ли уже будет. Компенсацию получите.

– Нет, он ведь работал по-черному. Компенсация не положена. И страховка была неполная. Только на случай, если мы кого-нибудь стукнем. У нас такая старая машина была, что мы решили, если нас стукнут, просто выйдем из нее и пойдем, не жалко.

– На такой скорости нельзя тормозить, – авторитетно сказал Валя. – Видишь человека – езжай на него, но не тормози.

– Да, – сказала Зина.

– Как же вы собираетесь жить?

Зина промолчала.

– Сколько за квартиру платите?

– Четыреста пятьдесят.

– Долларов. Две тысячи шекелей. Как же можно прожить?

– Не знаю, – быстро ответила Зина, давая понять, что ему не нужно напрягаться. Похоже было, что не хочет продолжать разговор при муже – боится, что он слышит, понимает и расстраивается.

Проходя по коридору, мы с Дулей всегда видели их через дверь палаты. Владлен всегда лежал на спине, и подбородок всегда был задран. Зина сидела рядом. Иногда наклонялась к мужу и проверяла:

– Владлен...

Он смотрел прямо на нее.

– Если ты меня понимаешь, моргни.

Он не реагировал.

– Ты меня слышишь? Закрой глаза, а потом открой. Вот так, – показывала она.

Эксперименты ничего не давали, но она, видимо, раз и навсегда решила исходить из того, что он ее понимает. Однажды мы разговаривали в коридорчике, и Зина внезапно метнулась к мужу:

– Ты слышишь меня? Это я! Я здесь! Влад, покажи, что ты слышишь!

Никаких признаков ответа не было. Возбужденная, вышла в коридор.

– Вы слышали, что Влад меня позвал?

– Честно говоря... – я почувствовал себя виноватым.

Пришло время уезжать Гере. Оставался один день. Рая уже сама пользовалась ложкой, ножом и вилкой в столовой, могла сползти с кровати ногами на пол, они с Герой очень продвинулись в этом, однако больше ничего не удалось. Рая не ходила и жить одна никак не могла. Разговоры о том, что Гера заберет ее в Канаду, давно прекратились. Оба поняли, что это невозможно. Гера часто бегал в конторку социальных работников, наверно, на всякий случай оформлял мать на постоянное пребывание в доме престарелых. Рая поскунчила, лежала часами в кровати и думала. В последний день Гера по мобильнику позвонил хозяину в Канаде и попросил продлить отпуск. Его английский был ужасен – для простой физической работы, наверно, годился, но не более того. Вернув аппаратик, Гера сказал:

– Дали два дня. Надо менять билет.

– Так чего ты расстроился?

– Сказали, если задержусь хоть на день, уволят.

В этот вечер приехала Марина. Заехала на минутку по пути – должна была забрать Гая с какого-то дня рождения. Гера и Рая тихонько переговаривались о своих делах. Марина тут же уловила суть и стала расспрашивать подробности. В тоне были прокурорские нотки, и Гера не заметил сам, как стал оправдываться.

– Вы бы лучше купили Рае мобильник, – сказала Марина. – Если она останется здесь, а похоже, она здесь останется, куда вы будете ей звонить? И как она вам позвонит, если захочет? Как вы с ней будете связываться? Вы потеряете с ней связь.

Гера закивал. В расстройстве забыл, что обо всем уже договорился с Раиной приятельницей, которой будет звонить из Канады.

– Вы должны завтра же поехать в «Оранж», купить аппарат и открыть для мамы линию.

Голос Марины был упрекающий. Упрек адресовался мне: ее раздражало, что я целыми днями торчу у Дули вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь полезным. И вот не мог подсказать недотепе самые элементарные вещи, опять ей приходится всем заниматься. Свое недовольство мной она выместила на Гере – ей неприятна была вся наша никчемная компания. Четко и логично стала оценивать все, сделанное Герой за это время, пункт за пунктом. Получалось, что Гера делал одни глупости и не делал того, что необходимо. Рая помалкивала. Она и Гера упали духом. Могли бы сказать, что все это время надеялись, что Рая станет самостоятельной. Не просто надеялись, а упорно добивались этого. Им не хватило времени, а теперь Марина убедила их, что они его упустили.

После ее приездов Дуля становилась беспокойной. И на этот раз возбудилась и никак не могла заснуть. Старалась скорее меня отпустить (знала, что ухожу, когда засыпает) и не могла. Чтобы успокоить, притворился, что сплю, сидя на стуле. Она тут же уснула, и я успел на последний автобус.

Гай выскочил ко мне, спросил, когда Дуля вернется, я ответил, как считал, с запасом: недели через две. Поднялся к себе и услышал, что по лестнице несется Марина. Она влетела в боевом настроении:

– Зачем ты сказал Гаю, что мама вернется через две недели?

– А когда?

– Ты серьезно это говоришь?

Села на диван.

– Не понимаю, – я в самом деле не понимал, – а когда?

Марина постаралась говорить спокойно:

– И как ты представляешь ее жизнь здесь? Купание, туалет, всю ее жизнь?

Мне все еще не верилось. Делая вид, что продолжаю не понимать, стал рассказывать ненужные подробности – возьму напрокат кресло-каталку, буду возить к морю... Говорил, а сам уже понял, что она давно хочет открыть мне глаза, но до сих пор не решалась, надеялась, наверно, что соображу сам.

– И ты считаешь, ей будет лучше, чем в «Мальбене»? Она не может себя обслужить даже в туалете! У нее пролежни начнутся!

Теперь она высказалась яснее некуда. Я не оставил себе душевных сил на такой разговор. Пробурчал, пряча глаза:

– Не беспокойся о маме...

Марина начала кричать. Она была в отчаянии оттого, что я не способен видеть реальность и меня не исправить. От этой застарелой боли довела себя до истерики и выпалила то, что, скорее всего, и не собиралась:

– Если ты привезешь маму домой, я забираю детей и ухожу жить на частную квартиру!

Убежала. Мчалась по лестнице вниз, как только что мчалась вверх. Думаю, она не успела понять, как и почему все так случилось, почему прокричала то, что прокричала. Неужели она в самом деле деловая, удивился я.

Пусть сгоряча, но она сказала. И этого я уже не мог отменить. Кажется, пробормотал вслух:

– Ай-яй-яй.

Мы с Дулей пытались вспомнить прошлое? Но наше прошлое – это Марина и Сева, который сейчас в Штатах, особенно Марина – всегда с гриппами, воспалениями легких, аллергией, больными зубами, плохим характером... Я не хотел, чтобы она выросла такой, как я. Не желал ей ни диссидентства, ни стоицизма, ни творческих претензий. Но чему я мог ее научить? До сих пор не знаю, что это такое – деловой человек. И в том, что она сморозила, была моя вина: довел до белого каления. Она была хорошей дочерью, а я своей тупостью вытолкнул ее в хаос, и никто теперь не мог сказать, куда ее занесет и как все обернется. Может, порыдает и принесет себя в жертву, может, убедит себя, что должна действовать для моего блага вопреки мне. Ай-яй-яй.

Выпил бренди, принял бондармин и все равно проснулся среди ночи. Поднялся и понял, что на новый разговор с Мариной сил еще меньше, чем вчера. В споре она сразу переходит на крик, а я от крика, как уже рассказывал, заражаюсь яростью и тупею. В пять утра незаметно выбрался из квартиры и пошел на первый автобус. Начался утренний холодный дождь. Подвернулась ранняя маршрутка, доехал до центральной автостанции.

Платформа восьмого маршрута на «Мальбен», открытая южному ветру, была мокрая. Там уже стояла, нахохлившись, в светлой курточке с капюшоном, Зина. Обрадовалась, когда я предложил сигарету. Денег на собственные давно не было. Подошел автобус. Не успев докурить и с сожалением выбросив еще длинные окурки, мы влезли в салон и уселись впереди.

Зина делилась новостями:

– Сказали, что переведут к лежачим. На постоянное проживание. Это уже все, дальше только морг. Заберу домой. У нас ванная большая, можно въехать с креслом. Есть такие с дыркой и горшком, в них можно мыть.

– А сажать в кресло? А снимать? А кровать? У вас есть такая кровать, как в «Мальбене»?

– Кровать мне не нужна. Мне лучше, чем вам, – он не встанет и не упадет. Положила, и беги по магазинам, в аптеку, куда хочешь. Нам с ним будут платить два пособия на двоих и по семьсот семьдесят шекелей каждому на съем квартиры. Протянем.

Сделав такой расчет на двух одиночек, простодушно призналась, что официальной женой не является. Семейной паре платили меньше.

– Вы уверены, что дома ему будет лучше, чем в «Мальбене»? – спросил я.

– А иначе не получается. Если он останется здесь, его пособие тоже пойдет сюда, а я на свое не смогу снимать квартиру. Куда мне деваться?

Вот как просто все объяснялось. Это была не любовь, а что-то по-серьезнее – судьба. Выйдя из автобуса, мы снова закурили. Она шла рядом молча, сосредоточившись на том, что курит и получает удовольствие, хотя, пожалуй, удовольствия не было. Мысли ее крутились вокруг одного и того же:

– Вам тоже лучше забрать. Дадут бесплатную сиделку на десять часов в неделю за счет города. За десять часов можно все успеть: и в банк, и в аптеку, и по магазинам. Пособие на двоих пойдет. Наймете помощницу, чтобы вдвоем купать. Это недорого – триста шекелей из двух с половиной тысяч, которые на жизнь будут оставаться.

Мне захотелось рассказать о ссоре с Мариной. Может быть, зря удержался. Я привык, что, рассказывая что-нибудь Дуле, начинаю смотреть на все ее глазами, а в ее глазах все почему-то проще, чем в моих. Может быть, и с Зиной увидел бы все проще.

У меня ничего не получается просто. Сначала я мысленно спорил с Мариной: мы с Дулей ей ничем не мешали. Как бы там ни было, у нас своя входная дверь, своя лестница и своя квартира. Ее отчаяние возникло не оттого, что мы мешали каким-то ее практическим планам, а оттого, что ничто в жизни не шло по плану и все продолжали делать те глупости, которые портили ей жизнь. И с этим я не мог не согласиться. Ярость прошла, я пытался ее понять. Она работала с израильтянами, общалась на английском и иврите, дружила с людьми, выросшими на Западе. Здесь не только дети не хотят жить со стариками, но и старики не хотят с детьми. Всю жизнь откладывают средства, чтобы стариться в комфорте дома престарелых. Жизнь в нем дороже, чем в собственном. Лишь русские старики цепляются за детей и внуков. В глазах западных людей они ведут себя неестественно и глупо. Марина, наверно, не сразу постигла это, так же, как и многое другое. Нужна была смелость, чтобы отбросить детские представления. Она осмелилась. Она молодец. Ее крик и ярость были нервным срывом. Можно было считать их минутной вспышкой. Можно было считать, что она ничего не сказала. Но она сказала.

После обеда распогодилось, как бывает в марте. Стих ветер. Солнце припекало и стало так тепло, что люди снимали куртки и джемпера и гуляли по аллеям в рубашках, толкая перед собой коляски с закутанными стариками. Мы с Дулей присоединились к своим. Коляски Раи и Владлена стояли так, чтобы образовать вместе со скамейкой маленький круг. Гера учил Раю пользоваться мобильником. Дуля сразу устала. Усадил ее и вытащил сигареты. Поймал взгляд Зины, спохватился, предложил ей. Она не курила вторую неделю. Валя мучился второй месяц. Зина пока еще экономила, а у Вали уже просто не было, он ходил пешком, чтоб не тратиться на автобус, в мальбеновских туалетах подворовывал бумажные салфетки. От сигареты отказался. Небритые впалые щеки и безгубый рот выражали скуку. Наверно, он все-таки поддавал.

Зина затянулась, зажмурилась, смакуя дым, открыла глаза и спросила:

– Валя, что вы делаете, когда мама спит?

– Полно дел. По магазинам бегаю. На рынок. Стираю. Приготовить тоже что-то надо. В смысле, себе.

– А что вы готовите? – заинтересовалась она.

– Иногда и щи варю.

– Да ну.

– Ну.

– Молодец, – искренне сказала Зина. – А вечером что делаете?

Любой одинокий мужчина мог принять такой вопрос за намек. Но не Валя.

– Телевизор смотрю, – сказал он. – Что вечером еще делать? Я все думаю, может, и мне забрать?

– Вам сиделку дадут на десять часов. Пособие на двоих пойдет. Наймете на всякие там купания помощницу.

Валя озадачился. Все ему было сложно – думать, искать, что-то предпринимать. Прожил жизнь за маминой спиной и теперь только и мог, что таскаться туда и обратно трижды в день, ни за что не отвечая, вроде при деле. Так ему было проще.

Я увидел всю компанию глазами Марины – сбившиеся в кучку, как куры, никчемные люди. Вместо того, чтобы зарабатывать на профессиональных сиделок, на комфорт для своих больных и полноценную жизнь для себя, торчим тут, несчастные и никому, в сущности, не нужные. Некоторым из тех, ради кого мы мучаемся (я не про нас с Дулей!), все уже безразлично. Тогда зачем мучиться? А ведь Марина права, чепуха какая-то получается.

В середине семидесятых я по заводским делам был в командировке в одном московском НИИ. В длинном зале, уставленном сотней кульманов, случайно увидел за одним из них бывшего своего соседа по общежитию, Петра. Он дослужился до маленькой должности старшего инженера, раздобыл, облысел, купил «Москвич» и жил возле метро «Краснопресненская» в квартире тещи. Пригласив к себе, мялся и мкал, пока не признался, что денег на бутылку у него нет, теща держит в черном теле. Теща курила за столом, рассказывала анекдоты и с удовольствием пила принесенный мной молдавский коньяк. Жена, придя с работы, едва кивнула (к матери, редактору издательства, часто приходили авторы, она приняла меня за одного из них) и увела мать на кухню, где они что-то обсуждали, нормальные московские тетки, нормальная семья. Петро, захмелев, благодушествовал. И вот он меня удивил. Вспоминая студенческие годы, он, оказываясь, одним ухом слушал разговор на кухне. Там обсуждалась предстоящая покупка ковра на стену, и Петро, прервав сентиментальные воспоминания, крикнул через дверь, что в конце месяца получит квартальную премию в двести двадцать рублей. Тем самым вопрос, покупать ли ковер, решался в положительном смысле. Тут уж и я стал прислушиваться, и когда речь на кухне зашла о том, что за дефицит надо дать кому-то в лапу рублей пятьдесят, Петро крикнул: «Хватит ему четвертак!» и взялся сам уладить вопрос. Пошел провожать к метро и по дороге пожаловался, что налево давно не ходит, отпуск торчит у тещи на даче, только осенью, когда ездили отделом за грибами, «удалось перепихнуться» с одной свежей и бойкой чертежницей, дождь был, оба в плащах, он пристроился сзади...

– А дома хоть трава не расти, – грустно сказал Петро.

Это все – ковер, дефициты, особенно чертежница в полиэтиленовом плаще – мало походило на рационализм молодого Петра. Молодым, кстати сказать, и он, так разумно и исчерпывающе удовлетворяющий свои «физиологические потребности», обожал индийские кинофильмы о любовных страданиях и экономил на студенческих обедах, чтобы купить себе билет в кинотеатр «Родина» неподалеку от Автомеханического института. Он боготворил актрису Аллу Ларионову и, чтобы посмотреть новый фильм с ее участием, мог пропустить танцы в клубе и остаться на ночь без живой девушки наедине со своим растревоженным воображением или что у него там было. Кто знает, что искал он, пристроившись к чертежнице сзади. В плаще-то, под дождем? Это была не «физиологическая потребность», нет. При том, что дома ждала жена?

Петро ничем не отличался от работяг с Тракторного. Здоровые мужики приносили женам свои жалованья и получки, оставляя себе жалкие заначки, и, если не считали пьянства, которое сами считали грехом, во всем остальном плясали под дудки любимых и нелюбимых жен, полагались на глупых баб во всех вопросах семейного бюджета, встречали праздники с теми, кого выбирали жены, ходили туда, куда считали нужным ходить жены, заимствовали у жен представления о зле и добре, полагались на их вкусы в одежде и мебели, так что в конечном счете жены, те, которых носили на руках, и те, кому два раза в месяц, в аванс и в получку, «навешивали фонари» под глазами, несчастные эти женщины становились ни больше ни меньше как совестью своих мужей. Битые становились большой совестью, ухоженные – торжествующей (если предположить, что бывает такая), и трудно вообразить племя матриархата, где в руках жен сохранялось бы больше семейной власти. Бобыли в этом племени пропадали все, как один. Хранительницами смысла были только женщины.

Я тоже с Тракторного. Я построил дом. Сначала мы купили развалюху, сделали из нее две пригодные для жизни квартиры, потом построили второй этаж. Я многое сделал сам, попутно настолько освоил строительные специальности, что смог немного подрабатывать ремонтом чужих квартир. И мне ничего не нужно, если Дуля не радуется этому. Не нужен сад, который Дуля обводит равнодушным взглядом. Не смогу жить в доме, в котором ее не будет. Без нее смысла нет ни в чем. Я не имею права сказать, что это любовь, – это карта из другой колоды, с другой рубашкой. Тут запрятан некий смысл. Мы все обречены на него, и рационалисты и мистики, и Петро и я, и победители и жертвы. Можно не искать этот смысл. Найду я его или нет, это ничего в моей жизни не изменит. Но если искать, надо начинать очень издавна: как пишут в детективах, осмотр ближайших окрестностей ничего не дал.

Я читаю Локтева. Он не обещает ответа на вопросы, «поставленные некорректно». Наоборот, он запутывает. Вот что он пишет в «Боггах Ханаана»:

«Два дня море штормило и нудил мерзкий дождь с сильным ветром. Немцы тринкали шнапс и горланили песни. Курт попытался закончить деловое письмо, но бросил, хватанул из фляги и загорланил громче всех, пытаясь облапать меня за плечо. Интересное сочетание: деловой фашист. Я-то привык думать, что либо дело, либо истерия. Но я

не немец. Впрочем, наверно, я не прав. Что такое «деловой»? Который дело делает? Когда-то делом было убийство мамонтов, «деловые качества» были совсем другими. Оседлое земледелие выдвинуло другой тип – терпеливый, смиренный. Когда же так случилось, что деловитость и истерия пошли вместе рука об руку? В какое время мы живем?

Не выношу застольные сантименты. Натянул плащ и отправился дышать свежим воздухом. Была ночь. Дождь, к счастью, кончился. Проверив крепез брезента и водостоки, пошел к морю. Шел в темноте, почти вслепую. Дошел до обрыва. Он крутой, метров тридцать, не меньше. Хорошо, что не загребел со скал. Остановился на краю. Море лишь угадывалось где-то далеко внизу. Разглядел каменные ступеньки. Они круто вели к пляжам. Меня черт понес. Хватался руками за траву. Она зимой вырастает длинная и крепкая, как лианы.

Спустился. Песок еще не впитал лужи. Воняло. От моря до скал можно было дотянуться рукой. Огляделся, чтобы заприметить место. В воде торчала коряга. Пошел на север, и просвет затянулся, темнота сделалась непроницаемой. Через несколько минут стало не по себе, повернул назад. Искал корягу. Видимо, прошел мимо, не заметив. Опять повернул назад. Опять не нашел. После нескольких метаний перестал понимать, в какую сторону двигаться. Шнапс выветрился, началась паника. Рокот волн сделался враждебным. Будто что-то огромное выходило из моря, загребая воду гигантскими ногами и шлепая по ней то ли лапами, то ли щупальцами, то ли крыльями. Останавливалось, встряхивалось. Лунный луч ненадолго осветил белые барашки и шагах в двадцати фигуру человека. Решил, что это рыбак в мокром плаще, и окликнул. Тот не ответил. Пошел к нему, и чем ближе подходил, тем больше убеждался, что это истукан из черного камня, похожий на монаха в плаще с капюшоном. В десяти шагах снова стал думать, что это человек, – тот раскачивался, как религиозные евреи при молитве. И тут в трех шагах увидел ступеньки вверх. Было страшно повернуться к «монаху» спиной. Уже стоя на нижнем камне, обернулся и увидел, что фигура продолжает шевелиться. Я испытал не человеческий, а волчий ужас. Только наверху пришла в голову мысль, что страшная фигура могла быть куском брезента, оседлавшим корягу. Однако шага не убавил. До самого дома продолжал ощущать за спиной дыхание чужого, враждебного истукана.

Наверно, то же чувство испытывает волк, пересекающий линию флажков. Лишь оказавшись возле дома, я почувствовал себя зверем на своей территории. Это натолкнуло на мысль, что первые истуканы, вокруг которых плясали обезьяноподобные предки человека, были не богами – не было богов, – а ориентирами, естественными метками территории. Границы метили внятно. Глаз у них был развит лучше носа. Камень или дерево были, как запах мочи и шерсти у собак и волков. Своя и чужая. Своя – определенность, чужая – неопределенность. Моя эмоция была атавистической. Если я прав, Карл Юнг тоже заблудился однажды и испытал ужас, но символику своих архетипов он должен был искать в животном мире, а объяснять – внятностью, определенностью и неопределенностью, законами информации. Тогда оказалось бы, что эти символы не по наследству передаются, а создаются в каждом развивающемся мозгу заново, неизбежно повторяя одни и те же отношения.

Пока я гулял, Курт дал пощечину Томасу. Назревала дуэль. Был один пистолет – у Курта. Пьяные собирались стрелять по жребию.

Насчет дуэли не сговорились, но и не помирились. Трезвость – не лучшее состояние для миролюбия.

Общество коллег не слишком привлекает меня. И эта петушиная драчливость убила последнее желание общаться. Фридрих Ницше устыдился бы, увидев себя в своих адептах: претензия убогих сделаться сильными.

Замерцали в косых лучах крылья первых чаек, угрюмый Томас уселся писать акварельку. Какой мир ты золотишь своими лучами, Мать? Стоит ли он твоих стараний? Тебе все равно. Каждое утро ты восходишь на небо, юная и свежая, а каждый вечер сходишь под землю, туда, где кончается твоя власть и начинается власть Киды.

Утром я пережил упоительное приключение. Мне не пришлось даже стронуться с места. Я стоял по пороге дома, радуясь началу пригожего дня, а в это время старый Эсаф вез мимо свежий крепез для раскопа. Оставив лошадь, он пошел в дом получить указания от Томаса. Рядом под навесом лежала солома для упаковки керамики. Учув запах, кобыла сделала три-четыре шага к ней и оставила после себя теплую кучу. В свою очередь я направился к медному умывальнику под навесом и прошел мимо подводы с крепезом и лошадиной кучи.

Я остолбенел, застигнутый врасплох. Когда-то где-то я, невероятно молодой и счастливый, шел к умывальнику и услышал запах теплого навоза и свежераспиленных бревен. Нынешний запах в точности совпал с запахом двадцатидвухлетней давности и явился из прошлого вместе с душевным состоянием, как если бы я провалился из одного пласта времени в другой и снова оказался возле казармы нашего кавалерийского полка. Это не было пресловутое дежа вю, иллюзия, будто все когда-то было, – вовсе нет.

Кусок прошлого возник, как если бы его кто-то вырезал из вещества прошлого, как вырезают заступом кусок дерна. В дерне сверху трава, внизу почва, в почве корни травы, они, молочно-белые, как обрубленные проводки, торчат в срезах. Все можно разглядеть в отдельности и в совокупности, но уже нельзя определить, куда уходили отрезанные заступом щупальца корней. Так же, заново переживая юнкерское предчувствие холодной воды из рукомойника и лошади кашевара с котлом горячей каши, подгоревшей на дне, я совершенно не помнил, откуда вышел, куда направлялся и что должен был сделать. Может быть, в то утро я ждал письма от Оленьки, может быть, мы устроили розыгрыш Мусику и с нетерпением ждали, когда он проснется и среагирует, может быть, накануне получил «Ниву» с фотографией неожиданно прославившегося отца и собирался показать журнал ротмистру Глебову, может быть, ждал, что утром прошмыгнет мимо посудомойка, имя которой забыто навсегда, и я увижу ее в кофте, широкой длинной юбке и поймаю безадресный лукавый взгляд, – память выдала лишь срез мгновения во всем богатстве чувств и ожиданий, без питающих эти чувства и ожидания конкретных причин, я испытал не делимое на отдельные ожидания и чувства, но невероятно точное повторение самого себя.

Выйдя из зоны запаха, я потерял ниточку, связывающую с воспоминанием, и оно тут же иссохло. Я осознавал, что только что вспомнилось какое-то утро шестнадцатого года, но уже не находился в том утре сам. Теперь я пытался вспомнить не утро, а свое воспоминание о нем. Остановился, сделал два шага назад и опять попал в струйку запаха. Эффект повторился, я снова испытал юнкерское счастье. В

этот раз удалось загрести его чуточку больше – к ощущениям и чувствам прилипли какие-то подробности, обоснования, вспомнились забытые имена, например, Вольдемар и Резвый. Да, вроде бы, в самом деле Резвый. Все это было совершенно не судьбоносным, неважным, – случайное, ничем не примечательное утро молодости. Следующий шаг опять вынес из запаха, и я, цепляясь за прошлое, снова отступил назад. Я проделал так несколько раз. Эффект запаха действовал все слабее, а потом и угас, лишившись энергии новизны.

Я собрал весь мед узнавания и пошел к рукомойнику. Вернувшись в дом, где собиралась к завтраку немчура, прошел к себе и записал пережитое: я помнил номер полка, фамилии ротмистра и ротного, расположение дома, где мы квартировали, на сельской улице, спускающейся вниз и в конце переходящей в шлях. Тут же несколькими линиями набросал эскиз: дома, конюшни, коновязь, разбросанные по сжатому полю копны, скирда на краю села, деревья. Я захотел вспомнить, сосредоточился и вспомнил все, что хотел. Память глаза подчиняется воле.

Как все, что подчиняется воле, память глаза – приспособление для работы или защиты. Можно уменьшить действительность до размеров эскиза (или фотографии), для памяти глаза это не имеет значения, она работает с уменьшенным изображением, как с реальностью. Нужный материал и инструмент она хранит в каких-то своих кладовых, как столяр на полках над верстаком. По своему усмотрению можно извлекать из нее почти все, что тебе нужно для работы, и когда нужно. Как в любом хозяйстве, бывают накладки и потери, что-нибудь нужное может завалиться в темный угол, но, в общем, для грубого выживания годится. Можно делать копии реальности, как только что сделал я на листке из планшетки. Можно абстрагироваться от цвета – я рисовал карандашом, и для памяти глаза это то же, что живое воспоминание. Не об эмоциях речь. Мы видим, что память глаза поддается преобразованию имеющейся информации в нужный для работы вид. Картинка, почти схема, которую я нарисовал, связана с реальностью, скорее, как знак, чем как копия. Она нужна человеку для практических задач. Инструмент – он и есть инструмент.

В отличие от зримого, запах императивен. Он не подчиняется воле, наоборот, воля в той или иной степени подчиняется ему. Не мы распоряжаемся им, а он нами. Он не зависит от ракурса, освещения и множества других обстоятельств. Он не поддается преобразованиям, он может лишь забиться другим, более сильным запахом. Он безусловен и первичен, он либо есть, либо его нет. Он не может присниться или вообразиться. Его нельзя вспомнить, если он не повторяется в это время вне тебя. Те, кто говорят, что вспоминают запахи, – лгут себе.

Нужно ли удивляться, что звери руководствуются таким надежным источником информации, как запах. Он для них – все: защита, любовь, страх, отвращение, продолжение жизни. Эволюция вела живую жизнь по линии чувствительности к запаху и вдруг соскочила на такую ненадежную, сложную и энергоемкую орбиту, как зримый мир, при этом чувствительность к запаху пошла на убыль, стала грубой и почти бесполезной. Если бы существовал создатель, мы отсоветовали бы ему пускаться в такое безнадежное предприятие.

Создателю, впрочем, виднее. Именно глаз развил мышление. Возникнув из зримого, оно, естественно, стало образами, то есть тем, чего в природе нет. Над нами довлеют образы. Мотивы наших

поступков сделались случайными и непредсказуемыми, цель создателя – подозрительной: отцы так не поступают.

Литературный язык, полученный нами от предков, отшлифовался настолько, что стал пригоден только для научного, рационального мышления. Наука же, уходя все дальше от схоластики и астрологии, вырождается в инженериию. Инженерное мышление, в свою очередь, накладывает свой отпечаток на язык, и болезнь зашла так далеко, что необходимо менять сами интуиции, на которых язык построен. Мы не можем двинуться дальше, употребляя такие слова, как любовь, добро, зло, совесть, справедливость, душа, разум, эмоция, образ, польза, вред, эгоизм, вменяемость; не можем избавиться от посылки, что все в природе осуществляется по принципу сохранения полезного и устранения вредного, что животными движет инстинкт самосохранения, а человеком – животный эгоизм. Мы готовы признать многомерность пространства, кривизну вселенной, обратимость времени и прочую заумь, но не готовы признать, что эгоизма в природе не существует. Тот, кто желает изменить интуиции языка, вынужден пользоваться существующим, в котором интуиции уже содержатся. Попытки Хлебникова изобрести новый язык ни к чему не привели и не могли привести. Что же делать? А делать надо то, что мы делаем, желая определить положение точки в пространстве. Мы прочерчиваем проходящие через нее прямые. Их пересечение дает точку. Так же и я пытаюсь прочертить как можно больше прямых, чтобы в их пересечении возникла интуиция. Если мне это удастся, вытаскивайте из футляров свои силлогизмы, и ваши логические цепочки приведут вас туда, где вы еще и не ночевали. Мы не инженеры, нам логики мало. Инженеры имеют дело с очень ограниченным числом неизвестных, мы – с бесконечным. Они могут создавать формулы с тремя, четырьмя, пятью неизвестными, мы, с бесконечным числом неизвестных, – не можем. Старая математика неприменима. Аксиомы математики постигаются интуитивно. Без новых интуиций не обойтись».

29

Гера, вернувшись из конторки социальных работников, сказал, что меня там ждут. Я сидел около кровати Дули и поднялся:

– Дуля, мне надо сбежать к социальной работнице. Я быстро. Полежи, хорошо?

– Хорошо, – легко согласилась она. – Только опусти эту штуку.

Она показала на проклятое ограждение кровати. Почему-то не выносила, когда его поднимали, а оставить ее без ограждения я не мог. Слегка приврал:

– Мне не разрешают. И зачем? Ты же без меня не уйдешь?

– А вдруг понадобится?

– Тебе никуда не понадобится.

– Я не могу так лежать. Ну пожалуйста.

– Нельзя.

– Мне нехорошо. Я начинаю сильно дрожать. Ты уйдешь – меня затрясет.

– Я быстро!

– Нет, я не хочу! – запаниковала Дуля. – Сейчас же опусти!

Я сдился, она паниковала, я сдился:

– Хорошо, я никуда не иду.

Но она чувствовала мое раздражение и через полчаса смирилась:

– Ну хорошо. Только не простудись.

Домик социальных работников стоял среди сосен. Ривки на месте не оказалось. Я заметался в холле между стульями и дверью, не зная, ждать или убегать. Сходил с ума оттого, что Дуля на кровати сходит с ума без меня, и снова и снова прожевывал одни и те же мысли: как же заберу ее, если нельзя на полчаса одну оставить? Ограждений дома нет. А если мне понадобится уйти? Мало ли что!

Наконец появилась Ривка. На вид ей было лет двадцать. Пригласила в кабинетик. Поерзала в кресле, устроилась, положила руки на стол, сцепила пальцы, и все это время радостно улыбалась мне. Я старался соответствовать.

– У меня для вас хорошие новости.

Новости заключались в том, что Дулю оформляют на постоянное пребывание в доме престарелых. Оказалось, это не так просто сделать, и Ривка хорошо поработала. Мне осталось подписать бумаги, и их тут же отправят в министерство.

Чего-то в таком духе я и ждал. Ривка была разочарована отсутствием благодарности на моем лице. Она, видимо, думала обо мне лучше. Я сказал, что через несколько дней забираю Дулю домой. О постоянном пребывании не может быть и речи. Мы до сих пор здесь только оттого, что не знаем, как лечиться дома. Однако Элла начала давать новый препарат, антидепрессант тразодил, и если он окажется эффективным, мы тут же уедем.

Ривка кивала головой терпеливо, сочувственно, но слишком часто, как болванчик. Волосы стянуты в хвостик, впереди челка. В ее глазах читалось, что я ничего не понял. Кроме того, я волновался, запинаясь и почти забыв иврит. Зрелище в самом деле было жалким. Однако, она дала мне договорить и только после этого, вздохнув, стала объяснять, делая паузу после каждого слова и проверяя взглядом, понял ли я значение ивритского слова:

– Если мы не оформим постоянное пребывание, вам придется платить очень много денег. За те дни, что уже пробыли здесь. А если оформим, это вас ни к чему не обязывает. Заберете Фариду, когда захотите.

– Я заберу через несколько дней. Надо только определиться с лекарством. Я заплачу за все дни, со мной проблем не будет. Могу прямо сейчас выписать отсроченный чек.

– Элла считает, что Фаридка может находиться дома?

– Да, поэтому она пробует тразодил вместо лепонекса!

– Очень хорошо, но мне она сказала совсем другое. Мне кажется, вы не очень хорошо представляете себе, что вас ожидает. Элла подписала все бумаги на постоянное пребывание. Она считает, что Фаридка не может быть дома.

Она не понимала, почему я нервничаю. Я торопился к Дуле, боялся, что она сорвется в приступ. Если бы Ривка поняла это, разговор еще больше затянулся бы. Наконец, она сказала:

– Здесь не тюрьма. Вы сможете забрать ее в любой день, когда захотите. Мне кажется, проще всего оформить Фариду на постоянное пребывание, тогда вам ничего не придется платить за уже проведенные здесь дни. Заберете домой – двенадцать тысяч не будут лишними.

По какой-то инерции бывшего советского человека я, честно говоря, считал, что любой чиновник экономит государственные деньги за счет нуждающихся, и то, что она предлагала, казалось мне маленьким обманом государства. Однако, по глазам этой симпатичной девушки увидел, что это не так, что свою цель она видит в том, чтобы помочь мне, и мы никого не обманываем. Я искренне порадовался за государство.

— Это правда?

— Я хочу вам помочь.

Я поднялся, терзаясь, что своими глупостями отнимаю время у занятого и хорошего человека. Ривка улыбнулась:

— Подумайте до завтра. Передавайте привет вашей дочери.

— Вы ее знаете?!

— Мы разговариваем по телефону.

Значит, Марина звонила. Конечно, это была ее идея — сначала оформить, чтобы ничего не платить, а там я сам пойму, что она права. Она сумасшедшая, подумал я. Она хорошая дочь, но она сумасшедшая, с ней надо быть осторожным.

Помчался в наш девятый корпус и на крыльце, где обычно курю, увидел... своего американского сына. Сева и Дуля сидели на скамейке и, улыбаясь, следили, как я несусь по асфальтовым дорожкам.

Дуля заснула перед самым обедом. Мы с Севой вышли на крыльцо. Он рассказал, что застал Дулю в истерике, она с перекошенным лицом лежала поперек кровати, стучала оградением, и когда он показался в дверях, крикнула: «Сева, помоги!» Он справился с ограждением, снял ее с кровати, усадил в кресло, она успокоилась и спохватилась: «Как ты сюда попал?»

Сева оказался свидетелем еще одного конфуза: санитарка принесла обед спящей (решили не будить) Дули, поставила его на тумбочку и добавила порцию второго блюда для меня. Эта тетка взяла себе за правило меня подкармливать, несмотря на мои протесты. Я приношу из дому даже термос с крепким чаем, но у нее были свои соображения об обеде, и я смирил гордость, чтобы ее не обижать. Мне кажется, вид куриной ножки с ложкой картофельного пюре, стыдливо прикрытой бумажной салфеткой, подействовал на Севу больше, чем Дулина истерика. Может быть, в его Штатах это означает крайнюю степень морального падения. Во всяком случае, от еды он отказался.

Пока Дуля спала, мы с ним немного поговорили на крыльце. Я спросил, почему он приехал, он ответил, что Марина подняла панику по телефону, он решил, что может не застать мать в живых. Усы у него густые и пышные, и не всегда видно, улыбается он или нет, но в голосе всегда слышна ироничная улыбка. Он как бы иронизировал по поводу Марины, пересказывая ее слова. Но так же он пересказывал и мои, и вообще любые слова. Это была его позиция, очень удобная, некая безадресная ирония, на которую не требуются ни интеллектуальное право, ни умственные затраты. Вместо того, чтобы лететь через океан, он, между прочим, мог бы сначала позвонить мне на мобильник и поговорить со мной. Я перевел разговор на внуков и невестку. Не помогал ему приступить к делу. Он осторожно спросил:

— Ты собираешься маму забрать?

— Не понимаю твой вопрос, — сказал я. — Что значит «забрать»?

Он не ответил. Спорить не любил. Он был как Дуля, то есть имел свое мнение и держал его при себе. И в то же время он был совершенно не такой, как она. Он раз и навсегда по всем поводам на свете

сказал себе, что ему все равно. Сказал себе это осознанно, программно, как задание самовоспитания. Но он приехал, вызванный Мариной, и считал себя обязанным выполнить ее поручение. Помолчав, заметил:

– А если с тобой что-нибудь случится? Элементарным образом. Заболеешь, попадешь в больницу. Кто за ней будет смотреть? А если с бабушкой что-нибудь случится? Ты же не сможешь от мамы на шаг отойти. Она останется, не дай Бог, ты понимаешь, на Марине – три месяца понадобится, чтобы получить код. Как Марина эти три месяца продержится? Она уже сейчас на пределе.

Код, три месяца... все знал. Человек подготовился к разговору. Я тоже. У меня был простой ответ: если предусматривать все несчастные случаи, которые могут произойти, то жить вообще нельзя никому и никогда. Мы обсудили это с философской точки зрения и пошли в палату, потому что я боялся, что Дуля проснется и не увидит меня. Так и оказалось. Она не спала, лежала на спине. Тревожный ее взгляд бессмысленно бегал по комнате, задерживаясь на случайных предметах. Она начинала их рассматривать, словно видела впервые, потом теряла интерес и переводила взгляд на другое. Первым делом я опустил ограждение. Она заметила Севу, просияла и стала абсолютно разумной. Мы гуляли втроем по аллеям, когда появилась Марина.

– Привет! – бодро сказала она Дуле. – Ты зачем за папу держишься? Ты же отлично ходишь. Отцепи руку. Сама! Не бойся! Ну, два шага!

Вот чего мы с Дулей никогда не умели: командирский тон. Мы не чувствовали в себе права на этот тон. Нас не научили родители.

Марина забрала Севу. Им было о чем поговорить и без наших проблем. Я думал посидеть с ним вечером, но они с Мариной куда-то уехали, а на следующий день он приехал в «Мальбен» перед отлетом и, пожимая мне руку на прощание, дистанцировался от всех нас:

– Ну смотри, папа... тебе виднее... Маринке это, конечно... Тяжело ей, папа.

Я виновато сказал:

– Ты столько денег потратил на дорогу.

Он усмехнулся:

– Не волнуйся, за меня платит фирма. Я с утра кое-какую работу для них сделал.

Какую же работу надо сделать, чтобы оплатить билет из Нью-Йорка и обратно? Сколько Дуле надо было перемыть полов, чтобы заработать на билет к внукам? Я не коммунист, но все-таки? Мы купили этот билет пять лет назад, и его пришлось сдать, потому что Дуля легла на химиотерапию.

Сева улетел, а Дулина дрожь усилилась. Я видел, как Элла, проходя через столовую, издали заметила это. Я как раз учил Дулю держать ложку самостоятельно, и ложка не попадала в рот. Элла остановилась, понаблюдала и пошла дальше. Я все время ждал, когда Дуля заговорит о Севе. Она заставила себя забыть дом, забаррикадировалась, загерметизировалась, а Сева своим приездом все разгерметизировал, и мне было страшно. Но, видимо, кроме дрожи, все осталось без изменений. Когда мы гуляли по аллеям, Дуля спокойно сказала:

– Сева плохо выглядит. И полысел так...

Вечером, когда за ужином раздавали лекарства, она получила какую-то новую таблетку. Выдавал лекарства дежурный медбрат, я решил, что он ошибся, мы посмотрели по журналу – Элла добавила

декенет. Но в «Гилель Яффе» считали, что декенет может усиливать слабоумие. Утром я сказал это Элле, она обиделась:

– Вы хотите, чтобы я лечила вашу жену, или нет?

– Элла, ради Бога, конечно, конечно...

А что еще мне оставалось?

– Как они с Мариной похожи, – сказала Дуля.

– Чем похожи?

– Не знаю, – сказала она.

Она не переставала меня изумлять. Казалось бы, чем Элла была похожа на Марину? Элла – блондинка с короткой стрижкой, Марина – брюнетка, женщина в стиле «вампир». Какой частью мозга делаются такие уподобления? У меня этой части нет. Я всю жизнь верил на слово Дуле, и, по-моему, она не ошибалась.

Вечером позвонила на домашний телефон подруга Дули. Я уже принял бренди и снотворное, язык слушался плохо, она спросила:

– А сам ты как?

При чем тут я?

Она вдруг стала рассказывать про свою молодость. Я все это знал и помнил: у нее тяжело болела мать, она с уроков летела в провонявшую лекарствами и хлоркой квартиру.

– Понимаешь, – сказала она, – мне тогда казалось, я должна принести себя в жертву, такая моя судьба, а сейчас я вовсе не уверена, что поступила правильно. С собой я имела право делать все, что хочу, но ведь я обрекла близких на очень тяжелую жизнь.

Она предавала Дулю, потому что была слишком хорошим и ответственным человеком. Она не предлагала ничего, просто выполнила долг, напомнила о Марине на случай, если я забуду.

30

После завтрака появился Гера – с букетом цветов, который он водрюжил на медицинский пост перед Таней. Бодрился, но не очень получалось: Рая оставалась. Однако он успел много и судьбу матери решил с гениальной простотой: накануне собрал ее приятельниц и сказал: «Выручайте. Установите между собой дежурства, кто когда может быть с мамой. Через несколько дней ей дадут сиделку, сможете ее использовать, а пока постарайтесь». Тут же составили расписание смен. Нашли и тетку, согласившуюся жить в квартире и присматривать за Раей ночами. С ходунком она передвигалась вполне уверенно. Они оба, мать и сын, понимали, что жизнь у нее будет тяжелая. И все же из «Мальбена» он ее вырвал. Ей оставалось пройти курс физиотерапии и справиться с болями в колене.

Валя увязался за Герой проводить его до автобуса в аэропорт. Прощались, и стало тоскливо. Отправились гулять. У Дули появилась привычка подчеркнуто, заискивающе, заглядывая в лицо, здороваться с каждым встречным.

Дождь закончился, выглянуло солнце, но дул холодный ветер, и мокрые скамейки перед корпусом были пустыми. Мы едва нашли одну, на которой кто-то уже посидел и промокнул своим задом. Дуля сказала:

– Марина выставила Геру дурачком, который ничего не умеет, а он все сделал.

Я мог бы поклясться, что в тот вечер, когда Марина обрушилась на Геру, Дуля ничего не понимала и не пыталась понять. Так же она едва ли понимала, что именно Гера сделал для Раи, всю эту канитель с графиком дежурств. Но все это ей и не нужно было понимать.

Выскочила из корпуса Зина, покрутилась, чтобы получить сигарету, и исчезла. Попрошаек Дуля не любила, заметила:

– Зина скоро тоже улетит.

– Куда?

– В Москву.

Это в ней оставалось, никуда не делось: понимая более сложные вещи, не понимала простейших. Я не мог с этим смириться:

– Так что же, она Влада в Москву увезет?

– Что-нибудь придумает.

– Что же можно придумать?

– Самолет закажет. Знаешь, как актеры на гастроли летают? Я читала. Чего ты смеешься?

– Он же не актер, а писатель, ты говоришь.

– Тем более.

– Я тоже писатель, мне никто не даст самолет.

Дуля промолчала. Хватило деликатности не уточнять разницу. Я тоже не стал уточнять. О Севе, Марине, Гае и доме не говорила ни слова. Казалось, всю жизнь жила в «Мальбене» и ничего другого не знала. Устав, сказала:

– Пойдем домой.

Домом она теперь называла свою кровать.

К обеду вернулся Валя и без всяких причин чуть не разругался с Зиной. Это случилось, когда он уже покормил мать и спустился вниз в столовую. Присел к их столу. Зина кормила Влада из ложки овощным супом. С некоторой жеманностью после каждой ложки она вытирала с его губ прилипшие крупинки и кусочки и старалась, чтобы весь процесс выглядел красивым. Валя смотрел, смотрел и брякнул:

– Что ты красоту наводишь? Покормишь, потом в туалете под раковиной вымоешь с мылом и дело с концом.

– Я вам мешаю? – спокойно спросила Зина.

– Да хоть до дыр три.

– Почему вы мне грубите?

– Да нет, даже наоборот.

– В каком смысле наоборот?

– Экономлю тебе силы. Чтоб лишнюю работу не делала. Еще понадобятся.

– Спасибо, Валя, – спокойно сказала Зина, продолжая свое дело. – Не нервничайте.

– Не могу на них смотреть, – сказал Валя. – Душа болит. Вот так же он не мог наехать на деваху. Знал, что нельзя тормозить при ста десяти, и не смог. Где здесь логика?

После обеда зазвонил мобильник, и высветился номер мамы. Звонила сестра: маме плохо, они с нянечкой вызвали амбуланс, врач сделал электрошок, сейчас увозят в больницу. Боятся, не довезут. Нянечка поедет с ней. Сестра рассказывала невразумительно, я попросил передать трубку нянечке или врачу, но нянечка не могла отойти от мамы, а врач уже вышел из квартиры.

Мама в девяносто шесть почти никогда не болела, на сердце не жаловалась... Я должен был немедленно ехать в больницу. Положил

Дулю в кровать, поднял ограждение, и тут Дуля взбунтовалась. Она слышала телефонный разговор, все поняла, встревожилась, и тревога отшибла мозги. Я упрасивал:

- Отпусти меня, мама в больнице, я должен быть там!
- Я тебя не держу, опусти эту штуку и иди, конечно.
- Но я не могу оставить тебя без ограждения!
- Но почему? Я не могу лежать с ним! Мне не хватает воздуха!

И это продолжалось минута за минутой. Я мог не застать маму в живых, не увидеть ее, и вместо того, чтобы мчаться к ней, может быть, попрощаться, – сидел рядом с Дулей и ждал, пока она успокоится и заснет. Она закрывала глаза, но стоило мне подняться со стула, открывала их и все начиналось сначала – уговоры, просьбы, обещания и упреки. Лишь через полчаса Дуля заснула с поднятым ограждением, а я добежал до ворот «Мальбена» и поймал там такси. Нашел маму в «Ланиадо» в реабилитационной палате. Облепленная трубками и датчиками, была в полном сознании. Трубки мешали говорить, но она внятно сказала:

- Не беспокойся, все в порядке. Как Фаридочка?
- Лучше.
- Ну слава богу.

В нормальном, спокойном течении жизни мне бывало трудно с ней, но в тяжелых ситуациях она изумляла высоким духом. Я позвонил Марине – та была по дороге к «Ланиадо». Вокруг мамы были медсестры и врачи. Я был не нужен. Помчался на такси в «Мальбен» и в дороге опять думал о том же: а если бы Дуля была уже дома? Я не смог бы оставить ее на обычной кровати и поехать к маме. Из «Мальбена» можно было ездить к маме вечером, когда Дуля заснет, хоть в десять, хоть в одиннадцать. Нет, никак нельзя ее забрать раньше чем вернется домой мама. За это время надо будет смастерить какое-нибудь ограждение из досок на двуспальной кровати. Вообразил доски по бортам – нет, это тоже не годилось, Дуле спросонья втемяшится в голову что-нибудь вообще ужасное, гроб. Надо было поездить по местам, где сдается напрокат медицинское оборудование, посмотреть, что есть у них, поднабраться инженерных идей... Никак нельзя было забирать Дулю, а Элла продолжала давать ей декенет, уменьшающий дрожь, но увеличивающий слабость, и я второй день тайком отщипывал от таблеток и выбрасывал половинки.

Вечером, когда Дуля заснула уже до утра, снова поехал к маме – не торопясь, двумя автобусами. Хоть и небольшой город Нетания, а любая дорога автобусом – почти час. Маму из реанимации перевели в общую палату, вытащили трубки, и она спала. Только трубка с мочой выходила из-под одеяла в пластиковый пакет-приемник. В палате лежало трое женщин, отделенных друг от друга раздвижными занавесками. Русскоязычная старушка наябедничала:

– Она все время пытается встать и пойти в туалет. Очень стеснительная.

Да, мама была такая.

Я поехал домой. Марина зашла узнать новости. Внимательно выслушала.

– Молодец бабушка. Думаю, завтра выпишут. Только вот куда?

Впервые этот разговор она завела два года назад, после бабушкиной тяжелой простуды: старухе надо перебираться в дом

престарелых. У нее было два аргумента: бабушке там будет лучше и бабушка сама хочет. Мама и в самом деле говорила это, но ясно было, что говорит она лишь потому, что считает себя обязанной освободить нас от забот о ней.

– Домой, – изобразил я наивность.

– Ладно, домой. Я взяла отгул, заберу ее из больницы, – Марина выражением лица показала, что снимает с себя всякую ответственность.

Я был благодарен ей за то, что не стала спорить. Понять ее было нетрудно: в домах престарелых израильтяне, как все западные люди, иногда только начинают жить для себя, пользуясь заработанными за тяжелую жизнь досугом и свободой. Я так же, как она, считал, что это правильно, что так и должно быть. Но ведь мама не могла этого понять. Она выросла не на Западе, а в России. Ей не нужны были свобода и досуг. Собственная жизнь не значила для нее ничего. Она так и не научилась жить для себя. Звонила по любому поводу – чтобы сообщить прогноз погоды, услышанный по радио, и сказать, как нам с Дулей надо одеться, чтобы напомнить о какой-нибудь телепередаче, которую Дуля обязательно должна была посмотреть. Мы с Дулей обсуждали с ней эти передачи по телефону и спрашивали советы по любому поводу, который могли изобрести. Все в ее мире – телевизор и газеты – имело смысл лишь постольку, поскольку существовали мы – сын, невестка и внучка, которую вырастила. Она хотела знать все подробности нашей жизни. Не все можно было ей рассказывать, не все она могла понять, и каждое лишнее сказанное ей слово вызывало новый поток вопросов. Я раздражался, злился, но не мог перекрыть единственный источник ее интереса к жизни и в ежедневных телефонных разговорах истощал свою фантазию, сочиняя (вернее, досочиняя) доступные маминому пониманию истории о том, что делал Гай, чем занимается Ниночка и чем занят сам.

Приходилось сочинять, потому что реальной жизни она уже не понимала. В сущности, мама жила прошлым, которому я с помощью фантазии придавал вид настоящего.

Это началось со смертью папы. Мама и сестра остались вдвоем в однокомнатной квартирке. Сестра – с тяжелым бредом преследования. Я не мог вообразить, как они сидят друг против друга и каждое слово безумной дочери – пытка для мамы, которая не может даже взглядом высказать несогласие. Сколько мама могла выдержать это? Вернувшись с кладбища в их однокомнатную квартирку, которую папе дали на заводе перед самой его смертью, мы с Дулей уже не могли оставить двух женщин одних. Каждый день после работы ехали к маме и проводили весь вечер у нее. Сестра при Дуле сдерживалась, как при постороннем человеке. Дуля успокаивала ее одним своим видом – как и меня всю жизнь. Мама получила замечательного слушателя. Она могла отвлекаться от горя и ужаса, говорить о Гуляеве, Магомаеве, Кобзоне, о дикторе Кириллове, об актере Тихонове, о спектаклях МХАТа и Театра оперетты, которые видела в юности (что еще в ее жизни было интересного?). Мама была убеждена, что для глупенькой Дули нет ничего важнее, чем слушать ее разглагольствования. Мы стали ходить в кино все вместе. Я покупал билеты на четверых. Мы с Дулей ни разу никуда не пошли вдвоем, все вечера проводили у мамы с сестрой, уходили к себе – жили неподалеку – только спать. В те годы я цитировал Стоикова и Локтева: человек обязан жить

для себя, есть долг перед собой, а все прочее – рабство. Но у нас, так же, как у мамы с папой в их молодости, не получилось.

Имел ли я право принести молодость Дули в жертву маме? За полвека забылось, что выбора не было – мама без нас не выдержала бы вдвоем с душевнобольной, сама бы сошла с ума. Эта жизнь вчетвером кончилась, когда родилась Марина. Мама растила Марину, у нее появился смысл жизни.

Понимала ли это Марина? Помнила ли? Говорят, человек отрекается от прошлого. Но этот глагол не для Марины. Это для апостола Петра. Марина ни от чего не отрекалась, она свое прошлое стерла. Ей, чтобы жить, оно мешало. Не потому, что было плохим. Плохое или хорошее, оно замедляло процесс принятия решений, а от Марины требовалась скорость. Она должна была жить, как автомобилист на трассе, мгновенно решая возникающие проблемы и не задумываясь ни о цели впереди, ни о дороге за спиной. Это и означало «быть деловым человеком». Я мог в беде уйти в воспоминания, для Марины этот вариант не существовал. Оставалось только еще быстрее жать на газ. Ей было труднее, чем мне. Она не могла выскочить на обочину, как я, это привело бы к аварии. И я ничем не мог ей помочь.

Дуле стало хуже. Она чувствовала мою панику, которая нет-нет да прорывалась, как у Геры, когда у Раи не получалось с ходьбой. Любое мое раздражение стало вышибать ее из равновесия. После обеда не смогла заснуть, и я не смог поехать к маме. Мама, наверно, считала себя брошенной. Такие вещи Дуля понимала не хуже прежнего:

- Ты должен поехать к Галине Самойловне.
- Но только если поднять ограждение на кровати.
- Хорошо. Нет. Подожди. Что-то у меня дрожь началась.

Ее трясло. Лежала затылком на подушке, пыталась прикусить прыгающую губу и успокаивала:

- Не волнуйся. Через полчаса это пройдет. Ты же знаешь.

Вечером мы немного погуляли по аллеям. Рассказывал про маму, как всю жизнь привык рассказывать, и знал, что Дуля понимает все, что нужно. Даже больше понимает, чем я. Задумчиво сказала:

- На Лену ее нельзя оставлять, Лена ее угробит.

Она заснула рано. Я помчался на автобус и опоздал на несколько секунд. Следующего надо было ждать полчаса. Побежал на другую остановку, там проходил еще один маршрут. Это была тихая маленькая улица трущобного вида, пустынная и мокрая. Кто-то оставил на остановке мусорный мешок, и коты, разорвав мешок, растащили по тротуару вонючую смесь из объедков и апельсиновых корок. Ветер гонял обрывки мешков и газет. Убогие коттеджи за облупившимися заборами казались нежилыми. Я засомневался, ходят ли тут автобусы. Пытался сосредоточиться и найти какой-то выход для сестры и мамы, и понял, что растерялся. Дуля считала, что маме лучше будет в доме престарелых. Исходящее от Марины становилось для меня совсем другим, когда исходило от Дули. Почему? Марина пыталась рационально решить вопрос, что же в этом было плохого? Дуля вообще не думала. Она была слабоумной. Она сочувствовала, вот и все. И при этом оказывалась способной рационально оценивать ситуацию: Лена угробит, на Лену нельзя оставлять, значит, надо искать другое решение... это ведь был разум?.. Разные масштабы, разные зоны, разные пропорции – что я не ухватываю?..

Подкатил автобус, я забрался в теплый и сухой салон, устроился на мягком сидении, согрелся, на автобусной станции пересел в автобус до больницы и все время думал об этом чувстве Дули, которое было разумнее разума. Я привык доверять ему. Привык верить Дуле больше, чем себе – мой собственный разум часто ошибался, как ошибался разум Марины, а Дулино чувство всегда было безошибочным и точным.

Или я сошел с ума?

Дуля разучилась пользоваться ложкой и вилкой, в столовой я появлялся ей салфетку и кормил, засовывая пищу в рот. А нравственное чувство осталось прежним. Разве оно было проще, чем умение держать ложку? Оно было неизмеримо сложнее! Оно включало в себя и разумную оценку сложнейшей ситуации, и понимание возможностей мамы и Лены, и воображение – Дуля воображала то, чего еще не было, что только должно было начаться, когда маму привезут из больницы. Это было безумно сложно для рационального анализа. Но как мы узнаем знакомое лицо среди тысяч других? Индивидуальные различия не так уж заметны, их, например, невозможно описать словами, а мы узнаем знакомого человека на его детской фотографии или в маскарадном костюме на карнавале. Разуму эта работа не под силу.

Мама не спала. Ее волновала мочепроводная трубка. Боялась сделать что-нибудь не так и намочить постель. Хотела сама пойти в туалет. Я объяснял устройство мочеотсасывателя, она слушала с детским любопытством, все понимала, но быстро забывала понятное и снова пыталась подняться. Мне надо было успеть на последний автобус.

– Не беспокойтесь, – сказала соседка. – Она не сможет встать, она привязана.

В автобусе по пути домой терзался: что делать? С тех пор, как мама с сестрой остались вдвоем, они жили нашей с Дулей жизнью. По телефону разговаривали каждый час. Мама всегда знала, откуда я звоню. Ей хотелось это знать – я не умел отказать. Раз в несколько дней приезжали с Дулей попить чай с пирожным, посидеть, послушать мамины мнения о телепередачах. Когда Дуля заболела, мама этого лишилась. Я и по телефону говорил отрывисто, наспех. И говорили не о маминых мнениях, а о Дуле, которой с каждым годом становилось все хуже. Когда я заберу Дулю домой, мы совсем перестанем видеться. На сестру надежды никакой. Кого-то из двоих надо отдавать в дом престарелых – или маму или Дулю.

Дома я сказал Марине:

– Ты права. На Лену бабушку нельзя оставлять. У меня только одно условие: бейт-авот должен быть недалеко, чтобы я мог ездить на автобусе.

Марина заплакала. Нет, я был несправедлив к ней. Она взяла на себя самые трудные хлопоты. Что бы я делал без нее?

Четвертого апреля пришло решение Минздрава. Ривка нашла нас на скамейке среди аллей, чтобы горделиво сообщить, что сделала это. Дуля получила постоянное место в отделении для таких, как она, «ходящих несамостоятельных». Все денежные дела таким образом решились. Ривка имела право рассчитывать на благодарность.

– Но, – я старался, чтобы Дуля ничего не поняла и не насторожилась, – мы ведь... отсюда...

– Вы сделаете очень большую ошибку, – быстро сказала Ривка. – Я только что говорила с Эллой и Таней, они вас не понимают. Имейте в виду, что хуже будет не вам, а ей самой.

Дуля не вслушивалась в наш разговор на иврите.

Я кивнул.

– В отделении ходячих с частичной несамостоятельностью очень хорошая старшая медсестра, – громко сказала Ривка. – Место освободится через два-три дня.

Она ласково провела рукой по щеке Дули, улыбнулась и ушла.

31

Дуля по-прежнему называла домом палату. Гуляя по аллеям и отдыхая на скамейках, мы оба не упоминали ни дом, ни внуков, как будто их никогда не было. Она уставала от любого разговора. Все еще не понимала, где находится, – то есть понимала смутно, не желая вникать. Малейшее волнение перерастало в панику. Когда, выйдя покурить, я заболтался с Зиной и Валею на несколько лишних минут, она попыталась выбраться из кровати, стучала ограждением и так упорно звала меня, что санитарки накричали. Продолжала стучать и кричать, не желая их знать, и я, прибежав, тоже отругал. Обиделась, не хотела разговаривать. Весь вечер в столовой пугливо озиралась. На улице в это время было холодно и темно, все собирались вечерами у телевизора, больше некуда было деться. Началось мелькание на экране, Дуля тут же утомилась, отвернулась и просила увести в кровать – кружилась голова, подступила дурнота.

Пора было сказать, что мы едем домой. Я не знал, как это сделать. Произнести слово «дом» значило заставить ее вспомнить, что он есть. Это могло ввергнуть сознание в хаос. Боялся, что она снова сорвется в шок, как в «Гилель Яффе».

Но не подготовить было еще страшнее. Она привыкла к тихим аллеям «Мальбена». И вот увидит улицы, машины, дом, квартиру – что с ней будет? А вдруг разум не справится?

Седьмого апреля выписали Раю. За ней приехали две подруги. Это были бывшие российские инженерши, обе в свитерах, джинсах и шляпках, с юмором и сленгом шестидесятых. Они упаковали все имущество в два мешка, чтобы свободными руками вести Раю к такси. Рая боялась что-нибудь забыть. Дуля не могла дожидаться, когда они уйдут. Я ждал от нее больше теплоты. В прежние времена она бы всплакнула, расставаясь.

Захотела выйти наружу. Посидели на скамейке, осторожно спросила:

– А почему ты не можешь спать на Раиной кровати? Зачем тебе уезжать ночью?

Я воспользовался случаем:

– Мы с тобой оба скоро переедем.

Она помолчала и решилась на вопрос:

– Куда?

– Есть одно место. Пока не скажу, но тебе понравится.

Сказал это небрежно, а сам искоса поглядывал. Показалось, что Дуля улыбнулась. Я трусливо перевел разговор на другое.

На следующий день, гуляя, сели на ту же скамейку. Неподалеку сели покурить санитарки, все длинноногие и молодые, со скандальными, как у московских продавщиц, голосами. Что-то обсуждали свое. Мы с Дулей молчали. Неожиданно она спросила:

– А что ты мне говорил вчера?

Я сразу понял, о чем она. Притворился непонимающим:

– О чем?

– Ну... ты сказал, мне понравится.

– Тебе понравится?.. О чем же это я говорил...

– Мы куда-то поедем.

– А! Ну да! Уверен, что тебе понравится.

– Куда?

– Пока не скажу. Сюрприз. Если я сказал, что понравится, значит понравится.

Давно не видел на ее лице такой многозначительной улыбки. Она понимала! И в то же время она не давала себе осознать, что понимает.

– Ты что-то опять задумал.

«Опять» означало некоторый мой авантюризм, ухарство. Она так обо мне думала. Я уклончиво ответил:

– Мне здесь не очень нравится.

– Почему?

– А тебе нравится?

– Да. Вполне. Может быть, не поедем?

Она все поняла, это было уже несомненно. Не понятно было только, что такое «понимание». Психиатры умели объяснить, но, показалось мне, упустили какой-то важный оттенок. Для них этот оттенок не имел значения.

Когда возвращались в палату, Таня крикнула со своего поста, что меня хочет видеть Роза, старшая медсестра отделения, куда должны были перевести Дулю. После обеда я отправился. Отделение помещалось в тупичке у забора, такой же двухэтажный корпус и лужайка с газонами перед входом. За дверью начинался длинный коридор с открытыми дверями палат, а прямо напротив – столовая с квадратными столиками. Санитарка собирала грязные тарелки, сбрасывая в бак остатки еды. Старики продолжали сидеть. Некоторые женщины были в платьях, кто-то и с накрашенными губами, большинство же лиц было серыми и унылыми, а одежда – больничными пижамами. Я привлек внимание – новые люди, наверно, появлялись нечасто.

Роза возникла внезапно, на ходу решая несколько дел сразу. К ней ринулись с вопросами несколько стариков, она кому-то отвечала, кого-то шуганула, – российская деловая тетка, дородная и подвижная, с тихой спокойной речью. Я сказал, что я муж Фариды. Роза испытующе посмотрела:

– Фариды в самом деле самостоятельна?

– Я, собственно, хотел бы вам сказать...

– Она ходит сама?

Пришлось отвечать на вопросы.

– Ходит, но держится за руку. В сущности, это только страховка, она ходит сама.

– Ложку и вилку держит сама?

– Я прошу прощения, сначала я должен... да, сама, разумеется.

Роза продолжала шуриться. Наверно, ее уже обманывали, подсовывая беспомощных. Решила поверить:

– Идемте, покажу место.

Я, наконец, получил возможность сказать, что забираю Дулю домой. Ничем не выражая своего отношения, она быстро предупредила:

– Учтите, код вы потеряете.

– Но если окажется, что она не сможет дома...

– Вы потеряете код, а новый сможете получить не раньше, чем через полгода. Будете все заново оформлять. И неизвестно, получите ли.

– А куда же тогда? В больнице держат неделю, а лечение лепонексом – восемнадцать недель.

– Это не моя проблема.

Запнувшись, я сказал:

– Да, я понимаю.

Она заметила запинку:

– Вы можете взять на день-два. У нас отпускают на субботы. Разумеется, тот, кто берет, расписывается об ответственности.

Идея понравилась:

– А могу на весь Песах?

– Это сколько получается дней? Девять? – Снова посмотрела испытующе и решила: – Ну ладно.

– Начиная с завтрашнего дня.

– Хорошо. Утром приведете, мы поговорим. Учтите: если на один день опоздаете, я ее не приму. Идемте, покажу кровать.

– Да зачем...

– Идемте, идемте. Ей освободили одно из лучших мест, – сказала она, по-прежнему не выражая отношения. – Палата на двоих.

Миновав две раскрытые двери, Роза остановилась у третьей:

– Это здесь.

Этого я никогда не забуду. Я увидел кровать и в ней, за поднятым ограждением, как в клетке, шевелящийся скелет в блеклой пижаме. Опираясь спиной на подушку и подняв колени, худющая старуха, не обращая на нас внимания, сосредоточенно теребила одеяло. Острый профиль и длинные серо-седые волосы, падающие на лицо и плечи, напомнили иллюстрацию к какой-то страшной сказке.

Вторая кровать стояла у двери. Видно было только изножье с заправленным одеялом. В отличие от палат у Эллы, в этой не было занавески, разделяющей комнату.

Роза даже не интересовалась впечатлением. Не сомневалась, что хорошее. Я вернулся к Дуле.

– Где ты был? – На этот раз взгляд был пытливым.

Отвечая, старался не врать без нужды:

– Мне показывали твое новое место.

– Что за место?

– Мне не понравилось. Завтра сама увидишь, но мы там жить не будем. Я тебе покажу другое, получше.

К моему удивлению, она не взволновалась. Наоборот, успокоилась и взбодрилась. Долго не могла заснуть. Старательно закрывала глаза и говорила, чтобы я уходил, а через несколько минут открывала и виновато улыбалась, увидев меня на месте. На Раиной кровати лежала новая старушка, мы ее толком не видели – занавеска была задернута. Позвонила Марина, сказала, что едет забрать меня домой.

Что-то ее задержало, и приехала, когда Дуля уже спала, а я ждал на скамейке перед входом.

– Поедем.

– Должна же я на маму посмотреть.

Вернувшись, повела к машине и на ходу сообщила:

– Я нашла ходы к главному врачу «Мальбена». Он сделает маме отдельную палату.

Мы уже садились. Я сказал:

– Марина, я завтра забираю маму домой.

Она не ответила. Только движения стали резче – рывком подала назад, развернулась на скорости, будто опаздывала. Ехать нам было пять минут. Это автобусами получалось долго, через центр города, а напрямик выходило рядом. Ночная дорога была почти пустой. Минуты через две Марина справилась с собой и спокойно сказала:

– Я завтра не могу отпроситься.

Я обрадовался:

– Нет проблемы, закажем такси.

– Куда ж ты ее привезешь? У тебя бардак, накурено.

Вместо ответа я сказал, скрывая злорадство:

– Гера уехал. Отлично устроил все дела с Раей.

– Да? – рассеянно сказала она и ни о чем не спросила. Гера ее уже не интересовал.

У Марины были гости (оставляла их, чтобы привезти меня), а дети смотрели телевизор у нас наверху. Я сказал, что завтра привезу бабушку. Гай бросился на шею. Нина вяло заметила:

– Мама считает, это неправильно.

– И ты можешь вообразить, что бабушки никогда здесь не будет?

– Не знаю. Мама так сказала. Мы тебе мешаем?

Марина принесла поднос с закусками:

– Поешь по-человечески.

Тут же набросилась на детей:

– Дедушке отдыхать надо! Ну-ка в спальни.

Я понял, что сегодня уже не смогу заняться уборкой. Поставил будильник на пять, принял снотворное и вспомнил, что забыл обдумать, как приделать к двуспальной кровати ограждение. Проснулся среди ночи и сменил постельное белье, распахнул вещи, вымыл посуду и полы. В восемь утра вошел в палату Дули. Она лежала поперек кровати, воевала с ограждением и, расплывшись в улыбке, сказала:

– Ты приходишь в последнюю минуту! Откуда ты знаешь?

Опять ей снились убийцы.

– Все нормально?

Это не я ее спросил, а она меня. И ждала ответа.

– Дуля, все отлично.

– Никто за тобой...

– Что?

– Никто тебе... ну в общем, слава Богу, я так. Где ты был?

Пришло время правды. Тянуть дольше было уже нельзя.

– Дома, – небрежно сказал я, опуская ограждение и снимая ее с кровати, чтобы ноги попали прямо в подставленные кроссовки. – Где я всегда ночую? Дома. Спал на нашей с тобой кровати.

– А, ну да.

Лицо оставалось недоуменным.

В коридоре шуршали коляски – свозили на завтрак в столовую. Отделение обновилось за это время, из старожилов оставались лишь мы и Владлен. Зина не появлялась, и Владлена кормила Таня – вторая, опытная и неторопливая санитарка. Задумавшись о своем или задремывая, иногда забывала сунуть ложку, и он так и сидел с открытым ртом. Может быть, Зина была права, и он все понимал?

Она, появившись, пролетела к мужу через всю столовую. В новеньком светлом плащике и косыночке на шее. Вот и событие в

здешней жизни: косыночка, плащик. Взгляды Тани-первой, въезжающей в это время со столиком шприцев и лекарств, взгляды спящих санитарок и некоторых больных ревниво проследили за косыночкой. Зина подняла стул к мужу, села и как бы подставила свое лицо для поцелуя. На секунду-другую замерла и деловито затараторила:

– У тебя он всегда ест, у меня капризничает. Я опоздала, извини, Бога ради...

– С обновочкой, – подъехала Таня-первая со своим столиком. – Кто подарил?

– Есть кому.

– Что же ты куришь с одним, косынки получаешь у другого...

От неожиданности я сунул ложку мимо рта Дули, она вскрикнула. Женщины на нас не взглянули. Мы их предавали, как здоровые предают больных, живые мертвых, а свободные заключенных. И они объединялись против предательства.

– Уметь надо, – держала тон Зина.

– Я все слышу, – сказал я.

Зина изобразила ужас: запечатала ладошкой смеющийся рот и вытаращила глаза. Таня-первая подъехала к нам, выдала тразодил и декенет, молча зафиксировала, как я спрятал в кулаке, чтобы выбросить, таблетку, и сказала:

– Обедать будете у Ханны. Собирайте вещи, Нелли проводит.

Дуля, заглядевшись на войну между старухой, уворачивающейся от ложки с кашей, и санитаркой, старающейся эту ложку впихнуть, – Дуля ничего не услышала. Я отвел ее в кровать, поднял ограждение, и хоть она попыталась протестовать, выбежал. В квартале от «Мальбена» был минимаркет, там уже подготовились к Песаху. Я выбрал две коробки то ли вафель, то ли конфет. Потом пробежал еще три квартала до цветочного магазина, купил три букета. Розы были похуже тех, что росли вдоль газонов «Мальбена», но ехать в центр не оставалось времени. Рядом продавались коробки с конфетами, купил и их. Вернувшись, вывалил все на прилавок перед Таней-первой. Она, надев очки, заполняла бумаги. Мило смутилась. Я сказал:

– Тумбочку чистим перед пасхой. А цветы – на память.

Таня через прилавок дотянулась рукой до плеча:

– Все будет хорошо.

Дуля лежала тихо. Я собрал ее вещи. Думал переодеть в домашнее, но, заглянув в это время в палату, Нелли сказала:

– Зачем? Там такие же пижамы.

Посадил Дулю на стул.

– Теперь слушай. Мы уезжаем домой.

– Что это ты надумал, – недовольно сказала она. – Чем тебе здесь плохо.

– Надоело. Хочу домой.

Нелли прикатила кресло, отстранила меня, чтобы не мешал, и усадила посерьезневшую Дулю. Она торопилась. В холле я поискал глазами, с кем проститься, но все работали в палатах. Мы быстро промчались по аллее, спустились по крутому склону и въехали в двадцатое отделение. Нелли чмокнула Дулю в щеку, развернула коляску и исчезла. Тут же возникла Роза. Подхватила Дулю под руку и повела знакомить с соседями в столовой. Столики уже очистили от тарелок, вытерли и разложили на них игры. Старики сидели на своих местах и играли в лото. Я остался ждать у входа с пакетами в руках. Смотрел,

как Дулю подводили по очереди то к нарядной, с бусами и накрашенными губами дородной тетке, то к морщинистому старику с саркастичной улыбкой и суворовским клоком вздыбленных волос над покатым лбом. Те что-то говорили, Дуля отвечала. Вернув ее мне, Роза через окошко протянула руку к столу в своем кабинетике, взяла бумаги.

– Это обязательства. Мало ли что случится.

Я подписал.

– А это лекарства. На девять дней. Как принимать, знаете?

– Да.

– Учтите, я вам поверила, – сверяясь с календарем на стенке, Роза еще раз пересчитала, в какой день мы должны вернуться. Написала на квадратном листочке и протянула:

– Мой телефон. Вот этот, на столе. Если что.

– Вы не могли бы вызвать такси?

– Да, конечно. Аня, – крикнула она кому-то, – вызови такси.

– Надо идти к воротам?

– Нет, это наши таксисты, их пропускают. Ждите прямо здесь.

– С праздником, – сказал я, прощаясь, забыв слова, которые надо говорить на Песах.

Когда остались вдвоем, Дуля снова сказала:

– Что ты задумал?

– Ну как тебе здесь?

– Не очень... Роза понравилась.

– А что не понравилось?

– Не знаю, – она явно считала, что обязана была восхищаться, и ставила себе в вину отсутствие восхищения. – Не понравилось.

Подъехало такси. Я не успел переодеть Дулю. Санитарка сказала:

– Зачем вам переодеваться, в пижаме и вернетесь.

В машине Дуля продолжала спрашивать, что мне будет, если нас поймают. Осеклась, когда машина остановилась перед воротами «Мальбена». Ворота покатались, выпуская нас, и Дуля успокоилась.

Сразу успокоился и я. Возле дома, расплачиваясь с водителем, попросил его подождать несколько минут: вдруг Дуле станет плохо. Опираясь на мою руку, она спокойно прошла к двери. В доме никого не было. Дуля сразу взялась рукой за перила, зашагала по ступенькам и не останавливалась до конца. Я, растопырив руки, семенил сзади. Она спокойно подошла к столу, оперлась на него и спросила:

– Может быть, я лягу?

– Разумеется!

Все происходило так, словно и не было последних трех месяцев. С изумлением смотрел, как она пошла, не держась за меня. Села на кровать, предложила:

– Может, не буду переодеваться.

– Да конечно, ты же в пижаме.

– Спать хочу. Ты тоже ложись.

– Сейчас лягу, только маме позвоню.

– Привет передавай. Я посплю, потом позвоню ей.

Легла на спину и сразу заснула. Все было невероятно, как в сказке. Мы это сделали.

Утром разбудил мусоровоз под самым окном. Дуля тихо дышала, лицо было спокойным. Проснувшись, я заново изумился тому, что она дома. Со вчерашнего дня каждую минуту жил с этим изумлением, с

ним и заснул, а во сне присутствовало ожидание подарка, как под Новый год в детстве. И потому торопился проснуться. Длил изумление с открытыми глазами, и тут вспомнилась костлявая старуха у Розы. От ужаса проснулся окончательно..

Подошел к окну. Рассветало. Почти вплотную к дому росло ветвистое дерево с прошлогодней листвой, опушенной молодыми побегами. В просветах был виден соседний коттедж, часть тротуара и отъезжающий мусоровоз, на подножку которого вскочил мусорщик.

Дуля открыла глаза. Лицо ничего не выражало. Полежав, поднялась, сунула ноги в сабо и пошла, не заметив, что идет сама по своей квартире. Из ванной вышла с ситцевым халатиком в руке – он провисел там с февраля. Принесла его в спальню.

– Надень, – предложил я.

– Чего вдруг? – она повесила его на спинку стула и стала укладываться.

– Не хочешь позавтракать?

– Потом. Еще немного посплю, – сказала она, улеглась на бок, лицом ко мне, прикрыла и тут же открыла глаза. – Может быть, чаю попить?

Пили чай за столом, разговаривали о внуках. Дуля устала и ушла спать, я помчался в магазин – заполнять холодильник. Оказалось, ее можно оставлять одну. Радовалась ли она возвращению? Как-то не до этого было. Иногда мелькала улыбка, Дуля рассматривала меня и шурилась:

– Ну ты и отчудил. И когда мне возвращаться?

– Куда?! Ты с ума сошла! Забудь про «Мальбен»! Зачем он тебе!

– И ты много должен? Наверно, тысячи?

– Ни шекеля.

– Что-то ты опять отчудил... Смотри, не увлекайся.

У нее в голове была каша. Что-то она замечала и понимала лучше, чем мне казалось, что-то никак не могла состыковать и не пыталась это сделать. Ей виделась некая противозаконная интрига. Позавтракав принесенными из магазина творогом, колбасой и булочкой, снова легла на кровать, но уже не спала. Похоже, ей доставляло удовольствие просто лежать на кровати без ограждения. Потом началась дрожь, мы пережидали, пока она уменьшится.

Я заранее продумал, как буду ее лечить. На врачей надежды не было. Мы успели побывать и в «Ланиадо», и в тель-авивской «Ихилов» и в «Гилель Яффе» в Хадере. Куда еще могли обратиться? Правдами и неправдами собрал информацию у Малки, Микаэля, Алекса, Блюменталья, Эллы, а еще до них – у трех или четырех неврологов. Всех-то лекарств в арсенале медиков существовало не больше десятка, я не слишком рисковал, подбирая комбинацию из них. И рецепта пока не требовалось – неиспользованные лекарства лежали в тумбочке.

Мы спустились в сад, я поставил под раскидистым манго два пластиковых кресла.

Дуля задумчиво сказала:

– Какой у нас печальный сад...

Я бросился звонить Элле:

– Элла, можно одну таблетку тразодила заменить на ципролекс?

Они сочетаемы?

– А зачем вам?

– Ципролекс всегда давал ей хорошее настроение.

– А что, оно плохое?

– Ничему не радуется.

– Они сочетаемы, – запнувшись, просто сказала Элла.

Расслабившись впервые за три месяца, я любовался садом. Мне снова хотелось возиться с землей и деревьями, писать книги, переводить Локтева. Так сказать, завершить и сдать все дела на тот случай, если у жизни есть еще какой-нибудь смысл кроме того, чтобы жить вдвоем с Дулей.

32

В «Богам Ханаана» на французском 256 страниц. Это роман. В нем есть главный герой, называемый то Д-н, то Далет-Нун. Локтев в конце тридцатых расшифровал несколько ханаанских табличек и отыскал в них этого бога, имени которого не смог прочесть, потому что таблички были написаны алфавитным письмом с опущенными гласными. Некоторые специалисты считали выводы Локтева слишком поспешными. Он, кажется, напечатал две статьи в археологических журналах и написал этот роман. У романа есть сюжет: Далет-Нун вступил в связь с земной женщиной. Жена, богиня плодородия Астарта, ревновала и устраивала козни. Начало романа я уже привел. Мне кажется важным один отрывок.

«Умирая и становясь богами, земные твари делаются не лучше, а хуже, чем были при жизни. Д-н похож на Вожака, но он кровожаднее, его алтари черны от мух, тучами облепляющих телят, быков, а изредка – мальчиков-первенцев. Через две-три сотни лет Иегова запретит Аврааму жертвовать сына, а Д-ну только давай. Он ненасытен. Он еще зверь, хоть те, кто несут ему жертвоприношения, – уже не стая, а племя. Жертвоприношение, вроде бы, признак разумности. Это так и есть у жены Д-на, богини плодородия, благоденствия которой пропорциональны величине приношений. Но у Д-на не совсем так. Он не торгош и не господин, он все еще в чем-то Вожак, и кровь, которую он пьет, должна иметь привкус вражеской. Как Вожак, он подозрителен, ревнив и не терпит соперничества. Ужас, который он вселяет, на пике своем граничит с восторгом, и этот восторг, почти не отличимый от ужаса, для него сладок, как кровь жертв.

Племена других средиземноморских богов поливали жертвенных телят, овец и коз не кровью, а вином из кувшинов с узорами. Их изнеженные боги любили изысканную еду и платили за нее привязанностью. Может быть, поэтому племена растеряли свою союзность, растеклись с севера на запад и на юг, по склонам к морю, скапливаясь в любой низинке. Как лужица, обособившись от других, затягивается зелено-желтой болотистой ряской, каждый город побережья обрастал своими обрядами, истуканами и кумирами. Люди смелые и предприимчивые, мужчины этих племен сновали с товарами по морю, выючили тюками ослов на дороге, которая и тогда была древней, петляя вдоль моря с юга на север так, как легла когда-то брошенная Кидбй плита.

Д-ну не хватало в них жертвенности. Для него союз – это не сделка, это чувство, что он, Д-н, – народ, а народ – он. Это нерадостное чувство. Нет радости у матери и отца, когда брызжет под ножом кровь их ребенка. Их чувство выше радости и выше горя.

Спору нет, став оседлым, его народ стал сытнее и разумнее. Люди моря еще помнили времена, когда они заключали союз с рыбой, и

навигационное чувство было так же присуще рыбакам, как перелетным птицам, а если кто-нибудь из племени, даже среди женщин, оставшихся на берегу, нарушал малейший из обычаев, рыба Батндон, огромная, в рост верблюда, всплывала в закатное небо, и рыбаки возвращались без улова или шли на дно. Но колосок ячменя – не рыба, заключать с ним союз бессмысленно, колосок слишком зависит от дождя и грозы, мух и саранчи, птиц и зверей, и Астарта впустила в дом мужа грязную, жадную и веселую толпу божков и демонов. Ревнивые, обидчивые, капризные, они ссорились друг с другом, угодить надо было всем, честные ханааняне не знали, кому служить и кому приносить жертвы. Астарта призвала из их числа жрецов, чтобы не утруждать себя общением с каждым. Связь людей с богиней стала осуществляться через посвященных, обученных всем тонкостям церемонии, люди чтили знания жреческой касты и сохранили это до наших дней, когда она стала называться наукой.

Не нравилось это Д-ну. Жена своевольничала. Деловая, быстрая, она успевала все и днем и ночью. В праздники плодородия омывала водой алтари, жертвенные крюки и стоки для крови, острила ножи храмовых служек и золотила одеяния седобородых жрецов, знающих и ханаанский алфавит, и мудреную шумерскую клинопись, и небесные сферы халдеев. Проверяла, натерлись ли блудницы мыльным корнем, смягчили ли кожу кунжутным маслом, крыты ли позолотой их ногти. Хлопая крыльями орлов, изгоняла змей и шакалов из священной дубовой рощи.

В то утро вместе со жрецами обошла хлев, загон для овец, кузницу и гранильню. Осмотрела Дом Брачующихся, где в алебастровых вазах стояли свежие ветви, а на блюде лежали финики и гранаты. Проверила амбар и цистерну с водой, на что-то рассердилась, и сразу засушались жрецы и забежали служки. То ли воды не хватало, то ли зерна, то ли огонь в жертвеннике был недостаточно дымным.

К вечеру служки наполнили цистерну, воскурился сладостный дым, в Священной роще улеглись под старыми дубами тени. По белым керамическим плитам фигуристым шагом прошествовал жрец, узкой хвостообразной бородой похожий на халдея. Храм наполнился гостями, их веселое дыхание колыхало воздух и было слышно от подполья до крыш, шелестело праздничным вкусным сором во дворе и в каждом покое, зудело в рогах, лохматило и вздымало хвосты, раздувало одежды, звенело медными ножами, ухало барабанами из коровьей кожи – боги дождя и грозы, войны и мира, мудрости и военной доблести, боги-врачеватели и боги-кормильцы, повелители мух и саранчи, птиц и зверей, демоны дубрав и горных источников отдавали почести хозяйке, и уже нельзя было понять, ей ли молились прежде люди в звериных шкурах, перед ней они трепетали или перед ее матерью Инанной, или перед матерью матери, Аруру, или перед древнейшей матерью Мамет, память о которой стерлась. И тогда, легко касаясь сандалиями воздуха, Астарта поспешила к мужу.

Ополоснув бороду и чресла, взошел он на крышу ее храма, плоскую и открытую, как в вавилонском храме Иштар. Ждал праздника и начал чувствовать нетерпение. Уже кропили плиты вокруг алтаря благовонным кипарисовым маслом из микенских плошек и сливками от белой коровы из желтых кувшинов. Астарте нужны подарки, корысть, сперма, веселье, а Д-ну жертвенность. Народ его должен быть

богобоязнен и суров. Как знать помыслы жертвующих? Корыстны они или боятся бога? Д-н не читает в сердцах смертных. Понимает он то, что любит, – жертвенную кровь. Близкая по составу к водам всемирного океана, она должна быть горячей, сказано Великой Матерью, что сказано, то сказано...»

33

Дважды в этом месте я прерывался. Тому были причины, но и сам Локтев начал смущать. Что-то в его Д-не было подозрительное. Что это за противопоставление рациональности и чувства? Промелькнуло в нескольких местах расхождение почвенничество. Астарта – это роскошества, свобода, страсти, разврат, а Д-н любит порядок. Народ и Д-н едины. Слишком это было знакомо. Локтев выражался туманно, а в такие времена, как тридцатые годы в Европе, следовало выражаться точнее. Антифашистские высказывания об археологах не показались мне убедительными. Человек может не любить фашистов и при этом не подозревать, что сам – фашист. Впрочем, говорил я себе, теперь все, что не скептицизм, подозревается в фашизме, такое теперь время, обжегшийся на молоке дует на воду.

34

Три месяца Дуля жила дома. Профессор Вернер была права, когда сказала: что вспомнит, то будет с ней. Оказавшись в своей квартире, Дуля мгновенно вспомнила все. Она осторожно ходила по комнате, подходила к кухонной раковине и что-то мыла. Однажды полезла в шкафчик с крупами. Затаив дыхание, я подсматривал, притворяясь, что ищу книгу на книжной полке. Дуля достала гречку, подходящую кастрюлю и сварила кашу. Эту кашу мы съели на завтрак. Я не показал удивления или радости – Дуле не приходило в голову, что тут есть, чему радоваться и удивляться.

Она была все той же. И прежде была неловкой и, сознавая свою неуклюжесть, замедляла движения, точно сомнамбула. И прежде боялась что-нибудь разбить. Никогда не доверяла хрупким вещам и радовалась, когда кто-нибудь разбивал стеклянную вазу: слава богу, не она, теперь одной опасностью меньше. Всегда назидательно говорила: «Меня никогда нельзя торопить». Всегда оттягивала любые решения – что купить, куда пойти или не пойти решала в последнюю минуту, как в последнюю минуту переходила улицу или обходила лужу. Однако неприятную неизбежную работу делала сразу – не оставляла после еды грязной посуды или неубранного стола. Упрощала жизнь по раз навсегда найденному принципу: решения принимать, чем позднее, работу делать сразу. Никогда не могла терпеть обсуждений. Никогда не выясняла отношения. Не знала сомнений. Не помню, чтобы ее тянуло в компании, к развлечениям, даже к телевизору. Освободившись от дел, предпочитала поспать. Словно бы с детства знала, что когда-нибудь ей придется жить почти без разума, и готовилась к этому.

Но хаос неумолимо вползал. Мы сидели за столом, ели, разговаривали, а руки ее в это время совершали странные и бессмысленные действия. Если она видела на столе перед собой два предмета, из которых один можно было вставить в другой, она обязательно это

делала, вставляя грязный стакан в сахарницу или грязную вилку в стакан с соком. Переливала воду и сок из чашки в любой сосуд, куда можно было налить. Деловито засовывала мусор в продукты, а продукты – в мусор. От неожиданности я иногда вскрикивал:

– Что ты творишь?

Она осознавала ошибку, прекращала действие и спокойно отвечала:

– Не нервничай, все нормально.

Неспособность концентрировать внимание не давала оформиться ни одному интересу. Искала какое-нибудь занятие, не понимая, что все они стали ей недоступны. Что-то начинала, тут же уставала, бросала работу, шла в спальню и тихонько ложилась на кровать.

К вечеру, когда спадала жара, мы шли гулять по окрестным улочкам со вздыбленными тротуарами, забитыми припаркованными машинами. Район построили, когда в страну хлынули беженцы из Марокко, всем давали по пять соток с одинаковыми бетонными жилыми коробками. Эти коробки многие перестроили в двухэтажные виллы, разбили газоны и цветники во дворах, поставили на газонах пластиковые столики с креслами. Но некоторые дома остались нетронутыми, опустели и разрушились от времени, заросли олеандром и диким виноградом, спрятались в тени вымахавших и состарившихся кипарисов, гранатов, манго или акаций. На стгнивших подоконниках, верандах и просто кучами у разрушенных заборов валялись ветошь, домашний мусор, старая одежда и обувь вперемешку с перегнившей листвой и плодами. Эти дома почему-то привлекали ее особенно. У нее возникали галлюцинации, она видела среди развалин людей и здоровалась с ними.

В середине мая, через полтора месяца после ее возвращения из «Мальбена», я впервые решился включить телевизор. Для этого очень осторожно выбрал старый советский фильм о войне, который мы уже видели. Полчаса Дуля смотрела с интересом, потом устала и ушла в кровать. Но начало было положено – на следующий день посмотрела второй старый фильм почти целиком, еще через день – всю программу Малахова, а через месяц вовсю смотрела телешоу и фильмы, предпочитая документальные и шарахаясь от стремительных, утомляющих глаза и мозг американских боевиков. К тому времени уже захлеб читала. На полках нашлась с большими буквами «Как закалялась сталь», Дуля перечла роман, не отрываясь, и попросила «Петербургские повести» Гоголя.

Неспособная к быстрым реакциям и сложным ситуациям американских фильмов, она по-прежнему была чуткой к фальши. Простые латиноамериканские сериалы, например, ее нервировали, а игру Янковского в «Крейцеровой Сонате», где жест и интонация говорили больше, чем слова, могла оценить во всей полноте, со всеми оттенками, которые вряд ли способны были воспринять те, кто считал, что ей место в отделении несамостоятельных и слабоумных.

Действовал какой-то закон душевного гомеостаза, вроде того физического, который сохраняет постоянной температуру и состав тела. Я и не заметил, как это случилось: ограничив сферу интересов, Дуля создала условия, в которых оставалась прежней Дулей. Так при военном поражении главнокомандующий отдает войскам приказ отступить и занять те позиции, которые еще можно оборонять. Моя жизнь рядом с ней почти не изменилась – что за важность убрать квартиру, приготовить еду. Главное не это. Рядом с ней я знал, как мне жить.

Поразительно, но так когда-то было и с моими рукописями. Дуля читала их первая, и если ей что-нибудь не нравилось, я переделывал. Она не могла сказать, что именно ей не нравится, я сам обнаруживал в этом месте ложь. Ложь могла заключаться в претензии на силу там, где был слаб, на неуязвимость, где был раним, на иронию, где был растроган, на легкость, где был неуклюж, – все претензии воспринимались ею, как признаки землетрясения, она не могла читать дальше. Другим авторам она прощала больше, чем мне. Их она не знала и потому, изначально доброжелательная и доверчивая, не всегда видела ложь, а меня знала лучше, чем я сам себя знал. Только у нее я мог узнать, какой я есть. Но ведь во мне много чего было намешано, как же она узнавала, где я такой, какой есть, а где не такой? Думаю, дело было в ее неспособности отделять оттенки от главного, в целомством восприятия. Для нее не было второстепенного.

Гуляя по окрестным улочкам, мы забредали все дальше и дальше, доходили до новеньких кварталов в голландском стиле, сразу за кварталами начинался старый эвкалиптовый парк, высокий и сквозной, нагретый за день, источающий тонкий дух целебной смолы. У входа в парк стояла скамейка. Мы отдыхали на ней. Дуля собиралась с силами, прежде чем отправиться в обратный путь, и я забывал совершенно, что она не такая, как прежде.

35

В молодости пойти в кино без Дули было для меня почти то же, что изменить ей. В поселке Тракторного в кино ходили только семьями, как в церковь. И перед телевизором мы теперь сидели вместе. Мы оба любили старые фильмы про войну, молоденьких необстрелянных солдат и девушек, босых летом и в телогрейках зимой. Когда такой начинался, Дуля перед телевизором кричала:

– Иди! Начинается!

В девять вечера по русскоязычному израильскому каналу показывали новости. И вдруг в одном из выпусков я услышал:

– ...американский ученый Лейтен совершил открытие, сравнив череп неандертальцев и *homo sapiens*. Оказалось, что опускание гортани у *homo sapiens* происходило 70–80 тысячелетий назад, за несколько десятков тысяч лет до возникновения разума. Открытие поставило исследователей в тупик.

Я, что называется, подскочил: какой тупик? А Поршнева?!

Неужели и идея Поршнева, как идея Валлона, осталась незамеченной, растаяла в воздухе, не оставив следа?

Потом попала статья в русскоязычной еженедельной газете. Я покупал эту газету для Дули – свадьбы и разводы звезд, интервью, гороскопы, советы сексологов, рассуждения психологов, не отличающиеся по языку от астрологических прогнозов. Четыре страницы о мистических феноменах. И курьезы, житейские, судебные и научные. Уж эта газета печатала только то, что гарантировало ей читательский интерес. И вот среди научных сенсаций оказалась статья о все тех же американских археологах. Лейтен не упоминался, но речь шла об удлинённых гортанях: установлен подлинный возраст человека разумного. Развить гортань могла только членораздельная речь. Значит, миллионы лет назад (видимо, редакторы не подсчитали количество нулей в числе) у людей уже существовал язык общения. Следовательно,

существовал разум. Следовательно, инопланетяне явились на землю, оставили на ней наших предков и улетели назад.

Я не знал, что думать. Пытался понять, что происходит. Я всю жизнь благоговел перед наукой. На что еще было надеяться умному мальчику в послевоенном рабочем поселке, если не на нее? Но что с ней случилось? Ведь это не Локтев, никому не известный писатель. Поршневу и Валлону были учеными с мировыми именами. Почему наука все время проходила мимо ошеломлявших меня идей?

Или их опровергли? Но опровергнуть их нельзя так же, как нельзя доказать: никто никогда уже не узнает, что происходило семьдесят тысяч лет назад, можно лишь предполагать на основании некоторых косвенных данных. Мне кажется вполне достаточным соображение, что если предки человека жили в ритуальных иерархиях, то их внутривидовая агрессивность по Конраду Лоренцу должна была принимать форму стремления к доминированию, это положение дел сохраняется и по сей день, и поскольку стремление к доминированию осуществляется теми же способами, что любой другой вид агрессивности (петухи клюют, собаки кусают), то по нашему сегодняшнему стремлению кричать и говорить мы можем судить о предках человека. Возможно, я неправ. То есть Поршневу не прав. Но ведь уважаемый профессор просто никогда не слышал о Поршневе, уже сравнивавшим скелеты и гортани. Если это так и если, как он сказал, исследователи не могут объяснить свое открытие, почему же простая идея Поршнева не пришла в голову кому-нибудь еще?

Может быть, и приходила, додумался я. Но уже началось другое время, восьмидесятые, девяностые, новый век. Кому-нибудь пришла – он, может быть, удовлетворенно хмыкнул, но публиковать не стал и выбросил из головы. Если принять приемлемые идеи Валлона и Поршнева, это потребует – страшно подумать – уточнения терминологии десятков наук. Ну что такое агрессивность? У каждой науки своя терминология. Юрист, психолог, физиолог, химик и социолог никогда не сговорятся друг с другом в определении слова агрессивность. Даже психологи между собой не договорятся. Но если не выработать общую терминологию, невозможна научная дискуссия. Куда проще создать в междисциплинарном пространстве новую науку и снимать урожай с собственного участка. Социобиология, социальная антропология, сравнительная археология и сравнительная антропология, никто никому не мешает, никаких дискуссий не требуется, мир поделен на территории, как это описывал у животных Конрад Лоренц. Может быть, и сексология уже разделилась на десяток наук. Если еще нет, то к тому идет.

Я всегда робел перед учеными, перед их уверенностью в себе, перед доброжелательной и снисходительной усмешкой, когда я воодушевлялся вычитанными из книг чужими мыслями. Они пожимали плечами: может быть, может быть, почему бы и нет... Или смеялись в лицо: ну сами посудите, вы же умный человек, ну опыляемые цветы красные и платья женщин красные, так что, мы произошли от растений? а животные не произошли от растений? почему же волки не красные в горошек и не желтые в полоску, а серые? У них, между прочим, есть лицевая ориентация, как у нас, но они находят друг друга по запаху, у них релизеры, настроенные на запах, а не на цвет. Между прочим, у человека уже обнаружены релизеры запахов. Да, представьте себе, мы влюбляемся, не подозревая, что, как звери,

приговорены к избирательности этими самыми релизерами. Очень интересные работы сегодня ведутся, уйма публикаций – женщины и мужчины ищут спутника жизни по запаху, хе-хе, вот так-то, дорогой...

Кто я такой, чтобы спорить? Я и сам знаю, что все будет так, как они говорят. Своя рука владыка. Химики тончайшим анализом выделяют компоненты, ради чистоты эксперимента изобретательно исключают все возможные ошибки и непредусмотренные влияния, компьютеры обрабатывают богатый статистический материал, и будет «утечка информации» в глянцевые журналы, в желтую прессу, а то и в программу «Новостей» на каком-нибудь телеканале: «Ученые такого-то университета открыли тайну любви». Еще и таблетки создадут. Они этим гордятся.

Ну не то чтобы гордятся, им, в общем, все равно, но они завоевали себе право с легкой душой отмахиваться от науки, которая ищет истину. Хватит уже, говорят они, любой школьник может создавать теории, которые нельзя проверить, они давно оставили это, они – прагматики. Я сам слышал по телевизору, что ученые Хайфы открыли ген альтруизма. Они что, узнали каким-нибудь образом, что такое альтруизм и эгоизм? Конечно же нет, философия и психология наверняка их не интересовали, они были генетиками, изучили какой-нибудь ген, влияющий на психические установки, пригласили психологов с ближайшей кафедры, те, скорее всего, наспех составили какие-нибудь опросники, провели анкетирование...

Я впал в уныние. Кого заинтересует неизвестный Локтев, если наука прошла мимо авторитетных и знаменитых Валлона и Поршнева? Даже великий Лоренц, получивший Нобелевскую премию через два года после смерти Поршнева, видимо, ничего о нем не знал. Если знал бы, не написал, что внутривидовая агрессивность проявляется в конкуренции, накопительстве и войнах. Впрочем, за внутривидовую агрессивность и ему досталось, и Нобелевская премия не помогла: «Такие этнологи (имелись в виду, конечно, этологи), как Конрад Лоренц, доводили презрение к человеку до того, что приписывали ему – единственному среди всех животных – весьма относительное понятие о запрете, повелевавшем не убивать себе подобных. В недрах самой социобиологии эти утверждения были оспорены такими учеными, как Э. О. Вильсон». Не кто-нибудь написал, а известный ученый и гуманист, властелин дум 80-х Мирчи Элиаде.

Их легко было разбить каждого по одиночке. Книга Валлона была, скорее всего, заблуждением в части ритуальных танцев, Конрад Лоренц ошибся с проявлениями внутривидовой агрессивности, Поршнев едва ли разбирался в тонкостях рефлекторного подражания и мог не придавать ему значения, мог неточно указать возраст той или другой археологической находки, ведь он был хоть и историком, но не археологом. Только вместе, влияя друг на друга, исправляя друг друга, их идеи были способны защитить себя. Они – Валлон, Поршнев, Лоренц и Локтев – должны были встретиться, уединиться, чтобы не мешали умные коллеги, сесть в удобных креслах перед журнальным столиком с пепельницей или за накрытым столом в ресторане и поговорить друг с другом. Приезжал же отец кибернетики Норберт Винер в Россию, чтобы поговорить с биологом Петром Кузьмичом Анохиным, открывшим в живых системах обратную связь. И разговор получился, Винер перенес понятие обратной связи в свою кибернетику, само выражение вошло в европейские и русский языки, сегодня без

него ни ракета не взлетит, ни кофемолку не продашь. А наука... Тот же Конрад Лоренц взял идею обратной связи у Венера, чтобы использовать в биологии, не подозревая о том, что она там и родилась.

Они все могли встретиться, эти хакеры, взламывающие коды природы, они жили в одно время и не так уж далеко друг от друга. Шла Вторая мировая война. Конрада Лоренца, заведующего кафедрой в Кенигсбергском университете (той, которой когда-то заведовал Кант), мобилизовали в действующую армию как врача. Он попал в плен на Восточном фронте. Кто-то из советского начальства дал ему возможность работать в плену, писать и сохранить написанное. Валлон в это время скрывался от гестапо в Париже. Кончилась война, все вернулись к своей работе, все оказались на виду, Валлон вошел министром в правительство де Голля, почему бы им было не встретиться? Их интересовали близкие вопросы, они все принадлежали к поколению, в котором размышления о смысле жизни не казались смешными.

Наука стала другой. Ну и что, что американские ученые, обнаружив опускание гортани, оказались в тупике? Они нормально чувствуют себя в своем тупике. И если ты явишься к ним с Поршневым, они не будут потрясены. Как бы не так. В лучшем случае пожмут плечами: может быть, может быть... Точность определения возраста черепа – и та их интересует больше, потому что это наука, а Поршнев предлагает рассуждения.

Кончилась целая эпоха, длившаяся столетия или тысячелетия. Локтев, Валлон, Поршнев, Конрад Лоренц, как все психологи, биологи, математики, философы, поэты, физики, писатели и религиозные мыслители вплоть до пятидесятых, или шестидесятых, или даже семидесятых годов двадцатого века искали некий объясняющий порядок. Как Ньютон, как Коперник, искали божественный закон, чтобы цепочка причин и следствий прослеживалась до доступного конца. Локтев писал, что в любом хаосе должен содержаться некий еще неизвестный, неопределенный, может быть, даже неосуществимый, но пытающийся осуществиться порядок. Он верил в него, как простые люди верят в судьбу, гороскопы, предчувствия и амулеты. Все, что он писал, было его поиском. То, что на языке эксперта Сергея Павловича было невменяемостью, Локтев видел как вмняемость высшую: человеком управляла некая сила, у которой была своя цель, осознать эти силу и значило быть вмняемым.

Это время вернется не скоро. Любой вопрос, выходящий за рамки узкой специализации, стал восприниматься, как дурной тон. Общие идеи вызывают раздражение, как претензия. Чтобы создать атомную бомбу, электронику, лазеры и прочие чудеса, Эйнштейн и ему подобные не нужны. А что дали диссиденты, все их статьи и жертвы? Они ни на волос не поколебали систему, но система рухнула, когда Рейган предложил непосильную ей гонку вооружений. Любая идея устаревает очень быстро. И Коперник устарел, и Ньютон устарел, и ваш Поршнев, скажут мне, устареет очень быстро, а может быть, устарел уже.

Но Поршнев не историю помогает мне понять, а себя! Почему среди ученых больше любителей гороскопов, чем среди неквалифицированных рабочих и малограмотных крестьян? Почему искусство разделилось на беззастенчивый китч и снобизм? Почему оно вытесняется сферой обслуживания даже в литературе? Почему психологи или обучают, как достичь успеха в карьере, или со своими опросниками и тестами пытаются вписаться в бюрократическую систему?

Какая невообразимая масса печатной продукции выходит ежедневно, читатели проглатывают миллионы и миллиарды печатных слов, неужели ж совсем не имеет значения такая вещь, как самосознание? Всегда имела, и вдруг перестала иметь, что ж так?

Эта газета со статьей об инопланетянах, как когда-то Интернетский сайт о Кожевникове, заставила меня снова усесться за перевод. Я все-таки произошел не от инопланетян.

36

«Сын Д-на не знал отца. Он вырос вдали от жрецов Д-на и блудниц Астарты. Доброе египетское время было неподвижно. Оно и не могло двигаться, иначе где-то прибывало бы, а где-то убывало, а таких резервуаров в мире нет. В нем ничего не менялось и, значит, не имело свойств. Но в нем всплывало, бухало и вскипало второе египетское время – сила, которая создала богов, их жен и детей. Эта сила измерялась работой, которую она производила. Не была ли она сыном неподвижного времени, как он был сыном Д-на?

Ханаанеяне потихоньку врастали в землю, как корневища их злаков. К старости они успевали врасти всеми своими членами, уходили коричневыми телами в красную глину, ветвились в ней сплетениями кровеносной системы, прорастали вглубь пальцами и ногтями, которые росли и после их смерти, стремясь к водоносному слою. Астарта приучала их к рациональности. Ее отношения с ханаанеянами строились по типу купли-продажи: ты мне, я тебе. Ей – жертвоприношения и сперма, она – дождь, уничтожение саранчи, туманы и солнце в меру, исцеление от порчи и от бесплодия, легкие роды. Каждый старался принести в храм жертву побольше, чтобы урожай ему подарили соответственно его затратам. Рационализм Астарты куда последовательнее картезианства. Невозможно представить ее забывшей о выгоде и пользе. Она слепо и тупо уничтожает вредное и сохраняет полезное для вида. Спустя три тысячи лет биологам и в голову не придет искать в ее естественном отборе что-то, кроме рациональности природы.

Рациональность расползается сама по себе как плющ, который цепляется за все, тянется в любую влажную расщелину и зеленеет из нее среди безжизненных камней. От Астарты побеги рациональности дотянулись до ее блудниц. Они все меньше подарков отдавали жрецам и храму, все больше утаивали и оставляли себе – разум побеждал суеверие, оргии и вакханалии сменялись товарообменом и здравым смыслом, восторг – комфортом. От воровства своих работниц хозяйка не оказывалась в убытке. Чем разумнее все устроится на земле, тем больше она даст плодов, и каждое новое поколение делалось разумнее предыдущего.

Всегда брюхатая, Астарта едва успевает родить, как становится брюхатой снова, и этому нет конца. Сколько ни приносят ей жертв, она не может остановиться. Опроставшись тучным потомством, опять таскает новое брюхо и недоступна чувству предела. Не может она сказать своим жрецам: все, наплодила достаточно, земля полна и больше не надо. Нет у нее таких слов. Правдой и неправдой заполучив семя, лелеет его, нагуливает жир, наливается впрок. Если растение погибает от избытка воды или солнца, если зверь погибает от лишнего веса, то Астарте предел не положен. Это ее природа».

Что-то для меня сместилось в тексте. Ну никак это не было похоже на фашизм. Да, Локтев нападал на рациональность, и, конечно, рациональность нужно защищать так же, как нужно защищать политические свободы, права личности, чувство собственного достоинства и что там еще. У меня вроде бы нет на этот счет сомнений. Если ее не защищать, сначала придут тихие, с неземным восторгом в глазах мистики, потом ушлые и умные практичные люди, которым что перекреститься, что лобызать землю, что застыть в позе лотоса – один черт, а потом придет фашизм, который, конечно, будет называться как-нибудь иначе. Может быть, он уже пришел. Я – за рациональность. Но почему-то все, что я в жизни люблю, противоречит ей. Жертвенность, бескорыстие, доверчивость, чувство достоинства, ну, в общем, все. Даже игривость. И я чувствую, что, пытаюсь понять причину этого, иду по дороге, по которой уже прошел Локтев. Мне остается только не упустить его следы.

«Овечка, подпрыгивая на связанных передних ногах, подволакивала задние. Видимо, потому ее и выбрали для жертвы, что охромела. Мягкие губы закапывались в листву и желуди, выискивая под ними зеленую травку. Когда копытце раскапывало особенно свежий зеленый островок и овца впивалась в него, сын Д-на и на своих губах чувствовал вкус трилистника.

Жить ей оставалось мало: служка храма под присмотром жреца полоснет мечом, подвесит над алтарем, и ее тут же облепят тучи мух. В глубине храма жрец и старуха в зеленом балахоне изгоняли злых духов из лежащего юноши. Они взмахивали веточками и бормотали заклинания. Записали их на языке, на котором давно уже не говорили, языке города Ниневии, исчезнувшего с лица земли...»

Язык Ниневии, возникший раньше ханаанского, был шумерским. Шумеры исчезли, на шумерском языке уже не говорили, но его продолжали изучать в школах Вавилона – про школы Ханаана нам ничего не известно. Кто-то метко сказал, что шумерский для древнего Ближнего Востока – как латынь для средневековой Европы: на ней уже не говорили, но ее изучали, культура развивалась и хранилась на латыни. Прослежен путь, например, от шумерских текстов к книгам Ветхого завета. Так появились в Ветхом завете стихи о потопе и происхождении мира, древние шумерские сказания, осмысленные через иудейское понятие греха.

Локтев перевел ханаанское заклинание от порчи и утверждал, что это перевод с древнего шумерского. Тут мы с Дулей застряли. Мы должны были перевести на русский с французского, который был локтевским переводом с ханаанского, который, в свою очередь, был переводом с древнешумерского. Что ж оставалось от оригинала? Мне не хотелось бы, чтобы мое участие в сохранении текстов сводилось к их ухудшению. Я оставил заклинание на французском, с подстрочным переводом Дули.

Это место не давало мне покоя. Я не специалист. Но хоть проникнуться духом незнакомой культуры... И это слишком много, не проникнуться, просто ощутить, пусть и опосредованно через другие культуры... просто понять о чем речь, наконец. В Интернете ничего не нашел, но нашел упоминания о шумерских заклинаниях, выбрал ссылку на часто упоминаемую В. Афанасьеву, стал искать ее, статья отсылала

к «Библиотеке всемирной литературы», тому «Поэзия и проза древнего Востока», долго искал библиотеку, пока не понял, что речь идет не об электронной в Интернете, а об антологии в двести с лишним солидных томов, выпущенной в семидесятые-восемидесятые годы.

На следующий день поехал в городскую публичную библиотеку. Незаметно для Дули сунул в сумку свои тощие московские книжки: вдруг разговор обернется так, что смогу приятно удивить библиотекарша, представившись писателем и подарив свои сочинения.

С пересадкой на центральной автобусной станции добрался до библиотеки за час. В зале, занимающем пол-этажа, стояли стеллажи с десятками тысяч книг. На русском было больше, чем на всех других, вместе взятых, включая иврит. Это были издания последних лет, любовные романы, мистические триллеры, иронисты и то ли детективы, то ли, скорее, опять же триллеры. В основном, переводы с английского, иронисты – русскоязычные. Тоненьких книжек не было совсем, сплошь стояли увесистые тома по шестьсот, а то и по девятьсот страниц – литература, похоже, удовлетворяла новый спрос, объемами соревновалась с телесериалами.

За тремя мониторами компьютерного каталога сидели три говорящих по-русски женщины. Та, к которой подошел, миловидная и интеллигентная, поискав в компьютере «Поэзия и проза древнего Востока», книги не обнаружила, но припомнила:

– «Всемирной литературы» у нас нет, она издавалась, когда нас еще не было, но один дедушка предлагал триста томов – морем перевез из Одессы.

– Как предлагал?

– Чтобы приехали и забрали.

– Так где они?

– А куда их ставить? Триста толстых томов!

– Но у вас тут десятки тысяч томов и тоже не худые.

– Эти читают. А кто будет читать «Всемирную литературу»?

Заметив мое разочарование, пожалела:

– Зайдите через неделю-другую, я попрошу, чтобы он принес ваш том. Оставьте, пожалуйста, номер телефона.

Я не осмелился подарить библиотеке свои книги и выбросил их в ближайший мусорный бак, чтобы освободить место для фруктов, которые должен был купить по пути домой.

Библиотекарша сдержала слово. Позвонил человек со слабым голосом, назвался Александром Семеновичем и сказал, что очень рад помочь, книги у него дома, только они сложены в углу, и он не в состоянии разобрать эту кучу, так что если я располагаю временем...

Александр Семенович жил в районе старых трехэтажных домов, облюбованных русскими репатриантами. В панамке, советской тенниске и полотняных брюках он сидел с другими русскими стариками на скамейке перед входом, увидел, как я взглядом искал на стене номер дома, и угадал, что к нему. В квартире всюду валялось тряпье и детские игрушки, двери в крохотные спальни были открыты, окна тоже, всюду гулял ветер, но не выветривался запах затхлости и средства от тараканов. Книги были сгружены в угловой комнате с закрытыми трисами, пришлось включить голую лампочку под потолком. Тут затхлость чувствовалась особенно, на вспухшем потолке чернело пятно сырости. В рост человека штабелями лежали сотни томов собраний сочинений – Чехова, Жорж Санд, Джека Лондона,

Лескова, Новикова-Прибоя, Брета Гарта, Марка Твена, Теодора Драйзера, Эмиля Золя, Мамина-Сибиряка, Толстого...

Александр Семенович сначала стоял в дверях, потом принес черный израильский стул, сел на него нога на ногу – из штанины, задравшейся до середины икры, сибаритски торчала и покачивалась голая толстая нога в советской сандалиии, – и рассказывал, как его уважали в книжном магазине. Оставляли ему подписку. Он подписывался на все, даже если давали с нагрузкой. Лескова, например, дали в нагрузку за, кажется, Жорж Санд или Майн Рида. Он зарабатывал немного, он был снабженцем фабрики «Красный Октябрь»... Старик сделал паузу, давая мне возможность оценить фирму. Попутно было рассказано, как ценили его на работе. А книги собирал для детей, потому что сейчас нужны образование и культура. Но дети книг не читают, библиотеку не ценят. Соковиче человеческой мысли, вся человеческая мудрость и культура...

По счастью, чуть заплесневевший, присыпанный закишей побелкой том «Поэзия и проза Древнего Востока» оказался сверху, но пришлось еще долго стоять с книгой в руке, слушая разглагольствования старика. Невольно возникала неуютная мысль: единственное, для чего книга понадобилась, – чтобы добавить еще одну к горам невосребованного хлама.

В томе оказались статья и переводы В. Афанасьевой с шумерского, и одно из заклятий было похоже на наш с Дулей перевод из Локтева. Не нужно было знать шумерский или ханаанский, чтобы сразу поверить переводчику:

«Благородная дева стоит на улице, дева-блудница, дочь Инанны, дева, дочь Инанны, стоит у ночлежища. Масло и сладкие сливки она, телица могучей Инанны она, кладовая богатая Энки она, о, Дева! Сядет – яблонею цветет, ляжет – радость взорам дает, кедров прохладой тенистой влечет! К ней прикован мой лик – лик влюбленный, мои руки прикованы – руки влюбленные, мои очи прикованы – очи влюбленные, мои ноги прикованы – ноги влюбленные. Ах, серебром пороги перед ней, лазуритом ступеньки под ней, когда по лестнице она спускается! Когда милая остановилась, когда милая брови сдвинула...»

«Противен Астарте юноша, погибающий от любви к деве, – писал Локтев. – Противна болезнь, при которой он перестает смотреть на храмовых блудниц, приговоренный видением того, чего нет».

38

Марина теперь забегала каждый день, крутилась, старалась сделать что-нибудь хорошее. Каждый раз, заметив улучшение, изумлялась. Вот Дуля сама ходит, вот сварила кашу, вот читает книгу, смотрит телевизор – однажды смотрела пять часов подряд! Марина радовалась не меньше меня:

– Пять часов? Да мне бы дурно стало! Ну, мама! Кто ж знал, что врачи ошиблись!

Никогда она не была так хороша с нами. Ее интересовало все. Однажды даже увидела на столе распечатку «Богов Ханаана», сунула нос, попала как раз на цитату в переводе Афанасьевой, сказала «Ух ты», попросила почитать и утащила к себе, зная, что мне это приятно. А однажды повезла нас в тель-авивский ресторанчик на

берегу моря – у нее было настроение, как у меня после Ульвика и «Ланиадо»: надо торопиться жить. Эта поездка понадобилась зачем-то ей самой. Были какие-то отношения с одним возникшим в ее жизни человеком. Забота о нас совместилась с личным интересом. Это уж у Марины стало рефлексом: времени нет катастрофически, надо объединять сразу несколько дел, убивать одним выстрелом всех.

Дуля ее подвела. Часовую езду в пробках кое-как преодолела, мы вышли из машины в сотне метров от ресторанчика, я держал под руку, прошли половину пути. Рядом, у самой воды, была дискотека, разукрашенный лампочками шатер шапито, перед входом толпилась молодежь, и оттуда рвалась запредельной громкости музыка. Дуля осела на моей руке. Я пытался удержать, но сам не устоял, и мы вдвоем, обхватив друг друга, повалились на асфальт. Шок длился долю секунды, и Дуля пришла в себя. Не понимала, что случилось и где находится. О ресторане уже не было речи. Кое-как, поддерживая с двух сторон, довели ее до машины и поехали домой.

Планы Марины рухнули, мы все были расстроены и раздражены. Но я рассказываю о Локтеве. В этот вечер, забегая к нам посмотреть на Дулю, она принесла распечатку и тихонько положила возле компьютера. Дуля спала, и я не удержался, небрежно спросил:

– Прочла?

Так же небрежно она ответила:

– А это надо читать?

То есть она не только не прочла, она разозлилась на меня за то, что занимаюсь какими-то глупостями. И от этого нельзя было отмахнуться. Марина закончила престижный вуз, на работе читала с листа и с экрана уйму текстов, мудреные инструкции, методики, проспекты, справки и рекомендации на русском, иврите и английском. У нее была привычка к чтению, то есть если день проходил без чтения, ей чего-то нехватало. На тумбочке перед кроватью стопками лежали романы на иврите и английском, кипы толстых журналов со строгими обложками, – говорить о том, что Локтев ей непонятен, уж никак не приходилось. Если ей непонятен, то кому же понятен?

Он был понятен, но не имел права на внимание. Она и в этом оставалась собой, автомобилистом на трассе. Ей так же скучно было вникать в свою психологию, как в устройство своего автомобиля. Если в автомобиле возникала проблема, она обращалась в автосервис, и так же при психических проблемах обратилась бы к психологу. Она была настроена на это. Ей незачем было вникать в Локтева, но она не собиралась вникать и в Карла Юнга.

Она просто пойдет к психологу и заплатит за визит сумму, равную отцовскому пособию по старости. Сядет в кресло и комфортно поболтает о своих проблемах. Будет видеть, что перед ней шарлатан, и это ее не смутит. Как не смущают наукообразные статьи того же шарлатана в глянцевах журналах. Они написаны на языке, понятном ей, и она их читает с пользой для себя. И надо признать, что шарлатан поможет ей больше, чем чтение Юнга и Локтева. Это не ритуал, но это то место, где был когда-то ритуал.

Я уважал в ней это. Она знала, что ей нужно. Ей не нужно было лишнее знание, как не нужна лишняя сложность. Они уменьшают скорость реакций. Кошка не может поймать ртом пролетающего комара, а лягушка может, потому что у нее сигнал от глаза идет напрямую к мышце, минуя мозг. Жизнь Марины требовала от нее скорости.

Это было рационально точно так же, как было рационально дробление науки и ее уход от мировоззренческих вопросов. Но это была странная целесообразность, я чувствовал ее враждебность.

Время вытесняло моих кумиров, они мешали прогрессу. Я еще не пришел в себя после обморока Дули. Ее сразила неимоверно громкая музыка, обрушившаяся на нас из дискотеки. Нельзя безнаказанно увеличивать громкость музыки. Это агрессия. От сильных звуков плачут грудные дети и разбегаются звери. Зачем же владельцы дискотек соревновались друг с другом в нечеловеческой громкости? Ими двигала все та же рациональность: молодежь шла туда, где мощнее были звуковые колонки. Как наркотики требуют увеличения дозы, музыка требовала все большей и большей громкости. Она стремилась к техническому пределу. На этом пределе даже простенькая мелодия не прорезалась, как не прорезается граверная игла на стали, музыка шла стрихами и зазубринами. Простота мелодии тоже стремилась к своему пределу, за которым мелодия превращалась в рев. Все живое, имеющее уши, бежит прочь от такого рева, и в парнях и девочках тоже не мог не возникнуть импульс к бегству, а они преобразовали его в танец. Без импульса к бегству их танец не мог состояться. Не так ли строятся и брачные танцы животных: отталкивание, притягивание, опять отталкивание – два элемента танцевальных па, из которых вяжутся сложнейшие ритуалы. Импульс к бегству играл роль пружины, заставляющей двигаться. Другие пружины ослабли и не работали, векселя Астарты не принимались к оплате, золотой запас истощился, сказал бы Локтев и добавил бы: не Астарта заманивает молодых на дискотеку, а Д-н. Но это был очень опасный импульс. Я подумал, что, может быть, мышление вместо действия – это не самый плохой выход.

Дуля все спала, я сидел перед телевизором, включив его без звука. Показывали какой-то телесериал, часто выскакивала реклама, одна и та же, блоками. Примелькалась женщина, сажающаяся в шикарный автомобиль и закидывающая ноги под рулевую колонку. Каждый раз пытался рассмотреть ноги и каждый раз не успевал. Наконец, сообразил: план взлетающих ног длился меньше времени, чем нужно глазу для осознания картинки.

Вспомнился кинозал в старом тракторозаводском клубе, где перед сеансами показывали хронику. Если показывали новый автомобиль, ГАЗ или ЗиС, на экране двигались шатуны, поршни в цилиндрах и колеса в подшипниках, вращались коленвалы, и меня завораживала эстетика полированной стали, матово блестящей в прозрачном машинном масле. Это был тот редкий случай, когда эстетика воплощала этическую мысль. Новые машины превосходили старые в мощности, скорости, красоте, долговечности, надежности и удобстве. Они должны были сделать жизнь легче, разумнее и счастливее. Зритель видел идею прогресса в чистом виде, диктор растолковывал, чем новая модель лучше старой, иногда на экране появлялась нарисованная стрелка: вот здесь, вот поэтому. Реклама, если это можно было назвать рекламой, обращалась к разуму. Красота была рациональной.

Когда это было? В пятидесятых? Шестидесятых? Теперь машины покупают люди, которые не собираются вникать в технические преимущества и тонкости. Во всяком случае, Марина сменила третью, не интересуясь техническими характеристиками. Опять поехал рекламный блок, опять влетали в автомобиль стройные ноги, и я, наконец, понял, в чем дело: план ног, усеченный на какие-то доли секунды,

был усечен намеренно и квалифицированно, чтобы зритель увидел, но не рассмотрел то, что ему показывают. План длился ровно столько, сколько нужно, чтобы создать в глазу физиологическое раздражение. Оно, в свою очередь, создавало чувство незавершенности, недополученности, а следующий план рекламируемой машины, чуть затянутый, прикреплял чувство недополученности к нему.

От блудниц Астарты требовалось не провоцирование семяизвержения, а невнятность вызываемого желания, сказал бы Локтев. Эта невнятность была обязательной. Она делала желания взаимозаменяемыми. Существовал рынок желаний, и на нем нужен был эквивалент, подобный денежному в товарном рынке. Подобно денежной массе, эквивалент мог заменяться векселями и работать без наличных.

Все было рационально. При этом существовала разница между рациональностью моей послевоенной молодости и теперешней. Тогда под рациональностью мы все, как Петро, понимали удовлетворение потребностей. Поэтому реклама автомобилей обращалась к разуму, а танцы в танцзале этажом ниже шли под негромкую сексуальную музыку. Теперь дискотека и телереклама все обнажили. То, что нам казалось потребностью, было чем-то другим. Петро ошибался. Это шло не изнутри, как физиологическая потребность, а навязывалось извне, как приказ, и отдавшему приказ не было дела до наших потребностей. Возможно, я сейчас пытаюсь выразить не очень привычную мысль. Приказ – слово Локтева. Существуют разные объяснения, в разных масштабах, как выразился бы сам Локтев. Например, есть экономическое объяснение: рыночная экономика должна подстегивать потребительский спрос, иначе наступит кризис. Есть социологическое объяснение: людьми движет социальный престиж (кстати, почему бы здесь не поклониться Конраду Лоренцу?), вещи – символы социального престижа. Есть психологическое: потребительство – сверхкомпенсация или что-то в этом роде. Но почему возникли здесь и сегодня именно эта экономика, именно такое общество и именно такие личности? Локтев попытался понять. Его «приказ» – это, как я понимаю, то, что в сегодняшних науках о хаосе называется аттрактором – состояние системы, притягивающее к себе все случайные состояния, благодаря чему в хаосе возникает порядок. Впрочем, лучше я процитирую Локтева.

39

«Эту болезнь лечили заклинаниями. Готовили состав из молока священной коровы, сливок и масла, помещали его в желтый алебастровый сосуд, и влюбленный юноша должен был окропить составом грудь блудницы. Имеет смысл обратить внимание на форму поэтического высказывания. Оно строится по обычному для шумерских заклинаний шаблону: вначале описание демона, вызвавшего болезнь, далее описывается течение болезни и в конце – способ исцеления. В данном случае демон – дева-блудница, которая всюду, кроме одной строки, обозначается просто девой. Симптомы и течение болезни – то, что потом так неудачно называли любовью: одна из провокаций становится сверхценной и подавляет другие провокации. Пять тысяч лет назад это считалось болезнью. Более того, существовало понимание, что болезнь неизлечима, как порча, и легче приворожить девушку и таким образом успокоить обезумевшего юношу, чем сделать его здоровым. Заклинания и ворожба – вполне рациональные, даже

научные действия для людей тех лет. Это останется вершиной разума и в Вавилоне, культурной столице мира (оттуда Пифагор привезет к себе на родину математику, астрономию и астрологию). Когда ассирійцы разорят Ханаан, когда потом эту землю захватит Вавилон, с любовным безумием дело будет обстоять точно так же.

С этих глиняных табличек начинается письменная история борьбы Астарты с тем, что мы называем любовью (в Вавилоне имя Астарты прочитывается по-вавилонски: Иштар). Богиня плодородия создала безупречный порядок продолжения рода: провокация исходит из организма, который требуется оплодотворить. Проверенный в самых разнообразных вариантах, порядок работал миллионы лет. И вот случился сбой: провокация перестает работать, некая случайная связь закрепляется и блокирует все остальные варианты, рационально предусмотренные Астартой. Это не годится. Когда наступает время, самец должен оплодотворять ближайшую свободную самку. Все, что препятствует этому, уменьшает вероятность продолжения рода. Учитывая многообразные случайности, стоит только допустить уменьшение вероятности, как она снизится до нуля (и в самом деле, через пару-другую тысяч лет появились идеи целомудрия, безбрачия и святости). Ничего подобного не было в мире живых тварей, пока не возникли существа, у которых глаз заменил нос. Запах безусловен, видимое таковым не является. Там, где должны были начинаться действия, у этих существ стали возникать мысленные представления. Разница между сигналом и представлением о нем такая же, как между Владыкой и его представителем в отдаленной провинции. Самцы стали принимать образы за сигналы, и все пошло кривь и вкось.

Она не сразу поняла, кто ей противостоит. Она боролась. На ее стороне был разум, который всегда на стороне физиологических удовольствий и свои усилия направляет на то, чтобы человек удовлетворял физиологические потребности за наименьшую плату. Вначале поведение людей казалось противоречивым, но понятным: удовлетворяя одни потребности, они создавали препятствия на пути удовлетворения других. Как правило, социальные потребности удовлетворялись за счет сексуальных. Возникли, к примеру, племенные запреты. Сыну запрещалось совокупляться с матерью, потом с сестрами. Эту партию Астарты проворонила, но вывод для себя сделала: любые запреты – это вызов ей. Племенные запреты сменились нравственными, религиозными и социальными. Рационализм Астарты разрушал их один за другим, показывая людям их условность. Но стоило развенчать один запрет, как люди воздвигали вместо него другой. Астарта разрушала другой – воздвигался третий. Она поняла, что имеет дело не с запретами, а с препятствиями: можно развенчать все запреты, показать их условность и отменить, а препятствия останутся.

На протяжении последующих двух с половиной тысячелетий Астарты рационально и последовательно устраняла препятствия. Какие препятствия есть у хозяина гарема или у феодала с его правом первой брачной ночи? А вот поди ж ты, уследи – возникли турниры в честь Прекрасных Дам, и юноши стали умирать от ран, посылая угазающие взгляды дамам сердца. Астарта развенчала всю эту куртуазность, на земле начали строить царство разума, рыцарские турниры ушли в прошлое вместе с рыцарями и трубадурами. Прекрасных Дам сменили вполне обаятельные и доступные земные создания. Люди же стали совершать вертеровское жертвоприношение в честь этих

земных созданий. Стреляться от несчастной любви стало модно. Поэты и драматурги сделали властителями дум. И все они стали служить так называемой любви, исключительно любви мужчины и женщины.

Что она может сделать, богиня плодородия? Она может сделать рациональными чувственность, похоть, физиологическую потребность, строение тела мужчины и строение тела женщины. Она строит все более и более рациональные общества. Ее блудницы со сверхъестественной чуткостью реагируют на любое изменение сексуального спроса. Половой акт уже вроде бы не преследует цель продолжения рода и сохранил смысл лишь удовольствия (Астарта пошла и на эту временную уступку, чтобы не потерять все). Если акт не направлен на деторождение, то важными становятся не оплодотворение, а ласки. Блудницы делаются игривыми. Их ласки становятся сложными и странными. Их цель – отдалить оргазм, протянуть путь к нему чем дальше, самое лучшее – чтобы семени не было совсем. Бедр блудниц делаются все уже и уже, груди – все меньше и меньше. Жрецы Астарты все чаще вместо блудниц нанимают мальчиков. Те становятся все более гибкими и шаловливыми, они уже переняли у блудниц страсть рядиться в яркие рубашки и умело избегают конфликтных ситуаций. Молодые жены стараются голодными диетами придать себе внешность мальчиков, а с возрастом, став жирноватыми и гладкими, желают сделаться такими, как мужья. Матери обучают их не услугам блудниц, а деловой и сексуальной инициативе. Ну что еще простая провинциальная богиня может сделать?

Тот, кто когда-то был ее мужем, уже не помнит Астарты, и она не помнит его. Его храмов уже нет. В засыпанных временем развалинах Сидона и шумерского Ура, в курганах ханаанских долин лежат отдельные камни. Камни когда-то были цельными глыбами, но теперь они расколоты, разбиты и продолжают превращаться в валуны, гальку и песок. Память о Нем стерлась. Но Ему не память нужна, а жертвенная кровь, как Астарте нужна сперма. Напившись, он затихает и уходит в песчинки бывших своих храмов, как вода средиземноморских пляжей. Он ничего уже не знает о живых тварях, рациональности и разуме. Кто-то невидимый бросает и бросает двугранную кость, выскакивают нули и единицы, бегут и бегут цепочки цифр, возникают и исчезают их осуществленности, и если когда-нибудь какой-нибудь Астарте или другому созданию удастся построить порядок, это будет означать, что исчезнет разница между нулем и единицей, мир сделается неопределенным и время перестанет производить работу. Но этого не может случиться, потому что, даже став галькой и песком, второй член этой супружеской пары будет ненавидеть порядок, как собственную энергетическую смерть. Тот, Кто, однажды бросив кость, создал Астарту, стремящуюся к порядку, следующим (или предыдущим) броском создал существо противоположное, стремящееся к хаосу. Так, по счастью, легла кость. В этом масштабе Тот, Кто играет в кости, – отец людских богов, всех этих Астарт, Молохов, Ваалов, Зевсов, Диан и Афродит, Иегов и Инанн, а при следующем увеличении масштаба в поле видимости появятся и сами люди, которые получат Астарту вместе с ее мужем, нуль вместе с единицей, разум в одной упаковке с импульсом безумия, и будут бежать от хаоса к порядку, от неопределенности к определенности и от незнания к знанию, пока не ляжет нулем или единицей уже летящая в следующем броске кость».

За год до того, как Дуля попала в «Гилель Яффе», я напечатал в одном московском журнале маленькую статью о Локтеве. Она называлась «О допсихологическом существовании человека». Мне хотелось привлечь внимание к Локтеву, а возможностей почти не было никаких. О других своих попытках я не рассказываю. За год не получил ни одного отклика. И вот в конце лета 2006 года из редакции журнала переслали электронное письмо:

«Уважаемый г. Елизаров! Я всегда с большим интересом читаю Ваш журнал, сохраняющий лучшие традиции великой русской литературы. Всегда благодарен Вам лично и всей редакции за высокий уровень публикуемых произведений. Именно эти чувства позволяют мне выразить некоторое недоумение, связанное с публикацией в номере втором 2005 года статьи, автор которой пропагандирует взгляды господина А. Ф. Локтева. Этот господин по неопровержимым данным, проверенным мной лично в рассекреченных архивах ГПУ ...ской области, в 1941-1943 годах занимал должности сначала члена, а потом главы городской управы города ...евичи ...ской обл., после чего был направлен на повышение в областной центр. Он был предателем родины, на его совести много загубленных жизней. Не в моей компетенции оценивать, был ли он ученым. Однако, мне кажется, каков бы ни был его вклад в науку (мне лично не известный и из цитат не вытекающий), пропагандировать труды гитлеровского палача и предателя родины значит оскорблять память жертв нацизма и всех наших героев, отдавших жизни за победу в Великой Отечественной войне.

С уважением, Лев Авраменко, ветеран войны, председатель Еврейского общества «Никто не забыт, ничто не забыто».

Был вечер, звонить в редакцию было поздно. Огорошенный, я не находил себе места. Дуля спала. Куря в ванной, я набрел на спасительную мысль: советский разведчик Локтев выполнял задание в тылу. Я знал о таких случаях. Знал даже больше, чем писали об этом: советские разведчики, чтобы войти в доверие к немцам, вынуждены были иногда участвовать в карательных операциях. Но что делал разведчик в каких-то забытых Богом ...евичах где-то в Беловежской пуще? Какую информацию он мог там собрать? Нет, этот вариант показался неправдоподобным. Если уж решили посылать Локтева с заданием, то послали бы куда-нибудь в Сирию, в Палестину, во Францию, в Германию, наконец.

Кто он был, Локтев? Почему издал книгу в Париже 38-го года на французском? Зачем псевдоним, если в тексте встречаются имена реальных Томаса и Курта? Зачем они вообще, эти Томас и Курт, зачем публиковать книгу с нескромными замечаниями о живых людях, когда эти замечания можно просто вычеркнуть без всякого ущерба для текста? Я смог придумать лишь одно объяснение: книгу публиковал не Локтев, а кто-то другой, с согласия Локтева или без согласия, спасая таким образом неподготовленный к печати черновик. Например, органы могли арестовать Локтева, хранитель рукописи сам ожидал ареста, да мало ли что могло быть!..

А если Локтев в самом деле сотрудничал с гитлеровцами? Мало ли как могли сложиться обстоятельства, а у него немецкий язык, европейская культура, его могли заставить. Если он не выполнял задание разведки и действовал на свой страх и риск, он наверняка старался

остаться человеком. Но можно ли было остаться человеком? В самом деле, что я знал о Локтеве, кроме текстов? Гитлера приветствовали и Гамсун, и Гауптман, у них тоже были хорошие тексты... Нет, решил я. Одно дело немецкий писатель у себя дома, в тылу, отгороженный от мира забором и прислугой, и совсем другое – оккупанты в Белоруссии, где погиб каждый четвертый. И тексты Гамсуна и Гауптмана не похожи на тексты Локтева. У них – почвенничество, тяга к иррациональному и смутным ощущениям, мистический туман, их тексты как раз подозрительны. Люди могут быть гуманистами в идеях, но тексты заставляют усомниться в их гуманизме. Локтев старался быть предельно ясным, додумать мысль до конца, не боялся выглядеть бесчеловечным и жестоким, наверно, он не был гуманистом, но тексты его говорят, что он не мог быть с гитлеровцами, и если этот Авраменко нашел какие-то подлинные документы, я не поверю в их подлинность, а поверю в подлинность прозы. Я не мог обмануться в ней.

В мысли должно чувствоваться усилие, вот в чем дело, понял я. Только это усилие и делает прозу подлинной. Усилие Локтева – это движение от неопределенности к определенной. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не мог стать подлецом. Подлость – это душевная болезнь неопределенности, у нее все признаки душевной болезни – отсутствие критики, мания величия, блеф. Это смутность самоощущения, душевный хаос. Проза преодолевает хаос, это усилие нельзя симитировать.

Я помнил локтевское: «Я эхо». Однажды мы с Дулей видели телесюжет о маньяке, серийном убийце детей. На экране человек в форме следователя рассказывал о законченной операции. Тележурналисты не показали ни одной фотографии, пощадили телезрителей, то есть нас с Дулей. Дядька в погонах, с невыразительным и заурядным лицом, сдержанно рассказывал, как мальчику отрубили пальцы, а мальчик считал, что его наказывают на какую-то провинность, плакал и обещал, что больше не будет. Дуле стало плохо. Я держал в руке стакан с водой и плеснул ей в лицо, чтобы привести в чувство. А сам весь остаток вечера не находил себе места, и если бы был Бог, в этот вечер я попросил бы только об одном: не надо пожизненного заключения, не надо расстрела, дай вцепиться зубами в горло и грызть, сплевывая хрящи и кровь. Эхо Локтева – это, повторяю, не поэтический образ, не метафора, это природа человека, физиология, мы повязаны. И если Локтев видел, как деловито устанавливают над яром пулемет, как приводят кучку измученных людей, среди них матерей, прижимающих детей, заставляют всех раздеться и встать спиной к пулемету, лицом к яру... если бы... если бы он в это время... это бред, абсурд, большое воображение, даже мысли об этом не может быть.

На следующий день дозвонился до отдела публицистики. Завотделом, знакомый только по переписке и коротким телефонным разговорам Игорь Дубровин сказал:

– Я решил переслать вам письмо, потому что вы интересуетесь Локтевым. Скорее всего, этот Авраменко поторопился и не проверил свои факты, как следует. Я вам советую пока не принимать всерьез. Мы этим заниматься ну просто не имеем возможности, но я могу дать вам электронный адрес и телефон этого Авраменко, ему почему-то очень хочется наладить с нами контакт, наверно, сам пишет что-нибудь.

Лев Нисанович Авраменко обрадовался звонку. Говорил он невыносимо медленно, с большими паузами. Начало разговора вышло

довольно-таки дурацким, получилось что-то вроде спора о том, оскорбляет моя статья память жертв нацизма или не оскорбляет. Лев Нисанович явно получал от этого спора удовольствие и не позволял от него уклониться. Наконец как-то разобрались с этим и перешли к сути:

– Но почему вы решили, что это тот самый Локтев, о котором я писал? Загляните в Интернет – Андреев Федоровичей Локтевых много!

– Два человека из города. Я умру, уже никто не вспомнит.

– Лев Нисанович, позвольте выразить вам искреннее, глубочайшее... но почему вы уверены, что это тот самый Локтев?

– Секунду. Я разговариваю с вами и одновременно смотрю... вот. Андрей Николаевич...

– Андрей Федорович!

– Андрей Николаевич Писаренко, он же Андрей Федорович Локтев, тысяча восемьсот девяносто восьмого года рождения. Ордер на обыск и арест. Подпись: начальник оперативного отдела Бухман, восемнадцатого второго сорок первого. Протокол обыска... Вот: книга конторская, заполнено 95 страниц чернилами фиолетовыми... книга конторская, заполнено 92 страницы... Вы меня слышите?

– Да, да!

– Книга, автор А. Ф. Локтев, «Холм Астарты»... Правильно?

– Астарты...

– Книга на иностранном языке... тут на иностранном языке...

– Андре Тевлок?

– Погодите... похоже.

– Что это за список, Лев Нисанович? Это то, что конфисковали?

– Думаю, что да.

– Значит, Локтева арестовали перед началом войны?

– По документам этого не видно. Был он арестован или нет – я при этом не присутствовал. Мне тогда было тринадцать лет. Но то, что городским головой был Локтев, это я знаю так же точно, как то, что я Лев Авраменко.

– И что он, городской голова, делал?

– Ну что я могу сказать? Я был пацан. Как драпанул в лес, так больше в местечке не показывался.

– Вы раньше сказали, город.

– Две тысячи человек.

– Вы сказали, жив еще кто-то?

– В нашем возрасте сегодня жив, завтра не жив...

Лев Нисанович, однако, назвал имя – Борис Григорьевич Мелак, адрес в Тель-Авиве и номер телефона.

Борис Григорьевич Мелак жил в хостеле, десятиэтажной коробке на берегу моря – гостинице для неимущих престарелых одиночек и семейных пар. У него была комната с балконом, туалетным блоком и кухонным тупичком, где стояли газовая плитка, настольный холодильник и электрочайник. Передвигался по своему жилью он с помощью ходунка, а чаще – цепляясь руками за предметы, потому что до всего в комнате, в том числе до алюминиевой оконной рамы и дверного косяка, можно было дотянуться рукой. Крепкий, высокий, худой, только согнутый колесом вокруг своей алюминиевой треноги. Как пострадавшему в Катастрофе, но не прошедшему концлагеря, ему была положена умеренная помощь – бесплатная помощница на девять часов в неделю. Помощница жила близко и забегала дважды на день,

не ведя счет времени, русская женщина, закончившая торговый техникум в Донецке, хорошенькая, худенькая, быстрая, услужливая, бегала в соседний супермаркет, на такси возила Бориса Григорьевича в поликлинику, вела его хозяйство, готовила, убирала квартиру, стирала, помогала искупаться, и было явно видно, что с этой женщиной, Людочкой, старику повезло. Оставалось непонятным, как она успевает все это сделать за девять часов в неделю, но вот успевала и даже, вроде бы, не торопилась: мы сидели втроем перед телевизором и пили холодную воду из запотевшей бутылки со льдом, которую Людочка вытащила из морозильника, разбавив лед водой из крана. Каждый несколько минут она заставляла старика делать глоток, он беззлобно ворчал, но подчинялся.

Телевизор все время был включен – шла война, двадцать шестой день, новости без перерыва сменялись репортажами, репортажи – комментариями или интервью с военными, врачами и обитателями бомбоубежищ, и интервью не отличались от новостей, потому что велись прямо с тех мест, куда падали ракеты «Хизбаллы», – одна ракета упала за спиной журналистки, ведущей свой репортаж с улиц Хайфы. На лице журналистки промелькнула довольная улыбка, она даже не обернулась посмотреть, попал ли взрыв в кадр, но, наверно, оператор, снимающий ее, показал, что попал, и промелькнувшая улыбка адресовалась оператору, от профессиональной удачи голос журналистки зазвенел. Ее звали Аней, она была молоденькой, худенькой и похожей на Людочку даже прической, только волосы ее были черные и блестящие, а у Людочки каштановые и тусклые.

– Где-то упало совсем близко, – сказала Аня так, словно сама эту ракету нацеливала. – Мне подсказывают, это стоянка машин на соседней улице, дыма мы пока не видим... нет, мне подсказывают, уже есть, сейчас вы его увидите, это прямым попаданием подожжена частная машина. Сейчас после рекламы мы повторим обращение службы тыла к жителям Севера...

Реклама не исчезла, война ее не отменила, она, прежняя, довоенная, возникала каждые четверть часа – высказывали и крутились красавицы с взлетающими прическами, немолодые сангвиники, пожирающие колбасы «Зогловек», и в фартуках – предлагающие чистящие средства «Сано». И снова была блудница Астарты, взмахом худых ног рекламирующая новый автомобиль.

Борис Григорьевич, скособочившись на заправленной простышкой диван-кровати, не отрывал глаз от экрана и вел свой военный комментарий. Он воодушевился, получив второго слушателя вместе с Людочкой. Иногда матерился, и тогда Людочка стеснительно поглядывала на меня. Комментарий был вполне по делу: нельзя победить «Хизбаллу» одной авиацией, потому что ракетные пусковые установки, достающие до Хайфы, весом и размером с велосипед, приводятся в действие на расстоянии, уничтожить их с воздуха нельзя, сверхточные «умные бомбы» слишком умны для такой войны, они могут уменьшить жертвы среди мусульман в Ливане, но не защитят евреев в Израиле. Рано или поздно придется начать наземную операцию, решил Борис Григорьевич, и начать ее следует с десанта в районе Триполи. Борис Григорьевич что-то, видимо, смыслил: несколько разведок боем захлебнулись, новые противотанковые ракеты «Хизбаллы» прошивают танки, как картонные, генштаб к этому не подготовился, войну начали рано и неправильно, теперь ничтожные, бесхарактерные политики, которые

по глупости своей надеялись обойтись авиацией, боятся отдать приказ пехоте и танкам: будут жертвы, все они на близких выборах полетят со своих мест. Политиков Борис Григорьевич ненавидел всех и о шейхе Насралле говорил более уважительно, чем о своих.

Людочка, наверно, слушала это не один раз, она оцепенела перед экраном, бледная и выкатившая глаза, — ее сын Вадик служил в танковых войсках, он только-только закончил курсы, был одиннадцатым в списке выпускников, а в части, входящие в Ливан, взяли с курсов десятерых, так что Вадик был следующим на очереди.

— Он с ума сходит, — сказала Людочка, — он рвется в танк, ни о чем другом не говорит.

Журналисты смаковали с экрана выражение, возникшее в войну с Саддамом Хусейном, — «война в прямом эфире». В самом деле, черноволосая Аня прямо с улиц Хайфы связывалась с журналистами на передовой, те засекали камерами запуск ракет с зеленых склонов Ливана и проводжали их движение по небу, пока они не исчезали за близкими деревьями и не раздавался звук взрыва. В Хайфе мчались по улицам в разных направлениях амбулансы с душераздирающим воем своих сирен, иногда мелькали желтые жилеты спасателей, но кого спасали и кого везли, было не видно, и оттого новости воспринимались, как американский киноевент, отстраненно, хоть Насралла намекал, что ракеты вот-вот начнут падать на Тель-Авив.

Надо было спешить домой. Дуля осталась одна. Мама с сестрой тоже остались одни на четвертом этаже в самом центре города. Они уже тысячу раз слышали по телевизору указания, что им делать по тревоге: выскакивать на лестничную клетку и прижиматься к северной стене. Мама, самостоятельная и упрямая, всегда делала больше, чем надо: держала в кармане халатика теудат зеут и еще какие-то бумаги, чтобы выскочить с ними. Наверно, хотела облегчить опоздание в случае прямого попадания. С ней я разговаривал по телефону каждый час, кроме того, она была не одна, а позвонить Дуле было невозможно — разучилась пользоваться телефоном, кричала в трубку «Алло!», а сама ничего не слышала. В этот день Насралла обещал ракетный обстрел Нетании. Вероятность, что ракета попадет прямиком в наш дом, была ничтожной, но сирены воздушной тревоги, но паника... Дуля могла вновь сорваться в психоз. Я теперь не оставлял ее одну, и жалел, что решился на эту поездку. Но как можно было не поехать — таких трудов стоило разыскать изменившийся адрес Бориса Григорьевича, так обрадовался, что, наконец, нашел и старик жив, старик так бодро зазывал, и Людочка, взяв трубку, присоединилась...

— Он никогда не рассказывает про это время, — тихо, чтобы старик не услышал, заметила Людочка. — Не вспоминает. Не может. Он такой. Он у нас вояка.

...евичи сгорели без свидетелей. Единственный, кто мог дать свидетельские показания, Борис Григорьевич Мелах, все забыл. «Бессознательный отказ помнить компрометирующие обстоятельства», говорил когда-то Сергей Павлович. С травмирующими «обстоятельствами» случилось то же. Ну и слава Богу, подумал я.

Зато старик помнил про Петра Антоновича Двигуна, директора сельской школы, ставшего командиром отряда. Людочка знала его рассказы наизусть. Их было мало, три или четыре. Даже новому незнакомому гостю Борис Григорьевич успел дважды рассказать, что после войны Двигун обнял его и сказал: «Ты, пацан, должен учиться».

Рассказ был подозрительно литературен. Другие рассказы были в таком же духе. Интерпретация вытеснила содержание памяти и помнилась теперь она.

Но это была не вся память. Существовала память тела, и опять, как когда-то в здании суда Заводского района, в «силовом поле» случилось короткое замыкание, речь старика сделалась несвязной, движения — вялыми, и те, кто слушал, я и Людочка, оказались подключенными к напряжению, прошлое потекло через нас. Тело Мелаха помнило лай немецкой овчарки и вздрагивало, словно собака все еще летела в прыжке. Там была вторая, маленькая, яростная, голосистая, трусливая дворняга. Овчарка была на толстой железной цепи. Между ней и телом мальчика, висевшего на руках, оставался метр. Этот метр доводил зверя до иступления. Оно передавалась непривязанной дворняге. Она иногда осмеливалась вцепиться в штаны. Скулила, получав удар босой ногой, отлетала и снова, разогрев себя истеричным лаем, бросалась на врага.

Враг проник на ее территорию. На этот раз он не пах бензином, как рокошующие звери с огненными глазами, изредка пробивающиеся по проселку среди непроходимого заболоченного леса к старому двухэтажному дому, коровнику с одной коровой и пустому лошадиному стойлу. Дом был старше низкорослого ивового кустарника, он вырос вместе с соснами и от рождения впитал запахи хвои, коровьего навоза и хлеба. Овчарку однажды отвязали, но она, опьянев от свободы, напугала корову, лишившуюся со страха молока, и больше ее с цепи не спускали. Цепь доставала до проселка там, где у колодца торчал недосягаемый старый пенёк, овчарка встречала машины лаем, бросалась им под колеса, отскакивала в последний момент, рвалась к людям в форме, и однажды чей-то выстрел перебил ей заднюю ногу. С тех пор она зауважала людей в форме, пахнущих машинным маслом и самогоном. Тот мальчишка, прижавшийся к трухлявой ограде на краю болота, пах кислым потом и мочой. Когда собаки отвлеклись фарами «Эмки», полоснувшими по глазам, мальчишка подпрыгнул, ухватился руками за нижнюю ветку старой сосны и каким-то нечеловеческим или, наоборот, высокопрофессиональным гимнастическим маховым движением закинул ноги на ветку, обдирая щиколотки в кровь. Собака в прыжке успела тяпнуть за пятку, но понял он это только дня через два.

Остановившись, «Эмка» погасила огни и затихла. Их нее вышли двое и поднялись по крыльцу в дом — женщина и мужчина в форме с офицерской фуражкой. Водитель, наверно, остался в машине. Лай собак привлек его внимание. Через некоторое время он, видимо, вылез из машины и приблизился, чтобы посмотреть, что происходит. Или их было двое. Во всяком случае, водитель или кто-то другой на всякий случай прошил темноту короткими автоматными очередями. Собаки замолчали. Мальчишка решил, что они убиты, но нет, они вернулись, сконфуженные, в конуру. На крыльцо вышли офицер и хозяин в косоворотке и штанах, заправленных в сапоги. Офицер спросил водителя, очевидно, о причине стрельбы. Тот уже стоял возле машины и объяснил, показывая на собак.

Борис Григорьевич забыл, на каком языке офицер разговаривал с водителем. Забыл, что сказал офицер хозяину и что ответил хозяин. Предупредил ли офицер, чтобы собак убрали подальше от места, где прячется человек? Так или иначе, на следующий день овчарка исчезла. Ее лай слышался где-то близко, метрах в десяти, по другую сторону от проселка и колодца с бадьей на цепи.

Старик семидесяти восьми лет, согнутый колесом, но, видимо, в молодости очень высокий и широкоплечий, с большими руками, наверно, не случайно остался моложавым воякой, азартным и неугомонным. Его рассказы о партизанском командире, бывшем директоре школы, отдавали молодецким обожанием лихого батьки-атамана. Такие молодцы рождаются оптимистами. Это не уничтожишь, расстреляв семью и сжигая запертых в амбарах людей. Борис Григорьевич был неглуп и достаточно культурен, когда поражался своей необъяснимой детской доверчивости. Пережитый кошмар не уничтожил, а увеличил ее. Он был уверен, что офицер и хозяин убрали собаку, чтобы он мог приблизиться к дому. Он явился в дом на следующий день, когда хозяин был один. Поднялся по крыльцу, такой, какой был, ковыляя на здоровой ноге, и сказал, кто он и что случилось со всеми. Его не сразу напоили и накормили. Никто не промыл и не перевязал его раны. Его ни о чем не спрашивали и ничего ему не предлагали. Сунули кусок хлеба со стола, вытолкнули за дверь и заперли ее на засов. Но на следующий день он явился снова, как будто его ждали. Он сказал:

– Здравствуйте, это я, Боря.

Он не допускал мысли, что ему не помогут или что его выдадут. Он поселился на задворках стариной шляхетской усадьбы семьи – фамилию он навсегда запомнил – Литвинчук.

– Литвинчук?!!

– Николай Николаевич и Зинаида Сергеевна.

Он сам обеспечивал себе тепло и ночлег, но когда он стучал в дверь и входил, ему давали хлеб, а когда он свалился с температурой, его поместили в заднем углу какого-то сарайчика, выходили и оставили жить там, продолжая делать вид, что они о его существовании не знают. Человек в офицерской фуражке появлялся раз в неделю на «Эмке», говорил по-русски. Все трое были угрюмыми людьми. Появлялись и партизаны – они-то были похожи на оккупантов, все забирали, застрелили овчарку, чуть не расстреляли хозяев, увели корову, но это последнее, что запомнилось, в этот день он ушел следом за коровой и партизанами в отряд Белькевича и больше этих людей не видел. У Белькевича его гнали, потому что евреев брали только с оружием, а у него не было, он не уходил, говорил, стреляйте, не уйду, как-то повезло, он еще хромал, но забрел к лесному озеру, там купались немцы, и, подкравшись к берегу, украл немецкий автомат и с ним вернулся в отряд, а когда начались облавы, они все однажды снялись с места и ушли, не разбудив его одного, он проснулся – никого нет и слышны голоса овчарок, как в кино, потом прибил к Петру Двигуну, те были настоящие, ходили к Бобруйску, поезд под откос пустили, он был с ними до сорок четвертого, так что успел и повоевать. Локтев? Это был городской голова, Локтев Андрей Федорович, его именем подписывались приказы, развешенные на стенах управ. Был ли он тем самым офицером в «Эмке»? Возможно. Помогал ли он партизанам? С чего бы? Но вообще, кто знает. Расстреливал ли лично? Борис Григорьевич о том ничего не знает. Кого это тогда интересовало? Лично, или не лично, или еще там что-нибудь... Зверствовал его заместитель «Офицер», Василий Савицкий, это да, это все знали. Когда заместитель зверь, начальнику зачем самому зверствовать? После войны Савицкого разорвали собаками. Не собирались, но он побежал, и собаки накинулись.

А бегать от собак не следует, вспомнился Бунин. У Бунина побежал мальчик. Тот самый мальчик, который побежал у Достоевского,

когда генерал приказал спустить собак. Алеша Карамазов, услышав об этом, крикнул: «Расстрелять мерзавца», и брат Иван одобрил: «Браво, схимник». Бунин, видимо, слишком лично пережил и потому забыл источник впечатления. А что от собак бегать «не следует», этот псевдомужественный тон получился у него в духе Локтева времен «Виолончелистки».

Эдингтоновская «стрела времени» перестала действовать, время остановилось. Хотелось верить, что партизанские собаки были неумелые и злые, что они долго и с перерывами рвали этого дядьку, прежде чем он перестал чувствовать боль.

Что же стало с городским головой, с полесскими затворниками Литвинчуками Николаем Николаевичем и Зинаидой Сергеевной, с русским в немецкой офицерской фуражке?

— Дом стоит, — сказал Борис Григорьевич, — даже колодец стоит, его только надо почистить. Я съездил в девяносто шестом, надеялся кого-нибудь найти. Там никто не живет. А тот дом стоит. Приезжали с «Беларусьфильма», снимали фильм по Тургеневу, дом подкрасили и кое-где подновили. Прежние хозяева то ли умерли, то ли сгинули.

Старый партизан хотел их найти и благодарить за то, что спасли ему жизнь, но не нашел.

— Хотел их оформить как праведников мира, которые спасали евреев. Чтоб пенсия и деревце в парке Яд ва-Шем. Может, Авраменко их оформил, — сказал он.

— За что? — вскинулась Людочка, отрываясь от моби́льника, по которому уже некоторое время безуспешно названивала. — За то, что немцам не выдали?

— Ты-то что можешь об этом знать, — отмахнулся Борис Григорьевич.

— У Илюши один человек двух братьев спас, выдал за своих сыновей, все соседи знали и молчали.

Непонятно было, отчего она возмутилась. Может быть, Борис Григорьевич, равнодушный к добру и злу, мало ее ценил, может быть, страх за сына сделал немного сумасшедшей, а может, нервничала оттого, что не могла дозвониться.

Обратно в Нетанию меня забросила ее сестра. Эта молодая женщина с мужем, оба полненькие и свеженькие, мчалась в Кирьят-Шмону на своей «Мицубиши» выпуска начала девяностых годов. Их друзья организовали добровольный фонд помощи старикам, прятавшимся в бомбоубежищах: покупали в супермаркетах и везли продукты. «Мицубиши» тоже была забита пакетами, в основном — упаковками с минеральной водой. Из-за них еле удалось втиснуться на заднее сидение.

— Этих стариков бросили на произвол судьбы, — сказал муж сестры. — Одинокие и нищие, которым некуда было уехать. Мы на обратном пути прихватим двоих-троих.

— Мы тоже их не возьмем, — возразила жена. Она вела машину, а муж рядом с ней разбирался с ворохом бумаг и иногда звонил по моби́льнику. Он удивился:

— Почему?

— Возьмем тех, кто с маленькими детьми.

И стала рассказывать, каково детям в бомбоубежищах, где живут по несколько семей.

— Такие среди наших попадают сволочи. Дети подерутся между собой, и они тут же бросаются защищать своих. Готовы всех убить ради своего ребенка.

Как только что Борис Григорьевич, она возмущалась «своими», а не Насраллой. Враги были не персонифицированы и не индивидуализированы. Это была стихия.

— И куда вы их привезете?

— У нас приятель через Интернет наладил систему. Все в центре страны, кто может взять к себе, посылают телефоны и адреса.

Хотелось сказать этим людям что-нибудь хорошее, но что я мог придумать? В машине был включен приемник, настроенный на русскоязычный канал. Все передачи были связаны с войной, и кроме первой фразы, сказанной мужем про брошенных стариков, больше никто ни слова не сказал про правительство. Сообщили о гибели четырех танкистов в подбитом российской ракетой танке, и все замолчали. «Мицубиши» ползла в уличных пробках Тель-Авива, и в соседних машинах тоже слушали радио и молчали. Возле железнодорожного вокзала я удивился:

— Поедем по приморскому шоссе?

— Четвертая дорога сейчас, наверно, забита резервистами. Доедем до Зихрон-Якова, там свернем.

Вырвались за город. Уже стемнело, машины летели с включенными фарами. На встречных полосах из Хайфы в Тель-Авив, отделенных бетонным парапетом, во всех трех рядах машины едва ползли, чуть ли не упираясь бамперами друг в друга. Это уезжали с севера страны, из зоны обстрела, поняв, что война затягивается.

Муж в это время разговаривал по мобильнику на иврите, обсуждал с кем-то, какая дорога сейчас загружена, а какая нет, спрашивал, что нужно везти, ему сказали:

— Воду сколько можешь.

— Нам надавали каких-то одеял там, всякую ерунду...

— Вези воду.

На подъезде к Нетании скорость машин снизилась. Где-то далеко впереди, видимо, начиналась пробка. Муж опять куда-то звонил, узнал, что пробка на приморском шоссе тянется от Нетании до самого Зихрон-Яков, и решил свернуть на 57-е шоссе, заметив при этом:

— Молодцы северяне. Если б запаниковали и разом кинулись на юг в первые дни, они бы все военные коммуникации парализовали.

«Мицубиши» взлетела на мост, и через два светофора меня высадили на 57-ом, в километре с небольшим от дома. От шоссе я шел по строящейся дороге, по меловому гравию, накатанному бульдозерами под асфальт. Справа была бензоколонка с придорожным мини-маркетом, слева стояли вековые эвкалипты и начинались коттеджи зеленой, в кипарисах и пальмах, окраины.

Почему Ольга Викентьевна никогда не говорила мне о полесской родне? Почему коренная ленинградка и ее мордовский муж после войны приехали в Белоруссию?

Локтев наверняка не случайно оказался в полесской глуши перед самым началом войны. Он искал Литвинчуков, когда Ольга Викентьевна была уже, скорее всего, арестована, ее отец, Викентий Литвинчук, — расстрелян, а его самого искало НКВД. Хотел скрыться в глуши, пересидеть. И опять был обыск, и даже конфискация. Наверно, арестовали, но, возможно, сбежал, не дожидаясь ареста. Мог сбежать и после ареста. В хаосе начала войны заключенные разбежались, опасаясь расстрела в последний момент советской власти. Его могли освободить немцы.

41

Дуля оставалась дома одна. Не вытерпела, вышла на улицу, но от калитки отойти не решилась. Стояла и высматривала меня. Лицо было спокойно:

– Я спала. Только недавно проснулась, так что не успела начать волноваться.

– А почему телевизор не смотришь?

– Что-то у меня не получилось включить.

Еще бы получилось: она продолжала путать дистанционный пульт с телефонной трубкой. Но все равно была молодец.

Нет, врачи не ошиблись. Я это видел каждый день. И чуда тоже никакого не случилось. Просто рядом со мной Дуля вела себя, как разумный человек. Для этого не нужно было разума. В девять часов уселись в кресла и смотрели выпуск новостей. «Новости» теперь начинались с траурной музыки и портретов погибших за день. С каждым днем количество портретов увеличивалось. Счет пошел на десятки. Портреты сменились военной хроникой, ее сменил шейх в чалме, жестикулирующий кистями рук на уровне лба, и неожиданно прозвучало: «Нетания». Хизбалла переносила огонь все глубже и глубже в центр страны.

В день, когда кончились военные действия, у мамы остановилось сердце. Она сидела в кресле после того, как нянечка Таня накормила ее обедом. Прошло с полчаса, и вдруг она начала хрипеть. Голова сползла к подлокотнику. Мама потеряла сознание. Вокруг беспомощно прыгала Таня. Лена впала в ступор и только мешала. Прожив в стране пятнадцать лет, обе ни слова не знали на иврите, не могли вызватьambuланс.

Еще год назад мама хорошо слышала и достаточно видела, чтобы смотреть телевизор. Она должна была обсуждать со мной политику и знать все подробности про правнуков. И вот в последнее время потеряла интерес ко всему. Глаза видели по-прежнему, уши слышали не хуже, а она говорила, что ничего не видит и не слышит. Я догадался: она перестала концентрировать внимание. Как Дуля. Их обоих делал разумными только интерес. Мне казалось странным, что он сосредоточивался в основном на телевизоре, а не на самосохранении, как у животных. Мамин угасал медленно, мама долго сопротивлялась, а потом сдалась. Она сдалась тогда, когда не с кем стало делиться впечатлениями: у меня оставалось все меньше времени на телефонные разговоры с ней.

Только интерес ко мне еще держался. Всегда помнила, звонил я или не звонил. Сидела у окна, выходящего на людный перекресток в центре города, и ждала звонка.

В «Ланиадо» ее спасли. Она вернулась домой. Я приезжал к ней дважды в день, оставляя Дулю одну. С Дулей тоже творилось что-то нехорошее. О чем она думала, ожидая меня часами? Не читала, не смотрела телевизор, не спала... Мне казалось, когда за мной закрывается дверь, она проваливается в хаос.

В один из этих дней она поразила меня вопросом:

– Где Нема?

Я не понял:

– Кто?!

– Нема.

– А я кто?

– Не знаю...

– Дуля, милая, дорогая, что ты говоришь?! Я же Нема!

– Нет...

Мне стало жутко: только что, поднявшись с кровати, она проходила в ванную, в другую комнату, выходила на один балкон и другой, что-то все искала, я видел это, но не придавал значения. Мало ли что она могла искать. И теперь не сразу поверил в свою догадку, неправдоподобную, невозможную: она искала своего мужа Нему и тосковала о нем, но деликатно не хотела показывать свою тоску симпатичному постороннему человеку, за которого меня принимала. Нужно было время, чтобы это осознать: я раздвоился в ее представлении. Тот, реальный, кого она видела, то есть я сам, был хорошим, но чужим, к чему-то ее принуждающим. И был другой, с кем она прожила жизнь, и она хотела снова оказаться с ним в своей той, прошлой жизни. Для этого нужно было найти его, этого Нему, который никогда ее ни к чему не принуждал, с которым жилось легко. А он запропастился неизвестно куда.

– Нема, – очень тихо позвала она.

– Что? – откликнулся я.

Она удивленно посмотрела, увидела, что смотрю вопросительно, и смущенно сказала:

– Ничего.

Впервые с этим столкнувшись, я сам чуть не сошел с ума, вопил плачущим голосом, наивно апеллировал к логике: рубашка, очки, джинсы – это же я! Марина – наша дочь, Гай и Нина – внуки! Тыкал рукой в диван, стол, полки и напоминал, как мы вместе ездили по мебельным магазинам и покупали все, как строили второй этаж, показывал фотографии...

Почему-то это показалось катастрофой. Как теперь жить? Если она не будет доверять мне, как себе, жизнь станет невозможной!

Завела речь о том, что ей пора домой.

Куда?!!

Начала собираться. Сжалось сердце, когда увидел, что она берет с собой: старую лохматую телефонную книжку, мобильный телефон, карандаш, заворачивает все в бумажную салфетку, оглядывает комнату, как бы проверяя, не забыла ли что-нибудь, но взгляд пуст, как у ребенка. Она не ищет вещи, а ждет, что нужная вещь каким-то образом сама о себе заявит...

– До свидания, – вежливо сказала она.

Я загородил собой дверь, бил себя в грудь:

– Я, я Нема!

– Тебе до Немы знаешь сколько, – саркастично сказала она.

У нее для таких чувств и языка-то своего не было, всплыло детское выражение. Я оторопел, не зная, что надо делать, чувствуя: дальше будет хуже. Она еще была вежливой, но в глазах уже появилась ненависть. В это время к нам поднялась Нина. Я обрадовался, бросился к ней за подтверждением:

– Скажи бабушке, кто я!

– Дуля! – завопила Нина, тараща глаза. – Это же Нема, мой дедушка!

Для наглядности обняла меня. Дуля смотрела с недоумением, засомневалась... Нина включила телевизор, усадила ее в кресло перед ним, Дуля увлеклась диспутом на телеэкране, и через какое-то время, не оборачиваясь, крикнула:

– Нема, который час?..

В эти же дни позвонил старик, назвавшийся другом Бориса Григорьевича. Бдительно уточнив, что говорит именно с тем, с кем надо, перешел к делу:

– Вы интересовались Петгом Двигуном?
Я торопился к маме и плохо соображал:
– Кем?
– Петгом Двигуном.
– Кто это?
– Как? Это командыг пагтизаньского отряда Петг Антонович Двигун...
– Нет, это не я, вы ошиблись.
– Богис сказал, что интегесовались.
Я, наконец, включился:
– Локтевым. Я интересовался Локтевым.
– А кто это – Локтев?
– У вас архив?
– У меня дневники писателя Литвинчюка Николая Николаича.
– Простите, вы – Семен Яковлевич...
– Я Шимон Иако...
– Шимон Иакович, дорогой, меня мама сейчас ждет, ей девяносто восемь лет, я должен бежать, вы не можете сказать мне номер своего телефона, я перезвоню вам сегодня?!!

Я выучил номер наизусть, но так и не позвонил. Спустя две недели у мамы остановилось сердце второй раз, она снова попала в больницу, врачи решились поставить стимулятор, и в ночь накануне операции мама умерла.

На следующий после похорон день на меня свалилось много забот. Я перевозил сестру в дом престарелых, сидел в очередях разных учреждений и, наконец, должен был освободить от маминых вещей съемную квартиру. Это оказалось труднее, чем я думал. Закончилась столетняя жизнь нашей семьи – папы, мамы, московских бабушки и дедушки, моя собственная и дулина тоже. Я приезжал в квартиру и оказывался перед грудками одежды и белья, книжными и кухонными полками, десятком килограммов старых фотографий, посудой и множеством других вещей, историю каждой из которых помнил. Ходил по комнатам, обнажившим свою убогость, наступал на какие-то бумажки – то рецепт, то чек, то открытка, взгляд натывался на какую-нибудь катушку черных ниток, обкусанную, почти использованную, привезенную из Минска пятнадцать лет назад.

Наша жизнь осталась в вещах, в этих катушках ниток, халатиках, квитанциях, которые мама не выбрасывала, не зная языка. Там была отдельная полка моих книг, журналов с моими публикациями, и оказалось неважным, что написано, – в самом деле, по-настоящему неважным мне самому, как всю жизнь не имело значения для нее, – она не воспринимала мысли, не знакомые ей в пятнадцать лет. Немногие поделки, сделанные для ее удобства, какие-то полочки, держатели, поручни, подставочки, – в них было больше нашей с ней жизни. Жизнь закончилась, и я стал остервенело запихивать ее оболочку в пластиковые мешки. Надо было торопиться, и оказалось, что мама умерла всего меньше недели назад, я еще чувствовал ее. Несколько мешков с платьями, кофтами и халатами отнес за квартал, оставил у входа в благотворительный магазин. Посуду и кухонную утварь сложил в картонные коробки и отнес к мусорным бакам. Туда же пошли книги. Погрузил в чемоданы фотоальбомы. Бригада старьевщиков забрала холодильник и стиральную машину, за это сволокла вниз и старую, когда-то подобранную на улицах мебель.

В последний день, присев среди голых стен с дырками из-под дюбелей, потянулся к телефонному аппарату проверить, отключила ли станция линию, и вспомнил, что должен позвонить владельцу дневников Литвинчука. Линия работала. Серо-голубая трубка была захватанной местами до черноты – это были следы маминых рук, результат ее многочасовых разговоров со мной. Не было сил выйти и навсегда закрыть за собой дверь. Вспомнив номер, я еще не знал, что не позвоню по нему. С трубкой в руке неожиданно подумал: не буду звонить. С этим все. Не буду читать чужие дневники, не стану тратить душевные силы на проникновение в чуждую жизнь. Моя жизнь здесь, в этой комнате, это мама, это ее кофточки, катушка ниток и бабушкин сервиз на двадцать четыре персоны, из которого остались супница и две-три щербатые тарелки.

Отсоединил телефонный аппарат, сунул его в сумку с другими вещами, которые взял с собой, – какие-то документы, письма, пачка стирального порошка, новогодние поздравления из Минска, кремы, мамин гребень с колтуном ее волос, который не поднялась рука ни почистить, ни выбросить, – набралось две спортивные сумки, тяжелые, как ведра с цементом. Запер дверь, внизу зашел в магазинчик и отдал все ключи хозяину, оставив свой телефонный номер на случай каких-нибудь неучтенных платежей или почты.

Почему в языке так близко прощение и прощание? Дотащил сумки до станции, и, привычно наблюдая, как выстраивается очередь и как она потом ломается потными людьми, правдами и неправдами пролезающими вперед, не испытывал возмущения, – это была моя жизнь, так же как эти тяжелые сумки с копеечным добром, оставшимся у меня, как наследство. Я чувствовал себя неудачником, но на своем месте. Во всяком случае, любое другое казалось мне неудобным.

Спустя полгода все-таки решил найти дневники Литвинчука. Записанный наспех номер Шимона Иаковича забылся, бумажка потерялась. Позвонил Борису Григорьевичу. Тот умер. Потратил уйму изобретательности и труда, отыскивая знавших его, а у них пытаюсь что-нибудь узнать об Андрее Локтеве или Литвинчуках. В сороковые годы люди еще вели дневники, писали друг другу длинные письма, и их дети иногда хранили эти полустертые бумаги вместе с фотографиями неизвестно для чего, как я сам хранил фотографии родителей, не в силах выбросить.

И вот что-то нашел. В круге людей, связанных с памятью о Петре Двигуне, некто Славич перевел на компьютерную дискету дневники своего отца. Этот человек сам был стариком, сделал он это потому, что отец его, Микола Славич, в начале пятидесятых выпустил книгу стихов, и сын посчитал, что дневники – литературное наследие, принадлежащее народу. Он обрадовался, что нашелся человек, согласный прочесть, и прислал текст по электронной почте.

Дневники произвели тягостное впечатление. Они заранее предназначались потомкам. Автор это скрывал, но стиль выдавал. Впрочем, натаскивая себя на возвышенное, сам Микола Славич считал это своими подлинными чувствами, а себя – предельно искренним человеком:

«Утром вышел – все лужицы покрыты ледком, а на дороге, по которой я пришел, следы от моих сапог – белые, в них набралась вода и замерзла. Белые на черной торфяной грязи, они были как буквы на листе бумаги. Это книга жизни, которую я пишу. Надо прожить жизнь так, чтобы строчки были ровными и прямыми.

Я стоял на крыльце и думал о земле. Сколько следов принимала она в себя, и были эти следы то шрамами, то сыновней лаской, и она всех кормила, безответная, терпеливая...

Читать было неловко, словно наблюдал за нехорошим делом. Даже имя Микола вместо паспортного Николай покорило. Я подумал, что Николай Федоров для Наума Кишкельмана не многим лучше, но все-таки лучше, это не обязывает, а снимает ненужную обязанность, и кроме того, псевдоним мне предложили в редакции, как обязательное условие публикации, а Николай назвал себя Миколой сам.

Абзацы «чистой поэзии» – любовь к земле шла по этому разряду – чередовались с заметками о втором секретаре обкома Зенковиче и первом секретаре райкома Наталье Двигун, о заседаниях райкома, о скрытых обидах («Мне пришлось на ночь глядя возвращаться домой, но я подумал, что еще недостойн, еще ничем не заслужил перед народом и партией, и, кроме того, старая Михаловна тоже пошла пешком, и как только я подумал, что все правильно, на душе стало легко, и я увидел лунную ночь...»), слишком назойливо все эти секретари аттестовались замечательными людьми, а односельчане «тружениками» и «труженицами», встречалось и такое: «его отличало глубокое понимание жизни простых людей». В то же время нельзя было понять, приходится Наталья Двигун какой-нибудь родственницей легендарному Петру Двигуну, или нет.

Сквозь мусор лукавой и натужной лирики пробивались приметы жизни в разрушенной деревне среди болот. Там неподалеку перед войной начали торфяные разработки, работали женщины и дети, норма у них была – тысяча торфяных кирпичей в день на человека, десятки тонн земли, вынутой со дна черенковой лопатой.

Дневники рассказывали о тех 48-49 годах, которые я помнил. Молодые односельчане поэта, скорее всего, подались в Могилев и Минск, кто-нибудь работал на Тракторном, и дети его стояли в одних очередях со мной за мукой и хлебом. Я вырос среди вчерашних деревенских, не зная, откуда они пришли, чувствуя что-то сырое, голодное, безрадостное, наползающее на строгую геометрию первых, немецкими пленными построенных кварталов. Впрочем, я чувствовал наоборот: геометрия прямых углов напознала на округлую бесформенность холмов. Это бульдозерное достижение было первым моим эстетическим чувством. Оно так и осталось во мне. Став писателем, я завидовал всем, способным воспринимать эстетику ветвистую и утонченную, как японские икебаны. А для меня эстетика рухнула под напором хлынувшей из разрушенных деревень бедности, дощатых сарайчиков под толем да исподнего белья на веревках поперек всех дворов. Но это к слову.

Нигде в дневниках не упоминались годы войны, ни слова не было о Литвинчуках и Локтеве. Я написал старику теплое письмо. Для этого не пришлось насиловать себя, лишь чуть-чуть преувеличил то, что и в самом деле во мне было. Попросил сообщить, если старик узнает что-нибудь о бывшем городском голове Андрее Федоровиче Локтеве.

Месяца через три получил электронное письмо:

«Уважаемый г. Федоров! Виктор Николаевич Славич сказал мне, что Вы собираете материал об Андрее Федоровиче Локтеве, и дал Ваш e-mail. Я тоже собираю материал об этом человеке, и мы могли бы обмениваться им. Сообщите, с какой целью Вы собираете материал, если можно – подробнее. С уважением, Степанкова»

В этот день Дуле снова показалось, что я – не я, засобиравлась «домой», пытался успокоить, было уже темно, она рвалась к двери, не пускал, она оскорбляла, даже замахивалась, это длилось часа два, пока не довела себя до изнеможения. Паника сменилась апатией, уговорил лечь, подчинилась, а взгляд оставался подозрительным. Догадался, что надо перестать уговаривать и просто попросить прощения. Она счастливо улыbnулась и мгновенно уснула, а я, конечно, не мог ни спать, ни читать, решил посмотреть почту и увидел письмо. Просьба Степанковой сообщить, зачем собираю материал, была типично советской, напоминала ведомство Кожевникова, но мне нечего было скрывать.

«Уважаемая г. Степанкова! У меня есть издания книг А. Ф. Локтева «Холм Астарты» («Светоч», Берлин, 1924), небольшой отрывок рукописи, «Боги Ханаана» на французском языке под псевдонимом Andre Teylok и несколько листов с заметками. Письменным биографическим материалом не располагаю. С уважением, Федоров (Кишкельман)».

Утром прочел ответ:

«Дорогой Наум! Как я рада, что ты нашелся! Клянусь, что-то мне подсказывало, что это ты! Я – Таня Кобзева. Надеюсь, ты еще не забыл Ольгу Викентьевну Кобзеву и ее дочь! Сажусь писать тебе подробное письмо. Столько всего надо рассказать! Таня».

Дуля проснулась веселой и доверчивой. Я спросил:

– Помнишь Ольгу Викентьевну?

– Конечно, помню.

– Получил письмо от ее дочери.

– От Тани? Молодец, нашла тебя. Что она пишет?

– Просто написала, что садится писать большое письмо. Напишет – читаем.

– А где она?

– Не знаю.

– Как Ольга Викентьевна себя чувствует?

– Она умерла.

– Что ты говоришь! – равнодушно сказала Дуля. – Ах, да.

Танино письмо пришло недели через две.

«Дорогой Наум! Не знаю, с чего начать. Я знаю, что ты писатель. Мы читали твои рассказы в «Новом мире», и я подумала, что это, наверно, ты. Кто еще мог описывать наш Заводской район тех лет? Мама говорила, что ты обязательно будешь писателем. Извини, но она сказала: «Он слишком хороший человек, чтобы быть хорошим писателем». Она тебя любила.

Мама не убивала Толю. Я не могу объяснить ее признание на суде. Но эксперт, если ты помнишь его, Сергей Павлович, был уверен, что она не убивала. Впрочем, ты, конечно, помнишь, он ведь родственник Фариды, и я, дура, давно должна была поблагодарить за то, что Фаридка тогда договорилась с ним, и маму держали на экспертизе целый месяц, это лучше, чем в следственном изоляторе. Она была немного верующей, может быть, поэтому покалась. Или ты не согласен со мной? Столько лет прошло. Наум, я не знаю! Мне кажется, не убивала. Ты писатель, ты, наверно, разбираешься в психологии лучше меня. Мой муж сильно пил, лечился, кодировался, и когда он прочел твою повесть об алкоголике, который вышел из больницы, кажется, в «Знамени», он сказал, что ты, наверно, подшитый, потому что очень все правдиво. А я ему сказала, что никогда не поверю, что ты спился, просто ты умеешь понимать людей. Я права?

Несколько дней, как я приехала из N. Я должна тебе сказать, что Андрей Федорович Локтев – мой отец. В N я этого не сказала. Этого вообще никто не знает, только Володя и вот теперь ты. Мне нечего стыдиться отца. То, что он был городским головой (очень недолго) – так ведь назначили, и многих, кого за это посадили, потом реабилитировали. Все обвинения против отца строятся на одном убийстве, а именно партизанского связного Аркадия Савицкого. Они основываются на свидетельстве Василия Савицкого. Этого Василия после войны недаром затравили собаками. Он был настоящий палач, на его совести личные расстрелы. Он был заместителем отца. Это он после жуткой смерти Аркадия ходил по избам, рыдал и рассказывал, что Локтев заманил брата-партизана в ловушку, застрелил и сжег труп. Но были люди, которые видели, как горящий в костре человек поднялся, пробежал несколько шагов и рухнул мертвый. Были люди, которые хоронили, они видели тело. Тогда все знали, что Василий ударил брата сзади поленом по голове, а потом живого отволоч и швырнул в костер. Отец не мог этого сделать физически. Он был маленький, щуплый, почти слепой, а братья Савицкие оба – громадные великаны, бугаи. Теперь никому не интересно, как было на самом деле. Кто-то первый написал, что отец, остальные списывают. Володя говорит «не бери до головы», тоже герой, понимаешь, забыл, как я с ним хлебнула. Но теперь грех жаловаться.

В N мне сказали, что сохранились дневники Николая Николаевича Литвинчука. Может быть, их еще найдут. Я не смогла. Ты, может быть, знаешь, что Литвинчук – девичья фамилия мамы. Николай Николаевич мне двоюродный дедушка. Думаю, что когда арестовали маму и дедушку, Викентия Николаевича Литвинчука, отец понял, что его тоже арестуют и расстреляют, и скрылся. Думаю, он знал, где живет Николай Николаевич. Он надеялся перейти границу с Польшей. Он знал немецкий и французский, как русский. Он был очень одаренный человек.

Я видела архивы, мне способствовал в начале девяностых бывший начальник отца, он много сделал для рассекречивания архивов, святой человек. Николая Николаевича и Зинаиду Сергеевну тоже собирались арестовать перед войной, на них были доносы из ...евичей. Там в лесу сохранился дом Николая Викентьевича Литвинчука, моего прадеда. Николай Николаевич хотел жить в доме своего отца. Он был специалистом высокого ранга, торфяником, и перед самым вторжением в Польшу там начались разработки торфяного карьера, он там работал не записала кем и жил в N, а когда пришли немцы, поселился в том доме. Это был партизанский край, там были огромные леса и болота, в которые немцы не совались, кое-где всю войну продержалась советская власть. Некоторые мне говорили, что там была по сути гражданская война. Вот в какую ситуацию все они попали.

В архивах мне показали документ, что партизаны казнили за измену родине папу, Николая Николаевича и Зинаиду Сергеевну. Но кто видел виселицу, кто зарывал трупы? Почему надо верить оперативным данным, засекреченным, рассекреченным, все равно? Тогда и доносам надо верить? А теперь приготовься услышать невероятную историю. В 48-м мы приехали в Минск, потому что мама хотела увидеть папу. И она его видела. Ты не помнишь пленных немцев, которые строили улицы Щербакова, Клумова (доктора-партизана) и Промышленную в нашем поселке? Папа работал там вместе с другими военнопленными под именем Рихард фон Калер. Он выдавал себя за немца-солдата. Их потом всех отправили в Германию. Больше мама

ничего о нем не узнала. Я тоже пыталась, уже теперь, и тоже ничего не узнала. Наверно, тебе, писателю, это проще, хоть, честно говоря, что изменится оттого, если я узнаю, когда и где он умер?

Ответ мне сразу, получил письмо или нет. Просто сообщи – получил, а потом будешь думать, и напиши о себе и Дуле. Мне даже не верится, что я тебе пишу. Я предлагала написать книгу об отце двум писателям, они сказали, сегодня это никому не интересно, не время. Интересно, когда же было его время? И раньше было не его, и теперь. Володя говорит, раньше как раз было его время, а теперь оно просто ничье. Честно говоря, мы трудно живем, и годы, их не сбросишь. Да, еще: ты однажды подарил маме альбом акварелей Садовникова, на одной из акварелей виден дом и даже окна квартиры, где жили дедушка, бабушка и мама, так вот, я его нашла. Он стоит, как стоял. Если ты не захочешь написать книгу об отце, это не важно. Я не для этого тебя нашла. Вот написала, и немного легче. Надеюсь, ты мне напишешь.

Да, и еще. У меня есть два письма. Папа написал их маме. Может быть, тебе пригодятся, если будешь писать книгу. Я сняла копии. Теперь все.

Напиши про Дулю. Привет ей. Привет от Володи. С уважением, Таня Степанкова.

Умница моя! Поскучай у стариков еще неделю-две. Раньше никак не получится. Нужно достать деньги. Взял продукты из кооператива, те, что не портятся, сахар, муку, привезу. Сейчас нужно срочно внести 350 р., иначе потеряем право на квартиру. Каз. Ст. обещал одолжить 200 до октября, нужно еще подзанять 150, а время такое, что в городе остались только, у кого ни копейки, вроде меня. Кашкин задерживает гонорар, обещает в сентябре, но все пойдет на долг Каз. Ст. Так что кручусь. Видел Кожевникова, кланяется тебе, а я целую ручки. Жутко скучаю, как сказала бы Лизабет. Твой Andre

Ни тебе, ни мне от этого легче не будет. Наоборот, мы еще только сильнее расставим рану. Я провалился в яму и смотрю теперь из нее, как из могилы. Оказывается, есть любовь за гробом. Нам говорили, а мы не верили. Я безумно люблю тебя. Голова еще не утратила способности думать, но она существует как-то отдельно от меня. Она говорит, что нам не нужно видеться. Мне только одно нужно – знать, что вы с Танюшей живы и здоровы. Я вам ничем не могу быть полезен, и это мне горше всего на свете».

Я не судья ему. Я не был в его положении. Надеюсь, он всегда оставался человеком, эхом мира, как он говорил. Надеюсь и верю. К сожалению, для издателей этого недостаточно. Никто не издаст книгу автора, о котором ничего не известно, кроме того, что он был городским головой при Гитлере. Неизвестно, когда и где он умер. Существуют авторские права, существуют наследники, могут существовать наследники за границей – мало ли что может быть. Как говорится, в обозримом будущем Локтева не издадут. Единственное, что я могу – написать эту книгу. Пусть Локтев останется в моих цитатах, а не в цитатах Кожевникова. Рукописи его будут храниться на дискете, об этом я позабочусь.

Когда мы купили нашу развалюху с садом, в нем не было забора. Напротив дома на пустыре рос кустарник. Я выкопал несколько ростков и посадил живую изгородь. Один куст оказался над канализационной

магистралью и попер из земли с неимоверной силой. К тому времени, когда поставили блочный забор, он был выше человека. Стволы торчали из земли пучком. Их приходилось все время отрезать. В конце концов остался один, то есть куст принял форму дерева. Блочная стена мешала дереву, и ствол все больше и больше от нее отклонялся, рос под углом. Это представлялось иллюстрацией приспособления: форма дерева определялась внешними условиями, близостью стены. Дерево ветвилось, и дважды в год приходилось отпиливать ножовкой нижние ветки. На каждую такую рану дерево отвечало выбросом ветвей в других местах. Упорное его стремление занять побольше места стало меня раздражать. В тени его кроны уже можно было ставить машину. В доме надстроили второй этаж, а оно поднялось до крыши и закрыло окно, выходящее на улицу. Оно было вечнозеленым, круглый год сорило старыми листьями и с весны до конца осени хищно пускало свежие побеги. Когда я отрезал лишние, приходилось выволакивать из палисадника на соседний пустырь целый воз. Ствол, если его можно назвать стволом, потому что состоит он из частей уцелевших веток, приобрел причудливую форму арки. Под этой аркой мы проходим от калитки к дому. Из горизонтального, толщиной с туловище человека, участка ствола растут вертикально вверх (все иные я отрезал) толстые ветки, каждая из которых – ствол для более молодых и тонких. Веток стало слишком много, а заниматься ими стало некогда. Они уже воюют друг с другом, одни душат других.

Это экспансия в чистом виде. Когда-то такое впечатление возникло от раковых клеток, угнездившихся в теле Дули. Тогда оно было враждебным и страшным. С тех пор я сжился с ним: жизнь это экспансия. В дереве целесообразно все. Целесообразность подразумевает цель. Мы привыкли считать целью приспособление, но это тавтология: жизнь приспособляется для того, чтобы приспособиться. Возникнув из ростка размером в ладонь, дерево стремится заполнить все окружающее пространство. Первоначальное отклонение ствола у стены, казавшееся приспособлением к среде, можно воспринимать иначе: экспансия идет во всех направлениях одинаково, она ограничивается сопротивлением среды, для моего дерева – блочной стеной. Можно, конечно, сказать, что не имеет значения, считать это приспособлением или экспансией, что от головы до хвоста или от хвоста до головы – один кот. Можно считать, что оба взгляда одинаковы. Так, в молодости, садясь в поезд, я смотрел в вагонное стекло и вдруг замечал, что вокзал поплыл назад. Секунду спустя соображал, что вокзал остался на месте, а стронулся с места поезд. Для этой поправки нужно было изменить осмысление той картины. То же произошло с деревом: его изменения я считал приспособлением, а потом стал считать экспансией, и тогда приспособление стало выглядеть сопротивлением среды. По этому второму взгляду дерево самопроизвольно создавало само себя. Я отсекал иной раз половину кроны, и дерево немедленно отвечало строительством нового порядка. У растения не было какого-нибудь заранее задуманного плана. Оно «знало», что в ответ на недостаток влаги надо сбрасывать часть листвы, а в тени надо тянуть ветви к солнцу. Простое биохимическое «знание» существовало в его клетках. Каждая клетка стремилась к экспансии, и, не встречая сопротивления среды, заполнила бы весь мир. А в своей совокупности клетки представляли собой систему – дерево. Возникая из хаоса, система сама создавала состояние, при котором ее экспансия оказывалась самой успешной.

Это было исходным мироощущением Локтева. Универсальный закон самостроительства выполнялся всюду. Он создавал характеры и судьбы людей, религии и идеологии, любовь и ненависть, здоровье и болезнь, надо было только его разглядеть. Локтев назвал его «приказом безумия», а Илья Пригожин, к примеру, в 77-м году получивший Нобелевскую премию за работы в области физической химии, употреблял такие слова, как «диссипативные системы», «аттракторы» и пользовался очень сложным математическим аппаратом.

Но если моя жизнь не приспособление, а экспансия, то целью ее вовсе не обязательно являются благополучие и счастье. Экспансия – это и мысль, и любовь, и наскальная живопись, и разнообразное доминирование, и творчество, и труд, и много чего еще. Хочется иногда объяснить себе свою жизнь, не все ж каяться, так пусть у меня будет хоть такое объяснение.

Локтев многое угадал. Если он прав и в остальном, то время – это сила, и все, что имеет свойство быть осуществленным, – осуществляется, случайное и неслучайное – это вопрос масштаба. Наука более субъективна, чем мы думаем, объективные законы можно выражать по-разному, она могла быть другой, если бы пошла за Поршневым или если бы законы механики открыл не Ньютон, а кто-нибудь, убежденный, как Локтев, что время – это сила. То, что Пригожину или Ньютону повезло выразить по-своему, витает в воздухе всегда, проявляется то тут, то там, на это постоянно натыкаешься не только у Локтева.

Мы с Дулей сидели на скамейке у эвкалиптовой рощи.

– А зачем тогда нужен Локтев? – без иронии спросила она.

А кто вообще нужен? И кому?

43

Я начал вести медицинский дневник.

15 июня 08.

Начал вести дневник. Стала очень плохо переключаться с телевизора на реальность. Посмотрев «На безымянной высоте», сказала:

– Как у них жарко.

– У кого?

– У нас.

Вчера ночью, м. б., во сне из-за неудобной позы, вывихнула палец. Сегодня боль усилилась. Лежать не может – не понимает, куда деть руку. Пробовал всякие повязки, подвешивал руку к шее, каждый раз незаметно для себя снимала повязку. Не может сказать, где болит.

Смотрела телевизор. Возился в саду, заходил дать лекарство. Часа через два – такой разговор:

– ...ты давал мне лекарство в саду, когда была женщина, которая пишет стихи...

– Какая женщина? У нас в саду никого не было!

Каким-то образом догадался:

– Ты видела ее по телевизору?

– Ну да.

– И в это время я давал тебе лекарства.

– Нет, потом.

– Ну да, потом. Но женщина была по телевизору, а ты решила, что она приходила к нам в сад.

Согласилась и засмеялась. Считает, что это пустяки.

Весь день говорила, что больной палец цепляется за цветочки. Откуда цветочки взялись? Не сразу понял: цветочки эти – узор на ткани сарафана. Цепляется большим пальцем за ткань. Заметил, что, ходя по ковру, она переступает через вытканые на нем цветы.

16 июня 08.

Были у Риммы. Давление 70/50. Нужно больше пить. Упрямится, не пьет. Но это не водобоязнь, а неспособность заставлять себя делать то, что нужно. Не понимает, как это, если она не хочет.

Купил противовоспалительные таблетки и вольтареновую мазь. Поспала, вечером 2 часа смотрела телевизор.

17 июня 08.

Палец не болит. Давление 70/50. Выпила с уговорами 2 стакана воды. Психомоторное возбуждение, такое же, как когда попала в «Гилель Яффе». Был очень осторожен. Задышалась, плохо соображала, руки и ноги сильно колотились. Дал $\frac{1}{2}$ тразодила на 3 часа раньше обычного. Минут 5 смотрела телевизор. Сознание ясное. Дал еще $\frac{1}{2}$ тразодила. Давление хорошее. Приходила Марина, неодобрительно посмотрела и молча ушла. Если, не дай бог, со мной что-нибудь случится, а Дуле станет плохо, Марина вызовет амбуланс, и домой она не вернется никогда.

1 июля 08.

Дневник вести необходимо, чтобы не запутаться в лекарствах. Их действие иногда сказывается через неделю, а то и через месяц, а я уже не помню, что давал, и потому не могу проследить. Последнее время кажется, что ципролекс усиливает дрожь.

Ходили в аптеку. Ждала меня на улице, пока получал лекарства. Я выскочил – ее нет. Еле нашел: оказалось, пошла к автобусу. Упрекал – смеялась в ответ. Раздражался, считая, что она не осознает вины. Продолжала смеяться и вдруг упала в обморок. С ней нельзя раздражаться.

Тревога принимает у нее форму чувства долга. Все время думает, чем помочь Марине, Нине и Гаю.

До сих пор всем делился с ней без скидок. Все равно обмануть ее нельзя. Даже усилие промолчать замечает и начинает нервничать: «Ты что-то не хочешь мне говорить». Как-то умеет ухватить суть. Без нее давно бы поссорился с Мариной. Она про Марину говорит: «Такая способная, красивая, а мы не сумели воспитать».

Днем начала беспокоиться, что надо сделать подарок помощнице Люде (нам дали ее от Битуах леуми, десять часов в неделю). Подарок нужно делать в марте. Сказал ей об этом. Согласилась, успокоилась. Спустя некоторое время подошла к книжным полкам, потом к буфету с посудой – явно искала, что подарить, но не хотела, чтобы я это заметил. У нее своя внутренняя жизнь, и кроме «ошибок», такая же разумная и не простая, как прежде.

Час с небольшим смотрела по телевизору ток-шоу Андрея Малахова. Начала смотреть фильм и тут же устала. Уложил в кровать, поцеловал в лоб. С закрытыми глазами сказала:

– Спасибо.

Мне кажется, она начинает привыкать к своей тревоге. Надо каким-то образом достать лепонекс, кажется, скоро понадобится.

4 июля 08.

3 раза $\frac{1}{2}$ тразодила, 3 раза синемет (ципролекс не отмечаю, всегда 1 утром).

Поднималась с кровати и ходила по комнате самостоятельно. Смотрела Малахова о невинно осужденном и плакала. После программы никак не могла переключиться на реальность: просила говорить тише, прикладывала палец к губам и при этом сама над собой посмеивалась. Сознание как будто раздвоилось: одной частью чувствует телевизионного героя рядом с собой, другой понимает, что это иллюзия.

Укладываясь спать, босоножки поставила на прикроватную тумбочку.

11 июля 08.

Малахова смотрела хорошо, но разговаривала шепотом, чтобы не слышали те, кто в телевизоре. Фильм не стала смотреть – устала, не соображала.

Перед сном взволновалась, где Гай. Он был дома. Ему и Нине надоело с ней объясняться, просили к ним не пускать. Она это не способна понять, все свои чувства приписывает и им тоже. Я ее не пускал к ним. Уговаривал сначала терпеливо, потом уже зло:

- Ты должна меня слушаться.
- Нет, ты должен меня слушать.
- Нет, ты.

Начала задыхаться. Было очень страшно. Наконец, дыхание восстановилось, пошла спать. Была послушна, логична, но очень обижена, говорила сухо и холодно. А ведь она права: почему я удобства Гая ставлю выше ее желаний? Может быть, всю жизнь было так с близкими людьми, Мариной, мамой, вроде бы как предавал ее, она всегда смирялась и прощала.

18 сентября 08.

Давно не писал. Пытался, как посоветовал (приказал) Штейнвиль, снизить дозу синемета с трех таблеток пока на 2,5.

Читать она теперь почти не может. Телевизор – 1 час в день.

Появилось новое: проснувшись ночью, уже не ложится в кровать. Выходит на балкон, пытается сидеть там, вскакивает, идет в комнату, опять на балкон...

Не хочет будить, но, видимо, ей очень тяжело в это время, иногда не выдерживает и тихо просит, ни к кому не обращаясь: «Помогите!». Разбудив, счастливо улыбается, будто появился спаситель.

Стал подниматься вместе с ней. Пьем чай (в 4 часа ночи, в 5, в 6) и идем гулять. В это время не жарко, она идет с удовольствием. Теперь, когда не может читать и смотреть телевизор, прогулки – единственное развлечение. Выходим еще в темноте. В пять часов на газонах включаются автоматические поливалки. Струи дохлестывают до тротуара, пробегают по ногам. После пяти встречаются «ходоки» в спортивных одежонках, чаще всего парами, молчаливые и целеустремленные, пытаящие, – женщины, старающиеся похудеть, и лысоватые седые крепыши с сосудистыми проблемами. Прогулка занимает полчаса. Дуть разумнее, чем в другое время суток. Мы нормально, совершенно нормально разговариваем. Какая это радость! Держимся, разумеется, исключительно домашних тем. Возвращаемся, она принимает лекарства и спит еще 3–4 часа, а я сажусь за компьютер и записываю все, что за день приходило в голову, в новый файл ДСАТБ («Диссипативные структуры, аттракторы и точки бифуркации в психологии человека. Опыт классификации»). Все-таки шустрый еврейчик во мне дает себя знать. Классификация, видимо, хромает: подлость упорно требует, чтобы ее поместили в душевные болезни. Все признаки налицо. А может, она и есть болезнь? Дети не бывают подлыми.

Было ЧП: стал давать лекарства, положил на ее ладошку таблетку синемета, она взяла ее другой рукой, отправила в рот и тем же движением сняла с пальца обручальное кольцо, хотела и его отправить в рот. Перехватил у самых губ и в панике поснимал с ее пальцев все кольца.

Уже третья неделя, как прочно раздвоился или растроился в ее глазах. Оба стараемся это не обсуждать. Как только замечает, что я ею недоволен, начинает принимать меня за чужого. Рассказывала мне обо мне, приходил мол, парень. Она о нем неплохого мнения, но, говорит, зануда. Теперь не всегда знаю, кто я в ее глазах. Иногда вижу, как ходит, заглядывает в двери, кого-то ищет. Молчу.

День, в общем, неплохой. Нормально воспринимала телевизор, хоть все хуже переходит от него к реальности. Хорошее настроение, сны приятные.

28 октября 08.

Не получается вести дневник. Сентябрь – полуобморочные состояния после обеда. Заметил, что помогает горячий душ на шею, горячей струей разогревал шею и спину. Усилилась дрожь, невозможно смотреть, как колотит 2-3 часа подряд, голос в это время прерывается, как у сильно замерзшего или сильно напуганного человека.

Из-за приступов дрожи стала бояться ночей. Не хочет лежать. Ест, сидит за столом, ненавидит кровать. Она без снотворного. Трудно подниматься вместе с ней через два часа после того, как принял бондармин.

Ночное гуляние минут сорок, пока у нее не начинают слипаться глаза. Во время гуляния невозможно поверить, что она больна, что не все понимает. Тонкие замечания о Марине. Говорит, не подготовили к жизни, но кто ж знал, что Советский Союз рухнет. Слышала бы Марина: кто бы говорил, одна слабоумная, другой ненормальный.

Читать уже не может – начинаются дурнота и дрожь. Не может смотреть телевизор – не успевает соображать. Из всех программ остались Андрей Малахов, «Минута славы» и соревнования фигуристов на льду. Появилась уйма времени, которое надо чем-то заполнить. Чем заполнить, если она полотенце не может сложить, возится с ним, тянет за разные концы, как мартышка, потом тихонько встает и отходит.

Когда приходит помощница, уезжаю в центр – аптека, банк, библиотека, Лена в доме престарелых, рынок, магазины, на все это – три часа. Возвращаюсь – стоят вдвоем у калитки и ждут.

Последние два дня опять появился двойник. То есть я стал своим двойником, а «настоящий Нема» якобы исчез. Она тоскует по исчезнувшему. Со мной лояльна и все время невыносимо вежлива («Вы, наверно, добрый человек...»). В общем, ведет себя, как порядочная замужня женщина с влюбленным симпатичным мужчиной. Печальна.

Дурацкое чувство. Вот же осталась без мужа, и ничего с ней не случилось, печальна, тоскует, но старается приспособиться к новому опеку. Очень хочется заслужить право быть ее настоящим Немой. Раздражают ее комплименты: «Вы, наверно, хороший человек...» Конечно, хороший человек. Каким еще быть в моем положении?

12 ноября 08.

Сидели на балконе, была вежлива, тактична, спрашивала, откуда я, почему «пошел на эту работу», кто родители. Ответил:

– Они умерли.

Посочувствовала. Тосковала о Неме, но не упоминала о нем, по-женски чувствуя, что мне неинтересно слушать о другом мужчине. Что-то ее тревожило, спросила прямо, по-детски:

– Кто ты?

Не знал, что сказать. Часа два спустя вдруг в какое-то мгновение что-то у нее в мозгу совместилось, снова стал Немой, и она радостно приветствовала:

– Где ты весь день был?

И стала рассказывать о «парне», который приходил «работать». Поразила своей сложностью: он, оказывается, старался разжалобить, сказал, что родители умерли, и она сделала вид, что поверила. Вежливость это или кокетство? Или просто время побежало вспять, и теперь она на полпути к детству?

15 ноября 08.

Нервозность началась днем. Сам ее и создал по неуклюжести: уговаривал прилечь отдохнуть, потому что вечером была заключительная серия «Тяжелого песка», который она кое-как смотрела, и знал, что если она не отдохнет, у нее не хватит сил на телевизор. Она же упрямо не хотела. Довела себя до нервного истощения, и когда начался сериал, смотреть не смогла. Нервозность быстро возрастала. Заторопился, пока не разгорелось, дать лекарства, она отказалась. К этому был не готов. Это была настоящая катастрофа – отвергала то единственное, что могло остановить развитие психоза. Если не станет принимать лекарства, путь один – в больницу. Нервничал. Нервность тотчас передавалась ей. Возник замкнутый круг. Уже никто не мог ее успокоить, она почти не соображала, замкнувшись в упрямстве.

Заходила Марина, сказала:

– Надо немедленно в больницу. Сама она с этим не справится.

Я сказал:

– У тебя столько знакомых психиатров...

– У них у всех один диагноз.

(Имеет в виду, что Дуля должна быть в «Мальбене».)

– Диагноз я сам вижу. Пусть кто-нибудь выпишет рецепт на лепонекс.

16 ноября 08.

Много гуляли утром и вечером. После утренней прогулки легла. Лежала на спине с открытыми глазами и плакала. Спросил, что случилось.

– Ничего, – успокаивающе погладила рукой по голове, заметила: – Какой ты седой.

Позвонила Марина:

– Одна знакомая, очень компетентный врач, сказала, что лепонекс в домашних условиях нельзя.

– Но рецепт тебе могут выписать?

– Кто?

– Тот, кто сказал, что в домашних условиях нельзя.

– Зачем тебе? Тебе его не продадут.

Я сказал, что это уже мое дело, что в России лепонекс называется клозапином и там можно давать в домашних условиях. В крайнем случае, мне достанут в России и пришлют.

Час спустя снова перезвонила:

– Я со вторым психиатром разговаривала. Он говорит, что в России амбулаторно можно, а в Израиле нельзя.

Я ответил, как мафиози из кинофильма:

– Ты не рассказывай о тех, кто говорит «нельзя», ты рассказывай о тех, кто говорит «можно».

Через несколько минут позвонила еще раз:

– Завтра будет рецепт и лепонекс.

Кажется, я тоже потихоньку становлюсь деловым.

С утра весь день ждали «Минуту славы» в 20.10 – самую подходящую для нее передачу и на целый вечер. Весь день уговаривал поспать, не хотела. Ближе к вечеру начала волноваться, где Нема. Требовала, чтобы позвонил Неме. Положил перед ней телефонную трубку, а сам ушел с мобильником в ванную и позвонил оттуда на домашний. Она как-то справилась с аппаратом (вот что значит интерес!) и, услышав голос, закричала:

– Нема, где ты?

– Я сейчас приду.

– Скорее приезжай!

Появился – ничего этот цирк не дал, продолжала ждать Нему, грустная, как вдова. Как только началась «Минута славы», пошла в кровать и сразу уснула.

17 ноября 08

Марина привезла две упаковки лепонекса, сто таблеток.

18 ноября

Речь бессвязная, плохо понимала, что ей говорят. Были галлюцинации. В шесть вечера получила свой тразодил, а через два часа – половинку лепонекса (12,5 мг). По Машковскому дозу следует поднимать очень медленно, все лечение – 18 недель. Результат будет замечен через месяц.

Полтаблетки ее сразили. Заснула, как в обморок упала. Это еще Ульвик и Ида заметили – чрезвычайная реактивность на лекарства. Через час услышал покашливание – сохло горло. В инструкции к лепонексу есть предупреждение, что это бывает в начале курса. Будил, чтобы пила, водил в туалет.

Проспала 12 часов. Сознание ясное. Нельзя давать и тразодил и лепонекс. Одно усиливает другое, вместе – сваливают наповал, так она превратится в лежачую.

19 ноября 08.

Впервые за много месяцев проснулась с желанием работать. Сразу прошла на «кухню», что-то переставляла в холодильнике, что-то мыла под краном.

Снизил себе бондармин, вместо таблетки стал принимать половинку, чтобы не заснуть слишком крепко. Сам потерял концентрацию внимания. Все время пропадают очки, зажигалка, сигареты, кошелек. Так можно напутать с лекарствами. Надо все записывать. Прикрепил магнитиком к холодильнику распорядок на день, даю лекарство и тут же вычеркиваю на бумажке.

20 ноября 08.

Среди ночи проснулся – горит свет, она роется на полках, ищет сережки. Коробка с лекарствами вынута и поставлена на стол.

Все надо предусматривать. Но кто мог предположить? Ужаснулся:

– Что-нибудь принимала?!

– Да, полторы таблетки из бутылочки.

Успокоил себя – этого не могло быть, она не смогла бы разломить таблетку. В голове ее была полная путаница:

- Кто-то в комнате был.
- Не было никого.
- Ты откуда пришел?
- Я спал. Видишь же, я в трусах.
- Ах, да.

Сильно дрожала. Сушило во рту, пила воду.

21 ноября 08

Втыкала карандаш себе в ухо и недовольно говорила:

- Алло, алло, ничего не слышно. Не понимаю.

22 ноября 08. Суббота.

Первый холодный день. Вытащила из шкафа сложенные стопкой кофточки и стала каждую вешать на вешалку. Обезьяна делала бы это разумнее. Одну кофточку пыталась натянуть на ноги. Хотел помочь – не давала.

Во время ужина заметила:

- Украл телефонные аппараты.
- Кто?
- Вор. Я видела.

Спокойно ответил:

- Вот же они лежат, оба.
- Было три.
- Нет, два.
- Он украл ключи.

Вытащил из кармана джинсов:

- Эти?

Взяла, рассматривала, не вернула:

- Да.
- Но вот же они. Что же он украл?
- Мои деньги все украл.

Очень боялась поссориться.

После ужина решила идти домой. Уже привык, не запаниковал:

- Хорошо, я тебя провожу.

Обрадовалась. Стала собирать вещи: телефонную книжку, бумажку, на которой день или два назад написал ей наш телефонный номер. Бережет эту бумажку, как самое свое дорогое имущество. Надела туфли, взяла куртку. Вышли. Движения ее стали неуверенными. Чувствовалось, что засомневалась, надо ли идти. Прошли несколько шагов. Обернулся, небрежно показал:

- Это твой дом?
- Да. А твой где?
- Тоже этот.

Спокойно, без удивления согласилась. В хорошем настроении повернули назад, вернулись домой. Посмотрела долгий «Ледниковый период» с открытыми глазами, спокойно пошла спать. Все разговоры были разумными.

Не надо делать ее разумной, надо самому быть разумным.

23 ноября 08.

Половинки лепонекса в 11.00 и 20.30. Синемет 3 в день.

Весь день рассказывала про «парней». Они ужасные зануды. Наябедничала:

– Они выпили все твое пиво.

Значит, когда пил пиво, считала это наглостью, злилась, но промолчала.

Вечером заходила Марина. Немного удивилась, увидев, как спокойно и разумно разговариваем перед телевизором. Озабоченная своими делами, наверняка решила, что к Дуле вернулся разум. А разум не вернется никогда. Его остатки держатся на волоске, на взаимном доверии, на ее хорошем характере.

25 ноября 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, Синемет 1+1+1

Давление утром 60/40. После завтрака добирались от стола до кровати, отдыхая по пути на стульях. Спала весь день. Вечером разбудил:

– Будешь смотреть Малахова?

– Как хочешь.

– Хочу.

Немного посидела, захотела лечь:

– Скучно.

29 ноября 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, Синемет 1+1+1

Днем села писать записки: «Спасите!», чтобы, когда пойдем гулять, совать эти записки прохожим. Почерк неразборчив, не могла сосредоточиться, измучилась. Предложил помощь: пусть она диктует, я запишу. Продиктовала:

«Я, Фарида Кишкельман, нахожусь в закрытом помещении с родственником, который агрессивен».

Я приписал: «Его агрессивность заключается в том, что он жарит мне картошку и заставляет принимать синемет. Спасите!»

Прочитала и расхохоталась, как в былые времена. Что такое юмор? В хорошем настроении долго смотрела телевизор. Измерил давление – 220/110. Сделал ножную ванну.

1 декабря 08.

Лепонекс $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$, Синемет 1+1+1

– Позвони!

– Кому?

– Идиот!

– Кому позвонить?

– Возьми бумагу!

Принес лист бумаги.

– Что ты принес?

– Ты сказала, чтобы я принес бумагу.

– Пиши!

– Что писать?

– Идиот! Боже мой, какой идиот! Откуда я знаю, что ты будешь писать?

Написал большими печатными буквами: «Дуля, мы тебя любим. Гай, Нина, Марина, Наум.»

Прочла. Сбавила тон:

– Ну и что? Почему ты всегда делаешь подлости? Боже мой...

Весь приступ длился 50 минут. Очень устала. Перед сном был удивительный разговор:

– Я всю жизнь верила тебе, а ты ничего не можешь сделать, и голос фальшивый.

Заметила, что слежу за дрожащими ее руками, и хоть колотило сильно, сказала:

– Это пустяки.

2 декабря 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2}$, Синемет 1+1+1.

Не записал перед сном, а на утро ничего не вспомнилось. Как и не было дня.

3 декабря 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2}$, Синемет 1+1+1

Может быть, причина этого странного раздвоения в разных чувствах. Когда она видит старательного, доброжелательного, беззаветного опекуна, но не чувствует (в себе, а не во мне) любви, я – работник на зарплате. Слово «любовь» тут – условный знак. Совершенно невозможно понять, что это такое. Но она сама знает, что это такое, и спутать это чувство с любым другим, даже с восхищением и благодарностью, для нее невозможно. Каким-то внутренним чувством она узнает своего «Нему». Тут в самом деле не имеет значение внешнее, потому она отвергает идентичность лица, одежды и всех других внешних примет. Наверно, и в разговорах с психиатрами 3 года назад не случайно назвала отцом: у нее появилось чувство ребенка. Она исходит только из своих чувств. Поэтому, в каком-то смысле, в ее слабоумии больше правды, чем в моем разуме.

!!! Позвонила Зина, жена паралитика из «Мальбена». Забрала его, живут вместе на съемной квартире, получила 17 часов в неделю бесплатной работницы по уходу, и еще 9 часов добавил Фонд помощи жертвам Катастрофы. Все прекрасно, есть деньги на сигареты, но жалуется на плохое настроение у себя. Посоветовал принимать ципролекс. Оказывается, ей его уже выписывали, она попробовала, и не пошло – началась сильнейшая дрожь!!! Значит, ципролекс вызывает дрожь?!! Дуля принимает его 6 лет, это первое лекарство, которое назначила ей Таня К., первый ее невролог!!! Таня К. сказала, что ципролекс на дрожь не влияет. Это же говорили все другие неврологи. Если Зина права, значит, это они сами довели Дулю до слабоумия: сначала вызвали дрожь, а потом стали лечить эту дрожь синеметом, декенетом и другими, ослабляющими концентрацию внимания, лекарствами. Ведь все слабоумие Дули – это в чистом виде ослабление способности концентрировать внимание! Никакого другого смысла у слабоумия нет! Проверить действие лекарства трудно, потому что эффект становится заметен через недели, а факторов очень много.

Как лечить?! Отдать в больницу – превратят в растение за неделю-две.

4 декабря 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2}$, Синемет 1+1+1, Тразодил $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$.

Утром гуляли, вдруг кинулась к прохожим:

– Этот человек... он не дает мне...

Они не понимали по-русски, осторожно обходили, как собачку, не желая участвовать в чужих проблемах даже выражением лица.

Малахова смотрела, как кошка смотрит на маятник часов. Сказала:

– Очень интересно.

Возникла такая безумная жалость к ней, что не удержался, поцеловал в лоб. Этого делать нельзя: вдруг в это время она принимает меня за «парня». Так и оказалось: едва отошел, вороватым движе-

нием вытерла поцелованное место. Весь вечер из последних силенок старалась угодить. Открыла холодильник и начала метать из него на стол все подряд:

– Хочешь это? Хочешь это? Это вкусно, пожалуйста!..

Волновалась. Дал дополнительно тразодил.

5 декабря 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + 1 + 1$, Синемет $1+1+1$, Тразодил $\frac{1}{2}$.

Проявляет удивительную тактичность в самых бредовых обвинениях. Например, не говорила, что я украл часы, а намекала (у нее отродясь не было часов, не любила их):

– Куда делись часы, ты не знаешь?.. Ах, ты не знаешь... А мне кажется, ты знаешь...

Воспитанность в ней глубже того пласта психики, где разделяются безумие и разум. Неужели разница между слабоумием, безумием и разумом так поверхностна и, в общем, случайна?

Была возбуждена. Уговаривал лечь. Вдруг горько заплакала. Тут же и сам всплакнул. Довел до кровати, положил – мгновенно уснула. Через полчаса проснулась хорошая, ласковая, на что-то пеняла без обиды, пыталась выразить, не смогла, но понял: просила быть хорошим. Поняла, как мало от нее зависит, и просто попросила: будь хорошим.

6 декабря 08.

Лепонекс $\frac{1}{2} + 1 + 1$, Синемет $1+1+1$

Проснувшись, искала Нему в складках пододеяльника во время разговора со мной.

Пыталась смотреть телевизор, но «замерзла», дрожала, сделал горячую ножную ванну, помогло.

10 декабря 08.

$1+1+1$, $1+1+1$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. Ножная ванна, грелка для рук. Горячий душ на шею.

13 декабря.

$1+1+1$, $1+1+1$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$.

Дрожь сильно уменьшилась. М.б., оттого, что снял ципролекс, а может быть – сама: она рефлекторно освобождается от всяких усилий сконцентрировать внимание, потому что они увеличивают дрожь.

14 декабря.

Концентрация внимания (интенция?) – это и есть человек, место, время и инстинкт выживания. Дуля запоминает программы Малахова, фильмы, узнает в лицо всех знакомых, помнит их прошлое и все, что с ними связано. При этом не может запомнить названия и дозы трех лекарств, которые принимает: не «синемет», а «желтенькая». Она запоминает то, что интересно, людей, и не концентрирует внимания на лекарствах: все равно за ними слежу я, так что ей не надо напрягаться. Память – это не только кора головного мозга, но прежде всего – гормоны, эмоции, чувства, любовь.

Она личность, и ее концентрация внимания – это она. В людях, она подмечает те же черточки, которые подмечала всю жизнь, и судит людей по ним.

21 декабря 08.

$1+1+1$, $1+1+1$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. Ножная ванна, грелка для рук.

Вошел, встретила радостно:

- Ты сумел открыть тюрьму?
- А ты в тюрьме?
- Да.
- За что же тебя посадили?
- Я боролась за свободу.
- Ты боролась за свободу? С кем?
- Со всякими мужиками.

31 декабря.

$1+1+1$, $1+1+1$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$.

Живем без ципролекса и, кажется, исчезла дрожь. Есть прямая зависимость между дрожью и разумностью. Увеличение разумности сопровождается усилением дрожи. Насколько от меня зависит, я выбираю слабоумие, лишь бы не мучилась. Так же выбираю положительные эмоции. Ей иногда снятся кошмары. Лепонекс их снимает. От нее требуется минимум: понимать смысл слов. Без этого муки от непонимания не меньше, чем от дрожи.

Сегодня жуткий день не по ее вине. Марина кричала на Гая, поднимаясь к нам. Открыла дверь и продолжала кричать вниз. Кажется, Гай отказался ехать с ней в гости.

Она явилась с подарками, конфеты, цветы. Дуля начала дрожать:

– Марина, что случилось?

Марина давно уже не отвечает на ее вопросы. Не может себя заставить. Но я так посмотрел, что она сказала:

– Все в порядке, не волнуйся. Я пришла поздравить вас с Новым годом, мы с Гаем уезжаем встречать в компании. Нина будет в своей.

Гай крикнул снизу:

– Я буду с папой!

Я показал Марине, чтобы не кричала. Ушла, но уже на лестнице снова заорала, чтобы Гай собирался.

Я искал вазу для цветов и не заметил, как Дуля поднялась с кровати сама, без моей помощи. Зашел в спальню, и увидел, что ее нет. Побежал за ней.

Марина одевалась к вечеру, торопилась, залетела в свою спальню. Дуля остановилась перед дверью и тихо сказала:

– Марина, это я. Можно войти?

Марина, наверно, не ответила.

Дуля нерешительно отошла. Не знала, что делать. Марина выскочила, дернула дверь Гая:

– Быстрее собирайся!

Он крикнул (уже успел понять, что криком в этом доме можно много добиться):

– А почему Нине можно не идти, а мне нельзя?!

– Гай, не надо ссориться с мамой, – сказала Дуля, направляясь к нему, – все вопросы можно решить по-хорошему.

– Бабушка, я тебя люблю, – ответил Гай тоном «отвяжись».

– Мама, иди наверх, – попросила Марина.

– Марина, пожалуйста, не кричи на меня.

– Я не кричу.

– Я тоже имею право высказать свое мнение.

– Ты поняла, о чем я тебя попросила?!

– Я все понимаю. Ты не всегда права.

Марина увидела меня, крикнула:

– Забери ее отсюда!

Дуля расстроилась:

– Зачем ты так, Марина, это нехорошо.

Я тоже сорвался, закричал на дочь:

– Ты успокоишься или нет?!

Дуля упрекнула:

– Какой ты стал нервный, ужас.

Я увел ее наверх. Она была очень тихой. Положив в кровать, присел рядом, взял за руку. Она открыла глаза и поделилась:

– Гай сказал: «Я люблю тебя, бабушка». Какой хороший мальчик. Как некстати я заболела.

Разум появляется у нее, когда концентрируется внимание, а оно концентрируется, когда мучает любовь. С Новым годом Вас, Анри Валлон.

Я догадался:

Дуля три года назад не могла назвать адрес, но дорогу домой знала. Точно так же разучилась манипулировать предметами, но полностью сохранила совесть. Адрес и манипуляции это, как сказал бы Локтев, инженерия, а реальная дорога и совесть – образы. Дуля, пожалуй, не отличит треугольник от квадрата, но это как раз связано с инженерией. А совесть – в другом измерении. Вечувственный образ. Может такое быть? Наверно, что-то еще проще. Или... Нет, не знаю. Я люблю тебя, Дуля. Прости меня за нервность и за все.

44

Наши прогулки стали совсем короткими. Доходим до автобусной остановки и садимся на скамейку. Прохожих почти нет, улица пустынная и ветрена. Когда подкатывает автобус, мы машем, чтобы не оставливался, и он проезжает мимо.

Поколёбавшись, она заговорила:

– У меня к тебе серьезный разговор...

Нерешительно покосилась. Я кивнул, мол, слушаю.

– Я уже много здесь была, – начала она, решившись.

– М-мм...

– Не пора ли мне домой?

– А куда это? – я наигрывал беспечность. – Где твой дом?

– В Минске.

Я помолчал и внезапно озарило:

– А сколько в нем комнат?

– Две.

– Ты уверена?

– Две и кухня.

Это был дом ее родителей! Значит, все время толковала не о своем, как я думал, а о родительском доме. Это в него хотела вернуться почти каждый вечер. Она сама понимала это как-то смутно, перепутав пространство и время. Ей казалось, туда можно доехать на такси, это где-то в районе автобусной станции. И почти каждый день ей снилась мама. Просыпалась и спрашивала, где мама.

Она бросила меня вместе с прожитыми годами и местом обитания, ушла в детство. Оно постоянно снилось ей, и, видимо, сны были яркими и реальными, ей не хотелось просыпаться. Иногда я видел, что глаза полузакрыты, – не спит, а смотрит свои сны, которые не совсем и сны, а что-то вроде кино, потому что сюжеты можно было

досматривать, снова закрыв глаза, и в них вплетались то я, то Гай, она очень хотела, чтобы в них соединилось все хорошее, что было. Бывали и неприятные сны, но и из них не хотела проснуться. Если кричала во сне, я тут же будил, а она отмахивалась, просила, чтобы отстал, — она переселилась в юность, не всегда безоблачную, а близко, за поворотом, еще немного пройти, ее ждало детство. Там и тетки ее были, давным-давно умершие, и соседки и подруги детства, иногда появлялся отчим, она всех их любила и за всех беспокоилась. Она убегала по времени вспять, память ее сохранила метки обратного пути, и был балласт, который мешал движению, уже неподъемный для ее мозга, она оставляла его без сожаления, с каждым днем становясь все легче и проще.

Я чувствовал себя непрошеным гостем, прерывая ее сны. Но ведь кто-то должен был заботиться о ней, она должна была сохранять контакт и понимать смысл слов, когда я кормил или мыл ее, помогал одеться, лечил или водил гулять. Я ждал, когда в какой-нибудь точке регресса она удержится, и совместная наша жизнь войдет в какие-то удобные, в какие-то возможные, как говорят врачи, совместимые с жизнью, пусть и очень примитивные формы. И мы еще поживем друг для друга. Наверно, это будет предпоследняя остановка.

Оттого, что она теперь все время спала, у меня появился досуг. Читал то, что находил на полках. Попробовал перечитать Локтева — не смог. Это было пережитым. Зато увлек Леви-Брюль анализом первобытной психологии. Впервые о нем я узнал полвека назад у Анри Валлона, тогда достать было негде, а теперь на полке стоял тяжелый том «Сверхъестественное в первобытном мышлении», изданный на русском в 1994 году, и все касалось Дули.

Я понял это в конце апреля. Дуля привычно утверждала, что я не Нема. Забежал по какому-то своему делу Гай, мы поговорили, и я попробовал в очередной раз:

— Ты слышала наш разговор с Гаем?

— Да.

— Как он меня называл?

— Дедушка.

— Значит, я дедушка Гая?

— Да.

— Дедушка Гая, но не твой муж Нема. Как это может быть?

На нее это не произвело впечатления. Уверенно подтвердила:

— Может быть.

Я посмотрел... Она как раз была в форме, в хорошем настроении... А была ли у нее когда-нибудь вообще логика? Вспомнил, как натаскивал ее перед экзаменом на аттестат зрелости. Она и не пыталась тогда вникать: «Мне так глубоко не надо». Но не только же на зазубривании выезжала и получала свои четверки и пятерки. Был у нее какой-то свой способ понимания. И почему-то всегда в важных жизненных вопросах она оказывалась правой, а в том, что считала неважным, несла всякую чушь, готовая первой посмеяться над своей глупостью.

Первобытные люди в книге Леви-Брюля поражали этнографов наблюдательностью, тактичностью, проницательностью и чувством юмора. По ничтожнейшим признакам умели выследить зверя и найти дорогу в лесу и на море при облачном небе, были тонкими физиологами, отличались быстрой сообразительностью и при этом понятия не имели о логике, не знали закона исключения третьего, то есть

могли одновременно осознавать себя и людьми и культовыми животными, их умозаключения ставили этнографов в тупик, пятилетние современные дети логичнее их. И одно было связано с другим – наблюдательность и деликатность с отсутствием логики. Слова – это категории, язык – категоризация. Слово «собака» означает то, чего нет в мире, всех собак вообще и ни одну конкретно. Категоризация, предшествующая логическим операциям, должна была обобщить признаки, чтобы появилось слово «собака». Она стремится свести количество различий между явлениями мира к минимуму, и логика, появившись в умах, уничтожила способность различать многообразные оттенки.

Для Дули оттенки всегда были важнее категорий. Она не умела это объяснить, но не хотела поступиться оттенками и потому не могла быть логичной. Оказавшись не в ладах с логикой, чувствовала свою ущербность, предпочитала помалкивать, когда бывала не согласна. Я легко ловил ее на противоречиях, но знал, что она всегда права и людей понимает лучше, чем я. При этом она не превращала понимание в отношение, останавливалась там, где надо было судить. Этого не любила. Не позволяла себе, например, не доверять. Мгновенно распознавала жулика, лгуна или хвастуна, но предпочитала верить и, вопреки всякой логике, верила. Если я пытался разуверить, пожимала плечами и оставалась при своем мнении. Эта вера была сродни религиозной. В ней жило убеждение, что, плохо подумав о человеке, она искушает судьбу.

Этот страх перед судьбой, эта вера в то, что судьба может покарать за самоуверенность... Она ханаанейка, догадался я. Задабривала судьбу непритязательностью, уважала чужих кумиров, заранее признавала все обязанности и принимала все правила чужой игры, не рисковала, чтобы не искушать судьбу, предпочитала потерять, но не получить то, что не причитается, – ну разве мог быть таким логичный человек, который просто не увидел бы никакой связи между совестью и благополучием, а оказался он понаглей, увидел бы обратную пропорцию. Она вела себя как школьница перед несправедливым и придирчивым учителем Судьбой, и когда у хирурга Фердмана обнаружилось, что прилежание ей не зачлось, доехала автобусом до нашей остановки, прошла, вытирая слезы, до калитки, села на скамейку рядом со мной и Гаем, которому было еще только шесть лет, и сказала:

– Кто-то нам позавидовал.

Год назад прогулки были сорокаминутными, сейчас ее хватает минут на десять до автобусной остановки, где можно присесть на скамейку, отдохнуть и вернуться домой. Она ненавидит прогулки, не любит этот город, ханаанейка среди кочевников, много поколений назад завоевавших ее родину. Она бредет с одним из них, заботливым, хорошим, но глуповатым мужиком, опираясь на его руку, мимо оставленных на тротуаре машин, унылых палисадников за низкими заборами, безлюдных веранд и закрытых дверей, мимо слепых окон, между которыми иногда тихо рокочут кондиционеры на ржавых кронштейнах. Кое-где на калитках и стенах висят жестяные объявления черным по желтому: «На продажу» и «На съем» и номера телефонов. Пустые, тихо разваливающиеся дома тревожат ее, ей хочется думать, что кто-то уже вселился в них и вот-вот наладит жизнь.

– Смотри, – говорит она, не замечая объявления «На продажу», – тазы какие-то... этого раньше не было.

Завоеватели переняли у ханаанейян науку оседлости, и она принуждает себя с любопытством вглядываться в приметы их быта, на котором лежит печать векового кочевья. Почему они все хотят продать? Почему у них все неуютно? Она старается полюбить все это, зная, что ничего другого уже не увидит никогда. Но ей трудно. Она ханаанейянка, а они иудеи. Печать их единого Бога лежит на них, они изумляют невероятным самодовольством избранности, и когда кто-нибудь из них орет в мобильник, ей делается дурно. Они упиваются собой и в упоении доводят до конца все свои дела, от которых сами же первые и страдают, однако, страдая, сохраняют убежденность в своем праве на самодовольство. По улице проехала машина, из раскрытого ее окна гремит нечеловечески громкая песня на английском. Зачем они это?

Она начинает хрипло дышать. Останавливается посреди улицы:

– Постоим...

Я держу наготове бутылочку с минералкой.

– До скамейки сможешь дойти?

Скамейка уже близко, через два дома от нас.

Дыхание выравнивается. Доходим до скамейки, садимся, и Дуля сразу порывается встать. Психомоторное возбуждение не дает ей покоя. Упавшим голосом я прошу посидеть:

– Мы ведь никуда не торопимся?

Иногда мне кажется, что она торопится встать, потому что боится моей говорливости. В самом деле, я привык все ей выкладывать, а теперь она не способна слушать и не способна притворяться слушающей.

Однако, я ведь теперь все понял, молчу. Я так и не рассказал ей, что такое любовь. Это аттрактор в хаосе, то есть состояние, которое, по науке, притягивает к себе случайности, чтобы из них создать порядок. За полвека до физиков и химиков один физиолог, Ухтомский, открыл то же в физиологии: сильное возбуждение притягивает к себе слабые, объединяя в доминанту. А еще лет за десять-пятнадцать до этого французский писатель Марсель Пруст описал, как возникла страсть Свана к Одетте – совсем по Ухтомскому или Пригожину. А Стендаль написал о кристалликах соли, которые притягивает ветка в солевом растворе. А мудрый Михаил Пришвин, не мудрствуя, записал в дневнике, что любовь – это привычка.

Я теперь разговариваю с ней молча. Нельзя разговаривать с самим собой. Если какая-нибудь безумная старуха бредет по улице и что-то бормочет под нос, она не с собой говорит, а убеждает кого-то отсутствующего. И в мыслях, молча, человек всегда обращается к другим.

Мне нужен другой. Это ведь физика. Нильс Бор высказался афористично: если что-то невозможно наблюдать, это не может быть частью реальности. Нильс Бор говорил об элементарных частицах, но и я не существую без наблюдателя. Я стараюсь, чтобы Дуля увидела меня таким, каким хочет, чтобы я был. Без нее я не могу быть, как говорит этот датчанин, частью реальности.

Мы дошли до угла, потом до калитки, потом до скамейки на крыльце дома. Дуля едва притронулась к ужину. А я старался. Я взбил сливки с сахаром, положил в суповую тарелку, а в них – нарезанную клубнику. Она долго сидела перед тарелкой: стала забывать, как есть. Я ненавязчиво сунул в ее руку ложечку, помог сделать первое движение в рот – вспомнила, дело пошло, похвалила:

– Вкусно.

Отвлеклась на бумажную салфетку, сосредоточенно засовывала ее в сливки, топила расплывающуюся бумагу ложкой. Я сдержался и не подал вида. Подняв глаза, она прочла панику на моем лице:

– Чего ты?

– Жалко салфетку.

– Все равно я скоро умру, – равнодушно заметила она.

Видимо, хотела этим подбодрить, сказать, чтобы не переживал из-за ерунды. Я еле выговорил:

– Ты что? Что ты сказала?! Дулечка, что ты такое говоришь?..

Помогая ей подняться, продолжал торопливо объяснять, что у нее паркинсонизм, болезнь плохая, но не опасная для жизни, так все врачи говорят... Она не вслушивалась. Уложил ее в кровать, убрал в комнате, перемыл посуду и, направляясь в ванную стирать и курить, услышал тихий ее стон. В ту же секунду оказался в спальне:

– Что?

– Как я могла сказать тебе такую вещь... Ты не обращай внимания, я как-то... что-то... Не знаю, как это получилось...

– Спи, все в порядке, – сказал я.

Может быть, в самом деле ничего не имела в виду, у нее часто вырывались слова не по делу. И испугалась сказанного не потому, что пожалела, а оттого, что увидела, что мне не понравилось. Может, и так, но не думаю.

Дуля кончила институт на год раньше меня и, в общем, у обоих шла какая-то своя жизнь. Перед окончанием у меня было распределение. Каждый студент обязан был ехать, куда его распределят, и отработать там три года. В глубине души я хотел повидать мир. Мне мерещилась свобода молодого волка, жизнь с нуля где-нибудь в Липецке, Челябинске, Коврове или Могилеве – куда пошлют. Обязательно с нуля – с максимальным количеством степеней свободы. Но это было не для меня: болел и упал духом отец, пропадала сестра, я должен был ехать к ним. И в феврале расписались с Дулей, потому что она считалась «молодым специалистом», работала в Минске, и меня обязаны были распределить по месту работы жены. Ну при чем здесь Астарта? Так было удобно. Так вышло. Пятьдесят лет мне понадобилось, чтобы понять Локтева: Астарта присваивает себе чужую работу. Конечно, без нее не обошлось, мы с Дулей были слишком молоды, чтобы обошлось без Астарты. Мы тоже были гостями на ее празднике и входили в Дом Брачующихся вслед за Царем и Царицей священного брака. Но разве праздники определяют жизнь?

В самом деле, время необратимо, и тот физик, который заметил это, прав. Однако, есть память. Это то, что опровергает закон времени, как жизнь опровергает закон термодинамики. Память не фантом, она – часть жизни. Зверь бежит по струйке запаха, потому что он помнит этот запах, он бежит в свое прошлое, навстречу стреле. Место, куда он стремится, находится в его памяти. Я не сошел еще с ума, я мыслю вполне научно. Я жив памятью, а свобода внушает мне ужас. Дуля знает это и жалеет, когда я «Нема» и когда я кто-то другой, то ли наемный работник, то ли поклонник. Она не хочет возбуждать в «поклоннике» ложных надежд и считает себя обязанной деликатно предупредить:

– Я скоро уеду в Минск.

Петр Межурицкий
НЕ ВСЕ ПУТИ – ГОСПОДНИ

ПРОТИВ ВСЕХ

1.

Конечно, Солнце – бог,
Холера ему в бок!

2.

Встает с колен Святая Русь,
А я снаружи
В горах Швейцарии лечусь,
И мне всё хуже.

Зато, бывает, в наш отель
Подобьем тени
Вильгельм зайдет, тот самый Телль,
Встать на колени.

Такой великий и простой –
Едва заметен –
Стоит он час, стоит другой,
Стоит и третий.

И пусть кривляется портье,
И в окнах тучи,
И постояльцы ещё те,
А мне всё лучше.

Не знаю, кто пойдёт с ножом
На Русь Святую,
Но побывай в краю чужом –
Рекомендую.

3.

В Москве хоронят олигарха,
А мне ни холодно, ни жарко –
Бог с ним, как впрочем и со мной,
Хотя себя немного жалко,
За что и выпьем по одной.

4.

Не то чтоб конченным глупцом,
Я просто стал моим отцом –

Теперь до самого конца
Придётся чтить в себе отца.

5.

В рот змее глядит факир –
Здравствуй, здравствуй, Третий мир,
Где сегодня, как вчера,
Всласть разинут неба омут,
Где всему ещё живому
Светит чёрная дыра,
Где давно уже пора,
Да не надо торопиться
Ни за что и никуда –
Разве только за границу,
Если только навсегда.

6.

В песок ли мордою, в салат ли,
Но так уж лучше станет вряд ли.

7.

Воскреснешь и опять сыграешь в ящик
И, догоняя прошлое с трудом,
Услышишь снова: «Всяк сюда входящий,
Оставь надежду – кончился дурдом».

8.

В который раз пройдя по полной
Вдоль неевклидовой прямой,
Израиль, отпусти народ мой,
И – с Богом – сам иди домой!

9.

Я не хочу лежать на кладбище
Ни как покойник, и никак ваче.

10.

Герои знали и злодеи
Всего Советского Союза,
Что в Иудее иудеи
Распяли Господа Иисуса.

Но облажались разночинцы,
Простой народ и генералы –
Христа распяли палестинцы,
Евреев там и не бывало.

11.

Ну, что тебе сказать о жизни, Ленка –
Я мучаюсь на уровне Шевченко
Тараса, то есть меньше Мандельштама,
Хотя ещё не вечер, скажем прямо.

12.

Что церковь? Синагога –
Хоть Святцы не листай!
А правильного бога
Теперь зовут Китай.

ЧЕРНЫЙ ХОД

ПОСВЯЩЕНИЕ ВСЕМ:

*У Генриха Сапгира
И Бедного Демьяна
Одна и та же лира,
Как это ни странно –*

*Да не бросим камень
В тех, кого нет с нами,
Ни в того, кто есть –
Вот такая жесть.*

1.

Фабрики, заводы –
Сущие уроды,
Но, мон шер, и с пьяни
Не ходи в крестьяне.

Кабы не планида, не непруха кабы,
Не пошел и я бы в мужики да бабы,
Не косил бы травы в закрома державы
И забил бы болт на того, кто лорд, –

Слушай, правда, что ли,
Есть свобода воли?

2.

Богу – богово,
Волку – логово,
Партии – слава,
А ты с кем, Клава?

3.

Я спросил у Изи К.:
«Что такое физика,
Как ни кровь и почва?»
Он ответил: «Точно –

Солнце на закате,
Как бычки в томате,
Как волчицы чары
Для ее волчары.

Да и сам ты тут и сям
Приобщаешься к корням:
Папа – Пинхас, сын – Моше –
Хорошо как на душе!»

4.

Когда нечего жевать,
Людам есть чего желать –

Под покровом вещей Тверди,
Слушая Джузеппе Верди,
С томиком стихов Сафо,
Как не будешь комильфо?

А когда всего в достатке,
Массы в полной непонятке,
И волнуется народ
День за днём, за годом год –

Так на кой скрывать, в натуре:
Каждый хочет быть в гламуре
С головы до самых ног,
Да поможет ему Бог!

5.

И я, и ты, и Мона Лиза
Придем к победе коммунизма,
И в час крутых метаморфоз,
Внимая завываньям блюза,
Мы встретим без особых слёз
Распил Советского Союза.

6.

В жару любую и в мороз,
Гляди, бегут за кругом круг
Атос, Портос, Иисус Христос
И гений, паровозов друг.

И в их глазах такая сталь,
Что в эти несколько минут
Мне ни черта для них не жаль –
И впрямь пускай себе бегут!

7.

День и ночь на троне
Сатана в короне,
Впрочем, если честно,
Там ему и место.

8.

Кровь, почва, женщина, они же –
Любовь, комсомол и весна –
До встречи, дай-то Бог, в Париже,
Что лучше, чем на Небесах,
Где комсомола и любви,
Возможно, нету – се ля ви!

9.

Молчи, скрывайся, не проси,
Причем не только на Руси,
И чтоб продлились дни твои –
Не верь, не бойся и таи,
И, может быть, пройдут года,
И не случится ничего –
Чем чёрт не шутит, господа,
Помилуй Господи его.

11.

К тому, что прожил тяжело,
Ещё и помер нелегко,
И пусть уже он далеко,
Какое всё же запахло!

12.

Небо низко, время близко –
Это даже не зачистка,
А так себе: «По коням –
Никого не тронем!»

Что за всадник – сущий бред –
Конь под ним как будто блед –

В этой жизни-небыли
Сказки не для мебели –

Хрен поймёшь, где местная
Власть, а где Небесная.

Мораль:

Слабость – дорога к подлостям,
Сила – дорога к мерзостям:
От каждого по способностям,
Каждому по потребностям.

КРЕЩЁНЫЙ МИР

Несть эллина, несть иудея

Ап. Павел

А получилось, как всегда

В. Черномырдин

Здесь эллина несть сообразно идее
Апостола Павла, и несть иудея,
А есть – как бы это назвать – эмпиреи,
Где греков навалом и всюду евреи.

ПУТИ ГОСПОДНИ

Когда не знали русской Пасхи
Ни на Руси, ни на Аляске,
Иисус на Песах ел мацу –
Пеняй на это хоть Творцу,
Хоть чёрту лысому, хоть тёте
Какой-нибудь, хоть всем подряд –
Но если это копромат,
То на кого в конечном счёте?

СТАРИННЫЙ НАПЕВ

Секс дошел до апогея,
В каждом деле есть граница –
Полюбила гейша гея,
Гей решил на ней жениться.
Сексуальные меньшинства,
Несмотря на просвещение,
От подобного бесчинства
Впали в полное смущенье:
Половые отношения
Вовсе не для безобразий –

Хоть казни за превышенье
Эротических фантазий!
За общиной сила вроде,
Ясно и без агитаций –
Но любовь людей доводит
До потерь ориентаций.
И ни больше и ни меньше,
Напрочь жертвуя престижем,
Гей в любви признался гейше
И при этом даже выжил,
Но, конечно, стал изгоем,
Будто сроду не был геєм –
Вот и всё, чего мы стоим,
В смысле том, что мы имеем.
Да поможет Камасутра
Пережить печалей миги –
Вечер был и было утро,
Как в другой писали Книге.

АЭРОФОБИЯ

Пройден зал ожидания, мой багаж на весах,
Скоро против желанья окажусь в небесах –
Сам загнал себя в жалкий, понимаешь ли, бред –
Вовсе не из-под палки добывал я билет,
А теперь бы остаться там, где был до сих пор,
Да на тройке кататься, чтоб не слышать мотор,
И в сознании глубоком не глядеть на крыло,
Мне уставиться оком легче в пушки жерло:
Даже если и свалишь по добру с высоты,
Сознаешь ли, товарищ, где находишься ты?
Но, как дома в кровати, мой сосед мирно спит –
То ли неадекватен, то ли делает вид –
Хрен поймёшь, что за птица, может, впрямь ничего
С ним при мне не случится, хоть убейте его...
Успокоен как будто, я смириться готов
С этим жутким уютом посреди облаков,
Тут исчадие ада испускает шасси –
И на кой это надо разъезжать в Небеси?

ОЛЬГЕ РОЖАНСКОЙ, КОГДА ЕЁ НЕ СТАЛО

... а что до публичных кар,
то не сомневайся в них:
Голгофа не Боливар –
вынесет и троих.

София Шегель

ДВА РАССКАЗА

ЛИЛЕЯ

Лилея, с ударением на е.

Какое странное имя! То ли письмоводитель не ту букву вывел, то ли счастливые родители так изощренно нафантазировали – теперь уже и не спросишь, не у кого.

Так именно ее и звали – Лилея. То есть, дома, конечно, Лилей или даже Лилькой, а вот во всех официальных бумагах – вполне изысканно: Лилея. Пожалуй, не часто имя так сливается с человеком, словно родилось вместе с ним. Хотя на этот раз так оно и было. Потому что как еще можно назвать дитя с такими неправдоподобно прозрачными глазами цвета разбавленной лазури и с такой молочно-абрикосовой кожей? И с таким бесконфликтным, покладистым, уступчивым характером?

И дом у нее такой же – удобный, светлый, в голубоватых, под цвет глаз и любимой одежды тонах, со старинной, тяжелой, от родителей оставшейся резной мебелью, с гулящей, беспутной красавицей-кошкой Муркой и всегда для ее удобства открытой форточкой, зато с домовитой собакой Прачкой – она-то и вылизывает, выхаживает регулярное Муркино потомство, а хозяйке потом пристраивать котят к добрым людям – не топить же, в самом деле!

И муж Сергей, всю жизнь в жену влюбленный, тоже под стать этому спокойному, безмятежному потоку повседневности, никак ее, а значит, и его не тяготящему однообразию, отсутствием событий. Он по сей день смотрит на свою половинку восторженно, заранее согласен с каждым ее словом, жестом, всегда готов угадать и выполнить любое ее желание. И дети в свое время родились именно так, как она хотела: сначала дочка Катя, с такими же, как у матери, прозрачными глазами и матово-абрикосовой кожей, потом сын Саша, тоже светлоглазый, но смуглый и кудрявый – в отца. И такой же вырос высокий, красивый, работающий и восторженный.

Все было в этом доме. Честно заработанный достаток. Устоявшийся уклад жизни. Еженедельные походы в парную баню – целый ритуал: собирается мёд, творог, крупная соль и, конечно, веники, собственными руками вязанные в запас, с веточкой привозного эвкалипта внутри. Потом, уже дома – медный самовар, ягоды из собственного сада, варенья-соленья-маринады. Хлебосольные застолья по праздникам, походы к родным могилам на Радуницу... Одним словом, все как у людей и даже лучше. Потому что дети растут, не доставляя особых хлопот, болеют в меру, учатся без натуги. Звезд с неба, правда, не хватают, зато и не обожгутся.

Это там, за забором, жизнь течет совсем по-другому – наводнения, землетрясения, войны... Каждому свое.

Если ты работаешь в детском саду, какие войны, какие потрясения?! Лишь бы детки были здоровы, без травм и отравлений, да правильно оформить отчетную документацию. А садик, которым руководила много лет Лилея, был очень благополучным, многие мечтали устроить туда своих отпрысков, тем более, что находился он в центре, в небольшом доме с большим яблоневым садом – раньше особняк принадлежал какому-то высланному за националистическую деятельность литовскому интеллигенту. И пока в садике было спокойно, она как-то исхитрялась не замечать происходящего вокруг. Проще говоря, не реагировать. Даже когда сын Саша пошел в армию и уже через месяц оказался в Кандагаре – как раз на те самые годы пришлась его служба, она только убежденно сказала:

– На то он и мужчина, чтоб защищать Родину. – Это слово Лилея всегда произносила с большой буквы, так научил в детстве отец, кадровый военный. И даже спустя годы, когда младший брат, самый любимый из пятерых, без войны, задолго до Чечни, в мирное еще время таинственно погиб в армии – он тоже был кадровым, после инженерного училища – даже тогда этот принцип остался неизменным, как учил в детстве отец.

Сын вернулся из Афгана живой и невредимый, только нервы немного подпортил, с полгода его дома выпаивали травами да бульонами, чтоб не кричал по ночам, а потом – ничего. Правда, профессию свою – был он после училища машинистом на тепловозе – бросил, как нелюбимую жену, с яростью, какое-то время по пьянствовал и пошел служить в милицию.

Но ведь живой же, руки-ноги на месте. Потому Родина так и осталась у Лилеи с большой буквы. И так с этим чувством хорошо и надежно было жить – как за каменной стеной, как в родительском доме, где каждый уголок узнаешь наощупь или по запаху. Даже в голову не приходит, что это может быть не навсегда.

И, как гром с ясного неба, в один не столь уж прекрасный день чистое и непорочное «Лебединое озеро» возвестило, что эта самая родина теперь уже не то что с большой буквы, но и даже с самой малой – просто больше не существует! Кто мог ждать такого? Кто угодно, только не Лилея.

Сын Саша сразу улетел в Россию, родня позвала – там тоже милиция есть, тебе ж не в Академии наук работать, без хлеба не останешься. Дочка Катя, сама давно уже мама, за мужем, как ниточка за иголкой, потрепыхалась немного, да и подалась, наоборот, в благополучные края – выходит, недосмотрели родители, не тому учили? И как теперь жить? И во что верить?

Нет, скандалов никаких не устраивали, дочку не прокляли, даже на вокзал поехали провожать, и Лилея смотрела невидящим взглядом в мутное стекло вагона, а слезы сыпались из ее прозрачных глаз догоняющими друг друга крупными каплями, как начинающийся дождь. И толпа провожающих была куда многочисленнее, чем жидкий поток пассажиров, и Лилея жалела их всех, уезжающих в неведомые края, покинувших свои дома, поломавших свои жизни. Наверное, она была одна такая, остальные в большинстве смотрели с завистью или с ненавистью, с безнадежной тоской. С сочувствием и сожалением – только она...

Дома, в пустой и выстывшей кухне, посидев какое-то время, то ли час, то ли неделю – время остановилось за ненадобностью – она повторила давно когда-то, в детстве еще, от матери услышанное, когда вернулись с кладбища, оплакав отца:

– Поплакали – пора и за работу. – И, как тогда мать, молодая еще и с пятью на руках, занялась кухонными делами – стряпней да мытьем.

Растопила плиту, поставила тесто для пирога, нашинковала капусту. И вскоре уже дом наполнился таким привычным запахом благополучного быта. Она в изумлении огляделась вокруг, не узнавая стен, в которых прошла вся ее жизнь, безучастно пожала плечами и направилась по витой лестнице в мансарду – там была устроена просторная кладовка, с банками, кадушками, крепкими крюками для бельевых веревок и прочими хозяйственными запасами да приспособлениями. Постояла в раздумье у маленького оконца, глянула вниз, на клумбу у стены – совсем не высоко. Подергала крюк в стене – держится крепко. И тут услышала собственный голос:

– Катя, дочка, поднимись ко мне, одна не управлюсь.

Потом вроде что-то щелкнуло, а потом оказалось, что она уже внизу, в комнате, и Катя рядом, только почему-то поверх зимней куртки на ней белый халат и очки на носу, а она сроду очков не носила.

– Пойдем со мной, пойдем, я помогу, – не своим каким-то голосом позвала Катя, направляясь к большой белой машине, и Лилея послушно пошла следом, поминутно оглядываясь, а там, у порога, ее Сережа, всегда такой улыбчивый и довольный, странно встряхивал головой и с ужасом смотрел ей вслед, не пытаясь ни догнать, ни остановить.

НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ

Электричка неторопливо наматывает на колеса бесконечные рельсы, словно макароны на вилку. Там, за мутным вагонным окном, воробьи купаются в побелевшей от зноя дорожной пыли. Жухлая зелень изнывает под солнцем. Давно не было дождя. Воздух дрожит и плавится. В вагоне грязновато и почти пусто, только в дальнем конце трое подростков шепчутся и время от времени взрываются смехом – наверное, анекдоты травят, а прямо передо мной пожилая неопрятная женщина позвякивает неперенными спицами. Из-под ее пальцев ползет скучное, неопределенного цвета вязанье – утеха старых дев. Нет, у старых дев не бывает таких узловатых, изломанных работой пальцев, и такой желтовато-серой неухоженной седины, и такого равнодушного невидящего взгляда выцветших, как придорожная пыль, глаз.

– Барышня домой или из дома? – взгляд по-прежнему прикован к вязанию.

Я вздрагиваю от неожиданности. Мы сидим так уже минут двадцать, ехать еще полтора часа, и о чем мне говорить с этим существом, таким далеким и неинтересным? Что мне до нее, что ей до

меня? И вообще, лень думать, лень чувствовать. Лень жить. Все это еще проносится в моей голове, когда я с изумлением слышу свой собственный голос, отвечающий старухе совсем помимо моей воли.

— Домой. Так хочется поскорее оказаться дома, среди родных. Не люблю уезжать. Все время кажется, что без меня что-нибудь случится с ребенком. Или с мужем. Или с собакой... Или с садом... — я уже не могу остановиться. — Мне всегда кажется, что без меня они пропадут. Кто позаботится, чтобы все было, как надо, кто напомнит мужу, что у него важная встреча, кто проследит, чтобы ребенок не засиживался у телевизора? Нет, конечно, мама придёт помочь, когда я в отъезде, но разве она может каждую минуту быть начеку? У нее своя семья, свои заботы.

Краем глаза я замечаю, что в этом месте моя молчаливая собеседница согласно кивает головой, и ее желтоватые седые кудерки вздымаются над ситцевым платочком:

— Да-да, дома всегда дел невпроворот, у меня вот...

Еще чего, мне нет дела до ее проблем, зачем это, я беззастенчиво прерываю ее и торопливо продолжаю:

— Конечно, дома всегда есть чем заняться. У меня, например, главная забота — сад. Я люблю... (*Господи, что же я там люблю?*) розы. За ними надо очень ухаживать, чтобы не одичали. По утрам, до работы, я занимаюсь розами. Надеваю такие стеганные рукавицы, чтобы не уколоться. Рукавицы у меня сиреневые в желтых горошинах. Очень красиво и идет к коричневым брюкам. Нет, это старые брюки мужа, он их уже не носит. Я люблю дома носить старую одежду мужа, в ней так уютно. Ну вот, до работы я занимаюсь розами и еще другими цветами. Потом собираюсь, варю кофе. Кофе мы пьем прямо на кухне, с жареным хлебом и со сливками. Это, конечно, вредно, зато вкусно. А потом муж терпеливо ждет, пока я приведу себя в порядок, накрашусь, проверю все окна и двери. Он никогда меня не торопит, даже на часы поглядывает так, чтобы я не заметила. И потом мы выезжаем. Гараж у нас под домом, теплый. Муж отвозит меня на работу и отправляется на свою.

— А кто же остается с вашим ребенком? — задумчиво спрашивает моя визави и смотрит на меня уже не так равнодушно, даже седую голову склоняет к плечу.

— Ах, ну конечно, — тороплюсь я, — у нас есть няня, старенькая уже, она еще меня растила, а теперь вот и моего ребенка, я ей доверяю, как родной. Ее зовут... Марина Филимоновна. Она очень умная старушка и знает разные песни. Ну вот. А потом я возвращаюсь домой, играю с ребенком и жду мужа.

— А у вас кто — мальчик или девочка?

Вот пристала... как будто я это все ей рассказываю...

— У нас, — я стараюсь, чтобы пауза не затянулась, — у нас девочка. На мужа похожа, и такая умница, все знает, всем интересуется, очень красиво танцует, ходит на теннис. Муж ее возит на машине. Три раза в неделю — в понедельник, среду и четверг. А по пятницам мы принимаем гостей. Знаете, это тоже большие хлопоты. Нет, у плиты я не стою, угощение самое легкое — вино, совсем немного, для настроения, печенье, бутерброды, фрукты. Но надо

подготовить дом и сад, развесить китайские фонарики. Расставить кресла и шезлонги. Да, еще нарезать цветов – мы потом всех провожаем с цветами. И музыку выбрать. Наши гости не любят джаз, только классику. У мужа очень серьезные друзья... – меня несет неудержимо, – все больше люди науки. И искусства, конечно. Знаете, художники, музыканты. Один художник написал мой портрет. Маслом.

– Маслом? Оно же тает. И пятна остаются, – в глазах моей собеседницы неприкрытая ирония.

Вот темнота!

– Это краска такая, – терпеливо объясняю, – тертая на маслах растительных. Потом высыхает и остается навсегда. Вы что, никогда не видели картину маслом? Все иконы так писаны.

– А-а, это, – успокаивается старуха, и спицы снова мерно звякают в ее узловатых пальцах.

– Ну вот, этот портрет висит у нас в гостиной, над столом. По выходным мы ужинаем при свечах. Я стелю скатерть – синюю или красную, я люблю сочные краски... И еще посуда у меня – белая для синей скатерти и черная – для красной... Это так стильно. Накрываю красиво стол, еда самая изысканная... – я опять на мгновение спотыкаюсь: *что там мы едим в выходные при свечах?* – Ну, например, творожный пудинг, лососина заливная, соки. В высоких бокалах чешского стекла. И ни капли спиртного. Мой муж – противник алкоголя. Вот. И пламя свечей отражается на моем портрете так таинственно, прямо волшебно. А в отпуск мы всегда ездим к морю. Вдвоем. В Крым. Я люблю Крым – там горы. И фрукты. Мы живем в гостинице, из окна видно море. Оно шумит, по ночам не дает спать. Да спать и не хочется, мы гуляем в темноте, при звездах. Вдыхаем ароматы моря. Или разуваяемся и бродим у кромки воды. А спать ложимся под утро – на работу ведь не надо. А потом мы возвращаемся домой, везем дыни и груши, разные сувениры в дом, татарские безделушки, ракушки... А иногда ездим в Прибалтику – собирать янтарь...

Электричка сбилась с ритма, залязгала железом и остановилась. Моя спутница торопливо сунула вязанье в плетеную кошелку и засеменила к выходу, забыв попрощаться. Я потащила следом на пустой перрон... Да, ужин при свечах и портрет маслом. Только масло растаяло, а свечи забыли зажечь.

Нет, он меня не бросил. Даже звал с собой. Рассказывал про Святой город, про Средиземное море, про другую жизнь. Только *он среди нас* – это одно, а *я среди них* – совсем другое. Всё было *против* – родные с их уговорами, райкомы с их исключениями, недописанная диссертация – где она, моя недописанная... Мама с ее укоризненным молчанием, газеты с их разоблачениями. Жизнь больше любви? Конечно, больше, если она – жизнь.

Это теперь я понимаю, что всё было за. Он любил меня. Я любила его. Все, что я там, в электричке, наплела, – святая правда, какой она могла быть. Ну, кроме Крыма и Марины Филимоновны. Ладно, все равно эта старуха Пушкина не читала... Господи, неужели у всех старых дев такие скрюченные пальцы и такие бесцветные, невыразительные лица?

Лев Беринский

ТЮЛЬПАН БАТРАЖНЫЙ

1.

Цветник на знойном берегу земли, отчалившей в туманы... По склонам гор и на лугу, и в полумгле лесной поляны – всегда в слезах, в росе, в соку, зооморфичны, полустранны, стоят глазастые тюльпаны с багряной струйкой на боку. Тот в небо смотрит. Тот – поник... Я распознал тебя, цветник метампсихоза и нирваны, эдем судеб, роскошный ад имён... На них горит наряд – хитоны, мантии, сутаны!

2.

Хитоны. Мантии. Сутаны. Шумят тюльпаны. С жарких век слетают искры... Сблизив станы, свой спор ведут Мелхиседек и Авраам, и с персом – грек; с рабом – тиран; с царём – султаны (убрав мечи и ятаганы – чего не может человек)... На грядку, как на мост Кокушкин, взбежал, вдогонку смотрит Пушкин улепетнувшему врагу. На нём венец, и кровь, и траур... И с Лоркой – Босх и Аденауэр, сойдясь, беседуют в кругу.

3.

Сойдясь, беседуют в кругу эсперантисты – цвет растений – на языке фермента-Q и красок, и телодвижений. В их сплошь разлившимся мозгу от луковиц до сочленений височных дуг – всё тот же гений, приноровившийся к цветку. Что берedit их нежный дух? – горят, мерцают, меркнут вслух сортов таинственные кланы. О ядовитости цикут, о снах, о космосе цветут высокородные тюльпаны.

4.

Высокородные тюльпаны. Благоухает каждый жест, когда, лишь вспыхнет шлейф гитаны, они, почти срываясь с мест, склоняют шляпы... Бал невест. Чакона. Pas d'espan. Канкан и эпикурейство. Бьют тимпаны зари. Любовь поёт окрест. Летят шмели, как ветродуи, передавая поцелуи друзьям, и невпопад – врагу, подруг далёких опыляя... Встаёт Луна, в полях пылая... Я в этот круг войти могу.

5.

Я в этот круг войти могу легко, как в новую планету, сейчас, не дописав вот эту произносимую строку, въявь и во сне, и (по секрету!) с девчонкой выдохшись в стогу – мне б только знать, что сберегу какой-то атом, ген, примету.

Не разрушайте ж до конца состав запястий, плеч, лица – о, как тотальны ваши планы!

Хоть смерть оставьте мне. Хоть прах. Я прорасту потом в цветах, сменив обличье, плоть и раны.

6.

Сменив обличье, плоть и раны, утратив речь и давний ум, цветы – живут, и жизнью пьяны, смотрите: cogito и sum!

Лазурных высей, ветра шум – они в песках фата-морганы колонизируют барханы, жизнь расселяя наобум.

Что панспермия? – вздор, пустяк...

Но где же Блейк и Пастернак, иль, заплутав, ушли в бурьяны? Иль, примагничен их тоской, не отпустил их перх мирской, язык людской, земные страны?

7.

Язык людской, земные страны – волшебнейший из всех миров: льды, континенты, океаны, леса с их пеньем комаров.

Земля, юдоль моя и кров!

Роды мутантов непрестанны, из стай переходящих в станы, в гурты и стойбища цветов!

Здесь нет ступеней – вверх ли, вниз ли. Есть жизнь, и есть граница жизни, где льнёт амёба к стебельку, передвигая ложноножки...

Туда, туда, к последней мошке, на шум цветов, на зов «ку-ку»!

8.

На шум цветов, на зов «ку-ку», как в раннем детстве – из передней со смехом вылетов, бегу в луга, мужик сорокалетний. Леском, насквозь, на склон соседний!

Сквозь тень лучей и зной в мозгу – спугну, шарахнувшись, Ягу в кустах... А вот и дуб последний, и ров. И бдительность утroyа, я в пургаторий «Зеленстроя» войду, как входит в смех испуг, оторопею вдруг, отпрянув от надписей, имён тюльпанов – какие жития вокруг!

9.

Какие жития вокруг толпятся под июльским солнцем! Стою, утратив сердца стук, перед багряным незнакомцем.

Мелос воскрес! Но чьим питомцем он стал? Из бабьих жёстких рук он пьёт, и полон детских мук и песен с алым перезвонцем. Под лейкой в дождь попав, как в Лету, стоит, волшебюо вскинув флейту, – но не доходит к феям звук. Грустит, под юбки зырит с грядки... Я узнаю его повадки...

– Ах, здравствуй, Моцарт! Здравствуй, друг!

10.

– Ах, здравствуй, Моцарт! Здравствуй, друг! Смахни с лица пыльцу златую, как пыль дорог, забудь недуг былой – судьбу свою былую и смерть, и червя запятую, а не вопрос... Ни гроз, ни выюг, вечерним зноем пышет юг...

Усни. А я свечу задую. Пусть лёгкий сон качает твой из флейты выдутый тобой певучий макрокосм туманный, а я к тебе присяду, весь в сомненьях: *там* ты или *здесь*, в любви и смерти сводник странный?

11.

В любви и смерти сводник странный, Дух музыки, шальной талант, смычком обводишь мир обманной и купол кванта, как атлант, качнув, хохочешь – комедьянт, босяк, почти что вор карманный... Ты и в цветах бузишь, как пьяный, и в ужасе – Толстой и Кант!

По всем кровям, по всем природам, по венам и слезопроводам сочится мёд, сладчайший зуд. Ты и меня – аль может, в шутку? – зовешь и манишь, вскинув дудку...

Прощай, Земля моя! Зовут...

12.

Прощай, Земля моя! Зовут меня иные сны и сказки в страну, где мир, как в Страшный Суд, смещает контуры и краски.

Веков за пять, как в пять минут, домчусь, сменяя мысль и маски, и там уж, сброшенный с пегаски, умолкну, старый словоблуд. От мира вечных тяжб отрезан, я там сведу свой счёт с Дантесом, найду – костей не соберут!

Уйду к флейтисту, в новой роли, припомнив, где стоял он в поле с тычиной, поднятой, как уд.

13.

С тычиной, поднятой, как уд срамной, – весь погружённый в грёзу, он вдруг расслышит: *там* поют, и соку пустит в Лакримозу.

Над ним – попарно сплошь – замрут стрекозы, и, сдвигая позу любви, всосут хмельную дозу D-moll, и крыльев не помнут.

А он – лишённый всяких сил, уснёт, решив, что утолил сей похотливый рой незванный...

Он спит, тычину уроня...

Ему б в напарники меня – он ждёт меня, тюльпан багряный!

14.

Он ждёт меня, тюльпан багряный, в стране, где май сменяет май, и где окутал воздух пряный ад, и чистилище, и рай.

Пора! Свист ветра... Скрип колчаный... Цветы мне говорят: «прощай», и я прощаю этот край людей – неистовый и бранный. Я оставляю землю этим лесам в дождях, лукавым детям, коням крылатым, ветряку...

Я слышу флейту. Ух, как presto! Прими ж меня, дай ряд и место, цветник на знойном берегу.

15.

Цветник на знойном берегу.

Хитоны. Мантии. Сутаны.

Сойдясь, беседуют в кругу
высокородные тюльпаны.

Я в этот круг войти могу,
сменив обличье, плоть и раны,
людской язык, земные страны –
на шум цветов, на зов «ку-ку».

Какие жития вокруг!

Ах, здравствуй, Моцарт! Здравствуй, друг,
в любви и смерти сводник странный.

Прощай, Земля моя... Зовут...
С тычиной, поднятой, как уд,
он ждёт меня, Тюльпан Багряный.

лето 1979

Татьяна Алексеева ПОЗДНЯЯ ДОБАВКА

Когда говорят о гениальности, интуитивно имеют в виду предвидение, способность про-зревать сквозь время. Адресоваться к тому, что ещё только созревает и наступит лишь в будущем. Обычно подразумевают и художественные способности, умение воплотить в материи своё внутреннее чутьё. Но зерно гениальности, по-моему, — именно в предвидении, в выходе за рамки малого, календарного, бытового времени — в Большое время, откуда виден весь путь самоопределения человека на протяжении нескольких поколений (или эпох).

Виктор Луферов с самого начала пел о жизни с точки зрения смерти. Помнил о смерти как о единственном критерии подлинности, оселке, на котором всё проверяется. И каждый миг испытывал себя на прочность — «Кто я? Тот ли я, за кого себя принимаю?». Какими бы яркими и эксцентричными ни были возникающие образы, сама их интенсивность и театральность порождалась именно сценическими рамками. Сцена — модель жизни в целом, где окончание песни или концерта каждый раз — «маленькая смерть». И только с её приходом становится по-настоящему понятно, чего стоила жизнь. И чего стоила песня.

Все последние годы мне казалось: революция, произведённая Луферовым в жанре авторской песни, — в том, что он вернулся к мифу, воскресил мистериальные корни песни как таковой. Напомнил современникам, что миф и есть «лестница в небо», способ выхода в Большое время — из малого, дробного, бытового, в котором мы все увязли. Но теперь я вижу, что такого объяснения недостаточно...

Какой миф? Никакого мифа. Сплошной, предельный реализм.

*Когда придёт моя пора мне перед Господом предстать —
С горою свидится гора, как смею я предполагать.
Окружат ангелы меня, а крылья их белым-белы,
А в белых сумочках у них у всех по горсточке золы.*

.....
*А в той золе вся жизнь моя — и та, что знал, и что забыл...
Как страшен будет этот миг, как нежно шелестенье крыл.*

Это написано ещё в середине 1970-х, за тридцать пять лет до ухода. А знаменитое «Перед тем, как к вам прийти, зашёл я к Господу» — вообще в 1970-м. Но уже там обозначен и жизненный рубеж (всё, что возьму, — всё вам останется, /Я с собой могу себя лишь унести), и убеждение в своей способности оставить след на земле, — понимание судьбы как задания.

С самого начала пути смерть для Луферова — и точка отсчёта, и вечный соперник, и мерило всех жизненных дел. Не только своя личная, а всеобщая... Судя по песням, он чуял её повсюду: смерть, на-

висшая над пучком травы посреди городских джунглей; смерть, угрожающая русской деревне и фольклору; смерть от равнодушия и сонливости, смерть от забвения «себя» (души в себе). Все помнят, как самоотверженно он отгонял её призрак, – шумел, чудил, трезвонил на все лады, будил окружающих, чтобы скорее проснулись.

Но главное – стрела была пущена сквозь время, на годы вперед... Похоже, Виктору Луферову чутьё изначально подсказывало, что наступит эпоха, когда для большинства смерть останется единственным аргументом, единственным доводом, чтобы проснуться, – то время, в которое мы и погрузились сейчас, словно в просевшую от тяжести лодку. Конечно, у каждого человека в отдельности сохраняется свой мир, свои ценности, человеческие связи, которые его «держат». Но все сейчас – враспыл... И лишь одно есть общее, единственная неоспоримая точка, которая всех объединяет и уравнивает, – непреложность смерти. Хрестоматийное «все там будем» и прощание с уходящими, с теми, кто нас опередил.

Вдруг в это трудное, удушливое время оказалось, что у Луферова есть *ответ*. И что он у него всегда – был. Неизбежность смерти в его песнях (а у неё там множество облиций) – не только повод жалеть траву, постаревшего матроса или одинокое деревце. Конечность и неизбежный обрыв жизни – оправдание дерзновения, готовности отстаивать свою бессмертную душу перед лицом чужого равнодушия (тоже – один из ведущих песенных мотивов), но что ещё сложнее – перед лицом пустоты, отсутствия «готовой» веры.

Если вспомнить луферовские метафоры жизненного пути – Дорога, прорастающая из косточки вишня, уход за Горизонт или в Райский сад и обязательное возвращение на землю, – что их объединяет? Что светится внутри, в глубине этих образов, как первоисток или первознание?

Отступая и возвращаясь, кружа, снимая слой за слоем, как с луковицы, пытаюсь понять, что в судьбе Виктора и в его творчестве *самое существенное*? Ну вот хотя бы перебирая вслепую, без ранжира, – что в первую голову вспоминается:

Он изначально ощущал себя в Большом времени, в нескончаемой цепи поколений; и эта цепь для него продолжалась в будущее. Нацеленность в будущее – пожалуй, отличительная черта.

И полный короб даров:

мощный творческий заряд, креативность;

вечный поиск, движение, неутолимость;

парадоксальные решения, интерес к внезапному и неочевидному;

свобода сопрягать современные музыкальные достижения и технические новинки с архаикой, способность опираться на фольклорные жанры, открывая при этом возможности их личного, индивидуального проживания;

отвага;

то, что он не боялся быть смешным, «белой вороной»; не церемонясь, отталкивался от таких мотивов, как стремление «прилично выглядеть» (хотя и любил выразительность, эффекты на сцене – в рошем театральном смысле);

воинственность духа: не страшился конфликтов и прямого противостояния;

его честность, отторжение фальши – и в творческой позиции, и в жизненной;

самоотдача, самозабвение – опять же и на сцене, и в судьбе, по отношению к своему призванию.

Это только самое очевидное, бьющее в глаза, лежащее на поверхности...

Впрочем, вообще о «главном» говорить пока рановато. Осознаваться это будет постепенно, со временем... Но, как и многие, я в эти дни пытаюсь понять, что в личности и судьбе Виктора Луферова стало главным лично для меня?

Этот человек с первых сознательных шагов в творчестве знал, что ему *дано*, и не побоялся принять масштаб выпавшего на долю. Не кокетничал с даром и не переспрашивал Всевышнего по двадцать раз: «А я не ошибся?» (или – «Ты не ошибся?»). Вся виртуозность Луферова – музыкантская, композиторская, исполнительская, – была брошена, в конечном счёте, на то, чтобы воплотить его потенциал самобытного религиозного философа, самородка. Из тех, что во все века бродили по российским деревням и дорогам, упрямо добывая религию «из себя», не соглашаясь на «готовое» и авторитетное для других.

Луферов в своих песенных притчах размышлял о *личном* Боге – не о конфессиональном, с определённой догматикой и именем, а сотворившем именно «его», единственного и неповторимого. В чьих-то чужих глазах это может выглядеть эгоцентризмом и самомнением... Но для большинства современных людей, выросших, как полевые цветы – самостийно, а не внутри незыблемой догматической вселенной, такой взгляд – единственная точка опоры.

Ведь внутрь себя попадаешь как в диковинную страну, полную чудес, которые потом всю жизнь с удивлением изучаешь. Постигаешь неизвестного себя, но не «себя» как пуп земли, диктующий мирозданию свои законы, а себя как *творение*, у которого изначально есть Создатель, а у Создателя – замысел: «поди туда, не знаю куда...», и уникальные способы разгадки и воплощения замысла... И так, то теряя, то заново отыскивая ниточку, клубок судьбы и разматываешь...

Потому, мне кажется, и дорога, и прорастающее дерево, и возвращение на землю из сада, из голубого провала, где так весело пасти облака, пришли к Виктору как ключевые образы. Парадоксальным образом он прожил жизнь, как проповедник, как тот, кто делится найденными сокровищами, ничего не утаивая и не оставляя по карманам. И, конечно, знал, что проповедь не должна быть унылой; что именно игра выбивает зрителей из зашоренного узкого взгляда: «сносит крышу» – и мгновенно открывает перспективу. Вот он и помогал каждому себя увидеть (не его, Луферова, а себя!) «на поле вечности», где все бытовые и социальные атрибуты потеряны, а жизнь – театр и мозаика непрерывных превращений. Но одно всегда незыблемо – связь между музыкантом и его инструментом. И такая же связь – между человеком и его Создателем.

Для меня Виктор Луферов – *посланник*, вестник. Человек, осуществивший своё призвание на перекрёстке двух встретившихся мировоззрений, – религиозного взгляда на мир и взгляда, которому нет названия. Но хотя названия нет, обозначить его всё же можно. К примеру, так: смысл персонального существования может быть лишь в одном – во «мне» есть что-то, чего больше нет ни в ком и нигде. Заплатить свою лепту Богу – значит, отдать именно *это*: самую сердцевину, суть личной уникальности.

Но есть условие – оставаться на перекрёстке. Только так можно удержать пропорции: уникальность не ради неё самой, а как ответ на вопрос: чем лично я могу пожертвовать? Какой след оставляю? Решающим жизненным «перекрёстком» для Луферова в итоге оказался не одноимённый театр песни, а перекрёсток между путём воина и благословенностью жертвы.

На воображаемом песенном Суде, который привиделся Виктору в середине 1970-х, чашу весов накренила золотая крупинка Божьего сочувствия. Однако она же и восстановила исходную ситуацию вопроса. Смысл жизненного задания приходится угадывать самому, до конца волочить тяжкое бремя свободы...

Но так ли уж широки ворота неопределённости? В песне «Подарочек», кроме одарившего призванием Господа, есть и другие виновники судьбы – батюшка с матушкой. Родителями и Всевышним всё предreshено, на долю человека остаётся лишь высокая обречённость.

Правда, на оборотной стороне монеты видно изображение весов, подсказывающих, что батюшка с матушкой и создают основание перекрестья, исток выбора... Между отцовским и материнским полюсами словно натянута струна, вибрирующая противозаряженными импульсами: решимостью и нежностью, уязвимостью и силой, самоотдачей и самоутверждением...

Описав круг, в одном из поздних стихотворений Луферов открывает значение своих же ранних песенных образов – дырявых карманов и разбитого кувшина без дна:

*Неужели всё дело в песенках-незабудках, в голубых цветочках,
В этих бабочках эфемерных,*

чью красоту определяет слов пыльца...

*Мне близок путь одинокого воина, но есть и расхождение точка:
Он предпочтёт одинокую смерть,*

но не сотрёт боевой окраски с лица.

*И мне остаётся одно, зная, что не удержать душу взаперти,
Повторять вслед за пророками, что дух – бессмертен,*

что смертна – плоть,

А вслед за нищими, подаянье просящими с паперти,

Повторять: братья мои и сёстры, храни же вас всех Господь!

«Вслед за нищими»...

Выходит, с самого начала, вопреки всем вопросам и ответам, уже жило у него внутри решение пойти на пир не в строю победителей (*Мне именем моим обещана победа...*), а в толпе нищих.

Андрей Анпилов

ВОИН СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Луферову нужно было сопротивление, «сопромат». И это сопротивление не должно было исчезнуть, оно обязано было сохраниться – в произведении, в поступке, в голосе, в походке...

Скрипит Земля, как старый дилижанс...

Нельзя, чтобы Земля вращалась нечувствительно. Обязана скрипеть осью, кряхтеть рессорами, трудом и потом добывать движение.

Играл Витя на громоздком инструменте, гитаре, усиленной каким-то стальным штыком внутри, на люто растянутых железных струнах.

Гитары нет, берет случайную. Синтетика, на полтона ниже. И тут же оставляет, протонав: «Нет, не могу, как сопли болтаются...»

Он, единственный, неоднократно рвал на концертах шестую, самую неубиваемую струну.

И тут же, на сцене, быстро переставлял новую, орудуя специальным коловоротом. Словно на ходу коня переподковывал.

Инструменты обожал (и использовал – колёсную лиру, косу, какие-то скрученные духовые шланги) – нелепые, доморощенные, с астматическим подсвистом или с кузнечным стоном. И пел так же, никогда не переходя на абстрактно чистый, отвлечённый звук. Всегда оставалось неисчезаемое усилие, хрипотца, дыхание. Как в его музицировании слышна была ручная работа, так и в пении – затрудненность. И стихи слагал – слова как бочки в гору вкатывал. И, если гармония складывалась, как ему казалось, слишком простая – наворачивал на неё аккомпанемент безумной скорости. (В исполнении «Веретена» левая рука почти неподвижна, аккорда четыре. Но для правой – почти пытка что за работа.)

Дико возмущался, если художник шёл на поводу легкодоступного умения, расхожих гармоний. Вся суть былых претензий к N. – именно в этом. В тотальной сладости, невыкупленной страданием (или честным преображающим усилием) красоте, т. е. красивости.

Моцартом в жанре для Вити был Окуджава.

А не завидовал Луферов никому. Его детская душа не знала черного чувства.

Школьно-чисто и аккуратно петь и играть ему не стоило ничего, и поэтому совестно.

Да и ходил по земле трудно, больными ногами, непривычной к суше моряцкой развалкой.

Обозначая всем телом каждый шаг. Так уж было суждено.

Руки выросли такие сильные, что мог бы летать, были бы перья.

Смогул как-то шепнул: «Глянь, у Вити кисти, как у горбуна». Извилистые, нежно-грубые, мощные, зрячие.

Недаром же десятилетиями сочинял «Новые сведения об Икаре». Под себя переписывал, перевыдумывал. И не было разницы – улететь реально или воображаемо. В его исполнении история заканчивалась воздушным побегом героя с любимой.

Главное – чтобы крылья были не производственного тиража, а свои собственные. «Летю, летю...»

И всё на себе и вокруг себя – старался, чтоб было сделано им вручную. И нечеловеческий, как в комнате смеха, сказочный антураж в «Перекрыстке», и красное пальто увешал собственноручно вырезанными из банок жестяными орденами, и дома что-то вроде буфета Собакевича сколотил. Была б возможность – весь мир перевинтил бы заново.

Надя Сосновская говорила, что «Первый круг» в своём роде «Цветочный город». Кочетков – Незнайка, Бережков – поэт Цветик и т. д. Луферов был несомненным Самоделкиным, кто б сомневался.

Родился в мае сорок пятого. Победитель вдвойне – Виктор. А фамилия происходит от греческого имени Елеферий – «свободный».

Ему, мужчине невысокому, ядерной пассионарности – быть бы Наполеоном, императором песни, водить народы. А Витя был истовый республиканец, явочным порядком свобода, равенство, братство – *всем*. И плыл «Перекресток» не к заветному острову луферовской популярности, не к америке успеха – а неизвестно куда. Команда гребла как кому Бог на душу положит, у каждого были собственные привязанности и проекты. И в такой анархии – тоже было счастье.

Неочевидная цель и тайна была в нашей песне, в отдельной личности и судьбе. Общий сюжет содружества – и «Перекрыстка», и «Первого круга» – был открыт. Смысл был не внеположен ему, а присущ, что называется, имманентно.

Уже ранние песни были сочинены и спеты так – словно стоя на горе или в раковине стадиона. Луферов был трибуном, наверное, чуть не с рождения. Во всяком случае – таким себя рано пересобрал. И дело оставалось-то за малым – за максимально широкой аудиторией. На позорных условиях партии и комсомола выйти в свет было неприемлемо. На попсовых условиях перестроечных менеджеров – та же история. А потом уже и не рисковали связываться.

Луферов ждал, верил в свой «зенит удачи». Но только на своих условиях. Как ни удивительно это сказать – на честных без кавычек. Кочетков сказал однажды буквально следующее: «В первой юности я был уверен, что ребята сами такие и есть, какие их песни. А прошло время, и оказалось, что такой, как в песнях, только Луферов».

(Глубокая правота в Мишиных словах есть. Витя ни разу не шутил с призванием. Цинизма, даже притворного, не выказывал.)

«На своих условиях» – ещё и значило изменённый под Луферова «формат». Предлагают ему сольный концерт – Витя ставит жесткие условия по акустике, по аппаратуре, ультимативно оговаривает, что выйдет на сцену только с «Перекрыстковским» фольклорным ансамблем или еще с кем-то, чем-то и только так-то. Чем заманчивее были предложения, тем суровее Луферов выставлял препоны. Многие песни годами не исполнялись публично – Виктор отказывался показывать вещи без оркестра, дав себе такой зарок. Без оркестра, которого не было. Или, уже стоя на сцене, неожиданно прозой нападал на воображаемого противника, как бы находящегося в зале. Т. е. сознательно или бессознательно всячески затруднял себе проторенную дорогу к слушателю.

Кстати, чем скромнее были возможности аудитории и приглашающей стороны, – тем артист был непритязательней. (Ровно наоборот, чем

обыкновенно в эстрадном мире.) А уж на любое уличное представление, на площадной балаган – выходил без сомнений и условий. Там и так было с кем побороться – с городским шумом, зеваками, невниманием*.

Виктор Луферов, скоморох, клоун, виртуозное трогательное создание, улыбка природы, – по сути был аскетом, обещанным невидимыми и видимыми добровольными веригами. Средневековый жонглер, который, по преданию, не смел иначе молиться, как ходя на руках и показывая своё искусство. Луферов, валяя дурака (чудака), – богословствовал, славил источник света и жизни.

Построю дом себе я из консервных банок

И ярко-красное сошью себе пальто...

Это знаменитое пальто, шляпка, чаплинские башмаки и цирковая кнопка носа – не что иное, как боевая раскраска и амуниция воина. И нам, и артисту – гомерически смешно, освобождённо-весело. А ведь это – хохот, крики, вспышки – звуки и цвета духовной брани. На красном кровь не видна.

А враг – прямым текстом назван в множестве песен. Энтропия в любых обличьях – смерти, убивающего времени, уныния, будничности, мелочности, злобы, насилия, жадности, бездарности и т. д. и т. п.

Нам, послевоенным мальчикам, не досталось исторической биографии, причастности мировым катаклизмам. (Был некий поворотный пункт августа 1991-го, пик надежды и упования, но быстро оказалось, что победа осталась за мародерами.)

Луферов очень рано взял на себя больше внешнего сопротивления, чем было объективно дано. Стал заметным, колючим и неуступчивым. Были чудесные примеры перед глазами, что казарменную стенку единообразия пробить можно.

...Этот пример потрясающий по пробиванию дыр...

...В городе Берлине повалилась стенка,

Наша пошатнулась, в трещинах стоит...

Много лет Витя дышал будущим, торопил его наступление, пролетал мимо настоящего, жил «будетлянином».

Но что-то надломилось в начале 90-х.

Вместо стены кругом запульсировало море разливанное – живой жадной жизни, рынка, телесной грубой вольности. «Стена» оказалась и везде и нигде, бес – неуловимей прежнего, ангел – нежнее и обреченнее.

И впервые от Виктора можно было услышать что-то ностальгическое. С какой пронзительной сердечностью вспоминал он в нулевых о нашем сентябре 89-го, когда мы почти полным «Первым кругом» две недели жили на Северском Донце под Славянгорском. С женами, детьми, песнями и осенним солнцем. «Это рай был, акме, полнота существования...» Впервые обещанный рай оказался для Вити – в прошлом.

Он не сдался, не уступил миру ни пяди внутреннего сокровища. Просто глаза открылись, и увиделось – сколько реально места занимает он на земле.

...я играю свой маленький джаз...

* См. также мой текст десятилетней давности «Архитектор воздушных замков» в книге «Первый круг. Похождения профессионалов». Или можно пробежать глазами в интернете: <http://rudv.h12.ru/Criticism/Anpilov/flyhouse.htm>.

Лучше с пивом ларёк, чем опять Колымы уголёк...

*Хочет Пушкин выкрикнуть грозные пророчества,
Страшно – вдруг он сможет бронзу перевозмочь!*

Одинокий тапёр, немая бронзовая фигура среди чужого надрывного праздника – вот столько места у поэта в сломанном мире.

Собрание песенных сочинений «Каждый охотник желает знать...» стало для него последним боем. Витя делал его, измучив себя и всех включенных в проект, – на перфекционистском пределе, на максимуме своих творческих и современных технических возможностей. Как праздничное своё завещание – радугу, преломленный солнечный свет.

И болезнь... Она была честный враг, в рост жизни и смерти. Луфферов шёл сквозь неё, как солдат под ядрами, с развёрнутым знаменем. И от нас, и вместе с нами, и – к нам. И был прекрасен невыразимо, как прекрасен только героический порыв и самоотверженность.

И в этом пути все, кто знал его и любил, стали едины. Как его песня объединяла нас – так и болезнь одного собрала всех. Не оттолкнула, а притянула к нему и друг к другу. Виктору дано было это чувствовать и знать при жизни – братство, любовь, дела, молитву ближних и дальних.

Он, воин, доверился Богу – про это сказали последние песни – и в конце пути пришёл к Нему не в камуфляже, а с открытым незащищенным лицом. Болезнь, наложив на него маску, – стёрла её.

Прошлой весной, после многомесячного колебания на пороге жизни и смерти, он настолько пришел в себя, что дал несколько концертов. В первом из них, сразу после Пасхи, я принимал некоторое участие.

Луфферов напоминал воскрешенного Лазаря. Он был весь прежний – и весь другой. Он – вернулся *оттуда*.

И была во всем этом, в его волшебном наглядном воскрешении, живом голосе, благодарности, открытости – общая надежда и радость. Что-то, что касалось нас всех. Овевало благодатью истины, обещанием.

Не буду вспоминать прощание. Оно было солнечно, горько и чудесно...

*Вербка нежная расцвела,
Словно песню решила спеть,
Неужели душа цела,
Не берёт её даже смерть?*

*У могилы толпясь, цветы
Надышали тебе тепла.
Вербка чудная, это ты?
Это песня твоя, хвала?*

*Расточилась живая плоть,
Сумрак холоден клубяной.
Что хотел Ты сказать, Господь,
Вспыхнув юною купиною?*

*Как улыбка, сбегав с лица,
На морозе цвети, пируй –
Чудо, листика зеленца,
Почки дымчатый поцелуй.*

Ася Векслер

ПОСЛЕСЛОВИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Это всё ещё я.
«С возвращением из небытия», —
мог сказать бы мне кто-нибудь встречный.
Не на полном ходу
я себя из починки веду,
не изведав поломки конечной.

Есть срок годности нам.
А истекших времен черепкам
есть их прежнее место в кувшине:
мгле и мору назло
можно древнее склеить стекло
для бессмертья в музейной витрине.

Там же, где я была,
только первоначальная мгла —
тьма над бездною до созиданья.
Не в раю, не в аду,
те края не имеют в виду
ни луча вдалеке, ни сознанья.

Это в жизни мы мчим
сквозь туннель и по свету за ним, —
повезло на побывку покуда.
Так что — здесь и теперь,
перед тем, как закроется дверь.
И, увы, без гарантий на чудо.

НА ПАМЯТЬ О ПОБЕРЕЖЬЕ

Не до прихотей. Однако,
без обиды на судьбу
вижу порт, подобный Акко,
как в подзорную трубу.

Налицо бывлые мили
купоросно-синей мглы,
запах рыбы, тины, или
древесины и смолы.

Там совсем немногочисленно,
там работа – не вопрос,
там на мачтовое судно
не спешит попасть матрос.

Он торопится иначе:
узнаёт, кто у руля
и каков запас удачи
капитана корабля.

Он не промах, – промахнётся
шторм, а может быть, разбой.
Он, Бог даст, назад вернётся
за века до нас с тобой.

Знать бы смолоду, как надо
отправляться в океан
тем, кто сам себе команда,
рулевой и капитан.

Цвета моря стеклотара.
На губах не молоко.
Уже горло Гибралтара,
чем игольное ушко.

586 ГОД ДО Н. Э.¹

Н. Локшиной

Я рисую людскую цепочку.
Семьи, пары, а кто – в одиночку,
окружённые стражей, сквозь дым
оставляют Иерусалим.

Между бычьих повозок и конских
вслед верблюдам до рек вавилонских
обжигать им ступни о песок,
выдыхаясь, идти на восток.

Соплеменники, родичи, предки.
Налицо родословные ветки,
ропот с гомоном, под ноги взгляд
больше ста поколений назад.

Давит ноша, сутулятся спины,
вьются кудри, волнятся седины.
Чётко вижу не со стороны:
нет ни тени на них, ни вины.

¹ Падение Иудейского царства и начало Вавилонского плена.

Но над каждым из них, от пророка
до младенца, нацеленность рока.
Но лучист и воздушен покров
их имён. И во веки веков

этот день будь не к ночи помянут.
Лишь иерусалимский пергамент
в силах выдержать зримый повтор
среди тех же, что в древности, гор.

МЕЖДУ ТЕРАКТАМИ

Я знаю, чего я хочу: на автобус успеть.
Я знаю, чего я боюсь: полчаса потерять
в той жизни, от коей осталась неполная треть,
а может, всего шаг-другой и одна только пядь.

Я знаю благое незнание, – хотелось бы впредь,
задавшись вопросом, ответ не расслышать опять.
Вконец ли себя исчерпает закатная медь,
а может, она не успеет себя исчерпать?

Чёт-нечет. Орёл, или решка. Добро, или зло.
На то и случайность, – настигнув, застанет врасплох.
Как многим, на улицах этих мне дважды везло.
И тот, кто считает, пусть не застревает на трёх.

ПЕСЕНКА МАРИОНЕТКИ

Вновь сердце обрывается
в поддёргиваньи ниточном.
А то, что не сбывается,
рискует стать несбыточным.

Но к площади Бесправия
подкрался случай-путаник.
Над ширмою заглавия
не тронь меня, мой кукольник.

Твоих шарнирных выскочек
раскручено бесчисленно.
А я сама, без ниточек,
теперь танцую мысленно.

Бедовая? Нисколечко.
К развязке действие начато,

но вытанцевать кое-что
мне всё же предназначено.

Отныне я не пленница
и даже не попутчица.
Пусть лучше не успеется,
не на все сто получится.

Зато, чураясь лёгкости
и не прельстясь обманкою,
не перейму неловкости
вертеться самозванкою.

* * *

Отстранив года и числа,
не усматривая смысла,
ускорять износ,
хорошо бы научиться
к этой жизни относиться
не вполне всерьёз.

Притомясь, ослабить вожжи,
не считать, кто сколько прожил,
много ли успел;
наконец, сменив повадки,
меньше печься об остатке
планов или дел.

Не ловить судьбу на слове,
не гадать, что уготовил
вечный небосклон.
А ещё бы научиться
проще к смерти относиться:
был – да вышел вон.

* * *

Во что бы то ни стало, уберечь.
Уже в дверях, пока ещё возможно,
произнести скороговоркой речь,
сводимую к словам «будь осторожна»,
«будь осмотрителен». И тут себе
отдать отчет в конечном превосходстве
судьбы. Кто может диктовать судьбе,
пытаясь настоять на благодетеле.

НАТЮРМОРТ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ²

Стираю пыль. Всю жизнь стираю пыль,
хоть с нею солидарны новь и быть,
хоть я – от сих до сих, а пыль бессрочна,
и победит она, уж это точно,
меня с моим стараньем. Между тем
давным-давно с ней ладил без проблем
художник, оценив её не сдуру
и глядя на неё как на натуру.

Он был с тончайшей кисточкой на ты.
Воспроизвел он пыльные листы,
под ними том, – Овидий ли, Проперций, –
и никаких, избави Бог, концепций,
ни сквозняка, ни времени, ни миль.
Творил он след руки, задевшей пыль,
на дальней лютне и на ближней лютне,
пока в потёмки не скользили будни.

О, этот холст! Я видела его.
Забыв, что есть на свете мастерство,
моя рука взметнулась, но повисла
в невольном жесте, не имевшем смысла.

ХАМД УЛЭЛА³

Написался вдруг с лёгкостью стих о длине
и о краткости жизни. Притом не вчерне –
без помарок почти, хоть во мне велико
недоверье к тому, что даётся легко.

А потом я с трудом оставляла труды.
Предстояло не менее часа езды
между двух городов, так что стоило днём
сесть в автобус и вникнуть в простор за окном.

Вот бок о бок попутчица. Очень юна,
в бирюзовое с чёрным одета она.
Непроглядная ночь, ранний свет голубой,
рай и ад без зазора сошлись меж собой.

У неё в ноутбуке арабская вязь.
У меня на уме – как бы не взорвалась.
Хорошо, если вовсе на ней нет греха.
Если вспышка стиха – только вспышка стиха.

² Бартоломео Беттеро (1639–1687), итальянский живописец. Израильский музей, Иерусалим.

³ Хамд Улэла (арабск.) – слава Богу.

Выходила я раньше. И все-то дела.
Пусть простит, что сказала ей: *хамд Улэла* –
слава Богу, – с учётом того, что на миг
я смягчила ивритом арабский язык.

ЛОДЖИЯ

Для мастерской здесь тесно. Но окно
простором переполнено. Оно,
округу измеряя в километрах,
читит равновесие и заодно,
вникая в труд, вовнутрь обращено.

Стол у стены наружной. А спиной
художник ощущает мир иной,
до коего не больше полуметра.
И вот, как на весах, вопрос двойной:
«С трудом я слажу, или он со мной?»

Тревога не беспочвенна: успеть
осуществить полдела, или треть,
вполне владея мастерством, обидно.
Иллюзий мало: как ни посмотреть,
разменян возраст золотой на медь.

Ну, что ж, – до туч с дождём наперевес
и впрямь, выходит, времени в обрез.
Ещё одной попытки нет в запасе.
Пустырь. Дуга шоссе. Размах небес.
Нагорный иерусалимский лес.
День, заглянув, уходит восвояси.

ГОЙЯ. АВТОПОРТРЕТ

Всё, как есть, – одно и другое
самому себе, неприкрыто,
молча глядя, говорит Гойя
где-то там, в пределах Мадрида.

Укреплён зеркальный осколок.
Жаль, что день световой краток.
Масло, холст сорок шесть на сорок.
Скоро семьдесят – и остаток.

Всё его при нём. А химеры
не прошли временное сито.
Но талант или труд без меры
от невзгод ему не защита.

Эмигрантская ждёт морока.
Это лучше, чем ждать расправы.
И умрёт он в Бордо – до срока
отдалённой – всемирной – славы.

Не потерпит живопись краха.
Да и он бровей не насупит.
Краше всех была его маха.
Но молочница – не уступит.

Не пройдёт и безумье мира –
роковая тщета бунтарства
перед выстрелом кирасира, –
ведь от этого нет лекарства.

...Часть пространственного отсека.
За стеной беспокойный город.
Душно так, что почти два века
нараспашку его ворот.

ГЛОРИЯ АЗАРИЯ

Словосочетанием, годным для гербария,
звали эту женщину: Глория Азария.
Так звучало-значилось в прорезях конвертных
год спустя, не менее, на счетах посмертных.

Служба скорой помощи, крупные компании
душу её числили в должниках, как ранее.
Но её пособие, воду и мараки⁴
больше не делили с ней кошки да собаки.

Я о ней не ведала. Я её не видела.
Но о ней говорено: мухи не обидела.
И не все сказано, что жила не сварой,
а ушла без времени, умерла не старой.

Заново побелены стены с потолками.
Новые настелены плитки под ногами.
Краской водостойкой и цементной пылью
быстро можно справиться с неказистой былью.

Так что на жилплощади свежая история.
Тут мы и покрутимся, как при жизни Глория.
На ходу присмотришься – вдруг уколёт жалость
только имя редкое от неё осталось.

⁴ Марак (иврит) – суп.

Но бытует аура: дали законные,
крыши черепичные, линии наклонные,
беглые мгновения, огонёк домашний,
тёмный час нестрашный – нынешний, вчерашний.

ГРАНАТ

Не только украшение, а сюжет.
Накал страстей, условности и вкусы.
Дань Куприну – гранатовый браслет.
И по боку – гранатовые бусы.

По молодости лет – мечта мечтой:
нет ни его, ни денег на старинный.
Гранатовый, пусть не совсем такой,
пусть поздновато, вот он, за витриной.

Лежит себе на улице Кинг Джордж,
и, зная не зная короля Георга,
вне всех границ, он чересчур хорош,
а я не лажу с навыками торга.

«Примерите? Он будет по руке».
Защёлкнув свой замочек честь по чести,
готов он сразу быть накоротке.
Плати, бери, – и хоть куда с ним вместе.

Но так близка вечерняя заря,
так велика былых судеб обуза.
Не та пора. По правде говоря,
теперь и без того хватает груза.

След старины сумеет предпочесть
одна из юных, лёгких, смугловатых.
А мне – взамен несбыточности – есть
гранатовые зёрнышки в гранатах.

Найду часок, рассказ тот вновь прочту.
Но есть и послесловие: годами –
гранатовое дерево в цвету,
гранатовое дерево с плодами.

А если место знать – наискосок
от ювелирной лавки, то, наверно,
гранатовый пусть отожмут вам сок, –
он в шекелях дешевле, чем на евро.

Игорь Туберман

ИЗ ДНЕВНИКА*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Два с лишним года я не брался за дневник. А собирался много раз, но вспоминал, как Пушкин заявил категорически, что проза требует мыслей, и бессильно опускались мои руки. Но теперь я вдруг решился и отважился. «В нашем преклонном возрасте надо писать что-нибудь мудрое», – наставительно сказал мне сегодня утром внутренний голос. Но другой, не менее внутренний, ему резонно возразил: «На склоне лет выёбываться крайне глупо». Я согласился со вторым, хотя подумал мельком, что и первому при случае потрафлю.

Я начинаю эту книгу через два дня после большой семейной пьянки. Мы каждый год, созвав друзей, отмечаем тринадцатое августа, которое на этот раз было юбилейным: тридцать лет как посадили, двадцать пять как выпустили. И двадцать лет на сцене, торжественно добавил я, скостив год ради красоты юбилея. Как тут коллективно не напиться? И конечно же, предаться воспоминаниям. А я подумал, что тогда, в ошеломительную первую ночь в тюрьме, я вряд ли мог вообразить, что тридцать лет спустя буду сидеть в Иерусалиме и похмельно привирать про жизнь в узилище. И что начну новую книгу с некоей роскошной фразы, которую придумал для запева. Вот она, простая и немыслимая для того далёкого тёмного времени:

«Все предыдущие приезды Париж был солнечным и тёплым».

А на этот раз шёл дождь и не стихал холодный ветер. Из-за этого на кладбище Монпарнас, куда давным давно я собирался, пробыли мы очень недолго. Впрочем, интерес мой был вполне определённый, очень я хотел покурить возле могилы Гейне, и мечта моя сполна осуществилась. Омрачившись, как и всякая мечта от исполнения, убожеством памятника: аккуратный мраморный бюст усердного приличного чиновника. Если бы Генрих Гейне был бухгалтером в банке своего дяди, именно такой памятник он бы и заслужил.

Мы с Татой жили у нашей приятельницы на высоком этаже, где из кухонного окна видно было много мокрых черепичных крыш, а главное – почти что вся Эйфелева башня. Вечером она снизу доверху освещалась множеством огней, которые попеременно гасли и загорались. Это было похоже на гигантскую новогоднюю ёлку, заболевшую пляской Святого Витта – башня как будто дёргалась в немых судорогах света. Пить кальвадос и смотреть на эту пляску сквозь потоки с неба было полным и самодостаточным счастьем. Днём можно было смотреть на крыши и читать путеводитель по Парижу, под кальвадос это дивное занятие. Мы, собственно, приехали на выступление, которое давно тут было у меня назначено, но идиотский предрассудок, что турист должен метаться по городу, не давал нам полного покоя. Мы сходили в знаменитое кафе «Чёрный кот», битком набитое

* Главы из книги «Седьмой иерусалимский дневник», готовящейся к печати в 2010 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала». Журнальный вариант.

такими же заезжими фраерами, тут сидящими в надежде, что на третьей кружке пива явится им тень Тулуз-Лотрека и других великих завсегдатаев этой некогда дешёвой забегаловки (а ныне цены дикие, поскольку вывешено несколько рисунков посетителей того прославленного времени – плата их за выпитый кофе, очевидно, или за рюмку коньяка). И больше не было у нас, насколько помню, встреч с прекрасным.

И на кладбище Пер-Лашез мы всё же побывали. Там надо бы дня два бродить, как минимум, но дождь хлестал, и ветер дул свирепо, и кальвадос удивительной выделки (приятель наш за ним мотается куда-то аж в Нормандию) никак не помогал. Ища укрытия, мы постояли у стены, где рядом – урны с прахом Айседоры Дункан и батки Махно, о странностях посмертного соседства книги надо бы писать – и обречённо вышли на открытое пространство. А спутник наш (чей был кальвадос) – знаток этого кладбища, но мы богатством его знаний насладились мало. Очень было грустно и неловко у могилы Саши Гинзбурга: огромный православный крест серого камня, ведро из берёзовых чурок с ёлочной веткой и двумя новогодними игрушками – какое всё это имеет отношение к безумного мужества еврею, основателю российского Самиздата, многолетнему неисправимому лагернику? Мы, соблюдая древнюю традицию, положили ему камушки, подобранные тут же, и стоять мне дольше не хотелось, очень уж я помнил истинного Сашку.

Хлебнув из фляжки, мы отошли душой у памятника Оскару Уайльду. Огромный куб, большой летящий ангел, а у ангела – хуёк, который посетители кладбища непрерывно отбивают – на память. Администрация даже табличку там повесила: пожалуйста, не надо портить художественный образ. Но туристы эту вежливую просьбу не читают, отбивают и отламывают, как и прежде, только успевай приделывать несчастный отросток. А на самом кубе – сотни надписей на десятке языков, и голову даю на отсечение – любовного характера. Не все знают, очевидно, о превратной сексуальной ориентации великого покойника. А двое россиян – уж те не знали точно, ибо трогательно написали: «Оля + Митя». После мы положили наши иудейские камешки на могилу Модильяни, мельком глянули на бронзового Бальзака, и оказались у огромной стелы, где я застрял и долго отойти не мог. Здесь покоился Огюст Моке, мой коллега некоторым образом, поскольку был литературным негром и писал романы, оставаясь безымянным и безвестным. Названия написанных им книг были (по его предсмертной просьбе) выбиты на мраморе: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетёра», «Королева Марго» и несколько других, столь же известных. Да-да, он был литературным негром самого Александра Дюма. Несомненно, что по написанным им текстам великий Дюма проходил рукою мастера, но в исторических источниках копался безусловно негр. А что касается сюжетов, композиций и героев – дело тёмное, но соучастие Моке было огромно и значительно. Дюма постоянно недоплачивал бедняге гонорар, всё время торопил (романы ведь сперва печатались в газете, и Моке не мог остановиться и промедлить), уклончиво отвергал все просьбы о соавторстве, но Моке его боготворил и много-много лет терпел, надеялся и сочинял. О, как я помнил это ощущение, когда выходит твоя книга, а ты к ней не имеешь никакого отношения. А тут великие творились книги. Но кто теперь хотя бы слышал об Огюсте Моке?

Дождь припустил с такой кошмарной силой, что почти бежали мы, спасаясь, в забегаловку у входа на Пер-Лашез. Бутерброды с сыром и ветчиной подавались там в горячем виде, а кальвадос с пивом очень сочетались. Мы сюда ещё не раз приедем, утешал я самого себя, поскольку жена Тата кладбища не любит и просто совершала подвиг соучастия, как и положено жене.

Я начал с этой мало выдающейся поездки ради нагло своей фразы о Париже, поскольку тридцать лет назад в тюрьме она бы меня очень рассмешила, а ведь лучше что-нибудь приятное (и, разумеется, хвастливое) годилось бы в зачин воспоминаний. Например, в Казани некий судья издал Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями из моих стихов. Этот судья (Ризван Рахимович Юсупов его зовут, я с ним и водку пил, но как-то слабо благодарность выразил) подобрал прекрасных авторов – открывался Кодекс стихотворением Высоцкого, и я в соседстве оказался с Пушкиным, Тургеневым, Грибоедовым, Хайямом, Иртеньевым, однако же моих стихов там было сотни полторы, и я на полку своих книг поставил этот уголовный кодекс. Вот если бы его по камерам раздать в бесчисленных российских тюрьмах – многим бы он скрасил заключение, мечтательно подумал я. Роскошный переплёт под кожу (или кожа?) и отличная бумага – истинное произведение постмодернизма создал этот казанский судья, дай Бог ему несокрушимого здоровья и пожизненной удачи. Где он столько денег взял на это уникальное издание?

Возможно, скинулись друзья? Но тут я целомудренно прервал свою мыслительную деятельность. И откуда бы они ни взялись, он потратил их с великим толком.

И на меня недавно денежки свалились. Не такие уж большие, но весьма приятного и даже поучительного происхождения. Мы с моим другом Сашей Окунем десять лет проработали на радио. Платили нам позорные копейки, но уж больно было интересно. В Израиль ведь приехало огромное количество людей, которым было что рассказать о своей прошлой жизни, да и у нас бурлили всякие идеи и истории, так что передача получалась. Называлась она «Восемь с половиной», и не столько в честь Феллини, как по времени, когда она передавалась. Слушали нас и в России, и на Украине, и в Германии с Италией, даже в Финляндии – мы это знали и по письмам, и по звонкам, ибо довольно часто работали с открытым эфиром. Я до сих пор (немало лет прошло) на выступлениях записки получаю, куда делась наша передача. Интересно, что мы столько там насочиняли, что довольно многое потом использовали с Сашей в наших книгах. И фанаты-слушатели у нас были, в одном городе склотилась даже компания, где очередной дежурный передачу всю записывал, чтобы потом послушали те, кто был занят в ту пятницу, что шла программа. Это всё я так перечисляю не из хвастовства, печально мне присущего, а по делу, ибо для дальнейшего вся эта похвальба весьма полезна будет. Кстати, просьбы, чтобы нам платили так же, как другим сотрудникам радио, начальству мы исправно сообщали и исправно получали обещания, что уже вот-вот и непременно. А плюнуть и уйти никак решиться не могли, уж очень это было интересно.

Прогнали нас, уволили без никакого мелкого спасибо в одну минуту – в тот же день, как мы по телевидению пробную программу показали. Какой-то нам неведомый, но премудрый начальник некогда и навсегда постановил: тот, кто работает на государственном радио, и

носа показать на негосударственном телеканале не имеет права. И мы об этом знали, но всегда надеешься на здравый смысл, а не написанную где-то глупость. Так мы оказались на свободе, и на радио с тех пор я – ни ногой, хотя порою очень неудобно отказывать хорошим людям в интервью или участии в совместной говорильне.

История свалившихся мне с неба денег только тут и начинается. Умелые и знающие люди прожужжали мне всю голову, что я должен подать в суд, и радио заплатит мне за многолетнюю недоплату. Но лень моя и наплеватьство (да плюс глубинное тупое недоверие к умелым и знающим) держали на коротком поводке мою любовь к деньгам и справедливости. Но тут и Сашку кто-то убедил, и я привычно вслед за ним поплёлся к адвокату (а уже лет семь прошло, но видит Бог, у нас достаточно других занятий было). Тяжба Саши прогорела сразу, потому что он не сохранял квитанций о своей зарплате (а на радио никто бы копий нам не дал, такое это свирепое учреждение). А все мои квитанции жена моя Тата зачем-то складывала в ящик, и весь он был забит подобными бумагами.

И тут необходимо отступление, поскольку я-то знаю о корнях загадочной предусмотрительности этой у своей жены любимой. Много лет тому назад, когда в Сибири жили мы на ссылочных правах, надумал я соорудить летнюю кухню и баню (а после, кстати, и сортир – во вкус вошёл). И доски я для этой цели – часть купил, а часть украли мне приятели со стройки. И на законно купленные доски дали мне какую-то незамысловатую квитанцию, куда-то я её закинул и забыл. Но не дремали бдительные люди. И как только закончил я своё великое строительство, приехали два милицейских ревизора. Так быстро (ну почти немедленно), что явно за строительством моим, подобно кошке у норы мышачьей, наблюдали. Где я, старый уголовник, только что из лагеря, брал стройматериалы? Я им что-то жалкое лепетал, соображая с ужасом, что это мне наверняка сулит на зону возвращение. Но из дома в это время царственной походкой выходила Тата с той помятой и ничтожной квитанцией. После утверждала она много лет, что сохраняла эту жалкую бумажку не машинально, а предвидя именно такой поворот событий, просто мне, заведомому раздолбаю, это даже говорить не собираясь. А оба ревизора милицейских так уже настроились на своё пакостное торжество, что от бумаги этой прямо на глазах скукожились и начисто увяли. Кто-то явно им заказывал это торжество, и они его, бедняги, подвели. Они даже не удосужились сравнить размер законно купленной мной древесины – с той, что вбухал я в кухню и в баню. Ибо самая идея провалилась. И теперь торжествовала Тата. И уже почти что тридцать лет об этом случае мне мельком, но неукоснительно напоминает. Думаю, что с той поры и появилась у неё замашка не выкидывать казалось бы ненужные и отслужившие своё бумаги.

Итак, у Саши его тяжба провалилась, только он по-прежнему ходил со мной к адвокату, ибо на иврите я без переводчика не мог, и адвокат, незримо на меня махнув рукой, лишь только к Саше и обращался. Я посиживал рядом, стараясь не утратить на лице выражение преданности и готовности.

И накопал этот молодой адвокат удивительные факты. Десять лет из месяца в месяц мне платили одну треть того, что я должен был законно получать. Мне даже страшно стало, что отвалится мне сразу столько много, но адвокат меня немедленно успокоил. Срок давности

почти стирал это возмещение чиновного хамства, надо было вовремя искать справедливости, теперь же — только за два года получу я (вероятно, ибо суд рассудит) зажиленные у меня денежки. Ленивый легкомысленный мудак, подумал я (по-русски я подумал, потому и не озвучил эту мысль).

И был назначен суд. И снова я сидел, преданно глядя уже на женщину-судью, но Саша безотлучно находился рядом, и поэтому спокойно наблюдал я яростные прения двух адвокатов — нашего и с радио. Наш явно не тянул. Говорил он коротко, порою запинаясь, что-то выискивал в папке, а тот, что с радио, был пламенно красноречив, самоуверен и напорист. Ну пусть не получу я этих денег, думал я, не очень-то хотелось, проживём, как жили, только ведь обидно, суд ведь не советский, из райкома партии никто тут не нажмёт на правосудие, и всё ведь так понятно и прозрачно в этом случае.

На самом деле всё не так было прозрачно. И теперь пора мне рассказать, как я в несчётный раз мог убедиться в том, что люди — очень разные и изменяются непредсказуемо в той ситуации, где надо выбирать. Нужны ведь были показания свидетелей. И запросили таковые с радиона начальников. А есть один такой, руководит каким-то отделом, и все вещание на русском языке — предмет его прямого попечения. Зовут его Шмулик, а фамилию называть не стану, потому что и от имени его меня уже воротит. Всегда приветливо-угодливый, ко мне и Саше относился он обворожительно. Нашу передачу называл он в разговорах гордостью, визитной карточкой и фирменной маркой русского вещания, а комплименты прочие не стоит даже приводить. Но тут спросили его письменное мнение, и тяжесть выбора легла на его трепетную душу: писать по-честному или защищать честь радиомундира, запачканного о многолетнее финансовое хамство. И Шмулик, замечательная должность его к этому толкала, предпочёл запачкать радиомундир враньём, но отстоять его финансовую честность. Он написал, что мне платили даже слишком много, потому что я вообще не участвовал в изготовлении всех этих передач, я просто изредка бывал на студии в качестве гостя, принимавшего посильное и малое участие в программе. Да и передача-то была весьма средняя, написал он, вдохновясь и разогнавшись, так себе была передача и ничуть не лучше прочих. Он даже не поленился и добыл откуда-то те числа, когда я отсутствовал в стране, отъехав на гастроли, но забыл сообразить, что передачи-то с моим участием исправно в это время шли, мы их готовили заранее. Ну, словом, лень перечислять те мерзости, которые наворотил услужливый чиновник.. Интересно только, что как раз в это время он встретил Сашку и любовно сообщил ему, что из суда к нему пришёл запрос, и он прекрасно отозвался в нашу пользу.

Я читал неоднократно, что люди, имеющие совесть, но вынужденные совершить какую-нибудь пакость, жутко мучаются потом, и мне ужасно жалко бедного начальника. Мы с ним как-то свиделись потом на одном литературном сборище, он ряда на три впереди меня сидел. Он покосился на меня несколько раз, а после глянул я — его уже и след простыл. Такой вот мужественный совестливый человек.

На радио, по счастью, работали и другие люди, и двое из них написали всё, как было. И на невозмутимую судью фонтаны адвоката с радио никак не повлияли. Словом, получил я эти свои денежки и тут же (вот ведь человеческая алчность) принялся жалеть, что проворонил остальные.

Тут я погладил нежно Уголовный кодекс упомянутый, и словно душу отряхнул, чтоб рассказать теперь о некоем прекрасном человеке. Только что его не стало, мне и посейчас диковинно о нём писать в прошедшем времени. Он умер, где и жил, в Лос-Анджелесе, помнить его будут немногие, хотя Сай Фрумкин был один из тех, кому мы все (те, кто рассеялся по белу свету, вырвавшись из бывшего Союза) – обязаны своей свободой. И преувеличения тут нет. Но я сперва – о личных качествах ушедшего.

Мне в долгой моей жизни повстречались, слава Богу, люди очень умные и люди, знающие очень много. И люди неумеренного любопытства к миру. И люди светлого доброжелательства к окружающим – далёким и близким. И люди с безукоризненным нравственным чувством. И люди, следующие голосу своего ума и сердца, невзирая ни на какие обстоятельства. И люди с необыкновенной терпимостью к чужому мнению. Но чтобы всё перечисленное совместилось в одном человеке – мне такое встретилось единожды. И поэтому к Саю Фрумкину (хотя мы подружились почти сразу) относился я всегда с лёгкой опаской: его цельность и нравственность побуждали быть настороже и воздерживаться от крайних суждений, свойственных мне – за рюмкой в особенности. А выпивка была у Сая – отменная и изобильная. Но тут не обойтись без нескольких подробностей судьбы.

Он родился в Каунасе в тридцатом году. Благополучная интеллигентная семья. Советское вторжение их, по счастью, не задело, но потом пришли немцы. После гетто Сай с отцом оказались в Дахау. Точней – в одном из его филиалов, где тысячи привезенных рабов строили подземный аэродром. Отец не дожил до освобождения, а четырнадцатилетний Сай уцелел. Потом он приходил в себя в Италии, в конце концов оказался в Америке. Закончив университет в Лос-Анджелесе, стал историком. Но занялся текстильным бизнесом, женился на американке, и всё бы в его жизни покатилося, как у миллионов его благополучно процветающих сограждан.

Но в конце шестидесятых он забрёл на лекцию, которая мгновенно изменила его жизнь. Он услышал, что в Советском Союзе проживают сотни тысяч евреев, мечтающих эту империю покинуть и не могущих добиться выезда.

С этого дня появился совершенно иной Сай Фрумкин, а единомышленники у него сыскались очень быстро. Пошли пикеты у советского посольства, демонстрации, запросы в Сенат, бесчисленные листовки и статьи в газетах – к ужасу тихой добронравной жены Сай отдался этой борьбе со всем пылом своей цельной личности. Над ними смеялись, им угрожали, их не слышали. Но чем эта борьба закончилась, прекрасно знают (только помнить не хотят) все те, кто получил в конце концов возможность выехать.

Нет, я, пожалуй, клеветшу. Лет пять назад я выступал в Лос-Анджелесе, и меня с коллегой пригласили после концерта в ресторан. Я чуть стеснительно сказал, что со мной трое друзей (а двое из них были Сай с женой), и их немедленно позвали тоже. Поднялась хозяйка всего этого застолья, я приготовился к обычному для этих случаев тосту за приезжих гастролёров и скромно потупился, но молодая женщина сказала:

– За столом у нас сидит человек, которому мы все бесконечно обязаны тем, что мы здесь, а многие – и тем, что процветают. Спасибо вам, дорогой Сай, и дай вам Бог здоровья!

И все дружно потянулись к Саю с рюмками. Как я был счастлив, это видя!

Обустройством множества приезжих Сай долгие годы занимался с тем же пылом и воодушевлением, как и борьбой за их приезд. А кроме этого, он четверть века писал каждую неделю маленькую статью в газету «Панорама», и каждая его статья – то первое, что начинал я читать, взяв газету. Ибо сплошь и рядом его текст был самым интересным из того, что печаталось в этой большой и содержательной газете. Более того: не склонный собирать какие-либо вырезки, я много уже лет храню собрание этих заметок, и штук пять уже толстенных папок накопил. О чём писал он? Тут вот я ответить затрудняюсь. Потому что тем – неисчислимое количество, Сай Фрумкин всю жизнь сохранял своё детское любопытство к миру. И писал он о событиях то прошлого, то настоящего, но непременно лишь о том, что начисто и наглухо опутывалось ложью в большинстве газет и многих книгах. Тут ведь важен голос, интонация, подход. А это был спокойный чистый голос того наивного мальчика из сказки Андерсена о новом платье короля. Тот мальчик повзрослел и был незаурядно образован. А наивность – сохранилась, несмотря на трезвый разум и осведомлённость обо всём, что в мире происходит. Такое сочетание оказалось удивительным инструментом видения нашей современной жизни. На газетные статьи Умберто Эко походило это более всего, но много шире по размаху интересов. Не успел издать он книгу этих заметок – может быть, ещё появится она. И негромкий голос разума и чести непременно привлечёт читателей повсюду в мире.

Я пока прощаюсь с тобой, Сай. Есть у меня слепая убеждённость, что в том существовании мы непременно встретим тех, кого любили.

Теперь пора мне вспомнить снова что-нибудь, что радовало меня за эти два-три года, что прошли со времени последней книжечки-дневника. Поболее всего, пожалуй, – та записка, что ко мне на сцену кинули в Днепропетровске (или в Донецке? – уж не помню точно, к сожалению): «Игорь Миронович, можно ли с Вами хотя бы выпить, а то я замужем?»

А в Кисловодске мне пришла записка от солидного юриста, держателя собственного адвокатского кабинета, он на своей визитной карточке прислал мне письменный привет: «Спасибо Вам за то количество неглупых девушек, которые одарили меня своей благосклонностью, когда я выдавал им Ваши “гарики” за собственное творчество». Вот сукин сын, подумал я с симпатией и завистью.

О другом таком же удачнике я узнал из записки молодой женщины. Она писала, что с трудом меня узнала, но в жизни не забудет тот полёт из Калининграда в Ганновер, когда больше часа я вполголоса читал ей свои стихи. Если учесть, что я ни разу в жизни не был в Калининграде, то легко понять, что и в Ганновер не мог лететь оттуда. В конце записки было приглашение продлить сей пир поэзии в домашней обстановке – видно, очень обаятелен был тот проходимец.

Забавно, что записки порождают порой одна другую. В городе Харькове (кажется) я получил такое сообщение: «Игорь Миронович, вот Вы в начале говорили, что евреев сильно поуменьшилось в России и на Украине, это правда. Я весь антракт проторчал в мужском туалете: евреев очень мало!»

Записка показалась мне потешной, и поэтому я в Питере прочёл её со сцены. Зал тоже одобрил её смехом. После перерыва получил

я продолжение: «А я весь антракт проторчала в женском туалете: евреев нет совсем!»

Нет, никак нельзя мне отвлекаться на записки, потому что их такое уже собрано количество, что книгу надо бы писать. А мне охота рассказать, как я однажды испытал большое наслаждение, сделав заодно глубокие, вполне психологические выводы.

Благодаря мизерности своих претензий к уровню существования я часто извлекаю удовольствие из вовсе немудрящих радостей земного бытия. Не зря я так высокопарно написал – готовлюсь развести на пустяке большую философию.

Несколько лет назад (мы тогда с Сашей, Окунем и жёнами нашими ездили по Европе, сопровождая экскурсии и щедро выбалтывая свои нехитрые познания) что-то не сложилось в пассажирском списке очередного самолёта, и Сашку с его женой Верочкой попросили этот рейс лететь в бизнес-классе. Как-то раньше нам не доводилось окунаться в эту роскошь, стоившую много дороже привычного эконом-класса (и слово «эконом» здесь очень к месту). Сашка наслаждался и блаженствовал (от пуза выпивки да плюс шампанское), но перед самым приземлением сказал загадочную фразу, в которой было нечто большее, чем просто шутка. Верочка, святая добрая душа, сказала о последней шоколадке, которую им принесла стюардесса, что она оставит её для Таты. А Сашка ей в ответ сказал: «Неужели ты собираешься ещё общаться с этими людьми?» Мы посмеялись, когда Верочка нам это рассказала, только что-то было в этой шутке, и она запала в мою память. А спустя лет пять один малознакомый импресарио позвал меня проехаться по нескольким южным городам и, спутав меня, кажется, с Кобзоном или Пугачёвой, прислал мне билет в бизнес-классе. Я и посадки ожидал в отдельном зале для весьма важных персон, и привезли нас к самолёту (шестеро всего нас было) в отдельном микроавтобусе, всего летящего населения я просто и не видел. А ведь самолёт – гораздо более демократический транспорт, чем, например, поезд, где пассажиры всё-таки разделены стенками их купе, в салон самолёта вливается единая густая толпа. А тут нас было шестеро, и мы не замечали друг друга. И сразу же явилась выпивка в большом ассортименте. Я перечислять не буду, только виски одного там было три различных этикетки. И конечно же, я ждал еду. Ведь в самолёте это вообще большое развлечение и радость, тут наверняка чего-нибудь особенного надо ждать, и Сашка говорил об этом что-то. Самое вкусное, опасливо подумал я, нам достаётся, когда многое уже мы вряд ли можем разжевать.

Но ошибся. На подносе, который принесла источающая симпатию (ко мне лично, разумеется) стюардесса, прежде всего привлекала внимание упаковка с белой и красной рыбой, лимон с петрушкой дивно оттеняли их цвет и сочность. Далее лежала упаковка из трёх разных сыров. Один из них был, вероятно, деликатесным, ибо пах, как носки студента. А ещё была тёртая морковь, обёрнутая в ломоть баклажана, и искусно изготовленная рыба с жареной картошкой. К ней (а может, и не к ней) был кетчуп под названием «Нежный» – он оправдывал своё название. Апельсин, виноград, киви. Виски мне подливали каждые минуты три. Юная стюардесса любила нас изо всех сил. Улыбалась, строила глазки, грациозно изгибалась, спрашивая о чае, кофе. Две огромных шоколадных конфеты я заначил сразу – под вечерний глоток выпивки в гостинице (когда-то был я сластолюбец, но,

состарясь, превратился в сладкоежку). Нет, я ничуть не жадничал и не напрягался, но почти уверен, что я выпил виски на полную стоимость билета от Москвы до Тулы в общем вагоне.

В естественное впадение в блаженство, вдруг ощутил, почувствовал – не нахожу глагола, чтоб точнее передать, – что населения салона позади меня не существует в моём сознании, их рядовая жизнь течёт поодаль, совершенно непричастная к моей. Я даже протрезвел немного, начиная понимать подоплёку той Сашкиной шутки. Подумал, что именно такова основа психологии сегодняшних хозяев российской жизни. Ведь им должно сопутствовать всегда ровное чувство своей отдельности, нет – отделённости своей от неразличимой массы, имеваемой населением. И тягостно им вынужденное редкое общение, у них своё пространство жизни, а отсюда – многие поступки и решения проблем. Как бы где-то я об этом и читал, но тут мне эта истина явилась непреложно, в виде собственного явственного ощущения. И я так обалдел от этого, что отрезвление немедленно залил.

И выходили мы раздельно, я толпу своих попутчиков увидел уже только возле движущейся ленты с чемоданами. Докучливо и странно было мне стоять в этой обыденной толпе.

А кстати, тоже в самолёте как-то был я озарён открытием, забавным для петушьего мужского самоощущения. Мы с женой летели не куда-нибудь, а на остров Мадейра, родину известного вина. Там был назначен семинар (не помню, как точнее назывался этот курултай) преуспевающих российских энергетиков, и я был приглашён им почитать свои стихи. Труба, снабжающая деньгами Россию, уделила и мне несколько нефтяных брызг. И я с вульгарным удовольствием летел на этот остров, куда в жизни не попал бы просто так. А в самолёте стюардесса, к нам изящно наклонившись, у жены моей спросила, что она предпочитает на обед. По-моему, был выбор между курицей и рыбой, это не суть важно. Тата ей ответила, и стюардесса с тем же вопросом обратилась ко мне. Описываю это так подробно, потому что тут нужна как бы замедленная съёмка: я вдруг обнаружил, что плавно поворачиваюсь к Тате, чтоб её спросить, что я хочу. Я в оторопь пришёл от машинальной этой слабости, а спохватившись, сам пробормотал, чего бы съел. У стюардессы ничего не дрогнуло в лице – ужель она привыкла к этому явлению мужской самостоятельности в семьях? Я потом это рассказывал в застольях, и друзья, женатые и сами лет по сорок, хоть и ухмылялись снисходительно, однако явно вспоминали что-то сокровенное и мигом укорачивали разговор на эту выразительную тему.

А на Мадейре, кстати, было очень хорошо. На маленьких разливных заводиках вино дают сперва попробовать – стаканчик небольшой, но видов и сортов довольно много, так что время протекало интересно и достойно. Тут, конечно, автор поприличней непременно повестнул бы, что Мадейра – остров вулканического происхождения, и есть места, где холмы и наплывы чёрной застывшей лавы образуют необыкновенной красоты пейзаж, а вместе с буйной зеленью субтропиков и тёмно-синим морем – нечто вообще неопишемое, а я о тоже чуде, но другом вам расскажу. О чуде тоже чисто зрительном. В роскошном нашем номере гостиничном сортир (я слово «совмещённый» ностальгически упомяну, поскольку душ и ванна помещались там же) был совершенно выдающимся. Не только по размерам и наличию всего, что нужно заходящему туда, но главное – по некоей дизайнерской задумке. Слева и

напротив унитаза обе стены были огромными зеркалами. А теперь прошу себе представить: вы привычно усаживаетесь на этот фаянсовый трон, видите своё отражение слева, видите его напротив, после чего (и тут я вздрогнул) обнаруживаете ещё одного участника: четвёртый вы сидит в углу, где зеркала сходятся. Такова игра загадочных зеркальных отражений. Если к этому добавить, что как раз читал я в это время книгу Дины Рубиной о циркачке, играющей зеркалами, то поймёте, вероятно, и богатство моих разных ощущений.

Но к новым русским непременно стоит возвратиться. Минула эпоха красных и малиновых пиджаков, почти исчезли золотые цепи, все они в культурные одежды облеклись, и многие во власть подались — внешне их уже не отличить. Но ведь внутри меняется (если меняется) куда неспешней человек, и потому порой можно услышать дивные истории. Мне повезло. Меня в Москве позвали как-то на передачу под названием «Апокриф». Я не пошёл бы, суеты в Москве хватает, жалко времени, только тому мне назвали — отказаться я не смог. Собрались говорить о библиотеках — тема необъятная, но как-то я сообразил, что без меня никто не вспомнит о держателях подпольных, самиздатских библиотек. И для этого пошёл, и всё это изложил (я лично знал книжных подпольщиков, из коих часть и в лагерь угодила), успел заметить, как это уже неинтересно даже тем интеллигентам, что на передачу прибрели, но тут же был вознаграждён благоуханнейшим рассказом директорши библиотеки иностранной литературы.

На территории библиотеки этой стоит небольшой бюст Генриха Гейне — подарок из Германии туманной. И однажды получила директорша письмо от одного заметного хозяина российской жизни. Он писал, что хотел бы прикупить небольшой кусок земли в библиотечном садике, чтобы его семья могла быть похоронена возле могилы знаменитого немецкого поэта Гейне. И хотя, письмо такое получив, изрядно посмеялись все сотрудники, но олигарху отписали вежливо и серьёзно, что это, дескать не могила, просто бюст, и не хоронят никого на территории библиотеки. Письмо отправили и думали, что всё закончилось на этом. Только вскоре получили новое послание. Возможно, его плохо поняли, писал хозяин жизни, он заплатит, разве деньги не нужны библиотеке?

Я, эту историю услышав, даже не смеялся, оцепенел. Такое изумительно дремучее сознание явилось из этой переписки, что никакие бы научные статьи его не объяснили, словно постоял на психологических раскопках только что канувшей эпохи. Я преувеличил? Думаю, что нет.

Я вообще всегда изрядно радуюсь, когда какие-то случайные слова (а то и письменные тексты) позволяют вдруг вплотную глянуть в глубину, которая обычно скрыта в человеке. Например, мне рассказали, как пришли однажды к Ельцину (он тогда ещё в Свердловске был царём партийным) городские фанаты туризма. Эти неуёмные путешественники по родному краю и необъятным просторам Родины что-то Ельцину хотели разъяснить насчёт психологической, патриотической, экономической и всяких прочих польз туризма, чтобы он что-то разрешил, одобрил и помог. Среди них были учёные, врачи, инженеры — совершенно бескорыстные люди, сколотившиеся в группу по признаку активности и фанатизма. Говорили они пылко, убедительно и лаконично. Ельцин выслушал их восклицания и аргументы и задумчиво сказал:

– Это, видно, и впрямь дело хорошее, если вокруг него крутятся столько евреев.

А ещё бывают тексты, за категоричностью и краткостью которых видно, как отменно знают авторы повадку и замашки будущих читателей этого текста. Помню, как восторженно и умилённо стоял я в Умани у огромного объявления при входе на могилу великого еврейского мудреца и праведника рабби Нахмана. Туда ведь ежегодно приезжают десятки тысяч паломников, и превращена эта могила в гигантское коммерческое предприятие, и кладбище вокруг неё (он завещал себя похоронить среди народа) почти затоптано этими толпами, но я – всего лишь о прекрасном объявлении. Это святое место, предупреждало объявление паломника, поэтому:

«1. Запрещено вести какие-либо торговые или деловые операции на кладбище.

2. Запрещено спать на территории кладбища.

3. Запрещено устраивать трапезы на территории кладбища.

4. Женщины обязаны разговаривать и молиться тихо и с соблюдением правил скромности».

Я дальше списывать не стал, ибо от смеха скис, воочию себе представив, что здесь творилось бы, не будь такого строгого предупреждения.

Однако же, пора заканчивать эту начальную главу. Мечта моя о новом дневнике начинает сбываться. Потом я столько чуши напишу, что вся мечта естественно скукожится, исполнившись, и снова станет грустно на душе. А чтоб не стало грустно сразу, припомню некую свою мечту, которая сбылась, ничуть не повредившись в очертаниях.

Мы с Сашей Окунем затеяли на телевидении (только-только основался здесь русскоязычный канал) программу под названием – «На троих». Нам оборудовали даже студию: висели копии Сашиних работ, а посреди стоял большой круглый стол (им послужила огромная катушка, на которую наматывают кабель). Третьим был у нас какой-нибудь интересный собеседник – их было с лихвой, мы сами подбирали посетителей. Этот третий приносил на передачу выпивку с закуской, так было условлено, и он ещё обязан был нам рассказать, почему принёс именно это, а не что-нибудь другое. Мы разливали на троих (чисто российская забава) и беседовали на различнейшие темы. Много передач удачными случились. Нам довольно трудно приходилось, ибо в день, когда предоставляли студию, порой подряд три передачи мы писали, а ведь пили мы не понарошку, и на третьей записи уже держать себя в руках было не просто. Только нам всё это очень нравилось. И так мы проработали чуть больше года, сделав тридцать девять (или сорок?) передач. Смотрели нас отменно, и ещё в достатке было разных замечательных гостей. Надобно сказать, что главный режиссёр канала (и организатор, устроитель) нас не просто пригласил, но принял в нас горячее участие, мы провели немало времени, различные детали обсуждая. Но, очевидно, оказался он из тех людей, которые разительно меняются, работая в начальниках. И год или чуть более спустя решил он, уж не знаю, сам ли, что у передачи нашей мало зрителей (как говорится – невысокий рейтинг). Как тут поступить? Да очень просто: пригласить соавторов к себе в кабинет, сказать – ребята, вы не потянули, извините и спасибо, и пошли бы мы, солнцем палимы, без малейшей никакой обиды. Только что-то в нём уже необратимое, начальственное что-то в нём произошло. И

нам некий посланник, общий наш приятель сообщил от начальственного имени главного редактора Лёни, что передача закрывается. И ни приветов, ни спасибо сказано нам не было ни слова. И от этого мы некую обиду ощутили, мы-то знали по звонкам и разговорам, как нас слушают. И появилась у меня одна мечта, но сразу я её не назову.

У Саши много времени очистилось на живопись, я сел за новую книжку, мы не тосковали и в нужду не впали. Только наблюдали, усмехаясь, как все наши передачи повторили раза три (а как же рейтинг?), а потом ещё и продали в Америку и Австралию. Я стал подумывать, что сбудется моя мечта. И через какое-то время (как оно мелькает быстро!) явился к Саше в мастерскую тот же самый гонец-посланник и передал нам Лёнино приглашение немедленно изготовить ещё тридцать передач. Сбылась моя мечта, подумал я с восторгом, целиком и полностью сбылась в своём первоначальном виде. Мы с Сашей даже не переглянулись, и я мягко, вежливо сказал:

– Передайте Лёне, что его послали на хуй.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Да конечно же, я знаю, что такое название уже было, даже читал я некогда этот прекрасный роман, только никак иначе не назвать мне мелкие заметки о коротких и душевных гастролях по нескольким российским городам. Я с самого начала вдруг почувствовал, что будет хорошо и интересно. По дороге во Владимир проезжали мы известный ныне (даже знаменитый) город Петушки, а у меня с собой было, и я усердно помянул Веничку Ерофеева. К моменту, когда мы достигли дорожного знака о выезде из города Петушки, воссияло прочное во мне ощущение, что дальше будет всё прекрасно. И спокойно я заснул, чтоб на концерт прибыть, как стёклышко.

А ещё добавить надо, что в поездке этой я довольно много думал, а так как это нечастое состояние моего организма, то оно мне и запомнилось поэтому.

Лет пять назад по этой же дороге ехал я в один некрупный город (умолчу его название), где после выступления с забавным повстречался человеком. В примёрную ко мне народ набился, все неторопливо выпивали, а когда зашёл рослый молодой парень с роскошной девицей, то пространство около меня мгновенно как-то опустело, многие даже ушли из комнаты, мы с этой парой оказались сами по себе. Красивый молодой человек сказал мне всякие слова и даже предложил мои стихи мне почитать как доказательство приязни, и роскошный протянул подарок: нарды явно лагерной работы. С отменно вырезанным волком на лицевой доске, с искусно выжженным орнаментом снаружи и внутри. Такие лагерные поделки (выкидные ножи, браслеты из цветной пластмассы, шахматы) под общим названием «масти» я знал ещё по лагерю, где сидел, и несколько таких сувениров подарил когда-то музею общества «Мемориал». С великой, надо бы признаться, жалостью, ибо на зоне занимаются мастями очень способные эзки.

– Откуда у тебя такая масть? – благодарно спросил я парня.

– А я смотрящий по нашей области, – просто ответил он.

Я ошалело вынул сигарету. Парень чиркнул золочёной зажигалкой. Смотрящий – это хранитель огромных денег, так называемого

общака, воровского банка, куда исправно сдаёт взносы весь уголовный мир для поддержки («подогрева») своих коллег в лагерях. Смотрящий – очень важная, доверенная и авторитетная должность, солидные и уважаемые всеми воры избираются на это место коллективным сходом. А тут – мальчишка.

– Слушай, ты ж ещё ни разу не сидел? – невежливо и ошарашенно спросил я. И угадал.

– Ни разу, – ответил он. – Я положенец.

Мне почему-то запомнилось, что он себя назвал назначенцем, но потом мне объяснили, что положенец – правильное название. Я задавал ему какие-то несуразные вопросы, он спокойно и с большим достоинством мне отвечал. Я всё никак не мог смириться с тем, что воровской подпольной кассой управляет юный парень из чужого, презируемого ворами мира. По дороге к машине (его всё-таки задело моё недоверие) он говорил мне, как часто его били в милиции – выживая, вероятно, какие-то сведения, и что он – не один такой на Руси.

Нарды эти я храню и никуда дарить не собираюсь – очень уж красива эта лагерная масть, а мысли навеивает она – странные. О том, как дико и причудливо сросся уголовный, заведомо подпольный мир с обыденным, благопристойным и легальным, если открыто и спокойно берут воры себе в менеджеры людей из этого дневного мира. И вновь, как уже много лет назад, подумал я о радиации лагерного духа, пропитавшего насквозь Россию и растлившего её на много поколений вперёд. И от сумбурных и угрюмых этих мыслей я в тот раз не выпил, проезжая Петушки.

А в городе Перми провёл я дня четыре – удружило расписание гастролей. Бродил по улицам, в музеях побывал и посидел в библиотеке, полистывая книги о городе. Из них, конечно, самая отменная – труд местного профессора Абашева «Пермь как текст». Идея, очевидная уже в названии, пришлась мне очень по душе. Хотя, конечно, тут куда точнее было б слово «палимпсест», что означает, как известно, рукопись, где прежний текст (и не один) размыт или соскоблен. Но слово очень редкое и чуть научное, оно бы только отпугнуло множество читателей. А было б это точно и почти буквально: вот на бывшем архиерейском кладбище, где издавна хоронили виднейших горожан, теперь устроен зоопарк, и нынешние пермяки – посетители коллективно топчутся на могилах своих предков, истинно советская коллизия.

А на бывшей окраине Перми, где начинался некогда Сибирский тракт (и лучшие из россиян тут проходили или проезжали к месту наказания), почти сохранно здание тюремного привала арестантов. И тюрьма была тут – аж до сорок пятого года. Эти стены, хоть и перестроены неоднократно, многое могли бы рассказать, но стены молчаливы, а сегодняшнему люду мало интересны страшные недавние истории. После войны чекисты этот дом пустили под свой клуб. На первом и втором этаже всё перестроили под их культурный отдых, а подвал таким же и оставили: убого мрачный длинный коридор и крытые железом двери в камеры. Глазок для надзирателя на каждой двери и маленький прямоугольник кормушки. А нары сняты были, яму крохотного карцера подземного (трудно и представить себе смертный холод в этой тесной яме) досками покрыли и залили цементом. А впрочем, ведь в подвал никто не спускался, наверху в тепле они гуляли. Пишу об этом не совсем понаслышке, двери я ещё застал. Поскольку десять лет спустя чекисты подобрали себе здание поаван-

тажней и побольше, а сюда вселили – вот ирония судьбы и смена текста – кукольный театр. Впрочем, ведь и сами чекисты были такими марионетками в сталинских играх и спектаклях, что пожалуй, смена жанра не такая уж большая приключилась. А в театре этом, очень в городе любимом, с неких пор стал художественным руководителем поразительного таланта режиссёр Игорь Тернавский, мой давний приятель. Он театр этот до неузнаваемости перестроил (красота внутри такая – радуется сердце), а совсем недавно заменил и двери, поскольку там расположились мастерские театральные, и людям ни к чему такая память. Я же по тому тюремному коридору мимо тех дверей успел проходить, и так было сладостно и смутно на душе от личных оживившихся воспоминаний, что Игоря совсем не одобряю. Кажется, и он жалеет тоже: памятники надо сохранять, подвал тот для экскурсий был бесценен. Вот вам и истинно российский палимпсест. Игоря часто спрашивают, не опасается ли он, что зловещая аура этого жуткого здания влияет как-то на атмосферу в театре. Нет, отвечает уверенно, детский смех и детская радость смывают начисто любую ауру. Услышав это, подумал, не потому ли российское телевидение передачами своими так усиленно старается вызвать у вполне взрослых зрителей именно детский смех и детскую радость?

Пермь – единственный в мире город, чьё имя носит целый геологический период в жизни нашей планеты. В середине XIX века тут побывал известный в то время английский геолог Родерик Мурчисон. Исследуя этот край (и двадцать тысяч километров по нему нагуляв), он обнаружил мощные отложения красноцветных глин, песчаника и чего-то ещё – приметы некоего геологического периода, который не был до него учёными описан. Он назвал этот период пермским. И добавлю ради красного словца, чтобы нечаянно блеснуть осведомлённостью, что это был конец палеозоя – приблизительно двести пятьдесят миллионов лет тому назад. Здесь поднимались горы, отесняя море, море высыхало, и отсюда здесь неизмеримые запасы соли под землёй, чуть ли не две трети их количества на планете. Уже цвела повсюду жизнь, гуляли меж хвощей и папоротников древние ящеры гигантских размеров и невероятных наружностей, а климат был – почти тропический. Найденные тут во множестве кости этих ящеров, а также многие виды окаменевших растений и насекомых (в частности – огромных тараканов) по сю пору радуют учёных изобилием. Одну прекрасно слеplенную фразу явного пермяка – патриота я даже выписал из просмотренной книги: «А в областях с более холодным климатом тараканы редки, малоразнообразны и имеют мелкие размеры». Забавно было повторять эти надменные слова, топоча по снегу и трясясь от ветра по дороге из библиотеки в гостиницу.

А ещё в этих краях издавна выплавляли медь (отчего и назначено было стать городом это пустынное место возле старого медеплавильного завода: царица Екатерина просто ткнула сюда пальцем). Древние мастера (середина первого тысячелетия до новой эры) умели отливать из меди плоские изображения разных зверей и птиц, людей (порою всадников) и неопознаваемых животных. Это старинное литьё – искусства отменного, недаром Строгановы его стали собирать (а ныне почти вся эта коллекция хранится в Эрмитаже), а названо оно – по имени опять же города – пермский звериный стиль.

Нет, не иначе как какой-то Божий свет сиял над этими местами в разные столетия и годы: я теперь о деревянной скульптуре XVIII века

хоть бы мельком, но хочу упомянуть. О «пермских богах». Уже, наверно, раз шестой сюда приезжал, и снова с обалдением немым смотрел на это совершенство резаных по дереву фигур. Я вообще люблю резьбу по дереву и в разных городах Европы с наслаждением торчу в музеях возле раскрашенных фигур разных святых. Жаргонные слова об удовольствии – «тащусь я от этого» – наиболее точно передают мои ощущения. Так вот от пермских тащусь сильнее, чем от других. Скуластые, немного плоские их лица (а порой и чуть раскосые глаза – ведь местные изображались люди), их позы, жесты – выразительны настолько, что словами ничего не передашь, каким ни будь искусствоведом. У меня же лично сокровенный способ есть, чтоб выразить очарование и чувства выплеснуть: по возможности негромко пару нецензурных слов произношу. И мне легче.

Здесь когда-то жил загадочно исчезнувший народ (звериный стиль они как раз затеяли) – чудь, это предки нескольких народностей сегодняшних. О них есть миф, что при крещении языческого местного населения они ушли под землю, чтоб остаться в прежней вере.

Об одном сугубо пермском мифе грех не рассказать. О Башне смерти. Это редкий случай, когда миф (кошмарно впечатляющий) родился и разросся из чьей-то лёгкой шутки. Прямо в наше время, когда мифы сотворяло разве что правительство страны (про то, как мы отлично все живём и как нам все завидуют). На углу двух улиц высится в Перми десятиэтажный дом (и башенка со шпилем) архитектуры сталинских времён. Это и есть Башня смерти. Миф, известный всему городу, гласит, что некогда на этом месте были пыточные камеры ещё во времена Ивана Грозного, и что останки тут замученных людей скопились под землёй, что тайные подземные пути отсюда тянутся ужасно далеко, что даже в стены здания вмурованы тела погибших здесь, и много ужасов иных. И это повествуют все, кого расспрашивали историки города. Но зданию совсем немного лет: его построили в пятьдесят втором году и с той поры здесь угнездилось областное управление министерства внутренних дел. Конечно, у ребят этих вполне дурная репутация, но почему же корни мифа, столь кошмарного, в седую древность тянутся?

Но проста причина, и забавна, и о силе меткого слова свидетельствует. Когда выстроено было это здание, и въехало туда поганое управление, весь город (как и вся страна) смотрел трофейный фильм «Башня смерти» – по пьесе Шекспира «Ричард Третий». И шутник какой-то Башней смерти окрестил действительно зловещий этот дом. Весьма рискуя, кстати (год пятьдесят второй, заметьте, чистая пятьдесят восьмая за такую шутку). Название, естественно, приклеилось. И принялись рождаться мифы.

Они и нынче появляются в Перми. Что связано с гордыней, обуявшей патриотов города. Наверно, с той поры ещё гордыня завелась, когда отлили тут царь-пушку, весившую не только на четыре тонны больше, чем знаменитая московская (каких-то жалких сорок тонн), но ещё и стрелявшая в отличие от столичной неудачницы. Снарядами в двадцать восемь пудов. Ну как тут не зародиться тайной гордыне? А в каком ещё другом городе мелкая речушка, отделяющая старый город от кладбища, называется Стикс? А на деревьях, спиленных в здешних окрестностях, стоит вся Венеция – это знаменитый карагач – единственное дерево, которое твердеет в воде. Ну, словом, много оснований для того, чтобы Пермь была хотя бы третьим в стране го-

родом, где жизнь кипит вполне столичная, и множество талантливых людей отсюда вышло (взять хотя бы Дягилева, который в восемнадцать лет сбежал и более старался Пермь не вспоминать. Попов опять же – радио он изобрёл, пускай не первый, но самостоятельно.) И правда, очень многие талантливые люди жили здесь или отсюда в жизнь пускались. Оружейники, к примеру, пушечные мастера, авторы авиационных моторов. Только патриотам настоящим мало этого. В каком-то письме (кажется – Горькому) повестнул как-то Чехов, что героини его пьесы «Три сестры» могли бы жить в любом провинциальном городе. Ну, например, в Перми, неосторожно пояснил Чехов. И вот уже экскурсоводы резвые показывают дом, где тосковали три сестры. В Москву, в Москву!

Дай Бог этому городу расти и хорошеть. Я очень интересно там пожил. А через месяц, когда уже вернулся, то случился тот пожар кошмарный в ночном клубе «Хромая лошадь», где погибло сотни полторы людей. «И ты бы мог!» – вздыхали сердобольные знакомые. Нет, не мог. Я не хожу в такие заведения. Там современная российская элита гужевалась. Там гуляли на ворованные или взяточные деньги. Потому что на свои, на кровные, не станешь пить коньяк ценной тридцать четыре доллара за пятьдесят грамм, а там как раз такие цены были. По уровню – вполне столичные.

В Перми я доверительную донельзя записку получил:

«Игорь Мионович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда возможно записаться?»

При подъезде к Челябинску охватило меня странное чувство близости: город этот некогда двумя стежками прошил всю мою биографию. Сюда в самом начале войны переехал завод, на котором работал мой отец, и вся наша семья прожила тут год или полтора. Мне было пять лет, и ничего о времени эвакуации я помнить, естественно, не мог. Кроме одного эпизода – впрочем, он повторялся периодически. Раз в неделю (или в месяц?) отцу выдавали паёк, в котором была большая плитка шоколада. Яркая, цветная, невыразимо прекрасная даже внешне. Эту плитку шоколада мама сразу же меняла на буханку хлеба – у одной и той же женщины. А я при маме неотлучно находился, и однажды эта женщина спросила, не горюет ли ребёнок, что досталась шоколадка не ему. Мама непривычно резко ей ответила, что нет, нисколько. Мама неправа была, ребёнку шоколадку эту было очень жалко всякий раз, иначе он бы не запомнил этот краткий разговор двух женщин.

А спустя почти сорок лет я провёл в Челябинске несколько дней в пересыльной тюрьме – по дороге в сибирский лагерь. После каждых трёх дней пути в столыпинском вагоне полагался отдых в какой-нибудь тюрьме, таков был гуманизм начальства, знавшего условия этапа. Тюрьма эта запомнилась и внешне – нас туда пешком вводили почему-то, высадив из автозака у ворот, и нелепой радостью, меня вдруг обуявшей от неожиданной человечности, впервые мной увиденной у надзирателя. Нас вели по длинному коридору явно старого здания, и я по своему дурацкому любопытству спросил у шедшего рядом пожилого тюремщика, когда эту тюрьму построили. И он не цыкнул на меня и не обматерил, а с некоей даже приветливостью ответил:

– В восемнадцатом году. То ли её красные для белых строили, а то ли белые для красных.

И засмеялся. Я к нему такую ощутил симпатию и благодарность – вдруг на минуту окунулся в мир нормальный и естественный.

На этот раз меня к тюрьме подвёз не автозак, а маленький автобус телевидения. Оператор хищно задвигался, снимая с разных сторон, как я сладостно курю, глядя на тюремное обшарпанное здание.

– Так на отчий дом смотрят, – сказала журналистка.

– А я так эту тюрьму и ощущаю, – ответил я вполне искренне.

Мы находились в двух шагах от улицы, названной в честь моего покойного тестя – я, к сожалению, уже его не застал. Юрий Николаевич Либединский прожил в Челябинске много лет, он вырос тут, и на здании реального училища висит мемориальная доска. И дом его родителей мне показали, оба они были врачами. А после покурил возле основательного купеческого дома, тоже связанного с семьёй Либединских. Именитый купец Елькин очень много сделал для Челябинска, но мемориальная доска на его доме посвящена двум его сыновьям – Якову и Соломону, павшим, как и подобало еврейским детям того времени, за дело революции. А младший сын по молодости ввязаться в это дело не успел, ввиду чего остался жив и женился на сестре Юрия Николаевича – девушке Рике. И я ещё застал её – сухую грустную старушку, прикованную к кровати. Она всю жизнь преподавала в Ленинграде (уж не помню института) основы марксизма-ленинизма. Погрузившись в эту будто бы науку, стала яркой антисоветчицей и, приезжая изредка в Москву, такие говорила речи в семье брата, что после её отъезда родственники долго ждали неприятностей. Но преподавать не прекращала. Я пришёл её навестить, когда писал роман о художнике (поэте, авиаторе, священнике) Николае Бруни, убитом в лагерной Ухте в 38-ом году. Рассказал ей, чем сейчас занимаюсь, и старушка горько прошелестела:

– А я почти пятьдесят лет обманывала молодых марксизмом-ленинизмом.

Такая вот была типичная еврейская семья.

В гостиницу вернувшись, вдруг вспомнил одну странную историю. Её рассказывала мне и тёща Лидия Борисовна, и жена Тата, благодарно помнит её вся семья Либединских. Юрий Николаевич ещё с двадцатых годов дружил с Фадеевым, в честь него даже назвав своего сына Александром. В сороковых они встречались крайне редко: Фадеев был по уши занят верховодством писательского стада и политикой, а Либединский счастлив был в семейной жизни и замкнулся дома, не принимая никакого участия в разборках, сварях и интригах своих коллег. С Фадеевым виделся так редко, что придумал себе тонкое психологическое утешение, которым даже с дочерью делился: дружба, говорил он, вовсе не подразумевает частых встреч, в ней важно ощущение, что друг у тебя есть и таковым всегда останется. Летом сорок восьмого, накануне грянувших вскоре кошмаров (травля космополитов, дело Антифашистского комитета, много было светлых мероприятий) Фадеев без звонка явился поздно вечером в квартиру Либединских. Трезвый, хмурый и куда-то торопившийся. Вся семья была на даче, дома была только Татьяна Владимировна, мать Лидии Борисовны. Спросив, где кабинет Юрия Николаевича, гость молча сел за его письменный стол и принялся выгребать из ящиков все бумаги, наскоро просматривая старые конверты с письмами. Несколько из них он отложил и забрал с собой (по другой версии – тут же сжёг в помойном ведре). И ушёл, тепло попрощавшись и не извинившись за

вторжение. Татьяна Владимировна утром кинулась на дачу в Переделькино. А следующей ночью в квартире побывали странные воры: они взяли всего-навсего серебряную сахарницу, но раскидали все бумаги из ящиков письменного стола, что-то ища. На этом происшествие закончилось, хотя тревожно (а скорее – страшно) было ещё очень долго. Фадеев явно совершил во имя дружбы деяние, сорвавшее какие-то неведомые планы в отношении Юрия Либединского, но ничего не объяснил ему и впоследствии. А это ведь неоспоримо означает тяжкую деталь в и без того трагической жизни Фадеева: он был не только рьяным и беспрекословным исполнителем всего, что диктовалось сверху, но в полном был доверии настолько, что его и в перспективу посвящали, в планы разработок для арестов ещё только предстоящих. Навряд ли этот факт обрадует его биографов.

А вечером я на концерте получил прекрасную и грустную записку:

«Дорогой Игорь Миронович, посоветуйте, как девушке с двумя детьми выйти замуж за еврея?»

Из Челябинска мой путь лежал в Магнитогорск. Я очень давно хотел тут побывать. Город этот, лежащий сразу в двух частях света (Европу и Азию тут разделяет река Урал, а город – на обоих берегах) возник благодаря легендарной советской стройке – металлургическому комбинату. На пустом практически месте, в глухой степи возле горы Магнитной (гор там несколько, но эта – главная) в 29-м году началось сооружение первенца социалистической индустрии. Невольно впадаешь в тон и лексику советской прессы, год за годом воспевавшей это рукотворное чудо. Рукотворное буквально: кроме тачек и лопат здесь ничего и не было. Строители жили в палатках, землянках, глиняных лачугах, битком набитых деревянных бараках, где спали по очереди. Кто-то вспомнил в разговоре, что первым каменным зданием на стройке этой стала тюрьма. Что же касается поголовного энтузиазма строителей, то стоит вспомнить, что половина из них приехала сюда не по собственной воле: здесь были так называемые спецпереселенцы, которых выгнали из разных городов страны за их происхождение, и просто зэки – в основном по 58-й статье. И множество крестьян, бежавших от разбоя коллективизации. Несколько тысяч таких энтузиастов были здесь же и расстреляны, а участь сменявшихся руководителей была такой же, как по всей стране в тридцатые годы, и они погибли почти все. Было время, когда на комбинате, уже огромном, оставалось менее десятка дипломированных инженеров, ибо остальные были арестованы, их заменили практики – без образования, но социально надёжные. Когда газеты с упоением сообщали, что комбинат возводят энтузиасты тридцати шести национальностей, это говорило лишь о том, насколько одинаково мела по всей стране железная метла. Конечно, можно смело отнести к числу энтузиастов несколько сот иностранных специалистов, приехавших сюда творить светлое будущее всего человечества. Когда построили рудник, задули первую домну, заработала мартеновская печь и прокатные станы – ликование безмерно было, многих вовлекая в социалистическую веру. И в войну, кстати сказать, каждый второй танк и каждый третий снаряд были произведены из металла Магнитки.

Я стоял на высоком берегу, глядя издали и сверху на здания и трубы комбината. Из труб сочились густые волны дыма – цвет их был словами непередаваем. Нечто серо-жёлтое и фиолетово-лиловое, впервые видел я, как цветом можно передать чудовищную

ядовитость производственного дыма. Я о ядовитости буквальной говорю: Магнитка – одно из первых в списке экологически опасных, вредоносных для живой (и неживой) природы мест. И когда ветер прямо дует в сторону города, этим дымом дышат четыреста тысяч его обитателей. А снег тогда становится оранжево-жёлтым.

И тут меня насквозь пронзила мысль, что это ведь по сути – уникальный памятник творцу империи и лютому убийце – Сталину. Магнитка – и она сама, и вся история её – точнейшая модель того, что совершалось в сталинские годы. И со страной, и с людьми. Судьба незаурядного поэта Бориса Ручьёва – точная страница в летописи этого памятника. Совсем мальчишкой он сюда приехал, плотником работал и бетонщиком, с восторгом воспевал Магнитку во множестве стихов. А после канул в лагерь на десять лет. И не куда-нибудь, а в Оймякон, полюс холода, зимой – минус семьдесят. Но выжил несмотря на хрупкое здоровье (и на зоне о Магнитке он писал), нельзя только селиться было в крупных городах и на прежнем месте жительства. Но как только он получил справку о полной реабилитации, немедленно сюда же он вернулся, и до смерти жил тут, продолжая ту же тему с прежним упоением и верой.

Всё для памятника этого годится – даже пресса всей страны, сошедшая с ума от восхищения великой стройкой. И ведь удалась же этому чёрному злодею индустриализация страны! Но здесь уже цена пошла на миллионы жизней.

А главное, конечно же, для памятника этого – ядовитый дым, что день и ночь течёт из труб, отравляя атмосферу и травя окрестное население – жестоко точный символ неизбежного сталинского влияния на души и умы – вплоть до сегодняшнего дня. Удивительно выходит ёмкий памятник великому выродку, на костях и крови воздвигнувшему дику империю, где все были рабы и все – энтузиасты.

Однако приехал я сюда по прекрасному и светлому поводу. Рядом со старейшим в городе театром имени Пушкина устроилось новое здание обдуманно старинной архитектуры. В нём открылся ресторан русской кухни XVIII и XIX веков. На первом этаже можно выпить чаю (из самовара того времени, разумеется) с выпечкой по рецептам той поры. А на втором – такая красота, что стоит описать её особо. В огромном, очень светлом и высоком зале всю стену напротив окон занимает грандиозная картина (метров двадцать в длину и метров восемь высотой). Глядя на неё, вы находитесь как бы на сцене, перед вами – зал театра, уходящий в глубину картины. Партер, амфитеатр, ложи. И везде стоят или уже сидят замечательно одетые люди с интересными и привлекательными лицами. Часть из них – знакомые художнику (или владельцу ресторана) горожане, а другие – попросту сочинены художником. В такой компании так хорошо бы было оказаться, что после возлияния решился я и попросился на картину. И художник обещал меня изобразить. Такого потока жизнелюбия, которое льётся с этой работы, я не видел никогда.

Назначен был обед-концерт, для этого меня сюда и вызвали. Сперва все приглашённые немного выпили (я очень им завидовал, но, подобно девушкам по вызову, не пью на работе). Потом читал им стихи и всякие истории рассказывал, а после был обед, и тут я от восторга одурел. Перелистав поваренные книги того времени, соорудили эти люди стол необычайный. Да, ещё забыл: имеется тут огромная русская печь (уверен, что нет такой подобной в самых разудалых

ресторанах), она видна гостям из-за стекла, которое от кухонного жара охраняет. И в печи этой восемь часов томился на соломе грузный оковалок мяса, которым обнесли весь стол и лишь потом нарежали. Ещё мы ели (тоже всем сначала показали) запечённую индейку, в которой содержалась курица, напигованная телячьим языком. Рыбное блюдо называлось «лососёвой бандеролью»: опутанный верёвками (на них – сургучная печать) большой лосось лежал на старинного облика ладье, вылепленной из ржаной муки (а может быть, вру про сорт муки) и закалившейся в печи. Это произведение кулинарного искусства тоже сперва проплыло вокруг стола. Закуски и соленья с пирожками и блинами всякими перечислять не буду по простой причине: я хоть и скрал листок с меню, однако потерял его в дороге. А теперь – о выпивке, что дело не последнее: на столе не было ни одной фабричной водки. Было множество бутылок с чисто рукодельными наклейками, в которых сообщалось, на каких травах, плодах и ягодах настаивалось это божественное зелье. Употребил столь высокий эпитет, потому что сортов пять-шесть опробовал самолично, а в вопросах выпивки я опытен и привередлив. Словом, до сладкого я, кажется, не досидел. Кстати, в этом зале есть и маленькая сцена, с которой можно петь подблюдные песни.

Сочинил всё это заведение и замысел блестяще воплотил некий российский патриот (поскольку ездит по всему миру и непременно возвращается) Павел Беньяминович Рабин (кстати сказать, советские отделы кадров так ориентировались в отчествах, что им даже фамилия уже была нужна не очень, и не надо было заглядывать в графу «национальность»). Он же и название придумал: «Наше всё».

Когда очень ранним утром нас подняли, чтоб уезжать, ещё раз подтвердилось качество напитков: голова была прозрачна и чиста.

А в городе Вятке гастрольная жизнь вообще обернулась чистым праздником. Обязан я этой радостью молодому человеку (сорок лет – какие годы?) по имени Роман Гозман. Именует он себя свободным предпринимателем, занимается строительством; насколько я понял, самозабвенный мотогощик (слово «байкер» как-то не ложится на язык) и живёт на свете с любопытством и наслаждением. Мы разговорились уже сразу по дороге в гостиницу. Я с удовольствием услышал от него, что древнюю Вятку основали новгородские ушкуйники – полукупцы-полупираты: грабили они торговые суда и на своих судёнышках сбывали всё награбленное по речным маршрутам. Это были дюжие забубённые ребята, которых Великий Новгород обратно уже не принял бы, отпетыми бандитами слыли они в чинном отчете городе. Возможно, именно поэтому издавна было в крохотной Вятке несообразное множество церквей: нет лучше способа замолить грехи, чем денежку пожертвовать на новый Божий храм. Впрочем, это я, заезжий фраер, клевету, все церкви позже возникали, перед революцией их было уже в Вятке более двухсот. Солидные купцы на них давали деньги, но психология их щедрости, мне кажется, была всё той же, что я уже упомянул. А связанные с Вяткой имена людей известных оказались очень дороги моей душе и памяти, назову их постепенно в том порядке, как мы объезжали связанные с ними места.

Почти три года прожил в Вятке сосланный сюда молодой Александр Герцен. Дом его, к великой моей жалости, не сохранился. Сперва он был простым писцом в губернском управлении и от тоски по вечерам стал крепко выпивать. Но вскоре поручили этому выпускнику

Московского университета ведать статистикой: никто лучше него не мог заполнить заковыристые толстые вопросники, которые текли из Петербурга. А он, в свою очередь, должен был опрашивать входящие в губернию города, и на те никому не нужные вопросы, что шли из столицы, получал вполне тьмутараканские ответы. Так, из городишка Кай ему сообщали, что за прошедший год «утопших – 2, причины утопления неизвестны – 2», а в графе, сколько всего таких случаев, написано было – 4. На бессмысленный вопрос о нравственности жителей города ответили оттуда просто и замечательно: «Жидов в городе Кае не находилось». Это я от любви к Герцену перечитал «Былое и думы», те страницы, где описывалась ссылка в Вятку. Веют с этих страниц тоска и отчаяние человека, попавшего к тёмным и несчастным людям, чисто случайно говорящим с ним на одном языке. Притом – к безжалостным обирателям своего собственного народа. Жил Герцен в одном доме с тоже ссыльным, гениальным архитектором Витбергом, трагедия которого столь современна, что её нельзя не описать.

Совсем молодой архитектор Александр Витберг узнал о конкурсе, объявленном царём Александром Первым: речь шла о сооружении в Москве на Воробьёвых горах огромного храма в память о войне с Наполеоном. В конкурсе участвовали русские академики, видные итальянские и немецкие архитекторы. Возвышеннее и талантливее всех (а конкурс анонимный, разумеется) оказался проект никому не известного юнца Витберга. Царь лично с ним поговорил и был в восторге. Тут-то Витберг и совершил роковую ошибку: согласился быть не только архитектурным руководителем, но и директором строительства, то есть ответственным материально, как сказали бы сегодня. Как его и казну обворовывали толпы поставщиков и подрядчиков, легко себе представить. Отпущенные на храм деньги они пилили (говоря на современном сленге) так лихо и беззастенчиво, что однажды вспыхнула разборка и назначили комиссию. Витберг плохо знал Россию и жестоко поплатился за незнание: его оговорили все. А в результате – конфискация имения, всего имущества и ссылка в Вятку за нанесенный казне ущерб. И ловко пущенные слухи о несметных его деньгах, хранящихся в американском банке. Герцен пишет о той «страшной бедности», в которой семья Витберга существовала в Вятке.

И ещё одна подробность этой искалеченной судьбы. Однажды вятское купечество задумало построить ещё одну церковь. Типовой проект (уже такие были) их не устраивал, и они обратились к Витбергу. Но для церквей нетиповых потребно было царское соизволение, и то, что Витберг им нарисовал (подобие московского проекта) было послано в столицу. Царь Николай так восхитился, что особо предписал губернской власти не искажать замысел архитектора. А узнав, что автор – тот самый Витберг, разрешил ему вернуться. А в Москву ли, в Петербург – мог выбрать Витберг сам. И он вернулся. Но уже был сломлен человек. И жить по сути было не на что. Он тихо и безропотно ждал смерти. Таковым и видел его Герцен, навестивший друга в Петербурге.

Здесь же, в Вятке, вырос Александр Грин. Отсюда ушёл в шестнадцать лет, мечтая стать матросом, и повёл свою скитальческую жизнь. И его залитый солнцем шумный Зурбаган – такая противоположность тихой и заснеженной Вятке, что наверняка он помнил сумрачную скуку своего детства в доме, где сейчас его музей. Который, кстати говоря, меня слегка расстроил. Вся романтика, которую принёс

Александр Грин в души миллионов читателей, здесь передана картинками, скульптурами – пластически, короче говоря. И жутко пошло это выглядит. Увы, мне кажется, романтика обречена на опошление, когда её пытаются изобразить. Но походить по подлинному дому, где он рос (стараясь не смотреть на интерьер) и постоять возле него снаружи – удовольствие нешуточное и душевное. Отец его, Гриневский, потомственный польский дворянин, был сослан сюда в ранней молодости за участие в восстании, тут и женился на местной уроженке, но жена его умерла, когда сын ещё был подростком. Больше отец ни с кем не связывал свою судьбу, отсюда и явилась та запущенность домашнего существования, о которой после вспоминал писатель Грин. Хотя преувеличивал изрядно. Вообще насочинял столько, что и вокруг его имени после шумного успеха первых повестей начали клубиться мифы. То он был морским волком, долго бороздившим океаны всего света, то, будучи матросом, убил в пьяной драке какого-то английского капитана и прихватил его сундук с рукописями, то найден был совсем младенцем на необитаемом острове... Не сам ли он всё это сочинял, избывая память о тоскливой юности? Он ведь ещё однажды возвратился в этот дом. Поплавав чуть матросом и к мечте своей довольно скоро охладев, пустился он в скитания. Бродяжничал, порою голодал, то в лесорубы подавался, то в золотоискатели. Пошёл было служить в армии, но сбежал и оттуда. Отсидел два года в тюрьме (связался с эсерами и арестован был за пропаганду), отпустили по амнистии. Всего четыре класса закончил и учиться далее не собирался. Через год его опять арестовали и приговорили к ссылке в Тобольскую губернию, откуда он немедленно бежал и добрался до отеческой Вятки. Дело у него тут было: знал он человека, изготовлявшего фальшивые паспорта. Так что и с отцом ещё повидался.

Тут я докурил вторую сигарету и хотел было вернуться в дом, но вспомнил о романтическом интерьере и решил, что уже мало времени.

А в доме Салтыкова-Щедрина отменно и внутри. И даже стол его стоит – большая вероятность, что подлинный. Как-то не столь давно, заехав в город Тверь, был я приглашён местным телевидением дать интервью не где-нибудь, а за музейным столом когдатошнего вице-губернатора Салтыкова-Щедрина. Стол был моложе того времени лет на пятьдесят и слишком был миниатюрен для употребления большим чиновником, но я тактично промолчал всё время съемок. А потом не выдержал, конечно, и свою уверенность, что им фальшак подсунули, невежливо озвучил. Но музейная девица с укоризной мне ответила, что людям интересно и они даже потрогать норовят. А с этим аргументом не поспоришь.

Дом прекрасный был у ссыльного писателя, и четыре человека прислуги. По служебной лестнице он подвигался очень быстро, и спустя три года после приезда был уже советником губернского правления – совсем немаленькая должность (а было ему в ту пору – двадцать два года). Жить и жить бы в такой ссылке, где в лучшие дома он приглашался непременно – хоть и ссыльный, а жених завидный, но писал он непрерывно в Петербург прошения, чтобы помиловали. Все восемь (почти) лет, что прожил он в Вятке.

Начинал он очень уж блестяще. Выучился в Царскосельском лицее, где заведомо готовили будущих губернаторов и министров, лучшим был поэтом среди сверстников (потом своих стихов всю жизнь стеснялся), и уже печатали его столичные журналы. Только бес его

попутал (а точнее – талант, уже проснувшийся): написал повесть «Запутанное дело», в сорок восьмом в марте он её напечатал, а в апреле уже ехал в Вятку, сопровождаемый жандармским офицером. Сам он эту повесть иначе как ерундой не называл, но российское начальство всегда лучше разбиралось в литературе, чем сами авторы.

А на самом деле ему очень, чисто по-российски повезло, ибо спустя всего год начался процесс по делу Петрашевского, а Салтыков-Щедрин не только ходил в этот кружок, но и дружил с его основателем. Так что стоял бы он на эшафоте рядом с Достоевским, но уже был в ссылке, и по делу этого кружка воспалённых юношей его допрашивали в Вятке только в качестве свидетеля.

Мотался по всей губернии этот усердный молодой чиновник, сочинял за начальство все годовые отчёты (специальный переписчик был к нему приставлен по причине неразборчивого почерка) и начисто забыл, казалось бы, свои литературные забавы. Ни единого свидетельства не сохранилось. Но только-только возвратившись в Петербург, через каких-то несколько месяцев он предложил журналу «Русский вестник» объёмистые «Губернские очерки». Без заметок-заготовок, сделанных заранее, такое быстро не напишешь. А значит, в этом доме, не внушающем никаких подозрений (тут и пили, и играли в карты), где-то прятал он заветную рукопись, тихо радуясь, что она пополняется. И с душевным чувством близости опять прошёл по комнатам, стараясь догадаться (я три года в своей сибирской избе прятал рукопись на чердаке между брёвнами – прости, читатель, манию величия, явленную в этой ассоциации, но ссыльные всея земли равны по чувству страха за свои бумаги). Вот и доверяй после этого письменным заверениям чиновника Салтыкова, что исправился и умоляет о возможности вернуться. И ему не доверяли.

Тут возникает человек, об имени которого не догадался бы даже такой великий знаток того времени, как историк Натан Эйдельман. О, как бы я был счастлив загадать ему загадку эту! Но как раз, когда я всё это пишу, друзья в Москве пьют водку, поминая Тоника в день двадцатилетия нелепой смерти.

Сопровождая своего мужа, генерала, посланного в Вятку по делам солдатского набора (шла война), сюда приехала Наталья Николаевна Ланская. О чём они говорили, познакомившись на балу (провинциальные балы роскошны), что вспоминали, разговаривая у него дома (а она туда наезжала), и мелькало ли в их беседах светлое имя Пушкина – никто не знает. Только легенда есть (в музее рассказали), что к последнему прошению помиловать и отпустить из ссылки было приложено личное ходатайство Натальи Николаевны Ланской. И в пятьдесят шестом советник Салтыков-Щедрин оставил этот дом.

Когда проезжали мимо городской тюрьмы, услышал я, что здесь сидел когда-то знаменитый лётчик Эрик Хартман, сбивший за войну 352 самолёта (из них 345 советских), а потом в плену благополучно отсидевший десять лет. Выпустили его со всеми пленными немцами в середине пятидесятых. Я уже в который раз проглотил свой всегдашний вопрос: помнят ли здесь хоть чуть о страшном Вятлаге, одном из огромных подразделений ГУЛАГа? Было как-то ясно, что не помнят. А уже, наверно, нету и свидетелей живых.

Потом неторопливо мы проехали по краю огромного оврага, заросшего кустами и деревьями, и тут услышал историю, которая такой дурацкой радостью меня наполнила, что более я ничего смотреть не

захотел. А благодетель Роман Гозман мне ещё и книжку подарил, где вся история описана.

Этот Вздерихин овраг был некогда надёжной защитой древней Вятки. На краю его была крепостная стена, с которой горожане лили горячую смолу на головы нападавших и поражали их стрелами из луков. А в XV веке приключилась горестная история. Ещё была Вятка вольным городом, ещё не прибрала её Москва под свою широкую руку, правил городом воевода и три атамана. Жили горожане пушным промыслом, ремёслами и торговлей. И разнёсся слух однажды, что идут на Вятку татары. Быстро собрались вятичи на площадь, обсудили свои силы и решили, что сами не справятся, надо просить помощи. Ближе всех был Великий Устюг, туда гонцов и послали. И спустя неделю донесли сторожевые, что к городу приближается какое-то войско. И не ночью дело было, но стояла тьма кромешная. Когда втянулось войско во Вздерихинский овраг и к стене подступило, горожане принялись за дело: полилась горячая смола и стрелы полетели. С криком отступили нападавшие, и вятские смельчаки кинулись их преследовать. Завязалась нешуточная битва, полилась кровь с обеих сторон, пал в бою отважный воевода. Не сразу распознали вятичи, что дерутся не с татарами они, а с подоспевшей к ним дружиной из Великого Устюга. Но четыре сотни уже пали в этой битве. Учинили по ним пышные поминки (с той поры пошло и выражение «своя своих не познаша и побиваша»), и часовню порешили тут поставить в память столь оплошно убиенных. А татары так и не пришли. Поминки совершались каждый год, на них устраивали состязания стрелков из лука и борцов, и пили изобильно, постепенно этот день стал из поминального – праздничным.

Но что ж тогда произошло? Как можно было спутать устюжан с татарами, которые от века налетали конницей? Ответ на этот заковыристый вопрос совсем недавно дал один местный писатель, сочинивший книгу (вот она лежит рядом) сказов о когда-то вольной Вятке. Вот что было там на самом деле пять веков тому назад.

Совсем незадолго до случившейся трагедии явился в город Вятку очень неказистый человек. Был кривоног он и спиной слегка горбат, кудрявились из-под бараньей шапки чёрные волосы и круто опускался длинный нос к рыжей бородёнке. В кафтане был каком-то странном, нехорошие глаза и губы пухлые, словно свиной пятак. А звали его – Ицка сын Соломона.

Вздрогнули, читатель? Лично я был рад безмерно: очень я люблю читать про разные злодеяния нашего народа, где к тому же и нечистой силой пахнет.

Ибо Ицка Соломонович, он был ещё и колдуном. Он быстро умертвил невинную старуху Феклиню, которая лечила весь город целебными травами, и даже не пощадил её любимого гуся. Чтoб занять её избу, удобно стоявшую на отшибе. После обвинил в воровстве и нерадивости местного сборщика налогов и сам стал мытарем, затеяв непомерные поборы. Воеводу Аникея споил хмельной медовухой и очаровал настолько, что тот шаг от него не отходил и подтверждал своим авторитетом всё, что Ицка говорил. Когда гадали жители, чьё войско подходит к городу, безвольный Аникей за Ицкой вслед стал убеждать сограждан, что это непременно татары, а коней они недалеко в лесу оставили, чтобы сподручней было штурмовать стены. А сами устюжане после вспомнили, что потому они на штурм

пошли, что встретился им маленький горбатый человек, который сообщи, что татары уже взяли Вятку, празднуют победу и бесчинствуют, и самая пора сейчас на них напасть внезапно.

Но для чего же это учинил зловередный Ицка Соломонович? От нестерпимой страсти зло творить или какой-то у него другой был умысел?

Конечно, был, и вятичи это довольно быстро обнаружили. Когда пошли они на поле боя, чтобы павших с почестями похоронить, то ходили там по полю Ицка с Аникеем, и обшаривал блудный атаман покойников, а Ицка складывал добычу в кошелёк. И конечно, кинулись на них разъярённые воины, да только вместо Ицки Соломоновича объявился им огромный вепрь, с диким хрюканьем и криком унёсшийся в лесную чащу.

Такая вот история случилась пять веков тому назад в той дивной Вятке, где сегодня я был должен выступать.

После концерта (и народу было много, и смешливого, по счастью) мы до ночи ели-пили на уютной кухне в доме Романа Гозмана, а я, уже в гостиницу попав, никак не мог уснуть: про Ицку Соломоновича думал. Очень у меня глобальные роились мысли (но и выпил я немало). Две похоже маленькие, равно неказистые (в литературном отношении) книжонки крепко повлияли на историю XX века – «Манифест коммунистической партии» и «Протоколы сионских мудрецов». Первую сочинил некий Мозес Мордехай Леви (более известный как Карл Маркс), вторую (получив заказ на эту фальшивку и скрав наполовину текст у француза Жоли) – мелкий российский журналист Матвей Головинский. Однако же идею общую он тоже позаимствовал – у некоего довольно одарённого еврея по фамилии Эфрон. Этот чрезвычайно изобильный автор (он писал статьи, рассказы, пьесы, повести, романы), начисто забытый сразу после смерти, за несколько лет до появления «Протоколов» напечатал повесть, весь сюжет которой предвосхищал будущую фальшивку. Там одна российская девица в поисках работы набрела на коммерсанта Бердичевского, который согласился взять её в гувернантки (и учить немецкому двух дочерей) лишь при условии, что она скажется еврейкой, потому что его старый отец не потерпит в доме никого из иноверцев. Бедная русская девушка согласилась и пришлось весьма по сердцу ветхому и хилому старику-отцу. Настолько, что почтил он эту гувернантку высшей степенью доверия: повёл в некую тайную комнату с решётками на окнах и огромным железным шкафом в углу. Там хранилась тайная корреспонденция из всех крупных городов всех стран света. На множестве различных языков. Плюгавый старый еврей оказался чуть ли не главой всемирного еврейского заговора. В письмах содержались сообщения о подрыве экономики и нравственности всех стран мира. Евреи сообща и тщательно работали во имя порабощения наивных народов. Ужаснувшаяся девушка сняла копии с нескольких писем (сколько же трудилась бедная, ведь ксерокса ещё не было), украла несколько оригиналов и смоталась из этого страшного дома. Так что и сюжет будущих «Протоколов», и миф о смелом их похищении – сочинил еврей Савелий Эфрон.

Тут я принялся смеяться пьяным хриплым смехом и никак не мог остановиться, ни вода, ни сигарета мне не помогали. Но в конце концов уснул. И ещё утром, старый идиот, посмеивался от глупой радости. Во что мы только не встревали, думал я. А после первой сигаре-

ты, за второй чашкой кофе вспомнил почему-то, что сегодня мифы даже мягкие и как бы симпатичные бывают. Так, одна старушка в белорусском (кажется) селе такую повестнула байку собирателям фольклора: дескать, ежели родился мальчик у евреев, он сразу головкой вертит – думает, как он устроится в дальнейшей жизни, а вот ежели такой же мальчик у коренного населения рождается, то сразу вертит он ручонками, ища чего уворовать. И снова я загоготал от удовольствия душевного. Тем более что вспомнилась ещё одна история из той же книги собирателей фольклора. На Украине где-то им одна старушка рассказала. Моисей когда с горы Синай спустился, обнаружил, что очень много грешников среди ведомых им евреев. И привёл он их к подножию горы Синай, велел всем взяться за руки, а сам полез опять на гору. Но совсем недалеко. Оттуда сбросил он довольно длинный провод, крикнув одному из грешников, чтоб тот взял провод в свободную руку. Тут Моисей покрутил какую-то рукоятку и сразил огромную толпу сильнейшим электрическим разрядом. Двадцать три тысячи трупов пали одновременно к подножию Синая!

Вот ещё когда мы знали электричество, подумал я и головою покрутил, чтобы прикинуть, как я жизнь устрою на сегодня.

А на концерте в Вятке получил я среди множества записок – две очень хорошие. Одна такая: «Игорь Миронович! У меня папа – еврей, а мама – русская. Утром хочется в Израиль, а вечером – водки. Что делать?». А вторая – доверительная: «Дорогой Игорь Миронович, я готовлюсь стать матерью. Посоветуйте, как научить ребёнка вовремя и к месту пользоваться ненормативной лексикой?».

Были по пути гастролей этих и другие города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Но там душа моя не шевелилась и не ликовала.

Меня изрядно часто спрашивают (и на концертах, и по возвращении – на пьянках дружеских), что я думаю о сегодняшней России. Прежде всего думаю, зря вожди российские печалются, что нету у страны какой-нибудь идеи общей, чтобы все поднялись духом и сплотились. А на самом деле – она есть, общероссийская национальная идея. Явная и очевидная. Она проста и лаконична: выжить. Пережить с как можно меньшими потерями всё, что вокруг творится, и детей от пакостных соблазнов упасти.

А что касается общественной апатии, повальной и повсеместной, то, по-моему, устали очень люди от надежд, недавно вспыхнувших, но обернувшихся враньём и фальшью, и душевно затаились. Мой один знакомый предложил такую партию создать, что все в неё запишутся, она бы всех устроила одним своим названием: Российская Совестьная Партия Замедленной Демократии. А сокращённо – РСПЗД.

СЛУЧАЙНЫЙ РАЗГОВОР.

В тот день я приехал в аэропорт позже обычного, но успел купить две бутылки, да ещё осталось время выпить кофе. Мне приветливо махал рукой и улыбался какой-то средних лет потёрханный незнакомый еврей, и было бы неудобным не присесть к его столику.

– Лет десять назад вы подписывали мне книгу в Хайфе, помните меня, наверно? – спросил он чуть нагловатым от смущения тоном. В год у меня случается несколько десятков выступлений в разных

городах, и на каждом я надписываю несколько десятков книг – как же я мог его не помнить?

– Конечно, – ответил я.

– Стакан есть, будете? – спросил он, вытягивая из портфеля крепко уже початую бутылку виски. Я благодарно поднял брови. Мы беззвучно чокнулись пластиковыми стаканами за всё хорошее. Он тут же плеснул добавку. Лысоватый, замечательно блудливое лицо.

– Я тоже в Минск лечу, – сказал он жизнерадостно. Из аэропорта Бен-Гурион летят самолёты в десятки стран и городов, но я действительно собрался в Минск и потому невольно засмеялся. По второй мы выпили за удачный полёт.

– Давно я не был в Белоруссии, – задумчиво сказал попутчик. – Года полтора уже. Мне всегда не везёт, когда туда еду, что туда, что обратно. Как-то перевес у меня был на много килограмм, чуть не сотню баксов надо было доплатить, так я их еле уболтал, чтоб разрешили без доплаты. А то как-то деньги вёз – немного, тысяч десять, так в Белоруссии таможенник меня минут сорок мурыжил: я, говорит, вижу тебя насквозь, ты где-то деньги спрятал, почему не пишешь декларацию? Так еле я его уговорил, что нету ничего, уже он было шмон собрался учинять. А как-то раз курю я в Минском аэропорту в непопозволенном месте, а менты мне говорят: пошли-ка, парень, протокол оформим. А у меня деньги заначены, и знаю, что найдут – отнимут. Еле-еле от них отговорился. А ещё я прилетаю как-то в Минск, и три бутылки в чемодане у меня, по литру каждая. Так они мне чемодан своим рентгеном просветили, прямо из толпы меня выдернули, вот ведь суки зоркие. А можно только один литр, уж не знаю, как сейчас. Так две литрухи им пришлось оставить.

– А вы ни разу не пробовали, – вежливо спросил я, заранее грустя о своей второй бутылке, – так поехать, чтобы всё по закону?

Он дико на меня посмотрел и машинально плеснул нам по глотку. Такая мысль ни разу ему в голову не приходила, и поэтому мы выпили без тоста. Каждый думал о своём. А тут как раз объявили посадку (до сих пор чуть напрягаюсь, когда слышу или пишу это слово). В Минске он ко мне не подошёл – наверно, каждый раз волнуясь по приезде в Белоруссию.

А я, уже в гостиницу еду, угрюмо думаю, что неправильно веду себя в последние годы, я ведь ничего не записываю, а такие благодатные разговоры приключаются в дороге сплошь и рядом. Почему же я даю им улетучиться из памяти? И сам себе всё очень просто объяснил. Дело в том, что уже довольно давно обнаружил с радостью и удивлением, что гастроли – это замечательно уютный и надёжный вид одиночества. Хотя всё время я на людях, и меня встречают, опекают, провожают, я готовно отвечаю на вопросы и легко поддерживаю лёгкий разговор. Веду вполне публичное существование, контактен, и приветлив, и отзывчив. Только это чисто внешнее и машинальное общение. Я всё время нахожусь в невидимом коконе, я думаю, о чём-то вспоминаю, или просто в тихой внутренней отключке нахожусь. Хотя наружно – светлый и типичный образ кочевого фразера. Как это происходит, я не смог бы объяснить связно и достоверно, только это именно так. Меня куда-то водят выпивать и закусывать, я честно исполняю ожидаемую роль застольного балагура, но я всё время сам, один, внутри себя. Поэтому, возможно, я почти не помню, как эти гастроли проходили, где я был и даже (что порой обидно) – забываю,

что я видел в этих городах, мелькающих с неуловимой скоростью. Из этого блаженного (блажного?) состояния меня выводят только те случайные разговоры (фразы или случаи), которые мне хочется запомнить, я тогда записываю их. Коряво, наспех, в нескольких отрывочных словах. Эти блокнотные каракули я сам порой не в силах разобрать, когда я возвращаюсь, но сижу над ними и в конце концов припоминаю. Далеко не всё, но многое. А записав их аккуратно и разборчиво, я думаю с тоской, куда теперь их подавать. Поскольку прозу не пишу, и как бы ни к чему эти забавные случайные обрывки. Поэтому я здесь решил собрать их вместе без какой-нибудь системы и порядка. Так: услышал, удивился, записал. Осколки жизни кочевой.

Начать, конечно, следует с Москвы. Мы как-то с Татой побрели в один отмененный магазин, поскольку вечером предвиделась большая пьянка. Всё купили-закупили (до сих пор я удивляюсь вежливости и радушию, осенивших нынешних продавцов), и я с двумя большими сумками пошёл наружу покурить, а Тата ещё что-то докупала.

– Извините, вы не Губерман? – ко мне обращался очень, очень невысокий плотный старичок моих примерно лет. За уличным такого рода узнаванием обычно следует просьба об автографе или интимное воспоминание, что видел как-то раз по телевизору – с оттенком гордости, что память хоть куда.

– Читал ваши стихи, – медленно сказал старик, – в них есть о чём подумать думающим людям.

Я молчал, докуривая сигарету.

– Я сам чекист, – журчал старик, – а вы, читал я, с нашим братом вдоволь пообщались. Я большим подразделением командовал, тяжёлая была работа...

Он полез в карман и показал мне какое-то красное удостоверение – то ли ветерана, то ли сохранившееся с тех прекрасных лет, когда он вынимал его уверенно и властно. Я подумал, что скорей всего он управлял огромной сворой топтунов.

– Наружное наблюдение? – вежливо спросил я.

– А все награды, премии и поощрения – другим отделам отдавали, – подтвердил он мою догадку. – Хотя без нас им ничего бы не светило.

Я уже нетерпеливо ждал жену, и ни о чём его расспрашивать мне не хотелось. Он ещё мне так же тускло сообщил, что он и нынче секретарь районного совета ветеранов, и что с тягостями той былой работы примирял его только начальник непосредственный, большого ума человек и редкой душевности. Это я прекрасно понимал, у них таких в избытке было, сам удостоверился не раз. Но тут он о начальнике сказал такое, что большую испытал я неожиданную радость.

– Я к нему когда ни загляну, всегда на что-нибудь пожалуюсь, а он всегда в ответ мне говорит...

Старик выдержал безупречно артистическую паузу и тоном мудреца Эзопа произнёс:

– Не бзди в скафандр, а то всплывёшь.

Ни разу в жизни не слышал столь прекрасной мерзкой фразы. Появилась Тата, и я с благодарностью пожал его пухлую, но ещё крепкую руку.

Я приезжал в тот раз не только ради выступлений: меня пригласила на свой юбилей очень любимая мной «Новая газета». Это единственная российская газета, которую я читаю, каждый раз

удивляясь мужеству её сотрудников и загадочному факту, что её не задавили. Почти вся остальная пресса (как и телевидение, впрочем) давно уже втиснулась в дозволенные рамки умолчания. Но ведь и убили в этой газете – четверых уже сотрудников. Ну, словом – счастье, что она существует. На концерте в честь юбилея мы сидели с женой Татой возле родителей Ходорковского, и это дополнительный бросало ответ на всё происходившее. А после удалось мне протолкаться и пожать руку Горбачёву, я его великим полагаю человеком, хоть он совсем нечаянно, того нисколько не желая, повалил кошмарную империю. А так как мы ещё всё время поддавали (выпивку и лёгкую закуску по всему фойе носили), то прекрасный получился праздник. Повидал я нескольких людей, приятельством с которыми искренне горжусь, а лица множества других были отменно симпатичны, такого скопления интеллигенции я уже много лет не видел. И поэтому когда столкнулись мы в толпе с Алексеем Симоновым, я его немедленно спросил:

– Скажите, Алексей Константинович, тут собралось человек пятьсот, наверно, с замечательными лицами, и я уверен, что любому вы пожали бы тут руку, не колеблясь. Это и всё, что осталось нынче в Москве, или есть ещё такие же?

Он засмеялся моему иностранскому вопросу, чуть подумал и ответил так, что я немедленно и невежливо сбежал, чтоб записать.

– Нет, – ответил, – ещё, пожалуй, наберётся тысячи две, но в том беда, что большинство из них с каждым годом пожимает руку всё слабее.

Этот короткий диалог настырно ёрзал в моей памяти, как будто понукая вспомнить, как совсем недавно я сидел, курил и точно так же думал, что только два бывалых советских человека могут с полным пониманием так коротко поговорить. И вдруг сообразил, что мучаюсь, поскольку место, где случился этот разговор, уж очень, очень мало подходило к содержанию его. А было это в Барселоне. Берег моря, дивная гостиница, слёт авторской песни. Барды из Америки, Германии, Австралии и уж, конечно, с необъятных просторов рухнувшей империи советской. Очень было много графоманов, но и те вполне уютно слушались под лёгкое испанское вино. А прямо перед гостиницей огромный был бассейн, возле которого с утра особенно приятно пилось ледяное пиво. Там я и сидел, когда ко мне подошёл невероятной симпатичности человек, поэт и музыкант незаурядный Витя Лужеров. Мы видимся с ним редко и случайно, и поэтому я очень удивился, когда он сказал, что вчера ему приснилось нечто, тесно связанное со мной.

– Ты понимаешь, – говорил он тоном человека из подполья, – я сижу в какой-то камере и следовательно грубо на меня орёт, чтоб я кололся, после так ударил, что я в угол отлетел, и ещё не встал, как он пошёл к дверям и посулил, что сейчас приведёт амбалов, чтоб меня топтали, как умеют. Я, ты понимаешь, встал, жду, что придут меня метелить, и вдруг вижу на столе у следователя папку с твоим именем. Я её раскрыл, там всего несколько листочков – на тебя заведенное дело. Ну, думаю, мне всё равно пропадать, листы эти порвал и съел, большей частью – проглотил. Тут дверь открываться стала, я проснулся – ну, думаю, счастье какое, а во рту – вкус жёванной бумаги...

Я молчал, зачарованный этим кафкианским рассказом, а Витя вдруг совершенно серьёзно меня спросил:

– Если ты такое на меня увидишь, ты ведь так же сделаешь, правда?

Это не предположением звучало («если бы»), а вопросом о конкретной завтрашней реальности, и я невольно вздрогнул, посмотрев на Витю непонятливо и даже с подозрением, что шутит или нездоров. Но тут нагрянули его приятели, и их разноголосицей наш разговор прервался. Только ещё долго я сидел в ошеломлении, такие сны давно уже не снятся мне. Вторая кружка пива показалась мне ещё прекрасней.

А в том советском времени состоялся у меня (естественно припомнившись сейчас) один короткий разговор, тогда меня глубоко поразивший. Мы в Сибири жили, я был химик, то есть зэк, отпущенный из лагеря досрочно, чтоб работать в назначенном месте на стройках большой химии (Хрущёв такое сочинил, дай Бог ему благополучия в загробной жизни). И мы с женой пошли в библиотеку нашего шахтёрского посёлка. А там невзрачная, немолодая и помятая годами библиотечарша, едва на меня глянув, утвердительно спросила:

– Вы ведь химик?

Я в ответ кивнул недоумённо – мол, какая разница, как я сюда попал, я житель этого посёлка, гражданин и всё такое прочее.

– А химикам мы книги не выдаём, – надменно сказала эта сеятельница культуры.

С полминуты я молчал оторопело, а потом пролепетал униженно и робко, что я, собственно, и сам литератор, даже книги мои есть, возможно, в этой библиотеке – так нельзя ли сделать исключение.

– Я знаю, – с омерзением отрезала библиотечарша, – но так все химики сюда полезут.

Эта логика сразила меня полностью. А Тата вежливо и мягко попросила:

– Запишите в таком случае меня, пожалуйста, я вольная, приехала сюда жить с мужем, вот мой паспорт.

– Где работаете? – неприязненно спросила охранительница книжного богатства.

– Я нигде пока, я только что приехала, а вообще филолог, – объяснила Тата.

И баба отчеканила с высоким нескрываемым злорадством:

– Мы домохозяйкам книг не выдаём.

Мы шли домой такие удручённые, что чуть не поссорились, потому что Тата поносила бедную библиотечаршу различными словами («сука» было самое приличное), а я уныло бормотал, что пожилая эта девушка наверняка несчастна, и вот пришёл ей случай отыграть свои печали на химической семье бесправной, и немедленно Тата на меня переключилась в смысле душевной мягкотелости и жажды оправдать любых позорных сук. А так как это свойство мне и впрямь присуще, то и бормотать я вскоре перестал. А книги стали слать нам из Москвы, и получать очередной их ящик было радостью неимоверной.

Ну, а светлый разговор какой-нибудь ты помнишь, старый очернитель? – спросил меня мой внутренний голос. Ещё как, ответил я ему. Но первый же, который вспомнился, был пересказом некоей чужой истории. А я её услышал в Балтиморе, дивном городе американском. Там одна моя знакомая известна всем как замечательный экскурсовод. И вот её однажды попросили поводить по Вашингтону очень важное лицо – министра внутренних дел страны Армении. (Возможно, это был только заместитель, но пускай будет министр –

так интересней.) Оказался он вполне симпатичным средних лет мужчиной, с той интеллигентинкой, что вообще присуща армянам, и водить его по городу было легко и интересно. А в процессе этого похода оказались они возле площади, где в урочные вечера собираются в Вашингтоне городские гомосексуалисты и лесбиянки. А министру это рассказав, спросила его гидша, есть ли геи с лесбиянками в Ереване.

– Да, гомосексуалисты у нас есть, – подтвердил министр, – а лесбиянок у нас нету.

– Как же это, всюду они есть, а у вас нету? – усомнилась рассказчица.

– А мы их ебаем, – лихо объяснил министр.

...Никак не миновать мне и прекрасную историю, услышанную в турецкой Анталии. Как я оказался на курорте этом (да ещё в гостинице роскошной) – песня отдельная. Один знакомый мой (единожды я виделся когда-то с ним) задумал юбилей отпраздновать распахнуто и грандиозно – пригласил в Анталию аж двести человек друзей, приятелей, по бизнесу партнёров и родных людей, естественно. Ещё туда оркестр приехал (как не два), и я был приглашён читать стихи. Ах, как это было замечательно! Трёх международным шахматным гроссмейстерам я руку пожимал, и с бывшими чекистами беседовал (все, как один, оказывается, всю жизнь поборники свободы были, как сейчас это обычно вытекает из любого с ними разговора), а во всех гостиничных барах – пиво с выпивкой, не говоря уж о закуске, загодя и наперёд заказано широким юбиларом. А на берегу нам жарили перепелов...А в зале настоящий шахматный турнир гигантов видел я впервые в жизни. И вплотную если к столику любому подойти (жаль только, сразу отгоняли), то всем телом чувствуешь поле нервной напряжённости в воздухе...А бассейн внутри гостиницы с водой подогретой (тут же баня всякая и разная)...А... Словом, это всё прекрасно было, дай Бог здоровья устроителю гуляния такого. И в делах – успеха, разумеется, поскольку и заметить не успеет человек, а близок уже будет новый юбилей. Положим, я не доживу, но людям повезёт, если удачно эти годы протекут. Теперь и перейду к истории обещанной.

А впрочем, я сначала отвлекусь. Поскольку посреди турецкой этой роскоши (а именно таким был интерьер гостиницы, хотя местами что-то и Египет напоминало – впрочем, я там не был никогда) припомнился мне день, когда я так же переполнен был острейшим чувством удовольствия от жизни. В городе Тамбове это было, в пересыльной городской тюрьме. Развозили нас по лагерям, а через каждые три дня пути в столыпинском вагоне был положен дыхательный привал на два – три дня в тюрьме, уж больно тяжелы такие переезды. А в тюрьме тамбовской нас помыли (баня, правда, хуже, чем в Анталии, но всё-таки вода горячая), а на обед был суп – точнее, жижа, где варились макароны, их обрывки попадались в каждой миске. И мясным бульон был этот, мяса не было, конечно, только повара чуть позже его вынули, чем надо, чуть оно переварилось, и на радость зэкам волоконца плавали мясные. Очень, очень ощутимым был тот суп, мне больше никогда такой не попадался за всю отсидку. А потом и каши жидкой кинули по черпаку. Ну не тюрьма, а санаторий. Только главное не в этом. Когда наша камера возвращалась с прогулочного двора, на повороте коридора, на углу, где каменно сидит дежурный надзиратель, не было его на месте. А на столике его лежала книга, начисто уже ошкуренная от обложки, но страницы ещё не

были напополам разрезаны, чтоб нам такие половинки штуки по три на день выдавать. Поскольку никакой бумаги туалетной отродясь по тюрьмам не бывало, то такие вот рассеченные книги были нам гигиеническо-гуманитарной помощью от наших пастухов. А эту, повторю, ещё не рассекли – возможно, он за бритвой и пошёл. И я так отклонился чуть, и в пируэте этом книжку прихватил и сунул под рубаху. Плавный ход колонны нашей ни на миг не задержав. На случай шмона, если хватятся и вычислят, я ещё час её не вынимал. Но тюрьма была большая, камеру за камерой вели туда-обратно, скоро нам в кормушку сунули обрезки пожелтевшего учебника какого-то (предмет не помню). И тогда свою добычу я достал. И так на нарах повернулся, что в глазок её не мог увидеть надзиратель коридорный. Оказался у меня в руках целёхонький Лесков. «Очарованный странник». И лежу я сытый, сигареты ещё есть покуда, и читаю. И меня такое счастье разобрало, что Тамбов я вечно буду помнить, и туда если случайно попаду, бесплатно дам концерт для всей администрации тюрьмы.

Однако же вернусь теперь в Анталию. Ко мне в антракте выступления подошёл один из друзей юбиляра и стеснительно спросил, готов ли я и впрямь, как говорил вначале, выслушать историю, недавно у него в семье произошедшую. Конечно! Мы с женой – украинцы, сказал рассказчик, а семья наших приятелей – оба евреи. Как-то мы пришли к ним в гости, и хозяйка по рецепту её бабушки нам приготовила фаршированную рыбу...

Он чересчур подробно это мне повествовал, поэтому я главное перескажу. Гостье-украинке так это блюдо понравилось, что она рецепт спросила у хозяйки и с усердием его записала. Прошло какое-то время, и еврейская семья пришла гостевать к украинской. Жена-украинка им приготовила такую точно фаршированную рыбу. И настолько вкусную притом, что жена-еврейка с восхищением сказала:

– Слушай, у тебя вкусней гораздо рыба получилась. Ты по моему рецепту всё делала?

– Всё в точности, – ответила польщённая украинка, – я только, знаешь, на свой страх и риск в этот фарш немного сала намесила.

Мне эти краткие случайные истории нравятся, конечно, за их похожесть на анекдоты, только есть в них нечто большее порой – ну, вроде достоверного свидетельства о психологии участников. Один приятель наш, врач по профессии и по душевному устройству врач, поехал по своим делам в Москву. Дела были такого свойства, что по нескольким московским больницам довелось ему подробно походить. И другу своему, с которым некогда учился здесь, теперь уже солидному профессору, он изложил свои довольно скорбные впечатления о состоянии российской медицины. Попутно, разумеется, упоминая и израильское врачевание. Профессор выслушал несколько его монологов, а потом сказал задумчиво:

– Ты знаешь, так ты ругаешь нашу медицину, так израильскую хвалишь, что просто хочется съездить...

– Так приезжай, – обрадовался наш приятель, – приезжай, посмотришь сам.

– Нет, – поморщился профессор, – ты не понял. Хочется съездить тебе по морде.

Повестну теперь о разговоре, которого на самом деле не происходило. Я просто был дуплом, куда слетелась перекличка двух военных ветеранов. В Москве я завывал стишки недавно в замечательном кафе

«Гнездо глухаря» – там барды почти каждый вечер исполняют свои песни, и совсем своя приходит публика, я неслучайно каждый раз туда прошусь, когда в Москве бываю. И по ходу выступления я рассказал смешную некую историю о пожилом недалёком еврее, бывшем полковнике авиации. Он объяснял свою эмиграцию в Америку обидным для его души антисемитизмом: когда в семьдесят третьем году его эскадрилья собралась лететь бомбить Израиль – его не взяли. Среди полученных записок одна была по-воински суха и категорична:

«Уважаемый Игорь Миронович! Поверил во все Ваши рассказы, кроме еврея-полковника (его нужно доработать). Вы как еврей и я как полковник понимаем, что в армии евреев, дослужившихся в авиации до полковника – НЕТ. Спасибо за концерт». И неразборчивая, с очевидностью начальственная подпись. (Слово «нет» написано заглавными буквами, а запятые я расставил сам, их не было).

Я сразу же обиделся на совет «доработать» – все мои байки подлинные, я ничего не сочиняю. И я мог бы возразить, но жалко было времени концертного, и я записку эту умолчал. Но здесь отвечаю на неё, тем более что вся дальнейшая история – о чрезвычайно дружеской гуманности.

В Германии, в городе Хемнице (где байку эту про полковника я тоже излагал), подошёл в антракте пожилой улыбчивый еврей и попросил минуту времени. Оно у меня было, я уже все книги подписал.

– Знаете, Игорь Миронович, – сказал он, – я как бы и есть тот самый ваш полковник, только у меня гораздо человечней получилось.

Когда в семьдесят третьем в Израиле шла война, по его авиачасти прокатился слух, что их вот-вот пошлют против еврейских агрессоров. Его вызвал к себе командир части (или эскадрильи, как там это называется?) и доверительно сказал: «Исаакыч, бери отпуск и гуляй на всю катушку целый месяц. Нехуя тебе своих бомбить и нервы портить».

А теперь ещё об одном светлом человеке. У жены нашего сына есть бабушка. Ей уже восемьдесят лет, но неустанно она пестует четырёх внуков, на себя же взяв и все почти заботы по хозяйству. И её во время родственной гулянки кто-то легкомысленно спросил, не тяжела ли ей такая дикая нагрузка в её возрасте (сама она именует эту нагрузку – «сладкой каторгой»).

– Да, тяжело, – вздохнула бабушка, – но вот умру и отдохну. Дожить бы только.

А одна история, рассказанная мне, обогатила мой эстрадный репертуар, теперь я всюду повествую её всем со сцены. Я города не помню, к сожалению, где подошла ко мне в антракте женщина и, запинаясь чуть, сказала, что мне будет интересно, как порой родители участвуют, почти того не замечая, в обогащении своих детей различной неформальной лексикой. Она смущалась явно от того, что предстояло изложить. И дивную услышал я историю. Мы сели ужинать втроём, – рассказывала женщина, – мы с мужем и наша семилетняя дочь. Две недели уже дочь ходила в первый класс. И ангельским своим прелестным голоском спросила вдруг она:

– Папочка, а что это такое – полный пиздец?

Отец мгновенно покраснел, вспотел, беспомощно глянул на жену и медленно ответил:

– Понимаешь, ласточка, это такая ситуация, когда всё сложилось очень хуёво.

Юлия Могилевец

КАПЛИ НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ

ВЫСШАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Мы – это капли, ползущие по ветровому стеклу
машины времени,
скользя, замирая, склоняясь к добру и злу,
не различая между этим и тем, и дни
нашей жизни – попросту грязный след
размазанного по времени тела,
дворник взмахнет крылом, и его уж нет,
не в этом дело,
ведь капли катятся и на бегу
рисуют сложный чертёж
и от выбора на каждом шагу
никуда не уйдёшь.
Мокрое, заляпанное нами окно –
всемирная история,
но кому отследить дано
истинную траекторию?
не её проекцию на поверхность стекла,
а путь, пройденный вместе с машиной,
все, что время стёрло, да вечность спасла
в своих глубинах,
подсчитать все вклады, все траты,
сопоставить влияние,
вычислить ценность и статус
в пропорциях мироздания –
да так, чтоб плюсы сложив и минусы,
получить в конечном итоге,
что моей каплей мир капельку сдвинулся
навстречу Богу!

ОБЛАКА СЛАВЫ

что это – белые облака
или крылья, простертые над землёю,
ласковая река,
пена прибоя,
невесомый пунктир,
охраняющий Твой мир

перистые – от слова перо,
которое в вечном движенье
вплетает в смятение строк
все победы, все пораженья,
минуты и метры
росчерком щедрым

может ли герой противиться авторской воле,
у персонажа какие права –
пустые слова, не более,
марионетки, ать-два,
дёрнут ниточку, и привет...
но я, кажется, знаю ответ

я и есть та самая мысль,
которой Ты придумываешь меня,
не Ты вкладываешь в меня смысл –
это моя возня,
претензии, метания и понты
станут тем, что задумал Ты

я – это Ты, а Ты – это я
плюс всё мирозданье,
крошечная буква Твоего бытия,
зацепка в Твоем сознание,
и мой выбор, моё право
хранят облака Твоей Славы

АЛЕФ-БЕТ

*Двадцать две основные буквы начертал,
вытесал, соединил, взвесил, поменял мес-
тами, и посредством их создал всё творение
и всё, чему назначено быть сотворенным.*

Сефер Ецира (Книга Создания). Часть 2. Мишна 2

Эти буквы, которыми создан мир,
не значки, не символы – жизненный эликсир,
и рычаг и точка опоры для Архимеда,
ими можно землю перевернуть,
исцелить, исправить, вычертить новый путь,
погубить, разрушить, накликать грозу и беды.

Эти буквы диктуют сами себе приказ,
непонятный нам, звучащий помимо нас,
тайный шифр, вселенной не позабытый,
и она в невинной записочке между строк
адресованный ей и внятный прочтёт урок –
вот бы знать, что скрытое в нём сулит нам!

Все названия дал когда-то в раю Адам,
лишь осколки его уменья достались нам,
но судьба по-прежнему слушается витийства –
переставишь буквы, и «связь» порождает «ложь»,
а «прости» меняется на «уничтожь»,
и гематрия милосердия есть убийство.

Все вселенские коды вплавлены в алфавит,
совершенен и беспощаден язык иврит,
страшно пользоваться им вслепую, не понимая,
но Творец воплотил свой Замысел, нам отдав
этот главный пароль Системы от *алеф* до *тав* –
инструмент для починки вечности, он же – ключи от рая.

ЧЁРНЫМ ОГНЕМ ПО БЕЛОМУ ОГНЮ

За спиной нежданно-негаданно выросли крылья
из листков со всеми мной написанными стихами,
а земля провалилась вниз, окуталась пылью,
и остались лишь я и небо, да солнца пламя.

И огонь небесный листает мои страницы,
а бумаге так просто вспыхнуть и загореться,
мне уже не успеть придумать, что это снится,
и удары бешеным ритмом рифмует сердце.

Невозможная синь вокруг без конца и края
беспристрастно смотрит – видимо, ждёт развязки,
я кричу огню, что рукописи не сгорают,
хоть мы оба прекрасно знаем, что это сказка.

Но за что? я за славой не гналась, не рвалась в небо!..
вдруг я слышу под грохот крови и страх пожара:
хочешь, жизнь изменится так, чтоб стихов в ней не было?
будешь жить спокойно, без глупой игры в Икара.

Ну зачем тебе? всё равно никто не читает,
никому от них не холодно и не жарко,
а не станет крыльев, сразу минует беда, и
будешь ты по земле ходить и радоваться подарку.

Шелестят испуганные стихи за моей спиной,
коготками букв цепляясь за лист бумажный,
наплывает сквозь жар дыхание ужаса ледяное,
но они со мной, и вместе почти не страшно.

Эли Бар-Яалон

АНТЕЛ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

О, TEMPORA

быстро листья падают с веток
старый хронос кушает деток
сладкие детки словно конфетки
баю бай а зубы не редки
ух страх за полночью полночь
вроде пасть уже нечем заполнить
а щёлк
щёлк
новое семечко
я не волк я волчок я времечко
в рот в рот круговорот
вот воротá торопись народ
хрусть
хрусть
хрен победишь
хрен ты кого-то освободишь

но —
звон звон одинокий голос
здесь я уже тебе старый хронос
я побывал в вековечном саду
новое время оттуда веду
новое время которое лечит
с ним иду я тебе навстречу
с ним бреду я рука в руке
с ним плыву по твоей реке
скоро пройдем по твоим станицам
скоро прорвёмся к твоим столицам
скоро мы вправе тебя сменить
нас не заставишь повременить

хронос топает каблуками
хлопает веками как веками
где дерзец я его сотру
пыль рассеется на ветру
спрячься страшно как ненавидит
как хорошо что он нас не видит
потерпи пока тяжело
время моё
ты почти пришло

* * *

ангел-предохранитель
это такая работа
ангел-предохранитель
найдётся же в мире кто-то
плотный неплотный но полный псих
вместо тебя попадать под такси
плеваться отравленными консервами
корчиться закороченными нервами
вместо тебя
шальным кирпичом по круглой макушке
осколком шахидовой погренушки
и просто из пушки из мушки
разные такие игрушки
вместо тебя
раз за разом
подставляться всем фатальным заразам
о которых пишет газета
что нету иммунитета
а ещё инфаркт и инсульт и рак
а если не веришь то сам дурак
вот он – смотри
крылышки светятся изнутри
сам-то невзрачный
полупрозрачный
то ли есть то ли нет
брат? кот-пёс? сосед?
друг детства в далёкой стране
рыцарь на белом коне
бабочка на окне
птица рух
или всё-таки чистый дух

а вот он является как живой
зависает прямо над головой
в зените
я твой ангел-предохранитель
но прошу меня извинить
я не в силах предохранить
я уже не могу снести
мне надо уйти
прости
честь отдаёт
пост сдаёт
и всё
и привет
а потом опять настанет рассвет

ВОЙНА И МЫ

победили.
нам даже ружья не зарядили.
нас даже картами не снабдили.
а мы победили.

к нам обратились главные,
славные,
великодержавные:
и сказали: «видите знамя?
оно лично одобрено нами.
водрузите его над рейхстагом.
шагом!»

мы ответили: «разом!
мы рады вашим приказам!
и развернём это дивное полотно
всё равно
где:
над улан-удэ
или над царьградом
который тоже практически рядом
или над пекином
куда долго вести полки нам
если надо
то над гренадой
над канадой
с канонадой
поплывём в океане бурном
и взметнём его над мельбурном
над сатурном
с песней бодрой с маршем бравурным
но вы, кажется, сказали рейхстаг?
пусть будет так!»

а главные нам ответили:
«неужто вы не заметили
что происходит вокруг вас?
неужели лишились глаз?
может, это не к вам врываются
над детьми и жёнами издеваются
бомбы взрываются
уничтожая цвет нации
который мы не успели во время коллективизации
убивая будущее народа
уцелевшее после тридцать седьмого года?
это же силы тьмы

посланники коричневой чумы
дыхание вечной зимы
это ж не мы!
а мы вам подарили знамя
наградили вас орденами
мы-то с вами вы с нами
всегда
спасайте деревни и города!"

мы ответили: «да».

и мы воевали.
мы много где побывали.
бежали, стреляли, взрывали.
просыпаясь, яростно запевали.
по ночам от ужаса завывали.
затихших в твёрдый снег зарывали.
к главным с молитвой ночью взывали
(без молитвы не можно
сложно
тревожно
а мы были тогда безбожны)
и представьте – они отвечали
страдания облегчали
от вражеских пуль защищали
мы ощущали
и мы уверовали в их присутствие
в их невидимое сочувствие
в их грядущие райские кущи
и в то, что они всемогущи

и эта вера
это чувство живого верха
атмосферное
эфемерное
верное
нас озарило
и подарило
силы.

мы поднялись, как почти из могилы,
из окопа
и содрогнулась европа
от наших атак.
сдался враг.
а потом появился рейхстаг
и на крыше флаг.
наш. то есть их. нет, наш.

баш на баш.
или нет.

а потом прошло шесть десятков лет.

и теперь об этой войне
люди помнят, но не вполне:
да, была – но в какой стране?
на луне?
в чечне?
и по чьей вине?
с немцами? или с ненцами?
с энцами?
может, всё же с чеченцами?
а ещё в каком-то освенциме
из кого-то варили мыло.
неужели и это – было?
кто был в этой войне правее?
(чтобы было, как на бродвее)
кто левее?
крест-на-ножках? молот-и-серп?
чей был лучше, чей хуже герб?

а мы воевали.
мы вопросов не задавали.
мы их поняли бы едва ли.
мы убивали
и нас убивали
и убитые не оживали
но мы вставали с земли
и шли.
и дошли,
хоть уже совсем доходили.
и – победили.

может, кое-где наследили,
может, кое в чём навредили,
но – победили.
и без нас бы – не было вас.
вот
и весь
сказ.

Жанна Певлина

НАЧИНАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ...

Райхельгауз играет почти всегда, и при этом почти всегда абсолютно искренен. И в этой искренней игре он так органичен, что хочется верить каждому его слову, хотя абсолютно точно знаешь, что некоторых вещей не может быть, потому что не может быть никогда. Видимо, он точно так же говорит с актерами, и у них не возникает дилеммы, верить или нет.

Театру «Школа современной пьесы» двадцать лет. То, что он сегодня так крепко стоит на ногах, изумляет само по себе. Двадцать лет, конечно, ничто по сравнению с академическими театрами, но, тем не менее, в современной России срок немалый. За это время в Москве создавалось и бесследно исчезало множество театров. А «Школа» жива и замечательно себя чувствует. Кто ее знает, эту современную пьесу? Театралы – народ консервативный, к классике привыкли. Но, оказываясь, можно формировать новых театралов. У Райхельгауза получается.

В Израиле его спектакли также идут с неизменным аншлагом.

Райхельгауза любят, лично Лужков выделил театру новое здание, не где-нибудь, а на Трубной, у него могущественные спонсоры, без которых современный театр существовать не может. Все это потрясающе, и я, как ни крепилась, местами провоцировала собеседника. Громкую премьеру «Дом» по пьесе Гришковца мне удалось посмотреть уже после нашей беседы, но я все же успела в антракте спросить режиссера, а что это за артист Борис Вайнзихер, исполняющий главную роль. Оказывается, просто олигарх, технический директор РАО ЕЭС, «владелец заводов, газет, пароходов». А что же, он и артист? «А я его научил», – скромно ответил Райхельгауз. Переважив услышанное, подумала, почему бы и нет? В жизни и не такое бывает.

Антураж спектакля необычен. Кресла в зрительном зале стоят в хаотическом беспорядке, одни зрители сидят лицом к другим, а третьи вообще смотрят на боковые стены. Со всех сторон развешаны большие экраны. Занавес закрывается, и они загораются. Документальная зарисовка жизни большого города. В зале тишина. Потом действие обрывается, и экраны показывают каких-то людей в каком-то зале, и вдруг зал взрывается громким шепотом: «Это мы!» Через несколько минут вижу свою физиономию во весь экран, в ужасе хочу поправить прическу и понимаю, что уже поздно. А потом кто-то рядом со мной заговаривает, а другой из середины зала ему отвечает...

Сюжет спектакля незамысловат: врач хочет купить дом, он просит деньги в долг у друзей, и каждый из них подробно ему объясняет, почему этого делать не следует. Врач оскорблен, он не ожидал, что у него такие друзья. На четыре экрана проецируются четыре возможных финала.

Впечатление странное, но имеет ли это значение? Главное, что у Райхельгауза получилось создать свой мир, который осязаешь, порой недоумеваешь и радуешься собственному недоумению.

Иосиф Райхельгауз

У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА

– Будучи художественным руководителем такого востребованного театра, вы можете считать себя свободным человеком?

– Ну, сразу классические формулы... Надо определить свободу. Помните, нас в школе учили: свобода переходить дорогу в неположенном месте – это свобода попасть под автомобиль. Что такое свобода?..

– Давайте определим... Наверное, возможность делать то, что именно вы считаете нужным.

– За двадцать лет работы в этом театре я не получил ни одного запретительного распоряжения. Ни одного... Я думаю, вся свобода находится внутри нас. Конечно же, счастливые и прекрасные девяностые не сравнятся для меня с чудовищными и мерзкими семидесятыми, конечно же, и сегодняшнее время относительно девяностых – закрыто, зажато, несвободно (хотя и оно несравнимо с началом моей работы в театре), тем не менее, никакой несвободы не ощущаю. Совсем никакой.

– Я сейчас не запреты имею в виду, а то, что сегодня, чтобы быть на плаву, нужно соответствовать конъюнктуре, рынку.

– Да нет, это же идет от меня самого... Я свободен, как и многие из моих коллег, натуралистично изобразить на сцене половой акт или играть более современную пьесу с так называемой нецензурной лексикой. Но... возможно, я недостаточно свободен, на этой сцене пока ни натурализма, ни мата не было. Может, вы хотели спросить, могу ли я критиковать Путина? Могу.

– А зачем его критиковать?

– Или я не понимаю вопрос. Я несвободен только в своем таланте, в запасе культурном... Мне недостает класса, уровня, мне недостает внутренней свободы творчества, бывает, что я не могу придумать так, как иногда придумывают более свободные мои коллеги.

– Например?

– Например, в какой-то степени, Дмитрий Крымов. С моей точки зрения, это уникальный режиссер... То, как он понимает театр... Может быть, это не совсем драматический театр, тем не менее, он абсолютно свободен. Если художник предлагает вывести на сцену семь роялей в натуральную величину, сваренных из металла, он выводит семь роялей. Причем, это даже не основная декорация спектакля, а всего лишь небольшой эпизод. Или художник предлагает вывести куклу десятиметровой высоты, которую обслуживает человек пятнадцать, и он выводит. А вот во мне нет этой свободы...

– А что вам мешает вывести семь роялей?

– Прежде всего, мне мешает моя собственная цензура. Мне жалко мою постановочную часть, жалко денег, жалко пространства нашего театра... А иногда я вдруг освобождаюсь и, как в спектакле «Дом», закрываю всю сцену и, что называется, взрываю зрительный зал и раз-

ворачиваю все вверх ногами. Бывает и так. Но, тем не менее, вся моя несвобода – это моя несвобода.

– Я читала одно из интервью с Семеном Злотниковым. И он там очень хорошо о вас отзывается, и называет вас «гонимым властями свободомыслящим человеком».

– Злотников уже двадцать лет объясняет, почему он, выдающийся русский драматург, востребованный в девяностых десятками театров СССР, оказался невостребованным в любимой мной стране – Израиле. И рассказывает, что я «гоним». Конечно, был гоним. Но был гоним ненавидимой мной советской властью. А потом мы сделали разный выбор. С тех пор, как он уехал в Израиль, его единственная тема – эмиграция. А здесь это уже никого не волнует. Первые годы волновало, а потом перестало. А он этим живет. Мне ужасно обидно, я его очень люблю, считаю его действительно выдающимся драматургом.

– А в чем, по-вашему, сила его драматургического таланта? В слоге? В тематике?

– Он совершил революцию в российской драматургии. В 40-х–50-х годах была драматургия, так сказать, буквальная. Скажем, революцию эту начали замечательные драматурги Виктор Сергеевич Розов, Алексей Николаевич Арбузов, а дальше двинулись их ученики, среди которых (в семидесятые) одним из первых был Злотников. Двинулись в сторону, где текст перестал соответствовать содержанию. Я об этом много писал, не буду повторяться. Они совершили революцию, поскольку потребовали другой технологии режиссуры. До них режиссер буквально разбирал текст и мотивировал для артиста, почему персонаж так говорит. Он говорит: «Выйди вон!» И режиссер объясняет: «Понимаешь, он говорит "Выйди вон!", потому что он его не любит и не хочет его видеть». Если у Злотникова есть реплика «Выйди вон!», то это ничего не значит; может быть, персонаж хочет, чтобы он или она здесь остались, персонаж думает одно, чувствует другое, делает третье, а говорит четвертое... Вот это сделали в драматургии Злотников, Петрушевская и другие. Вначале чеховскую «Чайку» поставили по технологии театра Островского, и провалили эту Чайку. Потом Константин Сергеевич и Владимир Иванович придумали другую технологию, где первая реплика «Отчего вы всегда ходите в черном?» не означает, что Медведенко интересно узнать, почему, видите ли, Маша ходит в черном. Возвращаюсь к Злотникову. У него потрясающий слух, у него нет ни одной лишней буквы. Эта его волна предложила другое ритмическое, другое атмосферное построение. Я по его драматургии читал лекции и в Америке, и в Израиле, и в Швейцарии, и во Франции... Для меня Злотников – это Чехов второй половины двадцатого века.

– То есть вы считаете, что, живя в Израиле, он не может в полной мере творить, как он это делал здесь?

– Безусловно. Здесь он потрясающе писал о вечной теме, у него в ней была своя территория. Тема: мужчина и женщина. «Пришел мужчина к женщине». А там у него только про то, как приехал, как уехал. Тема, где (и как) надо жить, стала главной. Есть очень талантливые вещи. «Лекарство от тоски», например. Я пытался несколько раз ставить, но у меня не получается. Не получается, думаю, потому что я не

могу перенести это на русскую почву. Эта пьеса написана на западной ментальности. Люди играют смерть. А люди западные очень легко примиряются со смертью, во всяком случае, намного легче, чем русские. Они знают, что они умрут. Большинство из них считают, что они перейдут в другое качество жизни и так далее. А в России большинство людей верит в бессмертие, поэтому для них игры со смертью – это запретная территория. Хотя пьеса очень талантливая. Или «Инцест»... Тоже очень интересная, но это очень большой риск ставить такие темы для русского зрителя. Здесь есть определенные традиции. Ну, например, слово «презерватив» – неловкое слово, его не произносят. А на Западе его легко произносит ученик третьего класса.

– Тем не менее, в современной постмодернистской литературе уже пишется все и произносится все. И это хорошо потребляется.

– Нет! В Москве триста театров, из них только три используют ненормативную лексику. Это маленькие театры, с крошечными залами, и сколько бы они ни проводили фестивалей и ни размахивали знаменами свободы и вседозволенности, остальные двести девяносто семь все равно работают в традиционном ключе. Да, это может быть сорок раз «Чайка», сорок раз «Гамлет». Все равно этот театр на этой литературе хочет разговаривать об этих людях. С этой детальностью, с этой историей, с этими предпосылками, с этими корнями и с этой перспективой.

– Иными словами, надо подстраиваться под зрителя?

– Что значит подстраиваться? Как это можно сделать?

– Делать так, чтобы к вам ходил зритель...

– Вы знаете, ходит. Вот у нас открылся сезон, восьмой день сезона. И я счастлив: за восемь дней не было ни одного пустого места.

– Анишлаг – это критерий талантливой работы?

– Во многом. Хотя конечно, зритель не всегда прав... Но глобально он всегда прав. Конечно, зритель мог уходить с великих фильмов Феллини, зритель может чего-то не понимать, но... Он все равно прав. Есть три главных критерия, определяющих уровень современного театра. Первый – посещаемость зрительного зала. Второе – профессиональная критика. И третье – гастрольно-международная востребованность.

– А если представить, что вы делаете то, что вам нравится делать, но у вас нет наполняемости театра, нет гастролей, нет положительной критики журналистов и коллег, то вы бы работали как-то по-другому? То есть, до какой степени вы доверяете себе, своему вкусу и ощущению от того, что вы делаете?

– Я себе безусловно доверяю, но в данном случае я един в трех лицах: и сочинитель, и зритель, и потребитель. Во время репетиции я становлюсь зрителем и организовываю для себя зрелище. И в этот момент мне кажется, что человек, который сидит на моем месте, и люди его окружающие должны от этого зрелища получать удовольствие, от этого зрелища страдать. Я же не пишу в стол, я пишу для живых людей, которые приходят и покупают написанное.

– А если бы не покупали, вы бы не писали?

– Не знаю... Наверное, занимался бы чем-то другим. Наверное, если бы театр был мертвым, или если б у меня не было возможности работать в театре, как у многих моих коллег, то я бы стал писателем, или

драматургом или кем-то, чье творчество можно зафиксировать. А театр зафиксировать невозможно. Вот «Чайка» идет у нас уже девятнадцать лет, а я вчера зашел в начале спектакля и стоял, и смотрел. Я увидел молодую актрису, играющую Заречную. Увидел Иру Алферову, Филозова, Чернова. Они так пронзительно играли, что я засмотрелся, и у меня было ощущение, что я к этому спектаклю не имею никакого отношения. И подумал, как бы сделать, чтобы он всегда так шел...

— А как вы считаете, артисты могут позволять себе вольности или должны строго следовать замыслу режиссера?

— Это происходит в каждом спектакле, в каждом по-разному. Есть артист Саид Багов, замечательный артист, который, если импровизирует, то это чаще всего на пользу спектаклю. А рядом другой артист, очень заслуженный человек, но у него нет вкуса. И вот он тоже хочет импровизировать и говорит глупости...

— А импровизация не противоречит замыслу режиссера? Они могут быть самыми талантливыми, а вы видите это по-другому...

— Когда противоречит, я это артистам говорю. У нас такой театр: мы ничего не делаем насильно. Если актер хочет играть в новом спектакле, он играет, не хочет — не играет. Хочет что-то поменять в роли, мы с ним разговариваем, и либо я его переубеждаю, либо он меня.

— Мы уже затронули тему гастролей. А ваши гастроли по Израилю, вы ими довольны?

— Нет. Недоволен по очень простой причине. К огромному моему сожалению, есть два театральных Израиля. Есть Израиль, который представлен «Габимой», «Камерным театром», «Гешером»... Это театральная жизнь, которая востребована израильским зрителем, освещается израильской критикой, имеет новые израильские корни, свою драматургию, которая тяготеет к европейскому и американскому театру. А есть Израиль русскоязычный, проще говоря, эмигрантский. И он живет двадцатилетними воспоминаниями и даже — сорокалетними, о том, как Гурченко играла «Карнавальную ночь». Поэтому, будь Гурченко хоть девяносто лет, все равно хотят ее увидеть. Неужели она еще жива? Тем самым она подтверждает, что и они еще живы. Эмигрантско-антрепризный Израиль — это, конечно, совсем другое... При том, что наш театр стационарный, как и «Современник», «Ленком», «Таганка», нас выдерживают на два-три спектакля, в лучшем случае. А чаще всего, на один. Продюсер просит, чтобы нас было как можно меньше, чтобы декораций было как можно меньше, то есть он хочет только заработать. И пользуется банальным приемом: пишет три фамилии известных артистов нашего театра и этими фамилиями собирает деньги.

— И все-таки эти люди, живущие идеалами времен Гурченко, собираются на ваши спектакли, и какова их реакция? Вы считаете, они не в состоянии понять сегодняшнее российское искусство?

— Они в состоянии понять его настолько, насколько они в состоянии понять.

— И что вы за это получаете?

— Мы получаем аплодисменты и сборы за купленные билеты. Мы играем, например, «Дон Кихота», большой спектакль с декорациями,

балетом... Полные залы в Тель-Авиве, Иерусалиме. И все равно я понимаю, что история Дон Кихота их занимает не настолько, насколько хорошо поющая и танцующая Татьяна Васильева.

– *А в Москве больше занимает история Дон Кихота?*

– Понимаете, в Москве, если они идут к нам смотреть «Чайку», а в Москве их штук двадцать, то большинство из них идут посмотреть нашу «Чайку». Они знают, кто режиссер этого спектакля, какие актеры играют. Они все-таки видели в роли Аркадиной Татьяну Лаврову, Настю Вертинскую, Ирину Муравьеву в Малом. Или они идут смотреть на артистов в пьесе Гришковца. Потому что они знают, кто такой Гришковец. Конечно есть большая подготовленность и информированность зрителя. Они знают, куда идут. В Израиле же – это отдаленно выдернутый спектакль...

– *То есть вам не нравятся те рамки, в которые вас ставят, и в идеале вы хотели бы играть для израильского зрителя?*

– В идеале, конечно. Вот мы, например, приезжаем во Францию. Нас пригласил Пьер Карден. Мы играли на Елисейских полях неделю, в его театре, куда люди купили билеты. Среди этих людей, конечно же, были русские, но в целом это была французская публика. И если в первые дни было несколько мест свободных, то дальше спрашивали билеты, и была французская критика, и телевидение, и так далее. То есть мы понимали, что у нас идут гастроли во Франции. А в Израиле мы не чувствуем, что мы на гастролях в Израиле. После нескольких дней гастролей я захожу в театр Габима, где я ставил спектакль, где работают мои любимые артисты и где меня прекрасно знают, а мне говорят: Привет! А что ты делаешь в Израиле? А я говорю: У меня гастроли. – Серьезно? А где гастроли? – А вот рядом с вами. Через дорогу. – Надо же. А мы ничего не знаем.

– *То есть у вас претензии к организации?*

– Да, нет. Израиль так устроен. У меня нет ни к кому претензий. Все претензии у меня к себе.

– *Хорошо, давайте представим, что вам организованы гастроли для коренного населения Израиля. Вы считаете, они бы поняли, то, что вы хотели до них донести?*

– Не важно, что бы они поняли. Я бы знал, что я еду в государство Израиль, жители которого называются израильтяне. А сейчас я приезжаю в Одессу, в Житомир... Это не значит, что это плохо, но это совсем другое.

– *А когда вы ставили спектакли в «Габиме», кто их смотрел?*

– Их смотрели израильские зрители и, конечно же, иммигранты. В этот период у меня брали огромное количество интервью, но это все было на иврите. И вопросы задавали: «Почему вы не здесь?» А я отвечал: «Вы меня об этом спрашиваете, потому что я ставлю в национальном театре Израиля, а когда я до этого пять лет приезжал к вам на гастроли, ни один из вас не брал у меня интервью. Вас не интересуют спектакли для иммигрантов». Так получилось. Никто в этом не виноват. Наверное, пройдет пятьдесят лет, и все перемелется, и по-русски уже некому будет играть, и, наверное, это будет правильно.

– *А реакция коренных израильтян на ваши постановки?*

– Ну, это была обычная реакция европейских зрителей.

– *Расскажите о спектаклях, которые вы ставили в «Габиме».*

– Это было во второй половине девяностых. Я ставил пьесу все того же Семена Злотникова. Мы приехали на одни из первых гастролей в Израиль, со спектаклем «Пришел мужчина к женщине», с Любой Полищук и Альбертом Филозовым, какой-то артист из «Габимы» посмотрел и рассказал художественному руководителю, что приехал русский театр. Тот сказал: «Я никуда не пойду, пусть они играют в “Габиме”». Мы сыграли на малой сцене «Габимы» без перевода, зал был ивритоязычный. Видимо, актеры так хорошо сыграли, что худрук пригласил нас на ужин и предложил мне поставить этот же спектакль в их театре.

– *Вы работали с ивритоязычными артистами?*

– Конечно. Ни слова по-русски. У меня играли замечательные израильские артисты Лиора Ривлин и Йоси Полак, с которым я дружу до сих пор. Йоси сейчас играет в Камерном театре. Я бы очень хотел еще поработать в Израиле. У меня вообще к Израилю такое отношение... Это смешно, но у меня здесь ощущение места, к которому ты имеешь отношение. Здесь даже в городе есть ощущение, что все это стоит на земле, что есть некая первозданность. Ну что я буду рассказывать про Израиль, это великая страна, и я счастлив, что имею к этой земле некое генетическое отношение. Хотя профессия моя такова, что я работаю на русском языке...

– *То есть русскоязычный режиссер может творить только на своем языке?*

– Я думаю, да. К сожалению... Профессия такая... В любой стране мира через несколько дней я начинаю нервничать. Я не слышу мелодии языка... И меня сразу начинает тянуть в Подмоскovie, там я чувствую себя комфортно.

– *А почему все-таки театр современной пьесы? Ведь репертуар у вас во многом классический: тот же Чехов или по мотивам Чехова...*

– Не совсем. Наш репертуар – это, за редким исключением, первая постановка только что написанной пьесы на русском языке. Все пьесы Злотникова, Акунин, Улицкая, Гришковец... Не было случая, чтобы кто-то поставил какую-либо пьесу нашего репертуара до нас, либо параллельно. Исключения очень редки. Раз в два-три года некое сочинение на классическую тему. Да, это «Чайка» Чехова, оперетта по «Чайке», «Дон Кихот», в основу которого легли штук сорок источников. Да, «Горе от ума», «Русское горе» – композитор Сергей Никитин, который пишет песни, Вадим Жук, который пишет совершенно новые тексты. Естественно, я пользуюсь цитатами, сюжетами Грибоедова, но на самом деле это музыкальный комментарий к пьесе Грибоедова.

– *Современных авторов очень много, а в вашем репертуаре лишь медийные персоны...*

– Совершенно не так. Пьесы Злотникова пошли здесь впервые. Я первый в Советском Союзе поставил его пьесу «Пришел мужчина к женщине», это было в Хабаровске в 1978-м. Когда я ставил «Записки русского путешественника», о Гришковце никто не слышал, у Улицкой мы взяли первую пьесу. До этого она была известна только как прозаик.

– *А если просто взять какого-нибудь Васю Пупкина...*

– Да мы берем Васю Пупкина регулярно. Например, пьеса семнадцатилетнего Саши Демакина «Бабий Дом» идет у нас уже пятый сезон, а «2х2=5» Ксении Степанычевой – третий сезон. Из каждого конкурса появляется какой-нибудь Вася Пупкин.

– *И где это?*

– Иногда они идут. Вот такой режиссер Угаров ставил на нашей сцене пьесу молодого ленинградского драматурга. Не могу вспомнить фамилию. Спектакль был очень хороший, но, к сожалению, пришлось его вскоре снять. Не покупали билеты.

– *А почему? Потому что неизвестное имя?*

– Наверное, потому что непривычный стиль, непривычные способы выражения. Кстати, там проскальзывала нецензурная лексика... Почему-то наши зрители этого совершенно не приемлют.

– *То есть вы считаете, что в современную культуру, литературу, драматургию можно прийти с улицы?*

– Безусловно. Вот передо мной лежит заявка молодого режиссера. Я сейчас посмотрю. Если он хороший, я немедленно с ним встречусь. Я, наоборот, стараюсь не препятствовать всему новому. Но если не продаются билеты, тут я бессилен.

– *Иными словами, вы вынуждены потакать массовому зрителю, который ходит на громкие имена?*

– При чем тут имена? У каждого своя правда. Канал «Культура», например, самый художественный канал, смотрят три процента. А «Первый канал» смотрят миллионы. И что теперь делать? Тем не менее, если у меня есть возможность выйти на «Первый» и что-нибудь сказать, то я выхожу и говорю.

– *А зачем?*

– Я думаю, а вдруг эти миллионы на йоту, а все-таки сдвинутся. Неизвестно, кто из нас прав? С моей точки зрения, правы те, кто смотрят канал «Культура», а с точки зрения тех, кто смотрит «Первый канал», правы те, кто смотрят «Первый». Вот почему-то так происходит.

– *А если говорить о вашем театре, он несет культуру в массы?*

– Я не думаю, что театр должен нести культуру в массы. Театр, прежде всего, должен быть достоин самого себя. Ему должно быть не стыдно за то, что он делает. А право зрителей разделять со мной это понимание жизни. Я, например, не покупаю желтую прессу. Но многим это интересно. Это их право. Наличие разных вкусов – не признак одной страны. В Израиле то же самое, в Америке то же самое... У каждого есть право выбора. В частности, в Израиле есть вещи, которые мне не нравятся, но, тем не менее, если будет необходимость, я пойду воевать на стороне Израиля. Не думая при этом, кто прав...

Также и в России не все совершенно, однако верю, что когда-нибудь люди будут жить в той прекрасной стране, какой она сможет быть, – цитирую Чехова – через двести-триста лет.

С Иосифом Райхельгаузом беседовала Жанна Тевлина

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

Борис Крутиер

ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫБОР ВЫРАЖЕНИЙ

Бессмертие! Как много жизней отдано за тебя.

Для оптимиста минус на минус – плюс, для пессимиста – крест.

Причин напиться всегда больше, чем поводов выпить.

Новые книги стареют быстрее, чем старые.

Достигнув цели, становишься мишенью.

От человека, который радуется чужим успехам, можно ждать всего.

Светлое будущее этого света – тот свет.

От неудержимого желания делать людям добро удерживает неотвратимость наказания.

Мужья умирают раньше, зато дольше не стареют.

Ничто так не портит личную жизнь, как семейная...

Лучше ссориться с женой по пустякам, чем ждать серьезной причины.

Жизнь имеет только тот смысл, который в неё вкладываешь.

Чем меньше свободы слова, тем больше выбор выражений.

К одиночеству привыкнуть легче, когда никто не мешает.

Господи! Избавь нас, грешных, от непогрешимых.

Светлое будущее ещё покажет, было ли наше прошлое действительно темным.

Мы бы охотно поверили, что завтра будет лучше, чем вчера, если бы вчера нам не говорили то же самое про сегодня.

*Сердечные поздравления со славным юбилеем.
Многия лета, Борис Юзефович! Многия книги!*

Идеологически подкованных запрягать легче.

Давайте выберем лучших! Такой вариант мы ещё не пробовали.

Старость – это когда ты начинаешь перечитывать то, что не читал в молодости.

Трудно уважать человека, с которым ты ни разу не выпил.

Вдохновение нужно поэту, Пегасу достаточно овса.

Грех жаловаться на жизнь тому, кто еще способен грешить.

Мужчины! Не унижайте женщин своим благородством!

Какое счастье, что Господь создал Еву не по своему образу и подобию.

Покаяние без греха ещё больший грех, чем грех без покаяния.

Молодость – это восклицательный знак, старость – вопросительный...

Общий язык со слугами закона находят молча.

Так сильно любил жизнь, что согласен был даже на загробную.

Белые вороны стаями не летают.

Боги живут, пока есть кому в них верить.

Как умный человек, так обязательно с придурью.

Бойтесь карликов! Они всегда бьют ниже пояса.

Не успеваешь найти своё место на этом свете, как пора его уже искать на том.

Я ещё могу понять классовую ненависть, но классовая любовь – это уже извращение.

Отказываться от вредных привычек надо постепенно, сначала бросить пить и курить, и только под конец – жить.

Быть бескорыстным не каждому по карману.

Ничто так не приближает власть к народу, как телеэкран.

Утечка мозгов начинается с их промывания.

Друг познается в беде, подруга – в радости.

Умная жена всегда простит мужа, если она виновата.

Скудную выпивку портит обильная закуска.

То, что в молодости не по карману, в старости не по зубам.

Порядочный человек делает гораздо меньше гадостей, чем он мог бы сделать.

Не каждому хватает ума, чтобы не пользоваться им.

Победителей судят посмертно.

Пусть уж народ говорит что хочет, чем молчит чёрт знает о чем.

Не всё, что сверху – от Бога, кое-что и от птичек.

Порядочная женщина не станет обманывать всех мужчин ради одного.

Фортуна и Фемида работают посменно.

Количество гениев растёт за счет непризнанных.

Ничего нет страшнее правды, которой никто не верит.

Красивую женщину легче убедить, что она самая умная.

Не жди скорого решения проблем от тех, кто их создаёт.

Чем длиннее очередь, тем крепче уверенность, что всё ещё впереди.

Ничто так не портит картину будущего, как приближение к нему.

Все болезни общества – от болеющих за народ.

Как же надо рассмешить судьбу, чтобы она тебе улыбнулась.

Чем легче понять женщину, тем труднее её простить.

Договориться с дураком можно только на его условиях.

Давать одни и те же обещания надо разным людям.

В наших пустынях даже миражи не приживаются.

Пожелание: пусть у тебя будет столько денег, чтобы ты лично мог убедиться, что не в них счастье.

Сколько скрытых достоинств я обнаружил в себе благодаря завистникам.

«Какими же мы были в молодости дураками!» – удивляются старые дураки.

Берегите надежды на чёрный день!

Чем больше смеёшься над собой сам, тем меньше остаётся другим.

Дурака, укравшего умную мысль, выдают собственные...

Грешников боги наказывают пороками, которые им не по карману.

Продажными женщинами больше всего возмущаются неплатежеспособные мужчины.

Секс может заменить еду только до завтрака.

Не бойся сплетен о себе! Бойся правды!

Верх низости на самом верху.

Так жить нельзя, но мы привыкли.

Чушь надо пороть.

И только евреям Колумб интересен не открытием Америки...

Когда плюют в душу, редко промахиваются.

Дураку голова мешает думать, умному – жить.

Живу надеждой, других средств к существованию не имею.

Чаще других меняют наряды голые короли.

Пункт обмена мнениями по выгодному курсу.

Одиночество – это когда всю правду о себе узнаешь от самого себя.

Маяком к женскому сердцу служит её грудь.

Преждевременное покаяние лишает грех всякого смысла.

Как мы умеем молчать... Заслушаться можно.

Ольга Чикина

МЕЖДУ НЕБОМ И НАМИ

АНГЕЛ КОСТЯ

Когда-то, когда-то,
В картонной короне,
Оклеенной жёлтой забавной фольгой,
Стояли вы, Костя, на нашем перроне,
Водили по воздуху правой рукой.

Нет ангелов боле. По этой юдоли
Летают пушинки под жёлтым лучом.
Но слышала наша буфетчица Оля,
Как хлопали крылья за вашим плечом.

Ах, может быть, это пустое, пустое...
Ах, может быть, слышала Оля не то.
Но стали вы нашей хорошей мечтою.
А вы и мечтали быть нашей мечтой.

А в мире всё то же – и в целом, и в части.
Темно в подземельях. Светло в облаках.
В знакомых буфетчицах – столько участия.
В летающем пухе – такая тоска.
2007

ТАПКИ

Эх вы, тапки мои, эх вы, тапочки,
Сколько вы намотали по дому,
Как подолгу стояли под лампочкой,
У окошечка тоже подолгу.
Отпустить мне вас, что ли, на улицу,
Где есть бабочки, кошки и птички,
Где всё движется, едет и кружится.
Да заблудитесь вы с непривычки.

Как заблудитесь – будут метания,
Обернётесь – а дома-то нету.
Попадёте вы в ваших скитаниях
На тамбовскую злую планету.

Вас поднимет профессор подвыпивший,
Поглядеть – не профессор, а горе.
Пожалеет, помоем и высушит
На тяжелом своём мониторе.
А потом приглядится в волнении,
Завернёт вас в газету «Известия»
И приедет ко мне в день рождения,
И вы будете снова на месте.

2008

* * *

Скоро-скоро заснут подо льдом золотистые жабы.
Заберут мои сны про весёлые жаркие страны.
Скоро-скоро снежок закружит за окном, и тогда бы
Вам приехать, со мной покружить по снежку спозаранку.

А пока что по дворику кружит одних идиотов.
Самый первый из них – это я, и мне счастья не нужно.
А пока что во дворике лужи, и нету кого-то,
Кто хотел бы со мной покружить спозаранку по лужам.

А рабочий по лужам бежит на лихую работу.
Офицерик по лужам бежит на счастливую службу.
А по дворику нашему кружит одних идиотов.
Самый первый из них – это я, и мне счастья не нужно.

2008

ПИСЬМО

О, не держись, подружка, ни за что.
Нет ничего на свете, кроме Бога.
Но и Его, печального, и то,
Покуда не отчаялась, не трогай.

И без того в глубоких облаках
Узрят, как ты шатаешься по скверам,
Скучаешь о далёких берегах,
Целуешься с каким-то пионером.

И я целуюсь с кем-то от тоски.
И в темноте, беззвёздной и морозной,
Меня шатают злые сквозняки
По комнатам, как пьяного матроса.

Не приезжай, сестричка, не держись
За своего товарища и братца.

И у меня теперь такая жизнь,
Где только Бог, и не за что держаться.

Я, как цветочек чистый на реке,
Во мраке краха, зла и чертовщины.
Вот я качаюсь в пристальном зрачке
Какого-то нетрезвого мужчины,

Следящего за мною из кустов.
Ни благи, ни милости не чаю.
Я ни к какому благу не готов.
А он следит, он молвит: «Как печально,

Когда тебя качает меж осин,
А ты духовный, нежный и невинный,
А ты с утра заходишь в магазин
За водкой, надеждой, анальгином,

А ты потом выходишь из него –
Без анальгина, с водкой и цветами –
В том ничего смешного, ничего», –
Вот так себе он молвит за кустами.

...Колю дрова. Любовница в Крыму.
Вчера читал Толстого «Три медведя».
Так хорошо остаться одному.
Не приезжай. С любовью, дядя Федя.
2009-2010

СВЕТА

Печальная Света поела омлет.
Есенин у Светы любимый поэт.
Пустой холодильник в углу тарыхтит.
Печальная Света с балкона глядит,

Как в золото летней весёлой реки
Девчонки бросают с моста дневники.
Они понимают свою красоту –
Красиво девчонки стоят на мосту!

До старости самой, конца самого
Девчонки не станут читать ничего!
А станут девчонки стоять на мосту!
А станут девчонки глядеть в пустоту!

И тягостно Свете от этого дня.
У Светы тупые друзья и родня.
В углу собачонка тупая ворчит.
И Света с балкона девчонкам кричит:

«Идите, девчонки, писать и читать!
От глупых девчонок планете беда!
Не надо, девчонки, стоять на мосту!
Не надо, девчонки, глядеть в пустоту!»

Но ветер в ушах у девчонок поёт.
Девчонки, конечно, не слышат её.
И Света срывает с веревок бельё.
И лето летает, как юбки её.

2008

ВОСЬМОЕ МАРТА

8 Марта. Бабы красят губы,
Вступая в право ждать,
Когда мужчины
Исполнят ежегодный долг.
Исполнят ритуальный танец.

Губам же красным
Надлежит быть знаком:
«Путник, стоп!
Займись приятным.
И полезным. Хоп».

2001

ВОЛЧАТА

На планете Земля есть двенадцать волчат
Они ходят одни и глядят, и молчат.
Одного я нашла у себя во дворе
В октябре. Или нет – в ноябре.

На ершистой макушке не таял снежок.
На хрустальной рубашке не таял и грел.
Он глядел хорошо. И молчал хорошо.
Хорошо на меня он глядел.

Осень летала, тяжёлая птица,
Красные пёрышки, белый снежок.
Будет ли небо над нами светиться?
Будет ли нам хорошо?

Может, ныне, когда закипала вода
(я стояла на кухне – питалась водой),
на дорожке волчаткам запела звезда,
собрала их в кружок золотой,

Что танцуют они у меня во дворе,
И кружатся над ними двенадцать ветров,
И светится дорожка к хорошей поре,
И идёт на планету добро.

Есть и другие волчатки на свете,
Курят на лавочке, ходят сюда.
Только над ними не кружится ветер,
Им не запела звезда.

И когда я лежу за минуту до сна,
И краснеет, как битва, планета моя,
По ночному окошку стекает весна
И светится она по краям,

и ночные врачи в голубых колпаках
Всё плотнее сгущаются подле меня,
А за ними волчатки глядят в облака,
А за ними – красно от огня.

2001

ЧАСОВОЙ

Теребит в кармане бумажку с моим телефоном
Молодой часовой на посту между небом и нами.
За плечами его – только небо и белые кроны,
А над ликом его – только небо и белое знамя.
А бумажка с моим телефоном под пальцами мнётся –
А в кармане моём телефон – я ношу его честно.
Я ношу его честно – а что мне еще остаётся?..
А когда же он мне позвонит – ничего неизвестно.

Я не сплю, но летают по небу мои сновиденья –
Молодой часовой на границе у самого края.
Так я просто живу между небом и датой рожденья,
Так я просто живу и играю, живу и играю.
А на звуке сидит режиссёр и глядит беспокойно –
Так я двигаюсь нервно, курю, возвращаюсь обратно,
Так пою и опять ухожу – ухожу непристойно,
А когда же он мне позвонит – ничего непонятно.

С моря дальнего светит маяк – я стою на пороге –
С неба бабушка видит моя – я ищу свое место –
Так я двигаюсь нервно по белой от света дороге –
А когда же он мне позвонит – ничего неизвестно...

2003

ТЫ ГДЕ?

где... у бывшей я. на даче.
три недели буду жить.
это, Сань, не хрен собачий.
это надо заслужить.

2006

* * *

и ждёт меня Ванечка возле пельменной
и ждёт меня Васечка около дому
но нету двух жён единовременно
в одной чтобы так а в другой по-другому

2006

ЛЁТЧИЦА

Высоко над Землёю летит самолёт,
В самолёте девушка-лёт-чи-ца,
И не видит никто ни коленок её,
Ни волос её, ни её лица.
А она видит белые в небе цветы,
А такие цветы можно видеть, любя,
А под ними всегда только ты, только ты,
Она любит тебя, она любит тебя.

И ты – идёшь под этими цветами по дворам – домой, –
И ты – глядишь на небо разве что по вечерам – зимой –
И в дождь – тебя болтает, и играет детвора – в разбой –
И всё ж – она летает и летает над тобой – тобой.

Ты глядишь, как в опасной ночной тишине
В телевизоре скачет культурный враг,
Но пульсирует красная точка в окне,
Что-то есть ещё, что-то здесь не так,
Что так носится там у тебя за плечом?
Кто-то рвёт это прочное небо, любя,
Как тревожно на свете и как горячо
Она любит тебя, она любит тебя.

Когда – родится солнце под секретным лопухом – когда –
Когда – когда на крышах много рыжих петухов – когда –
Когда – по миру ломятся голодные стада – когда –
Когда – когда ты жив, когда ты дышишь, то тогда – тогда...

2005

Светлана Менделева
САМОЛЁТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

* * *

*Памяти отца,
Годима Лейбовича Лившина*

Мой папа умер, а я жива.
В доме, полном больших вещей,
Я всё играю с огнем в слова
И не езжу на кладбище.

Его улыбка – на облаках,
И отовсюду она видна.
А я в печалях, как в дураках,
Никуда не Годимовна.

2005

* * *

Надо мной самолётик крестиком,
А я ноликом на земле.
Я спокойно живу, но пресненько,
И скулю на своей скале.

Надо мной самолётик крошечный,
А я крошечный с высоты
И сливаюсь с рельефным крошевом
Исключительной красоты.

Я сливаюсь и с лесом лиственным,
И с полями, как в клетку плед.
А за ним на холсте единственном
Перламутровый тает след.

Ни к кому не питаю злобы сам,
Взмою мысленно в облака,
И покажется просто глобусом
Мне земля моя свысока.

Не планируя траекторию,
В небо вырулю налегке,
Опасаясь влететь в историю
На своём самолётике.

Пусть нелепо, смешно и криво
Мимо время моё бежит.
Самолётная перспектива
Не меняет мой взгляд на жизнь.

2007

ТЕЛЬ-АВИВ

Этот город гудит, спеша,
И летит сквозь ночной оскал
Мотоциклом его душа,
Отражаясь от всех зеркал.
Здесь становится тенью цель,
И искрится в стекле стиха
Левантийский его коктейль:
Запах моря и вкус греха.

Этот город сквозь душный сон
Дышит кожей своих камней,
И, как в почву, в его бетон
Мы вырастаем корнями дней.
Пахнет йодом полночный мрак.
Город ветренный угловат.
Он – не друг тебе и не враг –
На тебя ему наплевать.

Этот город хранит в себе
Отпечатки любых времён,
И теряемся мы в толпе
Разноцветных его имён.
И, в песок превращая твердь,
Зноем воздух его дрожит.
Этом город обходит смерть,
В нём по кругу несётся жизнь.

Этот город бурлит, как суп,
На неярком своем огне.
Этот воздух горяч и сух
И царапает горло мне.
Здесь становится тенью цель,
И искрится в стекле стиха
Левантийский его коктейль:
Запах моря и вкус греха...

2007

ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Не Япония, не Танзания,
Не провинция, не столица –
Нас сплели и слепили заново
Эти улицы, эти лица.
Средиземное море ближнее
Бирюзово под рябью бликов,
Пеной нежною пятки лижет мне
И лежит невозможно близко.

Меж заботами, снами, пляжами
Душу по ветру отпускаю.
Я понять не умею, чья же я:
Не московская, не морская.
Я гляжу неподвижно на воду,
Мои мысли темны и зыбки.
Уплывают к чужому неводу
Все мои золотые рыбки...

2009

* * *

Сокровище-чудовище, собака
Глядит из мрака чуть тревожно,
И наша дружба сложена несложно,
И невозможно
Не прикипеть.

Нас связывают нежности канаты,
С душой пернатой друг мохнатый.
Мы делим с ней безлунные сонаты,
И полкотлеты,
И жизни треть.

Сокровище-чудовище, мы сами
Всегда подвластны законам стаи,
Из верности и веры вырастаем,
И жизнь простая
Для нас сложна.

Комок любви, что ждёт меня за дверью,
В глаза заглянет, и я поверю,
Что одному печально даже зверю,
А я счастливчик.
Я не одна.

Сокровище-чудовище, я знаю,
Как драгоценна душа родная.
Ты инопланетянка, я – земная.
Вдвоём повоем
Мы на луну.

Нам вместе так недолго быть на свете.
Как из пустыни подует ветер,
Ты улетишь на маленькой ракете.
Мохнатый друг,
Не оставляй
Меня одну.

2009

* * *

Похоже, пора менять тормоза,
Принять, как таблетку, век.
Не надо смотреть вперёд и назад,
А лишь под ноги и вверх.

А в сером небе – печальный Бог
И райский забытый сад.
Не надо смотреть ни мимо, ни вбок,
А только – прямо в глаза.

Знать,
Что с нами будет в конце концов,
Нельзя. И какой резон?
Мне надо видеть твоё лицо,
А дальше – лишь горизонт.

Нас так напугала одна гроза,
И страхи скрутили в жгут.
Моё отражение – твои глаза,
А все амальгамы лгут.

Не надо смотреть по сторонам,
И в зеркало ни к чему.
Мы разные, это подарок нам
И вечный источник мук.

2007

* * *

Мне повезло.
За мною крепкое крыло.
Или копыто.
И всё возможно,
Всё открыто –
Злу назло.
Пята безумного цунами
Прошла за нами.
И катастрофа чуть правее
Всё сожгла.
Чутьём, как звери,
Опасность чувствую. Но верю,
Что этот вздох подарен мне,
За что, не знаю.
Пока густа подобно зною
Тень крыла,
Ценю, хоть ною,
Свободу плакать и дышать,
Не совершать.
И совершать.

2008

* * *

Повесить бельё, поставить бульон,
И дальше, хорошея,
Семьи железный медальон
Нести на тонкой шее.
Моя любовь, твоя любовь –
Они всему причина.
Но тянется морщина,
Одна на пару лбов...

Пока по площади гнезда
Мы носимся, как пчёлки,
Шестиконечная звезда
Горит на нашей ёлке.
И тешат нас коньяк и душ,
И музыка, и прочее.
И дождь по крыше ночью,
Один на пару душ.

Куда бы нас не завела
С печатью бумага,
Мы просто двигаем дела,
И едет колымага.
Ты изменить меня хотел,
Забудь об этом, милый...
Исправит нас могила,
Одна на пару тел.

Но годы в дикой беготне
Не зря катили мимо.
И нам видна в одном окне
Одна картина мира.
Что толку думать, хмуря лоб,
Куда несёт течение.
Любое приключение –
Одно на пару поп.

2008

* * *

Мой дом похож на странную мозаику,
И в нём, согласно правилам игры,
Другие измеренья прорезаются,
И дышат параллельные миры.

Там ходят привидения на цыпочках,
Чтоб ненароком не спугнуть покой.
Его очаг золой и сажей выпачкан,
Но дым в трубе, и небо под рукой.

Мой дом, набитый вечными вопросами,
Не закрывает окна в холода.
Стоит, качаясь, под любыми грозами,
Хотя слетает крыша иногда...

Мой дом любовью полон и печалью,
Он смехом укрощает суету.
И каждый раз так радостно причаливать,
Бросая якоря в его порту.

И разноцветны дома обитатели,
Как разноцветна музыка в окне.
А всё, что мы транжирили и тратили,
На грядке прорастает по весне.

2008

НОВЫЕ ВОРОТА

Софья РОН-МОРИЯ, «А-хатан а-асири» («Десятый жених»). – Тель-Авив, «Офир», 2009.

Когда израильские спортсмены выигрывают ответственный матч, комментаторы ликующе кричат в микрофон: *«Анахну аль а-мана!»* («Мы на карте!»). Имеется в виду не то, что мы лучше всех, а то, что мы вообще существуем. Мы доказали свое существование!

Некоторые психологи усматривают в этом серьезные проблемы с самооценкой – возможно, комплекс неполноценности. Другие, наоборот, уверены, что всякий творческий импульс проистекает именно из какого-либо недостатка, нехватки. Примером – болезненное детство некоторых великих спортсменов или подростковое уродство будущих красавиц-кинозвезд. Необходимость преодолевать трудности (и прежде всего – самих себя) обеспечивает результат.

Я вспоминала об этом на презентации романа Софьи Рон-Мория. Сейчас эта книга входит в десятку ивритских бестселлеров.

Софья приехала из России в двадцать лет, окончила религиозный колледж, работала в русскоязычной газете «Вести». За последние годы стала заметной фигурой в израильской журналистике в качестве парламентского корреспондента газеты «Магор Ришон». «Десятый жених» – ее первый роман, написанный на иврите.

Презентация вышла неожиданно многолюдной. Среди публики было четыре депутата Кнессета. Все они отметили, что книга читается на одном дыхании. Похвалы были обычны для литературной презентации, но тут присутствовала особенная нотка. «Это роман про нас! – говорили гости. – *Анахну аль а-мана!*»

Эти «мы» – религиозные израильтяне в вязаных кипах.

Когда-то принято было считать, что роман – это зеркало общества, важнейшее средство самопознания – не только для отдельного человека, но и для целых общественных групп и сословий. Я отражаюсь – следовательно, существую...

Во время пасхального седера герои романа обсуждают современную ситуацию: *«Наша страна ведь не вошла в эпоху постмодернизма. Это просто поверхностное подражание. У нас все живут в разных эпохах. Арабы, например, в восемнадцатом веке. – А мы? – А мы в девятнадцатом. Ну, знаешь, всякие там романтические национальные движения, Гарибальди... Неудивительно, что мы не можем найти с арабами общий язык. С таким разрывом во времени глупо ожидать, что с ними можно договориться. – А вот наши левые, – вернула Дина, – живут в двадцатом веке. В десятых годах, ну максимум в двадцатых. С этой их модернистской утопией всеобщего разрушения...»*

Очень верное наблюдение: наше общество неоднородно, разные его пласты живут в разных культурных эпохах и поэтому с трудом понимают друг друга. Среди них есть традиционная элита – ашкеназские светские израильтяне, уроженцы Страны как минимум во втором поколении. Есть и разнообразные маргинальные группы, частично перекрывающие друг друга – религиозные, евреи восточных

общин, «русские». Рай для социологов и этнографов – но не самое легкое место для жизни. Хотя и интересное...

Те, о которых герои романа говорят «мы», – это особая социокультурная группа – *кипот сругот*, «вязанные кипы». Значительная часть «вязанных» живет в поселениях за пределами «зеленой черты». Большинство из них – правые сионисты. Наилучшим образом их идентичность маркируется стилем одежды и вязаной кипой. Это религиозные евреи, которые соблюдают заповеди, но при этом интегрированы в израильскую светскую культуру. Их можно увидеть не только в синагоге, но также в концертных залах и на театральных премьерах, на книжных ярмарках, в университетских аудиториях, компьютерных фирмах, адвокатских конторах и армейских частях.

Казалось бы, что может быть лучше, чем «наслаждаться двумя мирами»? Но есть и проблема: тот, кто пытается жить на границе двух миров, рискует оказаться маргиналом и там, и здесь. В случае «вязанных» это именно так: в современном Израиле эти энергичные, идеалистически настроенные и хорошо образованные люди являются маргиналами и по отношению к харедим (которых по-русски не вполне точно называют ультраортодоксами), и по отношению к традиционной светской элите. В этом смысле появление романа представляет собой шаг вперед к культурному и политическому центру карты.

По многим жанровым приметам «Десятый жених» – типичный «дамский роман». Живо и подробно описаны юбки, блузки, шляпки, занавески, оттенки обивки, красиво сервированные столы в гостинных и раковины с немытой посудой на кухне. Куклы, детские болезни, неуступчивые компьютер и автомобиль. Хрупкая, нежная и женственная Дина управляется с этим миром не без напряжения – но все же успешно. Остальные персонажи призваны оттенять ее хрупкость и стойкость, и эта служебная функция делает их большей частью довольно схематичными. Подруга Алиса всегда рядом для того, чтобы выслушать или поплакаться в жилетку. Замечательная пара Иегудит и Элиягу – дверь их дома постоянно открыта для Дины и ее друзей. Заботливые мама и бабушка, помогающие с ребенком. А вот другой тип – карьерист, ханжа и лицемер Йоси, тоже в вязаной кипе...

В романе есть очень характерные израильские детали.

Уютные переулки в иерусалимском квартале Нахлаот, где последние годы стала селиться религиозная богема – художники, музыканты, поэты, философы, – и среди них, конечно, особенно много «русских». Поселения – белокаменные домики с красными крышами, террасы, увитые розами и бугенвиллиями – здесь люди, уезжая на праздники или на субботу, оставляют ключ соседям, которым надо пристроить на ночь гостей. Похороны Элиягу – того самого, который рассуждал о девятнадцатом веке – он погиб в теракте и оставил пятерых детей и беременную жену. Очень сильное впечатление оставляют страницы, описывающие совсем недавнюю нашу историю – месяцы перед так называемым «односторонним отделением». Жители поселения, в котором живут друзья Дины, с ужасом ждут катастрофы – и не могут поверить в ее реальность...

Главная героиня романа – обаятельная, способная и целеустремленная молодая женщина, принадлежит к «вязаным», но внутри этой маргинальной группы она особенно маргинальна, поскольку недавно развелась с мужем. «Разведенная плюс ребенок», как пишут в газетных объявлениях. Плюс «русская» – она обременена багажом знаний, почти непригодных в израильской жизни, зато не имеет никаких связей и перебивается на зарплату почасовика в провинциальном колледже.

Цель жизни Дины – выйти замуж, завести уютный дом и много детей. Вне замужества ей трудно реализовать себя. Однако она не готова ради этого поступиться ни своими политическими и религиозными убеждениями, ни своей культурной идентичностью.

На трудном пути к воплощению мечты Дине помогает сваха Шуламмит. Из своей небольшой зарплаты Дина выкраивает для нее приличную сумму – гонорар за сватовство. Взамен Шуламмит обязуется представить Дине десятерых кандидатов. Сюжет романа складывается из встреч Дины с этими потенциальными женихами. Шуламмит – ответственная и профессиональная сваха, которая видит в своей работе Божественное призвание. И все-таки для Дины процесс сватовства – труднейшее испытание, требующее немалой решимости. Мужчины, с которыми встречается Дина, принадлежат к «вязаным». Это образованные и обеспеченные люди, которые желают того же, что и она – создать семью и растить детей. Девять мужчин проходят перед Диной – разведенные и холостяки. Они разные – приятные и скучные, не вполне нормальные, эгоистичные... Есть даже гомосексуалист. Одних она отвергает сразу, других – после получасовой беседы. Но есть и такой, с которым она встречается довольно долго, влюбляется в него и очень тяжело переживает разрыв. А затем, собрав силы, снова начинает поиск.

Дине нужен настоящий дом. А дом – это не только стены и крыша. Это страна. Дина хочет чувствовать себя своей в новой стране, а для этого необходимо пробиться внутрь, максимально близко к центру пестрой израильской карты. В начале поиска «люди центра» производят на нее магическое впечатление:

В его голосе была сила. Не агрессивность, под которой прячется растерянность (как прячется застиранная рубашка под сверхмодным костюмом), не напористое нахальство нувориша. Спокойствие. Уверенность аристократа. Этому нельзя научиться, это нельзя сыграть, это впитывают с молоком матери. С таким человеком нужно беседовать о родственниках и знакомых, о сестре некоего N., которая переехала в новую виллу, и сыне M., которого недавно назначили директором министерства. «...Их племянник, ну, тот, который женат на дочке министра, так вот брат его жены недавно опубликовал любопытную книжку. Ну да, мы учились в одном классе. Служили вместе в армии. Уже тогда было видно, что он очень способный...» Все эти люди принадлежали к закрытому клубу, а им принадлежала эта страна – по праву отцов, которые воевали, осушали болота, умирали от малярии, долбя кирками неподатливую землю прибрежной равнины. Их право было неоспоримо – оно могло пошатнуться разве

что в эпоху социальных потрясений и революций. В ранней юности Дину тянуло к революционерам. В тридцать она научилась ценить скромное очарование аристократии».

Один из женихов, человек тонкий и наблюдательный, приглашает Дину в оперу. В антракте герои вместе разглядывают публику, и он насмешливо замечает: *«У тебя выражение лица... как у Жанны д'Арк, когда ее впервые привели во дворец и она увидела придворных барышень. Франция пылает, а они прихоращиваются! [...] Твоя проблема в том, что ты никак не можешь решить, кем ты хочешь быть – Жанной д'Арк или герцогиней».* Он совершенно прав: при всей тяге героини к стабильности и покою, Дина в конце романа покупает дом в самом что ни на есть опасном месте – в поселении, которое обречено на изгнание и уничтожение. Именно здесь она собирается устроить нечто устойчивое, надежное и настоящее. *Дом.*

В романе хорошо показано, что большинством «вязаных» молодых людей движут не столько метафизические поиски, сколько стремление создать новые формы семейной и общественной жизни, отличающиеся от привычных европейских и американских. Это амбивалентное движение, с одной стороны, требует воплощения в жизнь древних требований Галахи, а с другой – восстает против этих требований как не соответствующих современности. Результат – самая динамичная из израильских социокультурных групп. Удается ли ей при такой динамичности создать устойчивую культуру? Время покажет.

Почему эта группа при всей своей сложности и гетерогенности (религиозной, культурной, этнической) не распадается, а продолжает существовать? Наверное, благодаря некой общей исторической задаче, которая держит их вместе. «Вязаные» готовы употребить немалые усилия, чтобы доказать, что они нормальные, высокообразованные и добропорядочные граждане. Но может ли быть нормальной жизнь под пулями террористов? Или того хуже – жизнь в неопределенности «мирного процесса», когда твой собственный дом может оказаться вообще *вне израильской карты*? Поэтому тенденция к самодовольной респектабельности, свойственная группе на пути в элиту, входит в противоречие с неспособностью (или невозможностью?) застыть и закоснеть. Какая тенденция победит? Этого мы тоже пока не знаем.

Любопытно, что в этом движении особое место занимают выходцы из России. Как ни удивительно, тип русско-еврейского интеллектуала, воспитанного на классической литературе девятнадцатого века, по некоторым параметрам очень близко подходит к израильским «вязаным». Роман «Десятый жених» – первая и пока единственная попытка отразить и выразить на иврите своеобразие их «русского» компонента.

Парадоксальным образом именно эти маргинальные люди очень живо и ярко представляют в романе Израиль – маргинальную страну. Страну между Востоком и Западом. Страну, которая очень хочет удержаться на карте...

Елена Римон

ИМЕНА

Татьяна АЛЕКСЕЕВА родилась (1964) и живет в Москве. Окончила филфак МГУ им. М. В. Ломоносова и там же – аспирантуру. Участвовала в подготовке двухтомника «Неизданный Лесков» (серия «Литературное наследство»), в создании биографического словаря «Русские писатели» (изд-во «Советская энциклопедия»). Публиковалась в журналах «Истина и жизнь», «Человек». Работает редактором в издательском доме «Первое сентября».

Андрей АНПИЛОВ родился (1956) и живет в Москве. Окончил МТИ (факультет прикладного искусства). Участник творческих объединений «Театр песни», «Прямая речь», «Весь» и «Первый круг». Издал четыре книги стихотворений, книгу прозы, несколько книг стихов и рисунков для детей, записал восемь авторских CD. В «ИЖ» (№ 32) опубликована подборка стихов А. А. «Одним рождением светом».

Эли БАР-ЯЛОМ (Могилевер) родился в 1968 году в Ленинграде. Репатриировался в 1974 году. Окончил Технион. Пишет на иврите и на русском. Выпустил авторские CD «Давай придумаем формулу?» (2003), «а-Махтерет шели» (2004, на иврите), «Опасная профессия» (2007), «Правда-матка» (2010). Лауреат литературных премий «Олива Иерусалима» (2007) и поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Один из основателей культурного центра «Маген», где исполняет обязанности рава. Преподаёт в колледже и в школе для одарённых. Женат, отец двух дочерей. Живет в Хайфе. В «ИЖ» опубликованы подборка его стихов «Покаянная серенада» (№ 7) и стихи памяти В. Ланцберга (№ 23). В 2006 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов Э. Б. «Горизонтальная луна».

Лев БЕРИНСКИЙ родился в 1939 году в Каушанах (Бессарабия, ныне Молдова). Окончил факультет иностранных языков Смоленского пединститута, Литинститут им. А. М. Горького и Высшие Литературные курсы (Москва). Репатриировался в 1991 году. Пишет на идише и русском, перевел с идиша произведения Марка Шагала, Ицхака Башевиса-Зингера и многих других авторов. Переводил также с немецкого и румынского. Книга избранных стихов и поэм (на русском языке) «На путях вавилонских» вышла в 2009 году. Живет в Акко.

Марина БОРОДИЦКАЯ родилась и живет в Москве. Окончила МГПИИЯ им. Тореца. Переводчик английской, американской и французской классической поэзии. Автор многочисленных детских книжек – оригинальных и переводных, а также сборников стихов «Я раздеваю солдата» (1994), «Одинокое катание» (1999), «Год лошади» (2002), «Оказывается, можно» (2005), «Прогульщик и прогульщица» (2007), «Ода близорукости» (2008). В «ИЖ» опубликованы ее подборки стихов «Умение укладывать чемодан» (№ 13), «Гомеопатия, мечта поэта» (№ 23), стихи памяти Татьяны Бек (№ 19), драма «Поэт и спонсор» (№ 28).

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окончила Институт им. Репина по специальности «Книжная графика». Ее работы вошли в антологию «Гравёры земного шара. Всемирная гравюра на дереве в XXI веке» (Лондон, 2002). Автор книг стихов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1997), «Ближний

Свет» (2005). Репатриировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов А. В. «Иерусалимская прогулка» (№ 3) и «Ближний свет» (№ 14-15).

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979-84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов И. Г. «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы этой краткой» (№ 22), «Харон уже строит паромы» (№ 23), «Разговор ангела-хранителя с лирическим героем...» (№ 24-25), «Не думал, что кому зачтется» (№ 27); «Свобода – странный институт» (№ 29), «Меня хранили три некрупных бога» (№ 31); эссе «Текст к рисункам» (№ 4), «Блики эпохи» (№ 12); главы из «Книги странствий» (№ 8) и книги «Вечерний звон» (№ 20-21). В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005).

Игорь ИРТЕНЬЕВ родился (1947) и живет в Москве. Окончил Ленинградский институт киноинженеров (1972), Высшие театральные курсы (1989). Работал на телевидении, в газетах. Был президентом Московского клуба «Поэзия» (с 1986), главным редактором журнала «Магазин Жванецкого» (1993–2003). Автор пятнадцати поэтических книг. Лауреат нескольких литературных премий.

Арнольд КАШТАНОВ (Эпштейн) родился в 1938 году в Сталинграде. По образованию – инженер. Автор десяти книг прозы. Один из авторов российско-американской антологии «10 лучших рассказов». Победитель Всесоюзного конкурса на лучший киносценарий (1973). Репатриировался в 1991 году. Живет в Нетании.

В «ИЖ» опубликованы эссе А. К. «Успех как эстетический феномен» (№ 1), «Групповой портрет с отрезанным ухом» (№ 4), «Земля сия не есть место для покоя» (№ 7); роман «Ангел Эммануэль» (№ 20-21); рецензии на книги А. Резникова (№ 6) и М. Богославского (№ 13).

Борис КРУТИЕР родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский мединститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких сборников афоризмов, составитель антологии «Парадоксальные мысли отечественных афористов» (2009). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликованы подборки Б. К. «Новые крутые афоризмы» (№ 24-25) и «Правда всегда побеждает...».

Пётр МЕЖУРИЦКИЙ родился в 1953 году в Одессе. В 1986 году закончил филфак Одесского университета. Репатриировался в 1990 году. Автор сборников стихов «Места обитания» (1993), «Пчелы жалят задом наперед» (1997) и «Эпоха кабаре» (1999). Живет в Ор-Акиве. Преподает в школе.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов П. М. «Эпоха кабаре» (№ 3), «И утро дня, и вечер ночи» (№ 17); эссе «Отклик» (№ 6).

Светлана МЕНДЕЛЕВА родилась в 1961 году в Москве. Окончила Московский Нефтяной Институт (МИНХ и ГП). Репатриировалась в 1991 году. Автор книги стихов «Дорога домой» (2004). Записала (вместе с А. Менделевым и В. Гуткиным) авторские CD «Там лучше,

где мы есть» (2000), «Дорога домой» (2002), «На дереве моём...» (2003), «Кофе с молоком» (2004), «Мозаика» (2006), «Втроём» (2008). Живёт в Петах-Тикве.

В «ИЖ» № 19 опубликована подборка «В ритме прибой».

Юлия (Юдит) МОГИЛЕВЕР родилась в Ленинграде в 1948 году. Принимала участие в подпольном сионистском движении; вдова одного из основателей подполья – Хаим-Зезва (Владимира) Могилевера, осужденного по т. н. «Второму Ленинградскому процессу». Репатриировалась в 1974 году. По специальности – программист. Активист культурного центра «Маген». Пишет стихи и прозу; публиковалась в литературной периодике. Живет в Хайфе.

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ родился в 1947 году в Одессе. В 1965-1968 гг. жил в Ленинграде, учился в различных вузах, был рабочим сцены БДТ. Первые спектакли поставил в Студенческом театре ЛГУ. По окончании ГИТИСа (1973) работал режиссером в «Современнике», на телевидении, в Театре на Таганке и др. театрах. В 1989 году основал театр «Школа современной пьесы» постановкой водевиля «А чой-то ты во фраке?» (либретто – Д. Сухарев, музыка – С. Никитин). Автор книг «Не верю», «Мы попали в запендю», «Прогулки по бездорожью». Живет в Москве.

РАХЕЛЬ (Рая Блувштейн; 1890, Саратов – 1931, Тель-Авив). В 1909 году по пути на учебу в Италию приехала с сестрой на короткий визит в Эрец-Исраэль и решила остаться здесь. С 1913 года обучалась агрономии во Франции. В 1919 году вернулась в кибуц Дгания (Кинерет), откуда при обнаружении признаков туберкулеза была вскоре изгнана. Далее скиталась из Цфата в Иерусалим, в Тель-Авив, в Гедеру, где находилась в туберкулезной лечебнице. Похоронена в кибуце Кинерет. При жизни Р. были изданы сборники ее стихотворений «Сафиях» (1927) и «Минегед» (1930). Посмертный сборник «Нево» вышел в 1932 году.

Елена РИМОН (Константиновская) родилась в Одессе. Окончила факультет русского языка и литературы Куйбышевского университета, защитила диссертацию на кафедре теории литературы МГУ. Репатриировалась в 1987 году. Преподает на кафедре еврейского наследия Университетского центра «Ариэль». Под ее редакцией, с ее примечаниями и предисловиями вышли антология ивритской литературы в русских переводах (1998), сборник новелл Шмуэля Йосефа Агнона в переводах на русский (2004), книги Михаила Бахтина в переводах на иврит (2007, 2008). Живет в Иерусалиме.

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и шести книг прозы, вышедших в Москве. Лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье.

В «ИЖ» опубликованы эссе А. Т. «Сумерки идеологий» (№ 14-15), романы «Протоколы Сионских Мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19), «Пепел» (№№ 22, 23; финальная шестерка «Русского Букера», 2007), «Записки кукловода» (№ 27), «Летит, летит ракета» (№ 30); «Дор» (№ 31), повесть «Дом» (№ 24-25), переводы стихов Натана Альтермана и Рахели (№ 28), глава из романа «Гиршуни» (№ 29).

Жанна ТЕВЛИНА родилась в Москве в 1960 году. Окончила филфак МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «испанский язык и литература». Преподавала языки, работала переводчиком. В 1991-1998 гг. жила в Нью-Йорке. Окончила докторантуру Нью-Йоркского университета, защитила диссертацию «Хулио Кортасар – переводчик прозы Эдгара По». Репатрировалась в 2000 году. Эссе, рассказы, а также переводы прозы и поэзии Рубена Дарио, Хулио Кортасара, Габриэлы Мистраль, Николаса Гильена и др. публиковались в литературной периодике и сборниках. Живет в Кирьят-Бялике. Преподает в Хайфском университете. В «ИЖ» № 28 опубликовано интервью Ж. Т. с Юрием Любимовым.

Мария ФАЛИКМАН родилась в 1976 году в Новомосковске (Тульская обл.). Окончила факультет психологии МГУ и преподает в этом университете. Автор книги стихов «*Mezzo Forte*» (2001). Лауреат конкурсов Британского Совета в РФ на лучшие переводы английской поэзии (2005, 2010), финалист премии за лучшие переводы британской и ирландской литературы «Единорог и Лев» в номинации «Нон-фикшн» (2007) и «Драматургия» (2009). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов М. Ф. «Не сейчас» (№ 13), «Сосны» (№ 19), «Переулки» (№ 22), эссе «Не выше пояса забвения трава...» памяти В. Ланцберга и посвящение ему «Вариации на тему из Вагнера» (№ 23).

Ольга ЧИКИНА родилась в городе Скопин Рязанской области. Окончила Рязанский госпедуниверситет им. С. А. Есенина по специальности «Русский язык и литература». Однако учителем быть не решилась. Поэтому сидит в одном из рязанских интернет-салонов, качает двоечникам рефераты, набирает кассационные жалобы и отправляет народные письма Президенту РФ. С 1987 года пишет песни на свои стихи, что было отмечено на нескольких фестивалях авторской песни, где она стала лауреатом. Любит рисовать картинки для людей, и есть люди, которым это нравится. Персональные выставки графики экспонировались в России и странах Западной Европы. Еще любит лопухи, репы и собак. Живет в Рязани. Рисунки О. Ч., навеянные песнями В. Ланцберга, опубликованы в «ИЖ» № 23.

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатрировалась в 1989 году. Живет в Ашдоде.

В «ИЖ» опубликованы рассказ С. Ш. «Здравствуй, Лиза» (№ 17), «Рассказы из долгого ящика» (№ 28), статья «Знает и помнит» (№ 24-25), а также ее переводы рассказов Ицхока Мераса (№№ 14-15, 18, 20-21, 26).

Олег ЧУХОНЦЕВ родился в 1938 году в Павловском посаде (Московская область). Автор книг стихов «Из трех тетрадей» (1976), «Слуховое окно» (1983), «Ветром и пеплом» (1989), «Стихотворения» (1989), «Пробегающий пейзаж» (1997), «Фифиа» (2003), «Из сих пределов» (2005), «Однофамилец» (2008). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

РАХЕЛЬ. Тьмы минувших годов сильней. <i>Стихи</i> <i>Перевел с иврита Алекс Тарн</i>	3
АЛЕКС ТАРН. Пятая звезда. <i>Послесловие к переводам</i>	8

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ. Из книги перемен. <i>Стихи</i>	14
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ. На углу Бассейной и Храмовой <i>Стихи</i>	17
МАРИЯ ФАЛИКМАН. Из-за ограды. <i>Стихи</i>	24
ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ. Пять стихотворений.	29

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

АРНОЛЬД КАШТАНОВ. Хакер Астарты. <i>Роман</i>	32
ПЕТР МЕЖУРИЦКИЙ. Не все пути – Господни. <i>Стихи</i> . . .	210
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ. Два рассказа	217

УЛИЦА ГАЛИЛЕИ

ЛЕВ БЕРИНСКИЙ. Тюльпан багряный. <i>Поэма</i>	222

ХОЛМ ПАМЯТИ

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА. Поздняя догадка	226
АНДРЕЙ АНПИЛОВ. Воин солнечного света	230

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

АСЯ ВЕКСЛЕР. Послесловие. <i>Стихи</i>	234
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Седьмой иерусалимский дневник <i>Главы из книги</i>	242

УЛИЦА КАРМЕЛЬ

ЮЛИЯ МОГИЛЕВЕР. Капли на ветровом стекле. <i>Стихи</i> . .	275
ЭЛИ БАР-ЯАЛОМ. Ангел-предохранитель. <i>Стихи</i>	278
ЖАННА ТЕВЛИНА. Начинается спектакль...	283
ИОСИФ РАЙХЕЛЬГАУЗ. У каждого своя правда <i>Интервью</i>	284

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

БОРИС КРУТИЕР. Тем больше выбор выражений <i>Афоризмы</i>	291

ПАРК САКЕР

ОЛЬГА ЧИКИНА. Между небом и нами. <i>Песни и стихи</i> . . .	295
СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА. Самолётная перспектива <i>Песни и стихи</i>	301

НОВЫЕ ВОРОТА

ЕЛЕНА РИМОН о книге Софы Мория-Рон	307

ИМЕНА

Авторы и персонажи	311

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычной (не заказной) почтой свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,

P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-2822551; E-mail: olvic1@012.net.il)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхока Мераса (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луфферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Иосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим

Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2009 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме»; Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,
«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас»,

«Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»; Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

книги Григория КАНОВИЧА, Ицхокаса МЕРАСА,

Евгения МИНИНА, Феликса КРИВИНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

MOUNT SCOPUS

RACHEL. Stronger than the gloom of bygone days. *Poems Translated from Hebrew by Alex Tarn*

ALEX TARN. The fifth star. *An afterword to the translations*

RUSSIAN COMPOUND

OLEG CHUKHONTSEV. From the book of changes. *Poems*

MARINA BORODITSKY. At the intersection of Basseyaya and Chramovaya streets. *Poems*

MARIYA FALIKMAN. From behind the fence. *Poems*

IGOR IRTENIEV. Five poems

JAFFA GATE

ARNOLD KASHTANOV. Astarte's hacker. *Novel*

PETER MEZHURITSKY. Not all the ways are God's ways. *Poems*

SOPHIA SHEGEL. Two short stories

GALILEE STREET

LEV BERINSKY. A purple tulip. *Poems*

MEMORY HILL

TATIANA ALEKSEEVA. The belated guess

ANDREY ANPILOV. A warrior of the sun light

LION GATE

ASYA VEKSLER. Afterword. *Poems*

IGOR GUBERMAN. The seventh Jerusalem diary
Chapters from the book

KARMEL STREET

YULIYA MOGILEVER. Drops on the windshield. *Poems*

ELI BAR-YAHALOM. A guardian angel. *Poems*

ZHANNA TEVLINA. The curtain rises

YOSIF RAIKHELHAUS. Everyone is right in his own way. *Interview*

JUBILEE QUARTER

BORIS KRUTIER. A wide choice of expressions. *Aphorisms*

SAKER GARDEN

OLGA CHIKINA. Between the sky and us. *Poems and lyrics*

SVETLANA MENDELEEVA. An airplane lookout. *Poems and lyrics*

NEW GATE

ELENA RIMON on the book by Sophia Moria-Ron

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 33, 2010

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: antho.net/jr/index.html
magazines.russ.ru/ier/

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova,
Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Evgeny Minin**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina,**
Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky,
Victor Gopman, Gregory Gordin, Leonid Levinson,
Svetlana Moiber, Inna Vinyarsky

Print: **TSUR OT**

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2010. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

Phone: 972-2-9960302, 972-54-4745322, 972-2-6451288

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-495-5507747; apksp@narod.ru
Victor Indenbaum – 7-495- 9157178; sifria@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
in Chicago: **Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; sashablin@hotmail.com
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 336 73024165; v.smekhov@primetouch.com

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים:

הר הצופים

רחל. לא יכלו לה צבאות הימים – שירים. מעברית – אלכס טארן
אלכס טארן. הכוכב החמישי. אחרית דבר של מתורגמן

מגרש הרוסים

אולג צ'וחונצב. מספר התמורות – שירים
מרינה בורודיצקאיה. בפינת הרחובות בסיינאיה וחראמוביה – שירים
מריה פליקמן. מעבר לגדר – שירים
איגור אירטנייב. חמישה שירים

שער יפו

ארנולד קשטנוב. האקר של עשתורת – רומן
פטר מז'וריצקי. לא כל הדרכים מאלוהים – שירים
סופיה שגל. שני סיפורים

רחוב הגליל

לב ברניסקי. צבעוני ארגמני – שירים

הר הזיכרון

טטיאנה אלכסייבה. ניחוש מאוחר
אנדרי אנפילוב. לוחם מאור השמש

שער אריות

אסיה ווקסלר. אחרית דבר – שירים
איגור גוברמן. היומן הירושלמי השביעי – פרקים מספר

רחוב הכרמל

יוליה מוגילבר. עלים על שמשה – שירים
אלי בר-יהלום. מלאך-נתיך שירים
ז'אנה טבלינה. הצגה מתחילה
יוסף רייכלגאוז. לכל אחד אמת משלו – ראיון

קריית יובל

בוריס קרוטיאר. כך גדול יותר מבחר הביטויים – אפוריזמים

גן סאקר

אולגה צ'יקינה. בין שמיים לבנו – שירים
סבטלנה מנדלבה. מראה ממטוס – שירים

השער החדש

ילנה רימון על ספרה של סופיה רון

שמות

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון

מזכיר – יבגני מינין

ציירת – סוסנה צ'רנוברובה

עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק

עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון

תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,

מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי מיר

משרד התרבות והספורט
מנהל התרבות, המחלקה לספרות

עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2010 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

